

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2021

№ 60

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопап Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Toms, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Toms, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Toms, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Toms, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Toms, Russia); **Ogleznev V.V.** (Toms, Russia); **Syrov V.N.** (Toms, Russia); **Chernikova I.V.** (Toms, Russia); **Ladov V.A.** (Toms, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Toms, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Toms, Russia); **Kashpur V.V.** (Toms, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Молчанов В.И. Эпохе и опыт: метафоры и термины	5
Сироткина Л.С. Эпистемологический статус логической процедуры: логическое vs когнитивное?	15
Хлебалин А.В. Эпистемологические нормы и социальные практики математического доказательства	24

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. Смарт-технологии как понятие и феномен: к вопросу о критериях	32
Глухов П.П., Попов А.А., Аверков М.С. Контуры нового антропологического проекта образования	45
Городович О.В. «Чистый лист» или природная данность: необходимость ясного понимания термина «человеческая природа» в контексте изучения современных образовательных практик	55
Корнющенко-Ермолаева Н.С. Идеология versus коллективная историческая память? К истории дискурса	64

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Головина Ю.А. Н.С. Таганцев и Дж.Ст. Милль: государство и человек в споре о смертной казни	74
Жаворонков А.Г. Разум как привилегия европейцев? Кант и проблема расизма	89
Меньшикова А.А. Категория трансцендентального посредника в работах философов аналитического направления	97
Целищева О.И. Релятивизм Рорти и витгенштейновский скептицизм Куна	108
Шавецко Н.А. Этика дискурса Юргена Хабермаса: критический анализ	125

СОЦИОЛОГИЯ

Дунаева Д.О. Дискурсивные практики горожан как коммуникативный механизм формирования образа комфортного города (опыт полевого исследования)	137
Прохода В.А. Отношение к мигрантам и стратегии межкультурного взаимодействия в России и других европейских странах	151
Савчук Г.А., Бритвина И.Б., Франц В.А. Интернет-сайты вузов как канал коммуникации в привлечении студентов из стран Центральной Азии в контексте теории «мягкой силы»	164

ПОЛИТОЛОГИЯ

Володенков С.В., Федорченко С.Н. Цифровизация современного пространства общественно-политических коммуникаций: научные концепции, модели и сценарии	175
Мартинкович М. Развитие партийной системы и характер коалиционных правительств Словакии в 2006–2016 годах	194
Никонов В.А., Воронов А.С., Сажина В.А., Володенков С.В., Рыбакова М.В. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и структурные компоненты (по материалам экспертного исследования)	206

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Философия

Касавин И.Т. Наука как общественное благо	217
Антоновский А.Ю. «Хоть дерево гнило, да благо нам мило» (народная поговорка)	228
Вострикова Е.В. Гуманитарное знание и общественное благо: два примера из языкознания	236
Масланов Е.В. Миссия ученого как воля и представление	243
Столярова О.Е. Наука и идеалы гуманизма	248
Тухватулина Л.А. О моральном героизме и научном призвании	254
Шибаршина С.В. Наука как абсолютное благо в футурологической перспективе трансгуманизма	259

Политология

Никандров А.В. Философско-политическая риторика «самодержавия народа» в программах «Народной воли» и РСДРП	265
Савойский А.Г. Итоги и моделирование российско-американских отношений как индикатора развития глобальной цивилизации	275
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	292

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Molchanov V.I. Epoche and Experience: Metaphors and Terms	5
Sirotkina L.S. Epistemological Status of a Logical Procedure: Logical vs Cognitive?	15
Khlebalin A.V. Epistemological Norms and Social Practices of Mathematical Proof	24

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Ardashkin I.B., Surovtsev V.A. Smart Technologies as a Concept and Phenomenon: On Criteria	32
Glukhov P.P., Popov A.A., Averkov M.S. Outlines of a New Anthropological Education Project	45
Gorodovich O.V. A “Blank Slate” or a Natural Predisposition: The Necessity of Clarifying the Term “Human Nature” in the Context of Modern Educational Practice Studies	55
Korniyushchenko-Ermolaeva N.S. Ideology versus Collective Historical Memory? To the History of Discourse	64

HISTORY OF PHILOSOPHY

Golovina Yu.A. Nikolai Tagantsev and John Stuart Mill: State and Man in the Death Penalty Dispute	74
Zhavoronkov A.G. Reason as a Privilege of Europeans? Kant and the Problem of Racism	89
Menshikova A.A. The Transcendental Intermediary in Analytic Philosophy	97
Tselishcheva O.I. Relativism and Skepticism vs Rationality in Philosophy and Science	108
Shaveko N.A. Discourse Ethics of Jürgen Habermas: A Critique	125

SOCIOLOGY

Dunaeva D.O. Discursive Practices of Citizens as a Communicative Mechanism for Forming The Image of a Comfortable City (Practical Research Experience)	137
Prokhoda V.A. Attitude Towards Migrants and Strategies of Intercultural Interaction in Russia and Other European Countries	151
Savchuk G.A., Britvina I.B., Frants V.A. The University’s Website as a Communication Channel for Attracting International Students from Central Asian Countries in the Context of the Soft Power Theory	164

POLITICAL SCIENCE

Volodenkov S.V., Fedorchenko S.N. Digitalization of the Contemporary Space of Socio-Political Communications: Scientific Concepts, Models, and Scenarios	175
Martinkovic M. Development of the Party System and the Character of Coalition Governments in Slovakia in the Years 2006–2016	194
Nikonov V.A., Voronov A.S., Sazhina V.A., Volodenkov S.V., Rybakova M.V. Digital Sovereignty of a Modern State: Content and Structural Components (Based on Expert Research)	206

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Philosophy

Kasavin I.T. Science: A Public Good and a Humanistic Project	217
Antonovskiy A.Yu. Although the Tree Is Rotten, It Brings Good (A Russian Proverb)	228
Vostrikova E.V. Knowledge in the Humanities and the Public Good: Two Examples from Linguistics	236
Maslanov E.V. The Mission of a Scientist as Will and Representation	243
Stoliarova O.E. Science and the Ideals of Humanism	248
Tukhvatulina L.A. On Moral Heroism and Scientific Vocation	254
Shibarshina S.V. Science as an Absolute Good and the Transhumanist Days of Tomorrow	259

Political Science

Nikandrov A.V. The Philosophical and Political Rhetoric of the “Autocracy of the People” in the Programs of Narodnaya Volya and RSDLP	265
Savoysky A.G. Results and Modeling of Russian-American Relations as an Indicator of International Life	275

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	292
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 141

DOI: 10.17223/1998863X/60/1

В.И. Молчанов

ЭПОХЕ И ОПЫТ: МЕТАФОРЫ И ТЕРМИНЫ

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 20–011–00842.

Проводится различие между терминами и метафорами при экспликации основной процедуры метода в гуссерлевской феноменологии – эпохе, или феноменологической редукции. Рассматривается различие между радикальным сомнением у Декарта и попыткой сомнения у Гуссерля, а также соответствие и несоответствие значений этих терминов и обозначаемого этими терминами опыта.

Ключевые слова: сомнение, попытка сомнения, эпохе, термин, опыт.

Введение

Термины «эпохе» и «феноменологическая редукция», указывающие на специфику феноменологического метода, разделяют, пожалуй, судьбу «интенциональности» – основного термина феноменологии Гуссерля. В 1928 г. в предисловии к изданию гуссерлевских лекций по феноменологии времени Хайдеггер отмечал, что «и сегодня еще это выражение есть не пароль, но обозначение центральной проблемы» [1. С. XXV]. Эта проблема состоит, по Хайдеггеру, в необоснованности гуссерлевской интенциональности, которая должна обрести свою основу в «трансценденции Dasein». Эпохе и редукция обостряют проблему обоснования, ибо претендуют именно на безусловность и на безусловное разделение философской и нефилософской позиций. Вопрос теперь в том, каким образом вводится термин, обозначающий это безусловное разделение, и в какой степени дескрипция этой процедуры сопряжена с опытом.

Об эпохе и феноменологической редукции написаны сотни страниц основателем феноменологии и сотни работ учеников и комментаторов Гуссерля – О. Финка, А. Щюца, М. Мерло-Понти, Я. Паточки, И. Керна и многих других; оценки этой методологической процедуры колеблются от безоговорочного принятия в качестве основы основ феноменологического метода до отрицания ее возможности, по крайней мере, в качестве полной и завершенной процедуры (Мерло-Понти). В недавней статье, посвященной понятию пассивного синтеза у Гуссерля, Н.А. Артеменко пишет: «Сфера первичной пассивности обозначается как Я в силу методически значимой омонимии, которая указывает на осуществляющее трансцендентальную редукцию (в ее классическом смысле или абстрагирующую редукцию генетической феноменологии) Я исследователя. Подобное напоминание о том, что это „я“ в данный момент осуществляю эпохе, не может быть лишним» [2. С. 196]. Здесь примечательны следующие моменты. Во-первых, предполагается наличие

классического смысла редукции, или эпохе, т.е. смысла, который не может быть подвергнут сомнению ни при какой интерпретации, во-вторых, остается неясным характер редукции в аспекте пассивности или активности. Если кто-то осуществляет эпохе, пусть это будет даже Я в кавычках, то это все же активное действие, но действие парадоксальное: оно открывает пассивную сферу, но само не должно оставаться ни пассивным и ни активным, но нейтральным. Кроме того, возникает вопрос, может ли омонимия быть методически значимой? Омонимию «я» в качестве одного из факторов, затрудняющих философские исследования, небезосновательно отмечал Г. Шпет [3. С. 264–267].

Как правило, о философских терминах рассуждают так, как будто к ним прикреплен определенный смысл, который если и можно интерпретировать, то все же подразумевая при этой поиски ядерного, классического смысла. Упущение различия между опытом, или процессом, и термином, их обозначающим, есть своего рода философское имяславие, приписывающее смысл самому слову или термину, образованному из этого слова. Напротив, основной предпосылкой наших исследований служит различие терминов и опыта, а также терминов, проблем и концепций. Введение Гуссерлем терминов «эпохе» и «феноменологическая редукция» потребовало иных терминов, которые соотносились бы через общепонятные слова нетерминологического языка с интерсубъективно доступным опытом. Значение термина «эпохе» в античном скептицизме – «воздержание от суждений» – вряд ли прояснит значение этого термина у Гуссерля читателям Идей I [5] – книги более чем в 400 страниц. Термином, соотносимым с «эпохе», явился, прежде всего, термин «сомнение», отсылающий, с одной стороны, к известному всем и каждому опыту, с другой стороны, к методическому сомнению Декарта, который со своей стороны обозначил этим словом нечто отличное от сомнения в обычном смысле слова.

Основная задача данной статьи – соотнесение значения терминов «эпохе» и «феноменологическая редукция» с предполагаемым опытом, который обозначается этими терминами. При этом проводится различие, которое упускается как самим Гуссерлем, так и его комментаторами, а именно между терминами и метафорами, с помощью которых обычно характеризуют основную процедуру метода гуссерлевской феноменологии. Например, в своей обширной статье И. Керн характеризует структуру гуссерлевского «фундаментального рассмотрения» в «Идеях I» как типично картезианскую, что само по себе уже вызывает возражение, и описание этой структуры осуществляется Керном с помощью ряда заимствованных у Гуссерля метафор: «„Вывести из игры“, „выключить“, „заключить в скобки“ веру в существование мира (Weltglauben)» [4. S. 308]. Здесь дело не только в том, чтобы в изложении или интерпретации того или иного учения отстраниться от языка этого учения, чего, кстати сказать, И. Керн не делает, но и в том, чтобы в языке рассматриваемой концепции различать термины и слова обычного литературного языка, без которого философское творчество обойтись не может, с одной стороны, и термины и метафоры – с другой. Метафора оказывается посредником между словом, обозначающим опыт, например словом «сомнение», а также термином «сомнение», происходящим из обыденного языка, и опытом, который обозначается этим термином в определенном контексте –

посредником, в котором сливаются или смешиваются термин и опыт. Сказать «заклЮчить в скобки» или «выключить», в частности, «объективное время» означает назвать одновременно некоторое (сомнительное) действие и термин, который это действие обозначает, причем вне контекста, который, собственно говоря, придает смысл термину и служит основанием для различия термина, рассматриваемой проблемы и формируемой концепции, призванной решить эту проблему. К терминам, относящимся к эпохе и редукции и соотносящимся с опытом, я отношу «сомнение» и «попытку сомнения»; к метафорам – «выключение», «заклЮчение в скобки», «подвешивание тезиса» и т.д. Вне рамок этой статьи остается такой термин, как «нейтрализация», а также весь комплекс проблем, связанных с экспликацией феноменологической редукции в «Первой философии» Гуссерля и трансформацией проблемы «эпохе» у позднего Гуссерля.

1. Гуссерль и Декарт: радикализация сомнения

Гуссерль, как известно, не раз сопоставлял эпохе, или феноменологическую редукцию, с декартовским сомнением. Вопрос, однако, в том, в каком ракурсе проводится это сопоставление и почему Гуссерль отказывается в конце концов считать сомнение процедурой, которая является процедурой одного порядка с феноменологической редукцией? Более того, Гуссерль различает сомнение и попытку сомнения, которая должна быть своеобразным мостиком от сомнения к эпохе. Однако и попытку сомнения он не ставит на один уровень с редукцией. Не выходит ли попытка сомнения за рамки человеческих возможностей? Если сомнение – реальный опыт, доступный каждому, то попытка сомнения – искусственная, воображаемая процедура. Однако можно ли вообще ее в таком случае выполнить? С одной стороны, редукцию должен совершить философ, с другой – он не может ее совершить, не потеряв своего эмпирического Я. Иначе говоря, уже не философ как человек, но трансцендентальный субъект выполняет редукцию, достигая особой, феноменологической установки. Но можно ли совершить эпохе, не достигнув уже феноменологической установки, т.е. не совершив уже это самое эпохе?

Очевидно, однако, что уже у Декарта мы имеем дело не с сомнением в том смысле обыденной рефлексии, согласно которому в сомнении имеет место колебание между двумя суждениями («мнениями»), так же как и состояние нерешительности и нерешенности, какое из возможных суждений (мнений) истинно, т.е. соответствует положению дел.

Как это ни парадоксально, к радикальному сомнению Декарта привела именно решимость: «Необходимо хоть раз в жизни предпринять серьезную попытку отделаться от мнений, принятых мною некогда на веру» [5. С. 335]. Ясно, что решимость, а не колебание руководит здесь Декартом – решимость обрести твердую основу, достичь достоверности, исходя из ее противоположности – из недостоверности, т.е. из сомнения. Сомнения же (в обычном, но пока еще не проясненном смысле) возникали у философа относительно того, достигнул ли он возраста достаточно зрелого, чтобы осуществить это трудное предприятие: «Это заставило меня так долго колебаться» [5. С. 335].

Радикализация и универсализация сомнения не оставляют само сомнение неизменным. Декарт употребляет слово «сомнение» (*dubito*), но фактически заменяет его «предположением». Подвергнуть что-либо сомнению означает у

Декарта предполагать ошибку в идентификации или оценке, но это не означает сомневаться, т.е. колебаться. Гуссерль отмечает, что у Декарта «попытка универсального сомнения есть, собственно говоря, попытка универсального отрицания» [6. S. 64; 7. С. 98]. Однако, если быть точным, у Декарта речь идет все-таки о достоверных фактах обмана и о предположениях возможной универсализации: если иногда чувства нас обманывали, то следует предположить, что они обманывают нас всегда. Примечательно, что Декарт применяет к области восприятия аргумент, взятый из сферы человеческих отношений: «Благоразумие требует не доверять всецело тому, кто однажды нас обманул» [5. С. 336]. Однако то, что является благоразумным в отношении доверия к людям, не является благоразумным и даже просто разумным по отношению к данным восприятия. Если принять в качестве допущения, что чувства всегда могут нас обмануть, то тем самым теряется уверенность существования в жизненном мире. Чисто эпистемологическое допущение, которое может быть верным в сфере научного познания, является искусственным в жизненном мире. Игра Декарта, собственно говоря, на этом и построена: на смешении оснований научного знания и оснований жизненного мира. Главным средством этого смешения является сомнение, которое в жизненном мире означает совсем иное, чем в искусственных построениях Декарта, призванных обеспечить основу основ всех знаний и наук.

Находим ли мы аналогичное смешение у Гуссерля? Не использует ли Гуссерль также искусственную процедуру, а именно уже не сомнение, но *попытку сомнения*, чтобы перейти к основной процедуре метода – феноменологической редукции? Возможно, что любая попытка достичь абсолютного основания предполагает введение искусственных процедур, которые отличаются от мысленных экспериментов тем, что им приписывается абсолютный характер.

В «Логических исследованиях» (ЛИ) «картезианское сомнение» появляется лишь в Приложении (после шестого исследования), озаглавленном «Внешнее и внутреннее восприятие. Психические и физические феномены». При этом Гуссерль упоминает декартовское сомнение только в связи с проблемой очевидности внутреннего восприятия, но не в связи с основной процедурой метода, термина для которой он еще не нашел: «Как бы я ни расширял теоретико-познавательное сомнение, в том, что я есмь, и в том, что я сомневаюсь, и опять-таки в том, что я представляю, сужу, чувствую, и как бы еще ни обозначить внутренне воспринятые явления, в этом, когда я именно их переживаю, я сомневаться не могу» [8. S. 753]. Термины «эпохе» и «феноменологическая редукция» Гуссерль вводит в лекциях 1907 г. «Идея феноменологии». Именно здесь Гуссерль сопоставляет эти термины и их функции: сомнение Декарт вводит для одной цели, а нам нужно преобразовать картезианское сомнение для другой цели. При этом Гуссерль повторяет в целом приведенную выше аргументацию: «В каждом случае определенного сомнения несомненно достоверно, что я таким образом сомневаюсь. И так в каждом *cogitatio*. Как бы я ни воспринимал, представлял, судил, делал заключение и т.п., как бы ни обстояло дело с надежностью или ненадежностью, с предметностью и беспредметностью этих актов, в отношении акта восприятия абсолютно ясно и достоверно, что я воспринимаю то-то и то-то, в отношении суждения – что я сужу о том-то и о том-то и т.д.» [9. S. 30]. Гуссерль припи-

сывает это рассуждение Декарту и ставит задачу его «подходящим образом модифицировать». Модификация состоит здесь в том, что Гуссерль смещает акценты с *cogito* на *cogitatio*: если цель Декарта – показать очевидность своего существования, то цель Гуссерля – показать очевидность акта сознания. Более того, как видно из вышеприведенной цитаты из Приложения к ЛИ, Гуссерль смешивает два этих рассуждения: в одном ряду ставится очевидность собственного существования и очевидность актов сознания. Для Декарта решимость сомневаться означает радикализацию ряда предположений об обмане и заблуждениях до отрицания достоверности любых данных. Несомненным остается только Я: «Однако ведь есть какой-то обманщик, весьма могущественный и хитрый, который употребляет все свое искусство для того, чтобы меня всегда обманывать. Но несомненно, что я существую, если он меня обманывает; и пусть он меня обманывает, сколько ему угодно, он все-таки никогда не сможет сделать, чтобы я был ничем, пока я буду думать, что я нечто» [5. S. 342]. У Гуссерля таких рассуждений, разумеется, не найдешь, хотя косвенно введение «чистого Я» в Идеях I и его функции можно соотнести с незыблемостью картезианского Его. Гуссерль подчеркивает другое: каждый осуществляемый акт сознания несомненен как именно этот, а не другой. Как раз эти рассуждения Гуссерля сомнительны: можно быть убежденным, что сомневаешься, но эта убежденность ничего не говорит нам о самом сомнении как акте сознания, ни в чем не убеждает, кроме того, что мы обозначаем свое состояние словом «сомнение». На самом деле, может оказаться, что речь идет о предположении, или надежде, или даже об отрицании, как у Декарта. В самом деле, когда утверждают, что наше переживание сомнения несомненно, то речь может идти только о формальном, неконтекстуальном, если угодно, словарном понимании слова «сомнение», а также слов «восприятие», «суждение» и т.д. Чтобы объявить сомнение несомненным как опыт, необходимо хотя бы предварительно и приблизительно описать, в чем состоит этот опыт или переживание, если, конечно, следуя Гуссерлю, называть все акты сознания, во-первых, переживаниями, во-вторых, модусами некой сущности – сознания.

Когда Гуссерль пытается тематизировать сомнение как опыт, он вообще не затрагивает вопроса об эпохе и методе. В исследованиях так называемого пассивного синтеза сомнение тематизируется наряду с восприятием, отрицанием, возможностью, ожиданием, ассоциацией и т.д. При этом гуссерлевский анализ, с одной стороны, не выходит за рамки гилеморфизма и формального противопоставления значений слов, с другой стороны, основывается на явно нефеноменологической предпосылке возможности самотождественного комплекса ощущений: «Один и тот же состав гилетических данных есть общая основа двух наложенных [на нее] схватываний» [10. S. 34], которые «спорят» друг с другом. Вряд ли можно назвать удачным пример, с помощью которого Гуссерль иллюстрирует переживание сомнения: сначала мы принимаем видимое нами за человека, затем это становится сомнительным, и оказывается, что это восковая кукла. Или, наоборот, сомнение разрешается положительно: все же это человек. Согласно Гуссерлю, в сомнении конституируется «Disjunktivum „А или В“, в отрицании „не А, но В“, и далее в утверждении „не Не-А, но все же А“» [10. S. 38]. Этот пример, если и говорит о сомнении, то весьма непродолжительном и вовсе не обязательном при ошибочной иден-

тификации. Собственно говоря, само сомнение остается вне дескрипции, Гуссерль лишь фиксирует начало сомнения и его возможное разрешение, но не сомнение как состояние. Это состояние, как бы его ни понимали, действительно относится больше к пассивному, чем к активному синтезу. В этом кроется причина, почему Гуссерль, несмотря на апелляцию к декартовскому методологическому сомнению, не связывает сомнение как вид пассивного синтеза с эпохе: эпохе, по Гуссерлю, – это действие, которое всегда в нашей воле, это активный процесс, основная конфигурация метода. Однако первая формула – несомненность самого сомнения – остается заманчивой, и поэтому Гуссерль не отказывается совсем от «сомнения», путь к эпохе лежит теперь через попытку сомнения.

2. Сомнение и попытка сомневаться

Радикальное сомнение Декарта также можно, вслед за Гуссерлем, назвать попыткой сомнения. Однако общее название еще не говорит о тождестве. Декартовское сомнение – это предположение, доведенное до отрицания. Как раз последнего Гуссерль хочет избежать. Предположение не должно быть ни утверждением, ни отрицанием. (Сходство и различие с «Предположениями», или «Допущениями» (*Die Annahmen*) А. Мейнонга, – отдельная тема.) Полагая в качестве своего исходного пункта попытку сомневаться (но не сомнение как реальный опыт), Гуссерль открывает себе путь к эпохе: прежде всего, эпохе – это не утверждение тезиса, но и не его отрицание, эпохе – это его «выключение». Речь идет, собственно, не о реальной ситуации, в которой возникает колебание и нерешенность, но об искусственном предприятии сомневаться в том, в чем обычно не сомневаются. Если сомнение – это всем знакомый опыт, то попытка сомнения – это уже выход за пределы опыта. Собственно говоря, задача Гуссерля как раз и состоит в том, чтобы отвязать основную процедуру метода от какого бы то ни было человеческого опыта и в то же время представить эту процедуру как особый опыт, но не как понятийную конструкцию.

Всмотримся теперь внимательно в то, как Гуссерль вводит это понятие и этот термин – «эпохе». Каким образом достигается то, что обычный, всем известный психологический феномен сомнение через попытку сомнения превращается во всеобщее обоснование философской работы.

Гуссерль пишет, что универсальная попытка сомнения принадлежит к царству нашей совершенной свободы. Мы можем пытаться усомниться во всем, даже в том, в чем мы были твердо убеждены, в адекватной очевидности чего мы были всегда твердо удостоверены.

Затем Гуссерль предлагает нам поразмыслить, что заключается в этом акте сомнения. К сущности такого акта относится следующее: «Тот, кто пытается сомневаться, пытается сомневаться в каком-либо „бытии“, в том, что предикативно эксплицировано как „это есть!“ (*Das ist!*), „дело обстоит так“ и т.п. От вида бытия это не зависит. Тот, кто сомневается, имеет ли предмет, в существовании которого он не сомневается, такие-то и такие-то свойства, сомневается именно в наличии этих свойств. Это переносится, очевидно, с сомнения на попытку сомневаться» [6. S. 62; 7. С. 97]. Судя по всему, для Гуссерля сомнение и попытка сомнения не одно и то же. Исследователи творчества Гуссерля, насколько мне известно, не обращают внимания на это

различие, описывая гуссерлевское эпохэ с помощью приведенных выше метафор и образов, предложенных самим Гуссерлем (Гуссерль осознавал, что это образы): «выключение тезиса» «заклучение в скобки» и т.д. Но какова процедура, которая может быть так обозначена? Образ еще не есть опыт и метод.

В лекциях 1907 г., где Гуссерль впервые вводит термины «феноменологическая редукция» и «эпохе», различие между сомнением и попыткой сомнения не проводится. Термин «попытка сомнения» вообще отсутствует, речь идет о картезианском сомнении или о «рассуждении о сомнении» (*Zweifelbetrachtung*). Редукция понимается как выключение трансцендентного и достижение абсолютной данности в имманентном.

В Идеях I, как мы видим, такой термин вводится, и попытка сомнения (*Zweifelversuch*) служит у Гуссерля иной цели, нежели у Декарта. Мы не можем, утверждает Гуссерль, одновременно, «в том же самом сознании», сомневаться в каком-либо бытии, а проще говоря, в существовании какого-то предмета, и одновременно утверждать его существование, или, как выражается философ, «полагать субстрат этого бытия, осознавая этот субстрат как наделенный характеристикой „наличный”».

Гуссерль предлагает эквивалентную формулировку приведенного тезиса: «Мы не можем одновременно сомневаться и полагать достоверной ту же самую материю бытия (*Seinsmaterie*)» [6. S. 63; 7. С. 97]. «Материя бытия» означает здесь индивидуальный в его индивидуальной данности, если учесть, что для Гуссерля материя – это признак индивидуации. Но зачем понадобился этот термин? Почему философ не пишет: мы не можем тот же самый предмет полагать сомнительным и достоверным? На первый взгляд, это тождественные по смыслу выражения. Однако это не так. В данном случае Гуссерль делает акцент не на предмете, но на несовместимости актов: мы не можем одновременно сомневаться и утверждать существование того, на что направлено сомнение и утверждение или тезис. В попытке сомнения дело обстоит иначе, хотя у Гуссерля переход от сомнения к его попытке не очень четкий: «Точно так же ясно, что попытка усомниться в чем-то таком, что осознано как наличное, обуславливает определенное упразднение (*Aufhebung*) [значимости] тезиса; и как раз это нас интересует. Это не превращение тезиса в антитезис, утверждения в отрицание, это также не превращение в предположение, требование (*Anmutung*), в нерешенность, в сомнение (в каком бы то ни было смысле слова – это ведь даже не в нашей воле)» [6. S. 63; 7. С. 97]. Здесь отчетливо видно, что Гуссерль отличает попытку сомнения от сомнения, причем еще и в том, что попытка сомнения в нашей воле, а превращение попытки сомнения в сомнение не может быть осуществлено посредством свободного решения. Очевидно, что попытка сомнения – это искусственная процедура, и Гуссерль не делает из этого секрета. «Трудность выполнения феноменологической редукции, – отмечают известные авторы, – Гуссерль постоянно связывал с ее *неестественностью*» [11. S. 58]. Следует, однако, уточнить этот тезис. Трудность редукции не в ее неестественности, но в том, что неестественную конструкцию трудно затем соотносить с естественным опытом. Естественный опыт может быть трансформирован в нечто искусственное (сомнение – в методическое сомнение), но искусственное состояние нельзя превратить в естественное, какой бы решимостью мы не обладали.

Гуссерль продолжает: *«Скорее это есть нечто совершенно особенное. Мы не оставляем тезис, который высказали, мы ничего не меняем в своем убеждении <...>»* И все же он претерпевает определенную модификацию – тогда как в себе он остается тем, что он есть, мы полагаем его как бы «вне игры», мы «выключаем его», мы «заключаем его в скобки» [6. С. 63; 7. С. 97–98].

Однако, как это ни покажется странным, Гуссерль вовсе не утверждает, что попытка сомнения лежит в основе эпохе и даже связана с ним. Для него попытка сомнения – лишь лучшее средство выявить феномен «выключения»: «Нас не интересуют все аналитические компоненты попытки сомнения, и поэтому его точный и полный анализ. *Мы выхватываем только феномен „заключения в скобки“, или „выключения“,* который, очевидно, не привязан к феномену попытки сомнения, хотя может быть выделен из него особенно легко. Он может встретиться и в связи с другими [феноменами] и не в меньшей степени сам по себе» [6. С. 64; 7. С. 98–99]. Это рассуждение Гуссерля подобно внезапному скачку: Гуссерль ведет читателя к эпохе через попытку сомнения, но потом отказывается видеть существенную связь этих двух феноменов. Якобы феномен «выключения» и проч. может быть добыт иным образом. Но при этом не говорится, каким именно. Гуссерль утверждает, что «выключение» встречается и в других связях, но не проясняет, в каких именно. Кроме того, феномен «выключения» встречается, по Гуссерлю, и сам по себе, но мы не найдем описания этого феномена как такового.

Заключение

Введение «эпохе» в 1907 и 1913 гг. как основы феноменологического и философского метода вообще – важный момент на пути Гуссерля от феноменологии как дескриптивной психологии к чистой, или трансцендентальной, феноменологии. Место кантовского структурно организованного трансцендентального познания занимает нечто похожее на опыт и в то же время «нечто совершенно особенное», т.е. квазиопыт, опыт *als ob*, который в отличие от зигзагообразной рефлексии в ЛИ раз и навсегда должен перенести нас в сферу философской мысли. На этом пути выявляется характерная для феноменологического трансцендентализма попытка выйти за пределы опыта внутри самого опыта. Как и «чистое Я», эпохе предстает как своего рода «трансценденция в имманентном».

В том, что Гуссерль обозначил как эпохе, скрыты, конечно, элементы сомнения как реального опыта, но и от этих элементов Гуссерль в конце концов отказывается, «выхватывая» эпохе из опыта сомнения и трансформируя опыт в трансцендентальное условие опыта.

Литература

1. Heidegger M. Vorbemerkung des Herausgebers // Husserl E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917). Husserliana Bd. X. Haag : Martinus Nijhoff, 1966. 484 S.
2. Артеменко Н.А. Тематизация сферы пассивности в феноменологии Э. Гуссерля и проблема intersubjektiven мира // Вопросы философии. 2020. № 8. С. 193–203. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-8-193-203
3. Шнем Г.Г. Сознание и его собственник (Заметки) // Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М. : РОССПЭН, 2006. 624 с.
4. Kern I. Die drei Wege zur transzendental-phenomenologischen Reduktion in der Philosophie Edmund Husserls // Tijdschrift voor Filosofie, Katholieke Universiteit-Leuven, 24ste Jaarg. 1962. № 2. P. 303–349.

5. Декарт Р. Метафизические размышления // Избранные произведения. М. : Госиздат полит. лит., 1950. 711 с.
6. Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Den Haag : Martinus Nijhoff, 1976. Erstes Buch. Husserliana Bd. III/1. 476 S.
7. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / пер. А.В. Михайлова. М. : Академический проект, 2009. Кн. 1. 489 с.
8. Husserl E. Logische Untersuchungen. The Hague Boston ; Lancaster : Martinus Nijhoff, 1984. Bd. II. T. 2. Husserliana Bd. XIX (2). 958 S.
9. Husserl E. Die Idee der Phänomenologie. Den Haag : Martinus Nijhoff, 1973. Husserliana Bd. II. 95 S.
10. Husserl E. Analysen zur passiven Synthesis. Den Haag : Martinus Nijhoff, 1966. Husserliana Bd. XI. 437 S.
11. Bernet R., Kern I., Marbach E. Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. Hamburg : Meiner, 1996. 244 S.

Victor I. Molchanov, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation).

E-mail: victor.molchanov@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 5–14.

DOI: 10.17223/1998863X/60/1

EPOCHE AND EXPERIENCE: METAPHORS AND TERMS

Keywords: doubt; attempt at doubt; epoche; term; experience.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20–011–00842.

The article analyzes the way of introducing the terms “epoche” and “phenomenological reduction” denoting the basic procedure of the phenomenological method. Husserl’s attempt to present epoche as a special kind of experience is considered. The basic presupposition of the research is the difference between terms and experience, as well as terms and metaphors. The introduced terms with other terms that directly refer to intersubjectively available experience – “doubt” and “attempt at doubt” – are correlated. The distinction is made between terms and metaphors, or images (“put out of action”, “disconnexion”, “bracketing”, etc.), which are usually used to characterize the basic procedures of the phenomenological method. This kind of metaphors is seen as an obstacle to distinguishing between a term (“concept”) and the experience denoted by the term. The uncritical use of metaphors results, as a rule, in the interpretation of the meanings of terms in the commentary literature, rather than in the analysis of the experience they indicate. Descartes’ and Husserl’s different ways of transforming the experience of doubt for methodological purposes are considered. The introduction of “epoche” as the basis of the phenomenological method is assessed as an important moment on Husserl’s way to phenomenological transcendentalism, with its characteristic tendency to go beyond experience within experience itself. Just like the Cartesian Ego in the first edition of *Logical Investigations* turns out to be not “completely empirical” in Husserl, epoche appears as a certain mixture of the natural and the artificial. The transformation of the experience of doubt into an attempt of doubt serves as the main means of presenting epoche as a quasi-experience, as the *als ob* experience. What Husserl designated as epoche or phenomenological reduction contains the hidden elements of doubt as real experience; however, Husserl ultimately rejects these elements, “extracting” the procedure of epoche from the experience of doubt and transforming experience into a transcendental condition of experience.

References

1. Heidegger, M. (1966) Vorbemerkung des Herausgebers, In: Husserl, E. *Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917)*. The Hague: Martinus Nijhoff.
2. Artemenko, N.A. (2020) Thematisation of passivity in Husserl’s phenomenology and the problem of the intersubjective world. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 193–203. (In Russian). DOI: 10.21146/0042–8744–2020–8-193-203
3. Shpet, G.G. (2006) *Philosophia Natalis. Izbrannye psichologo-pedagogicheskie trudy* [Philosophia Natalis. Selected Psychological and Pedagogical Works]. Moscow: ROSSPEN.

-
4. Kern, I. (1962) Die drei Wege zur transzendental-phaenomenologischen Reduktion in der Philosophie Edmund Husserls (1962). *Tijdschrift voor Filosofie, Katholieke Universiteit-Leuven*. 2. pp. 303–349.
 5. Descartes R. (1950) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow: Gosizdat po-lit. lit.
 6. Husserl, E. (1976) *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. The Hague: Martinus Nijhoff.
 7. Husserl, E. (2009) *Idei k chistoy fenomenologii i fenomenologicheskoy filosofii* [Ideas for pure phenomenology and phenomenological philosophy]. Vol. 1. Translated from German by A.V. Mikhaylov. Moscow: Akademicheskii proekt.
 8. Husserl, E. (1984) *Logische Untersuchungen*. Vol. 2(2). The Hague /Boston /Lancaster: Martinus Nijhoff.
 9. Husserl, E. (1973) *Die Idee der Phänomenologie*. Vol. 2. The Hague: Martinus Nijhoff.
 10. Husserl, E. (1966) *Analysen zur passiven Synthesis*. The Hague: Martinus Nijhoff.
 11. Bernet, R., Kern, I. & Marbach, E. (1996) *Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens*. Hamburg: Meiner.

УДК 160.1, 165.0
DOI: 10.17223/1998863X/60/2

Л.С. Сироткина

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ: ЛОГИЧЕСКОЕ VS КОГНИТИВНОЕ?

Обсуждаются теоретические и прикладные проблемы формальной интерпретации логической процедуры. Автор предпринимает попытку разработки понятия логической процедуры как процессуальной единицы дискурсивного мышления на основе синтеза логического и когнитивного подходов. Обосновывается возможность расширения класса логических процедур включением в него действий с множествами, понятиями, системами понятий, высказываний.

Ключевые слова: логическая процедура, познавательная процедура, естественное мышление, логическое мышление, рассуждение.

Интеллектуальные процедуры с логическими конструктами (понятиями, высказываниями), составляющие основу рациональности, являющиеся неотъемлемой частью культуры мышления, базовой культуры личности, профессиональной компетентности, давно являются объектом внимания ученых, философов, педагогов (В.Н. Брюшинкин, Ф. Джонсон-Лэйрд, Дж. Дьюи, С.Ю. Маслов, Ж. Пиаже, Н.А. Подгорецкая, Д. Халперн, К.Д. Ушинский, др.). Психология, выполняющая дескриптивно-объяснительные функции, исследует «пошаговое» развертывание реальных мыслительных процедур, выявляет индивидуальные особенности и закономерности протекания мыслительных процессов, но не дает оценку их логической корректности и описание путей достижения логической нормированности их результатов. Современная (символическая) логика, рассматривающая в качестве логических только процедуры над высказываниями, а в качестве базового логического отношения – отношение выводимости, продуктивно исследует процедуры вывода и поиска вывода, но исключает из своего объекта значительное множество процессов, обращенных к другим логическим объектам и отношениям [1. С. 129]. Вместе с тем для обеспечения системного анализа процессуальной стороны мышления, для построения когнитивной модели логической деятельности познающего субъекта, для разработки образовательных ресурсов, направленных на выработку в границах индивидуальной рациональности корректных логических подструктур, принципиально важным является построение такой их теории, которая позволит насколько возможно наиболее полно отразить процессы решения самых разных познавательных задач, в основании которых лежит оперирование логическими конструктами. В статье нашла отражение предпринятая автором попытка построения фрагмента теории логических процедур (ЛП) как процессуальных единиц дискурсивного мышления.

Логическая процедура в формальной парадигме

Для логико-методологических работ характерны исследования отдельных логических процедур, направленные на их формализацию и анализ эпистемологического статуса (см., например: [2, 3]). В общем логико-

философском ключе проблему ЛП обозначил В.Н. Брюшинкин, предприняв попытку конструирования соответствующего понятия [4. С. 32]. Логической процедуре автор приписывает следующие признаки:

- ЛП является одним из видов познавательных процедур.
- ЛП всегда совершается в рамках конкретного языка.
- Объектом ЛП являются отношения логических форм высказываний, а целью – выявление данных отношений, обусловленных структурой принятого языка.
- Результатом ЛП является вывод как «развернутое изображение отношения логического следования» в виде последовательности формул.
- ЛП состоит из подсистем вывода и поиска вывода, которые в совокупности образуют действия, при помощи которых субъект познания исследует логические отношения между высказываниями языка.
- ЛП выполняется в соответствии с правилами преобразования выражений некоторой логической системы, сформулированной в принятом языке [4. С. 27, 29].

Перечисленные признаки позволяют автору определить ЛП как «последовательность действий субъекта познания с формулами (или множествами формул) формализованного языка или предложениями естественного языка, направленных на обнаружение отношений логических форм высказываний этого языка и выполняемых в соответствии с правилами некоторой логической системы, сформулированной в этом языке» [1. С. 130]. Важно подчеркнуть: ко множеству ЛП В.Н. Брюшинкин относит только процедуры, в основе которых лежат действия: а) с высказываниями языка, б) основанные на отношении выводимости одних высказываний из других.

Если принять предложенную В.Н. Брюшинкиным в рамках формальной парадигмы трактовку содержания понятия «ЛП» как экстраполируемую на иные области исследования, то необходимо принять ее следствия:

1. Никакие иные процедуры, кроме абстрагированных от субъекта процедур установления отношений между высказываниями в ходе поиска вывода, как логические не могут быть квалифицированы: в работе [5. С. 103] В.Н. Брюшинкин полностью «разводит» естественные мыслительные процессы и ЛП, обозначая проблему возможности моделирования первых логическими процедурами. Естественное мышление (ЕМ), в этом смысле, лишается принципиальной возможности осуществлять ЛП¹, а ЛП утрачивает познавательный характер.

2. Рассуждение как процесс, осуществляемый реальным познающим субъектом, не может быть признано логическим рассуждением как не состоящим из ЛП². Лишенное возможности производить ЛП, ЕМ утрачивает и принципиальную возможность обладать качеством логичности – широко используемое в науке понятие «логическое мышление» становится противоречивым и экстенционально пустым.

¹ Эмпирически это частично подтверждается тем хорошо известным в психологии фактом, что в режиме логической нормативности ЕМ работает крайне редко [6. С. 46].

² В качестве исключения, погрешив против методологических установок формальной трактовки ЛП, логическими можно было бы признать рассуждения, тождественные изолированной ЛП или некоторой их системе. Однако, как отмечают Е.А. Кротков и Т.В. Носова относительно методологии выведения следствий в формализованных языках, «едва ли эта методология может стать парадигмой аналитической работы человеческой мысли» [7. С. 144].

3. Многочисленные научные исследования (см., например: [8]) и образовательные ресурсы (см., например: [9]), в которых используется термин «ЛП» или его аналоги (в частности, «логическая операция», «логический прием» и т.п.), должны быть признаны недостаточно фундированными, поскольку их объекты к категории «ЛП» (или аналогичной) в рассматриваемой ее трактовке не могут быть отнесены, а иные трактовки не согласуются с принятой интерпретацией (см., например: [10. С. 606]) или не предлагаются.

Представляются, однако, имеющими основания следующие соображения, основанные на принятой В.Н. Брюшинкиным системной методологии анализа ЛП как познавательной процедуры:

1. ЛП, очевидно, должна рассматриваться как часть некоторого рассуждения или как самостоятельное рассуждение. Все ли рассуждения могут трактоваться как системы формально интерпретированных ЛП, направленных на поиск вывода? Как известно, Аристотель не проводил отождествления классов дедуктивных рассуждений и рассуждений, устанавливая между ними отношение включения. Существуют рассуждения разных типов, и классификации строятся по весьма различным основаниям [7. С. 143]. Однако для наших целей имеет значение осуществленная В.М. Сергеевым дифференциация рассуждений с точки зрения основного объекта, по отношению к которому производятся интеллектуальные процедуры. Автор отмечает, что если в основе выводов в точных науках лежат синтаксические преобразования текстов некоторой знаковой системы по определенным правилам, то в гуманитарных, как правило, рассуждения основываются на оперировании понятиями, их преобразовании, правилах соотнесения с теми или иными реальными или имевшими место ситуациями: в результате производимых процедур основной объект анализа – текст – описывается в иной, обобщенной системе понятий [11. С. 181–182], причем возможно получение более достоверного знания из менее достоверного [11. С. 188]. Можно ли квалифицировать соответствующие процедуры как логические? По оценке Сергеева, логика выводов в гуманитарных рассуждениях «является достаточно жесткой и может быть описана» следующим образом: основной операцией является преобразование понятий; центральным объектом логики рассуждений являются логические операторы (в частности оператор онтологизации), объект и результат действия которых – структуры знания; «убедительность создается не вследствие последовательности операций, а вследствие согласованности их результатов» [11. С. 182, 186]. Таким образом, существование таких рассуждений, которые, не предполагая построение вывода, основываются на логических отношениях объектов невысказывательного типа и соответствующих им логических процедурах, является очевидным [7. С. 144; 12. С. 12].

2. Реализация принятой В.Н. Брюшинкиным системной парадигмы требует обращения к субъектному уровню ЛП: носителем познавательных процессов и их составляющих является познающий субъект, что в своих работах неоднократно подчеркивал сам автор [4. С. 37; 5. С. 97–98, 100]¹. Обращение к субъектному уровню анализа предполагает выделение тех признаков ЛП, которые обуславливаются функционированием процессов ЕМ, и основывает-

¹ В.Н. Брюшинкин, правда, утверждал, что нет необходимости конструировать некий особый «логический субъект» [5. С. 97].

ся на допущении возможности ЛП в структуре естественных интеллектуальных процессов [12. С. 16; 13. С. 105, 107].

3. Прямые и косвенные подтверждения необходимости расширенного понимания множества логических процедур обнаруживаются в различных логико-философских и иных контекстах. В частности, в образовательной программе МГУ категорией «ЛП» обозначаются процедуры с понятиями, выдвижение и проверка гипотез, постановка и решение проблем и задач и др. [8]. В учебных пособиях по логике (В.Н. Брюшинкин, В.А. Бочаров и В.И. Маркин, Е.К. Войшвилло и М.Г. Дегтярев, Д.А. Гусев, Г. Тоноян и др.) обобщение, ограничение, деление понятий квалифицируются как логические операции. Проблема отношений совместимых понятий «ЛП» и «логическая операция» требует отдельного рассмотрения, однако сейчас можно сказать: практика научного и академического употребления термина «ЛП» свидетельствует об оторефлексированном или неоторефлексированном включении, например, процедур с понятиями в множество логических процедур.

Таким образом, имеются теоретические и прагматические основания не ограничиваться пониманием ЛП как формализованной процедуры над формами высказываний¹, а «вписать» исследование ЛП в более широкую когнитивистскую парадигму [14], не отрывая ЛП от познающего субъекта. На принципиальную возможность этого фактически указывал сам В.Н. Брюшинкин, который выделил два уровня ЛП: «базисный уровень ее представляет собой субъект-объектную структуру, связанную действиями субъекта по исследованию логических отношений; на уровне „внешних действий“ (семантики и синтаксиса языка) эта структура проявляется как динамическое взаимодействие двух подсистем: вывода и поиска вывода» [5. С. 100]. Как в таком случае может быть расширенно истолкована ЛП?

ЛП как познавательная процедура: сущность и признаки

Всякая процедура есть совокупность взаимосвязанных субпроцедур (операций, действий и т.п.), обеспечивающих достижение результата с искомыми параметрами. Серия ограничений понятия «познавательная процедура» позволяет задать множество логических процедур:

1. Множество познавательных процедур – широкий класс действий и операций, совершаемых над объектами принципиально различной природы. Предметной областью, на которой определены ЛП, являются логические формы мысли, выраженные в естественном или искусственном языке (класс, понятие, высказывание, умозаключение, теория).

2. Применительно к данным формам возможны процедуры их порождения и процедуры оперирования уже образованными логическими объектами. Следует ли относить первые к категории ЛП? Образование понятий и простых суждений основывается на анализе объектов внеязыковой природы посредством применения общетеоретических и эмпирических методов познания. В то же время образование, например, сложных суждений, умозаключений разных типов предполагает действия с логическими объектами и вне их невозможно. Очевидно, что вопрос о квалификации процедур порождения

¹ Полагаем, что предложенная В.Н. Брюшинкиным интерпретация определялась стоявшей перед автором научной задачей – исследовать процедуры поиска вывода.

дения логических форм мысли как не- или логических должен решаться в зависимости от типа конструируемого объекта и соответствующих ему типов действий.

3. При условии совершения ЛП в ЕМ и выражении процесса и результата в естественном языке используемые логические формы мысли, как правило, характеризуются некоторым содержанием. Действия, зависимые от содержания, не могут рассматриваться в качестве ЛП, объектом которых выступают логические – определяемые формой – свойства и отношения. Тогда ЛП – процедура, признаки которой определяются только эпистемологическим типом и формой объекта оперирования и не определяются его содержательными особенностями [12. С. 18].

4. Результатом выполнения ЛП является логический объект того или иного типа (понятие, отношение между понятиями, система понятий с установленной для них совокупностью отношений, отношение между высказываниями, высказывание как заключение рассуждения и т.п.), некоторая подсистема признаков которого обусловлена логическими характеристиками объектов мысли (именно она фиксируется в логических нормах).

Таким образом, ЛП – это система осуществляемых субъектом познания с использованием средств естественного или искусственного языка действий над логическими признаками логических форм мысли, направленная на конструирование (в процессе порождения или оперирования) логического объекта с характеристиками, обусловленными данными признаками. Полученная дефиниция является обобщением определения, предложенного В.Н. Брюшинкиным, и позволяет к категории логических отнести многообразные познавательные процедуры, осуществляемые как над высказываниями, так и над иными формами мысли, отразив широкий класс рассуждений, основанных на ЛП и осуществляемых как средствами формализованных, так и неформализованных языков.

Для корректного задания объема понятия «ЛП» необходимо сделать некоторые существенные уточнения:

1. Дефиниция подчеркивает обращенность ЛП к логическим признакам понятий, высказываний и т.д. Под ними понимаются признаки, определяемые только формами последних. А именно:

- для понятий: признаки объема как множества, предикатора как знака содержания;

- для высказываний: структура высказывания, качество и количество для простых, отношения между простыми в структуре сложного, вышеназванные признаки понятий, выступающих в качестве субъектов и предикатов простых высказываний;

- для умозаключений: отношения между посылками, все признаки посылок и заключения как высказываний, характеристики множества посылок.

2. Процедура над логической формой мысли в ЕМ может вести к получению логически нормированного результата, а может – к ошибке. Является ли она во втором случае логической процедурой? Если принять в качестве методологической предпосылки возможность для ЕМ осуществления ЛП и при этом принять факт возможности ошибки при выполнении процедур над логическими формами мысли, то нормативность не должна рассматриваться как неотъемлемый – сущностный – признак ЛП. Однако нужно учесть типы

деформаций ЛП в ЕМ: в случае, если объектом оперирования становится нелогический признак логической формы мысли (например, только содержание высказывания), то даже при отсутствии ошибок (в частности при сохранении нормативной формы полученного заключения и его истинности) процедура не может квалифицироваться как логическая. Например, при построении вывода из посылок: если победят республиканцы, то импичмент Д. Трампа не состоится; республиканцы победили – истинное «заключение» правильной формы (утвердительное категорическое высказывание) может быть получено только на основании знания известного факта февраля 2020 г. Ориентация на содержание, а не формы высказываний обнаруживается при анализе контекстов, заданных ложными высказываниями или включающими содержательно независимые или противоречащие друг другу предложения (например: если Гиппократ жил в 20 в., то Гераклит – в 19 в.; Гиппократ жил в 20 в.): при формулировании задачи построения вывода субъект мышления фиксирует невозможность ее решения. Возвращаясь к предложенной дефиниции ЛП, подчеркнем, что под «характеристиками, обусловленными логическими признаками», будем понимать такие, которые задаются общими нормами, описывающими форму результата процедуры, но не частными правилами, обеспечивающими его правильность или истинность. (При построении родовидового определения, например, полученное высказывание должно включать два понятия, соединенных явно выраженной или имплицитно заданной связкой, причем определяющее должно включать родовое понятие и видовое отличие; заключение условно-категорического умозаключения должно представлять собой простое высказывание, являющееся антецедентом / конsequentом имплицитивной посылки или отрицанием одного из них.)

3. Процедура над логической формой мысли, производимая с использованием естественного языка, может включать: процедуры интерпретации некоторого контекста как логической задачи (например, задачи поиска множества решений некоторой проблемы как логической задачи построения классификации); установления типа «требования» – типа логической задачи (например, поиска заключения); оценки произведенного действия. Специфика данных процедур состоит в том, что, обеспечивая актуализацию и функционирование ЛП в ЕМ, в качестве объекта они имеют не логические характеристики форм мысли, а некоторый интеллектуальный контекст в целом или саму процедуру поиска / конструирования логического объекта. Такие процедуры существенно отличаются от ЛП и могут быть обозначены как «металогические». Иными словами, производимая в ЕМ процедура над логическими формами мысли, помимо собственно ЛП, включает (может включать) металогическую составляющую¹ (К.А. Павлов называет некоторые «не-логические» аспекты интеллектуальной деятельности, в зависимости от которых находится выполнение ЛП, опознанием контекста [13. С. 108]).

4. Специфика естественного мышления состоит в экономичности использования интеллектуальных, в том числе языковых, ресурсов. Одним из проявлений экономичности мышления является максимально свернутое осу-

¹ Все множество процедур над логическими формами мысли делится на три подмножества: металогические – процедуры над ЛП и логическими формами мысли, логические – процедуры над логическими признаками форм мысли, нелогические – процедуры над прочими признаками логических форм.

существование многих мыслительных процессов за счет сокращения числа составляющих их процедур и упрощения структур самих процедур. Структурно тривиальной формой мыслительной процедуры является первично или вторично неосознаваемая операция (А.Н. Леонтьев). Большинство квалифицируемых как ЛП процедур в ЕМ являются первично неосознаваемыми операциями – такими, структура, область применения, функция которых никогда не осознавались субъектом мышления. В реальном мыслительном процессе такие процедуры обнаруживают себя как мгновенно производимые акты решения некоторой задачи, попытки рефлексии над которыми нерезультативны. В частности, при предъявлении двух высказываний, допускающих построение умозаключения по типу *modus ponens*, субъект в случае отсутствия факторов, препятствующих конструированию искомого высказывания (очевидной ложности посылок, отсутствия явной содержательной связи между антецедентом и консеквентом и др.), «мгновенно» воспроизводит консеквент имплицитивной посылки, отмечая очевидность искомого. Можно ли подобные процедуры относить к ЛП? Их особенность заключается в фактическом «усмотрении» решения, осуществляемом без осознаваемого субъектом обращения к анализу логических признаков логических форм мысли. Однако, как свидетельствуют данные развертывания таких процедур в различных контекстах, действие может производиться, по крайней мере, в двух формах: а) как «манипуляция» частями языковой конструкции (в частности, в *modus ponens* субъекты отмечают наличие повтора первой части условного предложения и, как следствие, необходимость тривиального повтора второй его части); б) как «мгновенное» установление связей между частями посылок – в данном случае в отличие от первого производимая процедура, очевидно, имеет характер логической.

Таким образом, к ЛП следует отнести широкий класс разнообразных познавательных процедур над множествами, предикаторами, понятиями, высказываниями, системами понятий, высказываний, в результате которых на основании оперирования логическими характеристиками перечисленных объектов (в том числе логическими отношениями высказываний) конструируется некоторый новый объект, признаки которого обуславливаются данными характеристиками: формальное обобщение и ограничение понятия, деление объема и классификация, подведение под понятие, конструирование сложных высказываний, деление сложных на простые, построение умозаключений различных типов и видов, проверка правильности умозаключения и т.п. При этом элиминируется противоречие, возникающее при формальной трактовке ЛП и ее категоризации как познавательной процедуры, снимается ограничение на применение категории «ЛП» в анализе реальных мыслительных процессов, открываются возможности применения к ЛП аналитических средств, позволяющих осуществить ее системный анализ как части процессуального компонента мышления.

Литература

1. Брюшинкин В.Н., Ходикова Н.А. Теория поиска вывода. Происхождение и философские приложения. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012.
2. Бойко А.П. Логический анализ структуры классификации : дис. ... канд. филос. наук. М., 1983.

3. Гетманова А.Д. Отрицания в системах формальной логики : дис. ... д-ра филос. наук. М., 1973.
4. Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1988.
5. Брюшинкин В.Н. Логика и процедуры поиска вывода // Логические исследования. М. ; СПб. : ЦГИ, 2010. Вып. 16. С. 85–105.
6. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб. : Питер, 2002.
7. Кротков Е.А., Носова Т.В. Классификация рассуждений // Модели рассуждений – 2: Аргументация и рациональность : сб. науч. ст. / под общ. ред. В.Н. Брюшинкина. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2008. С. 141–155.
8. Подгорецкая Н.А. Изучение приемов логического мышления у взрослых. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980.
9. Маркин В.И., Ильин А.А. Логические аспекты познавательной деятельности : учеб.-метод. комплекс. М. : МГУ, 2018.
10. Пиаже Ж. Логика и психология // Избранные психологические труды. М. : Междунар. пед. академия, 1994. С. 583–629.
11. Сергеев В.М. Когнитивные модели в исследовании мышления: структура и онтология знания // Интеллектуальные процессы и их моделирование / отв. ред. Е.П. Велихов, А.В. Чернавский. М. : Наука, 1987. С. 179–193.
12. Сорокина Г.В., Грифцова И.Н. Критическое мышление: конституирование основных идей // Критическое мышление, логика, аргументация : сб. ст. / под общ. ред. В.Н. Брюшинкина, В.И. Маркина. Калининград : Изд-во КГУ им. Канта, 2003. С. 8–29.
13. Павлов К.А. О концепциях логики и смысле моделирования «логических рассуждений» // Философский журнал / Philosophy Journal. 2009. № 2 (3). С. 93–117.
14. Сироткина Л.С. Логическая процедура и естественное мышление: когнитивистский синтез // Когнитивные исследования на современном этапе: материалы Всерос. конф. с междунар. участием по когнитивной науке. Архангельск : САФУ, 2018. С. 258–261.

Lyudmila S. Sirotkina, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation).

E-mail: lyusir.ru@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 15–23.

DOI: 10.17223/1998863X/60/2

EPISTEMOLOGICAL STATUS OF A LOGICAL PROCEDURE: LOGICAL VS COGNITIVE?

Keywords: logical procedure; cognitive procedure; natural thinking; logical thinking; reasoning.

The article contains the results of a study of logical procedures (LPs) as a variety of cognitive ones. The psychological and logical approaches to the analysis of LPs are differentiated. A logical and philosophical interpretation of LPs in the formal paradigm as a system of proof and proof-search (by Vladimir Bryushinkin) is discussed. The methodological and applied problems associated with this interpretation are formulated. In particular, a modeling relation between a formal LP and natural thinking procedures deprives the former of the status of a constructive element of cognitive processes. Moreover, natural reasoning loses the sign of logicity. The necessity of a system interpretation of LPs as a subject-object structure is substantiated. The LP concept is constructed through the restriction of the cognitive procedure concept. It is emphasized that: the LP object is logical forms of thought, the subject is their logical properties and relations; process and result are always expressed in some language; the result is a logical object. The LP is defined as a system of cognitive operations (carried out by a subject using a natural or artificial language) on logical signs of logical forms of thought, aimed at constructing a logical object with characteristics caused by these signs. The LP class is analyzed. Procedures for operating with logical objects and procedures for their generation are differentiated in it. The LP conceptual signs and the cognitive parameters of the thinking processes are correlated. The following procedures are eliminated from the LP set: metalogical procedures for interpreting a certain context as a logical task; intellectual operations on logical forms of thought with significant destructions of their macrostructures; pseudo-logical operations of human thinking based on the manipulations of language constructs. The article reflects the first part of a research on LPs. The second part will discuss the analysis of the structural characteristics of LPs, the problem of differentiation of normative and descriptive forms, the coverage of applied issues of the LP theory.

References

1. Bryushinkin, V.N. & Khodikova, N.A. (2012) *Teoriya poiska vyvoda. Proiskhozhdenie i filosofskie prilozheniya* [Inference Search Theory. Origins and Philosophical Applications]. Kaliningrad: Baltic Federal University.
2. Boyko, A.P. (1983) *Logicheskiy analiz struktury klassifikatsii* [Logical analysis of the classification structure]. Philosophy Cand. Diss.
3. Getmanova, A.D. (1973) *Otritsaniya v sistemakh formal'noy logiki* [Denials in Systems of Formal Logic]. Philosophy Dr. Diss. Moscow.
4. Bryushinkin, V.N. (1988) *Logika. Myshlenie. Informatsiya* [Logics. Thinking. Information]. Leningrad: Leningrad State University.
5. Bryushinkin, V.N. (2010) Logika i protsedury poiska vyvoda [Logic and procedures for finding an inference]. *Logicheskie issledovaniya – Logical Investigations*. 16. pp. 85–105.
6. Kholodnaya, M.A. (2002) *Psikhologiya intellekta. Paradoksy issledovaniya* [The Psychology of Intelligence. Research Paradoxes]. St. Petersburg: Piter.
7. Krotkov, E.A. & Nosova, T.V. (2008) Klassifikatsiya rassuzhdeniy [Classification of reasoning]. In: Bryushinkin, V.N. (ed.) *Modeli rassuzhdeniy – 2: Argumentatsiya i ratsional'nost'* [Models of Reasoning – 2: Argumentation and Rationality]. Kaliningrad: Immanuel Kant Russian State University. pp. 141–155.
8. Podgoretskaya, N.A. (1980) *Izuchenie priemov logicheskogo myshleniya u vzroslykh* [Learning the techniques of logical thinking in adults]. Moscow: Moscow State University.
9. Markin, V.I. & Ilin, A.A. (2018) *Logicheskie aspekty poznavatel'noy deyatel'nosti* [Logical Aspects of Cognitive Activity]. Moscow: Moscow State University.
10. Piaget, J. (1994) *Izbrannye psikhologicheskie trudy* [Selected Psychological Works]. Moscow: International Pedagogical Academy. pp. 583–629.
11. Sergeev, V.M. (1987) Kognitivnye modeli v issledovanii myshleniya: struktura i ontologiya znaniya [Cognitive models in the study of thinking: structure and ontology of knowledge]. In: Velikhov, E.P. & Chernavskiy, A.V. (eds) *Intellektual'nye protsessy i ikh modelirovanie* [Intellectual Processes and Their Modeling]. Moscow: Nauka. pp. 179–193.
12. Sorina, G.V. & Grifsova, I.N. (2003) Kriticheskoe myshlenie: konstituirovaniye osnovnykh idey [Critical thinking: constitution of basic ideas]. In: Bryushinkin, V.N. & Markin, V.I. (eds) *Kriticheskoe myshlenie, logika, argumentatsiya* [Critical Thinking, Logic, Argumentation]. Kaliningrad: Kaliningrad State University. pp. 8–29.
13. Pavlov, K.A. (2009) O kontseptsiyakh logiki i smysle modelirovaniya “logicheskikh rassuzhdeniy” [On the concepts of logic and the meaning of modeling “logical reasoning”]. *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 2(3). pp. 93–117.
14. Sirotkina, L.S. (2018) Logicheskaya protsedura i estestvennoe myshlenie: kognitivistskiy sintez [Logical procedure and natural thinking: cognitive synthesis]. *Kognitivnye issledovaniya na sovremennom etape* [Cognitive Research at the Present Stage]. Proc. of the All-Russian Conference. Arkhangelsk: North Arctic Federal University. pp. 258–261.

УДК 160.1, 165.0, 510.20
DOI: 10.17223/1998863X/60/3

А.В. Хлебалин

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-011-00301.

Исследуются трансформации эпистемологических характеристик социальной практики экспертизы математических результатов в связи с развитием компьютерной математики. Показано, что рост значимости полученных с помощью компьютера результатов приводит к существенной трансформации организации математического сообщества, практики осуществления экспертизы и верификации математических результатов. Аргументируется, что развитие программы универсальных оснований является наиболее перспективным направлением, претендующим предложить новые эпистемологические основания экспертизы и верификации математического знания.

Ключевые слова: социальная и эпистемологическая экспертиза, компьютерная математика, математическая практика.

Обсуждение эпистемологических характеристик результатов, полученных с помощью компьютера, – прежде всего, вопросов, связанных с его приемлемостью, обоснованностью, обозримостью и аргументативной силой, – инициируется, как правило, оппонентами вычислительной, или компьютерной, математики. Обсуждение эпистемологического статуса результатов, полученных с помощью компьютера, вызвано их явными несоответствиями классической модели математического знания. Обозначим ее как «наивную» на манер принятого обозначения канторовской теории множеств, специально отметив, что это обозначение не содержит никаких оценочных, а тем более уничижительных характеристик. Эта модель, а точнее обобщенная картина математического знания, является неким социально-историческим конструктом, представляющим собой соединение элементов различных концепций, отчасти заимствованных из эпохи поиска оснований математики, отчасти из кульминационных этапов развития математики в прошлом. Такая картина характеризует математику как исключительно дедуктивную, построенную на основе вывода теорем с помощью надежных правил из неproblemатичных аксиом, которые принято в этой картине характеризовать как «очевидные, не нуждающиеся в обосновании» положения. Истоки такой картины восходят к провозглашению «Начал» Евклида образцом математики. В этом смысле «наивная» концепция выполняла скорее декларативную, нормативную роль, чем описывала реальное развитие математики; здесь достаточно вспомнить классическую работу М. Клайна [1], представляющую развитие математики как все большее отдаление от провозглашенного образца, верность которому тщательно сохранялась, но практическая реализация которого постоянно откладывалась. Поэтому более правильным будет считать эту «наивную» концепцию скорее идеологией, чем теорией, направленной на описание и объяс-

нение реальной математической практики в тот или иной момент истории математики. В истории и философии науки широкое хождение имеет термин «виговская история науки», выражающий идеал науки как обреченного на прогресс, постоянного накопления знания. Аналогией этой идеологии может быть «наивная» концепция математики. Как и в случае с «виговской» концепцией развития науки, в случае с «наивной» концепцией математики невозможно вести речь о подлинном авторстве концепции; ее элемент можно обнаружить у большого количества авторов, даже среди тех, чьи воззрения были откровенно враждебны друг другу. Такая своего рода «дисперсия» и производит впечатление «естественности» или «наивности» идеологической концепции.

Применение компьютеров в верификации, а затем и в генерировании нового математического знания, очевидно, не укладывается в «наивную» идеологию. Сама характеристика таких результатов, как «экспериментальная математика» или «вычислительная математика», выражает те аспекты традиционной идеологии, которые нарушаются при использовании компьютера в математической практике. Например, существенная роль, которую играет конкретная машина и единичный или повторенный конечное количество раз случай реализации ею конкретной программы, привносит эмпирический элемент в математическое исследование, который вовсе не соответствует исключительно дедуктивному пониманию математики. Гигантские объемы математических результатов не позволяют рассчитывать на то, чтобы человек мог бы понять и проверить правильность полученного машинной результата. Компьютерная математика оказалась вызовом «наивной» идеологии математики. Идеологический накал обсуждения компьютерных результатов каждой из сторон – как сторонников, так и противников признания этих результатов как подлинно математических – очевиден. Например, явно угадывается идеологический элемент в провозглашении Дж. Хорганом «смерти доказательства» [2], так же как он угадывается и в предвидении В. Воеводским того, что через десять лет серьезный математический журнал не примет к публикации работу, к которой не будет приложен прувер. Этот идеологический накал дискуссии, на наш взгляд, не должен рассматриваться как обесценивающий ее. Напротив, для нас он указывает на происходящие существенные изменения в социальной практике принятия математических результатов. Изменения эти касаются трансформации как «карты математического знания», так и способов ее формирования и трансформации.

Возражения странника «наивной» идеологии против компьютерных математических результатов хорошо известны со времен осуждения доказательства теоремы о четырех красках, инициированного в философии математики Т. Тимошко [3]. Не углубляясь в саму эту дискуссию, просто отметим основные. Прежде всего, это необозримость компьютерных доказательств, их эмпирическая составляющая, которой мы обязаны машине и реализации ею программы, неприменимость к ним каких-либо когнитивных характеристик вроде «понимание». Действительно, статус таких доказательств проблематичен для «наивной» концепции математики. Как можно, например, всерьез говорить о понимании доказательства «булевых пифагоровых троек», если оно содержит в себе 200 терабайт данных? Ни о каком понимании или обозримости речь здесь не может идти в принципе. Проверка правильности ра-

боты программы, которая одновременно является и технической, и теоретической проблемой, осложняет процедуру верификации и принятия результаты работы компьютера как верного. Но даже если допустить существование абсолютно надежного, не вызывающего никаких сомнений средства верификации функционирования машины и верности совершенных вычислений, встает вопрос о том, готово ли математическое сообщество принять результат в качестве собственно математического?

Гигантские объемы компьютерного доказательства, вызывающие столь сильные претензии к их принятию, тем не менее, не являются следствием того, что компьютеры достигли таких мощностей, которые сделали возможным их применение в решении сложных математических задач. Сложность вычислительных результатов, на наш взгляд, является одним из аспектов усложнения математических задач в целом. «Человеческой» математике хорошо известны столь же сложные результаты, полученные без участия компьютера. Например, известная теорема о классификации простых конечных групп. Результат, полученный около ста учеными, публиковавшийся на протяжении практически пятидесяти лет и насчитывающий в общей сложности тысячу страниц, конечно, по своим «размерам» уступает полученному компьютером результату о булевых пифагоровых тройках, но не исчезает ли это различие в случае попытки обозреть и понять доказательство о конечных графах одним человеком? Иной пример, ставший также широко известным, — это случай с попытками доказательства Луи де Бранжем гипотезы Римана. Привлекший к этому случаю внимание не только математиков, но и посторонней публики К. Саббаг [4] не скрывает своего удивления тем, что коллеги пренебрегают проверкой превенции на решение знаменитой задачи. Среди факторов, приведших к столь неоднозначной ситуации, фигурируют сплошь социальные, связанные с нескрываемой конкуренцией за первенство в получении результата, апелляцией к неоднозначной репутации и пр. Но особенно интересной представляется ссылка на сложность доказательства: «Де Бранж сейчас заявляет, что решил другую проблему, гораздо более значимую, чем проблема Бибераха, и опять-таки решение найдено с помощью „совсем неожиданных источников“, и опять люди считают это заявление фантастикой. Так не придет ли математическое сообщество в очередной раз к признанию полученного им результата? Вряд ли, ибо никто так и не удосужился прочитать статью, насчитывающую 121 страницу, для того чтобы составить о доказательстве компетентное мнение. Поскольку де Бранж в своем доказательстве использует математические средства, экспертом в которых является он сам и немногочисленная группа математиков, прежде чем приступить к оценке самого доказательства, необходимо изучить огромный материал. А это требует слишком много времени. Даже немногие математики из тех, кто знает де Бранжа и понимает его метод, страшатся этого трудоемкого дела» [4. С. 113]. Предшествующий результат Л. де Бранжа, принесший ему славу, связанный с доказательством теоремы Бибераха, было, по выражению П. Сарнака, «абсолютно блестящим, по-настоящему великолепным» [4. С. 113], для верификации которого потребовалось несколько месяцев работы целой группы математиков Института математики им. Стеклова.

Л. де Бранж претендует на решение одной из самых известных «задач тысячелетия», которая также занимает весьма интересное положение на

«карте математического знания». Помимо невероятно богатой истории попыток ее доказать, гипотеза Римана лежит в основании большого числа математически результатов. Мнения математиков в отношении истинности гипотезы Римана полярны: наряду с большим числом математиков, верящих в ее истинность, есть и сторонники мнения А. Тьюринга, полагающие ее ложной. Аналогично существуют разные мнения о том, будет ли достигнуто когда-либо – а если будет, то какими средствами, – доказательство истинности или ложности гипотезы Римана. Э. Одлджко, один из авторов закона Монтгомери-Одлджко, так иронически характеризует вопрос о статусе гипотезы Римана: «Сказано, что, кто бы ни доказал истинность теоремы о распределении больших чисел, тот достигнет бессмертия. И верно: и Адамар, и де ля Валле Пуссен дожили до девяноста с лишним лет. Возможно, гипотеза Римана; но если кто-нибудь сумеет доказать ее ложность – найти нуль вне критической прямой, – то он умрет на месте и о его результате никто никогда не узнает» [5. С. 422]. Но статус недоказанной, пусть и существенно верифицированной вычислительными средствами, гипотезы не мешает большому числу математиков основывать на ней свои исследования. И по этому поводу Э. Одлджко высказывает опасения: «Как рецензент и редактор журналов я часто имею дело со статьями, начинающимися со следующих слов: „исходя из истинности гипотезы Римана“... Такие выражения никого не смущают; но страшно подумать, что нам делать со всем этим, со всеми присвоенными степенями и полученными грантами, если окажется, что гипотеза Римана ложна» [5. С. 431].

Эти иллюстрации можно продолжить; они явно демонстрируют, что уровень сложности современных проблем математики таков, что применительно ко многим из них вопрос об их верификации является проблематичным с позиции «наивной» концепции. Сложно ожидать в случае тех результатов, которые признаются сообществом «выдающимися» и «интересными», того, что типичный математик может их обзреть и понять. Признание таких результатов вроде доказательства теоремы Бибераха основано на компетентном мнении немногих признанных экспертов, порой целых коллективов экспертов. Институт математической экспертизы является очень сложным социальным институтом, и то, в какой степени он воплощает эпистемологические добродетели, предусмотренные «наивной» математической идеологией, является самостоятельным нетривиальным вопросом. То, что эта идеология не соответствует всему тому многообразию доказательства, которое характеризует математическую практику, даже если исключить из нее компьютерные математические результаты, очевидно и философам математики, и профессиональным математикам. Социологический фактор преодолевает несоответствие многообразия практики доказательства заявляемым «наивной» концепцией стандартам. Здесь нужно отметить исторический характер представлений о строгости доказательства, которые всякий раз кодифицируются определенной социальной практикой экспертизы и принятия результата, превышающей своим разнообразием декларируемые нормативные стандарты.

На фоне дебатов о соответствии многообразия математической практики стандартам «наивной» концепции поражает стремительный рост компьютерной математики. Имеется в виду не просто постоянно пополняющийся перечень результатов, полученных с помощью компьютера, а стремительность,

с которой вычислительная математика формирует «карту» компьютерного математического знания. От сообщений о получении очередного результата, сторонники компьютерной математики перешли к созданию библиотек вычислительной математики, основанию журналов, посвященных компьютерной математике.

«Наивная» концепция математики имплицитно предполагает математическую деятельность в качестве индивидуальной. Она по преимуществу и была такой на протяжении тысячелетия. Сами математики оставили огромное количество свидетельств о математическом творчестве как сугубо индивидуальном, зачастую предполагающем подлинный «уход от мира»: «Каждое утро я сажусь перед чистым листом бумаги. В течение дня, с коротким обеденным перерывом, я все смотрю и смотрю на чистый лист. Порой, когда наступает вечер, он все еще пуст. Два лета – 1903 и 1904 годов – останутся в моей памяти как период полного интеллектуального тупика... Вполне вероятно, что весь остаток моей жизни может пройти за разглядыванием этого чистого листа» (цит. по: [5. С. 427]). Это свидетельство из «Автобиографии» Рассела вполне типично; более плодотворные минуты творчества характеризуются также в индивидуальном стиле. Например, Э. Уайлс чуть ли не в мистических терминах описывает доказательство теоремы Ферма: «...иногда я понимал, что ничего из того, что было сделано раньше, не пригодится. Тогда я принимался за что-то совершенно новое; мистика, откуда это все приходило» [6].

Однако эта индивидуалистическая парадигма математического творчества была поставлена под сомнение еще в XVIII в.; напомним часто цитируемый пассаж из Д. Юма: «Нет такого алгебраиста или математика, который был бы настолько сведущ в своей науке, чтобы вполне доверять любой истине тотчас же после ее открытия или же смотреть на нее иначе, чем на простую вероятность. С каждым новым обозрением доказательств его доверие увеличивается, но еще более увеличивается оно при одобрении его друзей и достигает высшей степени в случае общего признания и одобрения всем ученым миром» [7. С. 266]. Приведенные выше примеры показывают, что рост сложности математических результатов, необозримость доказательства, коллективно оплаченные результаты вроде классификации конечных простых групп превращают социальную экспертизу в насущную проблему развития математики. Полученные с помощью компьютера результаты обычно рассматриваются как не подлежащие традиционным способам экспертизы, как воплощающие в себе все те характеристики, которые попросту делают ее невозможной. В наиболее острой форме проблема экспертизы полученных компьютером результатов приводит к противопоставлению «человеческой» и «компьютерной» математики, как, например, в широко известном заявлении, сделанном в 1979 г. де Милло, Липтоном и Перлисом, в котором утверждалось [8], что «математические доказательства увеличивают нашу уверенность в истинности математических утверждений только после того, как они были подвергнуты оценке социальными механизмами математического сообщества», а по поводу роста компьютерных доказательств, не подлежащих ей, авторы выражают озабоченность «символическим шовинизмом», передающим право экспертизы компьютерным программам.

Нам представляется, что широкое распространение компьютерных средств не только в получении или проверке математических результатов, но

и как средства организации математического сообщества не только позволит решать проблему экспертизы математических результатов, но и существенно изменит эпистемические характеристики социальной экспертизы. По-видимому, математическое сообщество первым и в наибольшей степени было трансформировано компьютерными средствами коммуникации. Речь идет не о банальном упрощении коммуникации между учеными. Появление таких интернет-платформ, как *mathoverflow*, *arXiv* (упомянем только наиболее известные, полный перечень таких интернет-сообществ невероятно большой и постоянно расширяется), претендует на самостоятельные структурные элементы «карты математического знания». Их особенностью является то, что они предоставляют возможность перманентной экспертизы на любом этапе математической деятельности. Зачастую они могут выступать как коллективные агенты математической деятельности. Далее, образование (и вновь нужно отметить постоянный рост числа) библиотек вычислительной математики, содержащих обширные коллекции математических результатов, полученных средствами отдельных языков программирования, представляет собой создание не имеющих аналогов структур баз данных, организующих коллективное математическое знание оптимальным способом (историки науки подчеркивают необычайное значение для развития науки изобретения библиотечного каталога; сложно предположить, какого масштаба будет стимул развития вычислительной математики в результате создания такой новой организации математического знания). Наконец, наиболее дискуссионный аспект компьютерного знания, связанный с верификацией необозримых компьютерных доказательств, также переживает существенно важный этап, связанный с разработкой теории унивалентных оснований, претендующей выступить не только в роли новых оснований математики [9], но и, в силу формализуемости, основанием компьютерной математики [10].

В самых общих чертах охарактеризованная трансформация математической практики, вызванная внедрением компьютеров как в организацию математического сообщества, так и непосредственно в математическую практику получения и верификации результатов, свидетельствует о том, что сама социальная практика экспертизы и закрепления математических результатов переживает революционные по своим масштабам изменения. В социологии науки и техники формируется новое направление – «social machine», связанное с исследованием трансформации социальных практик на основе возникновения в них кооперации человека и компьютера в самых различных областях деятельности. На наш взгляд, развитие компьютерной математики превращает практику современной математики в наиболее интересное поле исследований этого направления в силу как скорости происходящих изменений, так и их масштаба. Первые такого рода исследования убедительно демонстрируют глубину трансформации принятых социальных стандартов экспертизы и закрепления математических результатов в связи со все большим внедрением компьютера в математическую практику. На наш взгляд, наиболее интенсивные изменения математической практики производства и верификации знания будут связаны с дальнейшим развитием программы унивалентных оснований, претендующей выступить основанием как вычислительной, так и большей части математики.

Литература

1. Клайн М. Математика. Утрата определенности. М. : Мир, 1984. 446 с.
2. Horgan J. The death of proof // Scientific American. 1993. October. P. 93–103.
3. Tymoczko T. Computers, Proofs and Mathematicians: A Philosophical Investigation of the Four-Color Proof // Mathematics Magazine. May 1980. Vol. 53, № 3. P. 136–137.
4. Саббаг К. Странный случай Луи де Бранжа // Целищев В.В. Аномалии знания: идеи и люди. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. С. 83–107.
5. Дербишер Дж. Простая одержимость: Бернхард Риман и величайшая нерешенная проблема в математике. М. : Астрель : Corpus, 2010. 463с.
6. Wiles A.J. Interview on PBS (2000). URL: <http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/andrew-wiles-fermat.html>
7. Юм Д. Трактат о человеческой природе. М. : Канон, 1995. Кн. I. 379 с.
8. DeMillo R.A., Lipton R.J., Perlis A.J. Social processes and proofs of theorems and programs // Commun. 1979. ACM 22 (5). P. 271–280.
9. Pelayo A., Warren M. Homotopy type theory and Voevodsky's univalent foundations // Bulletin of the American Mathematical Society. 2014. Vol. 51, № 4. P. 597–648.
10. Voevodsky V. An experimental library of formalized Mathematics based on the univalent foundations // Mathematical Structures in Computer Science. 2015. Vol. 25, is. 5. P. 1278–1294.

Aleksandr V. Khlebalin, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: sasha_khl@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 24–31.

DOI: 10.17223/1998863X/60/3

EPISTEMOLOGICAL NORMS AND SOCIAL PRACTICES OF MATHEMATICAL PROOF

Keywords: social and epistemological examination; computer mathematics; mathematical practice.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00301.

The widespread use of computers not only in obtaining or verifying mathematical results, but also as a means of organizing the mathematical community, will allow solving the problem of examining mathematical results and will also significantly change the epistemic characteristics of mathematical knowledge as knowledge generated and verified individually. The emerging mathematical Internet platforms pretend to act as independent structural elements of the “map of mathematical knowledge”. They can often act as collective agents of mathematical activity. The creation of libraries of computational mathematics is the creation of unparalleled database structures that organize collective mathematical knowledge in an optimal way (historians of science emphasize the extraordinary importance of the invention of a library catalog for the development of science; it is difficult to imagine the scale of the stimulus for the development of computational mathematics as a result of the creation of such a new organization of mathematical knowledge). The most controversial aspect of computer knowledge, associated with the verification of boundless computer proofs, is also going through an essential stage associated with the development of the theory of univalent foundations. This theory claims to act not only as new foundations of mathematics, but also, due to its formalizability, as the basis of computer mathematics. The transformation of mathematical practice, caused by the introduction of computers both in the organization of the mathematical community and directly in the mathematical practice of obtaining and verifying results, indicates that the very social practice of examining and consolidating mathematical results is undergoing revolutionary changes in its scale. In the sociology of science and technology, a new direction of research is being formed – the social machine – associated with the study of the transformation of social practices on the basis of the emergence of human-computer cooperation in them. In the author's opinion, the development of computer mathematics turns the practice of modern mathematics into a most interesting field of research in this direction due to both the speed of the changes taking place and their scale. The first studies of this kind convincingly demonstrate the depth of the transformation of the accepted social standards of examination and the consolidation of mathematical results in connection with the

increasing introduction of the computer into mathematical practice. In the author's opinion, the most intensive changes in the mathematical practice of production and verification of knowledge will be associated with the further development of the program of univalent foundations, which claims to be the foundations of both computational and most of mathematics in general.

References

1. Kline, M. (1984) *Matematika. Utrata opredelennosti* [Mathematics. The Loss of Certainty]. Translated from English. Moscow: Mir.
2. Horgan, J. (1993) The death of proof. *Scientific American*. October. pp. 93–103.
3. Tymoczko, T. (1980) Computers, Proofs and Mathematicians: A Philosophical Investigation of the Four-Color Proof. *Mathematics Magazine*. 53(3). pp. 136–137. DOI: 10.1080/0025570X.1980.11976844
4. Sabbag, K. (2020) Stranny sluchay Lui de Branzha [The strange case of Louis de Branges]. In: Tselishchev, V.V. *Anomalii znaniya: idei i lyudi* [Knowledge Anomalies: Ideas and People]. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabelitatsiya”. pp. 83–107.
5. Derbyshire, J. (2010) *Prostaya oderzhimost': Bernkhard Riman i velichayshaya nereshennaya problema v matematike* [Prime Obsession: Bernhard Riemann and the Greatest Unsolved Problem in Mathematics]. Translated from English. Moscow: Astrel': Corpus.
6. Wiles, A.J. (2000) *Interview on PBS*. [Online] Available from: <http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/andrew-wiles-fermat.html>
7. Hume, D. (1995) *Traktat o chelovecheskoy prirode* [Treatise on Human Nature]. Vol. 1. Translated from English. Moscow: Kanon.
8. DeMillo, R.A., Lipton, R.J. & Perlis, A.J. (1979) Social processes and proofs of theorems and programs. *Commun. ACM* 22(5). pp. 271–280.
8. Pelayo, A. & Warren, M. (2014) Homotopy type theory and Voevodsky's univalent foundations. *Bulletin of the American Mathematical Society*. 51(4). pp. 597–648.
10. Voevodsky, V. (2015) An experimental library of formalized Mathematics based on the univalent foundations. *Mathematical Structures in Computer Science*. 25(5). pp. 1278–1294. DOI: 10.1017/S0960129514000486

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 316.42

DOI: 10.17223/1998863X/60/4

И.Б. Ардашкин, В.А. Суровцев

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН: К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 18-78-10082).

Анализируются смарт-технологии как феномен и понятие, что вызвано широкой практикой их распространения и недостаточным уровнем их рефлексии. Демонстрируется, что не всегда понятийный и феноменальный способы обозначения смарт-технологий совпадают. На примере англоязычной и русскоязычной культур обосновывается неточность понимания смарт-технологий в качестве «умных технологий». Выявляются две группы критериев, имеющих универсальное значение для смарт-технологий: технологический и поколенческий. В то же время доказывается, что и эти критерии могут менять свое содержание под влиянием ценностно-культурных и социальных факторов различных обществ и стран.

Ключевые слова: *смарт, смарт-технологии, критерии, понятие, феномен.*

Активное технологическое развитие в современном мире имеет существенные социальные, культурные и философские следствия, которые не всегда общество успевает вовремя осмыслить и оценить. Самые современные технологии, такие как смарт-технологии, как раз и представляют собой данный феномен, когда человечество вначале принимает и применяет последние, а лишь в процессе эксплуатации начинает разбираться с тем, что это такое и какие возможные последствия они могут иметь. В силу обозначенной причины и все более расширяющегося распространения смарт-технологий возникает необходимость осознания данного феномена, возможности его определения и выявления его ценности для человека.

Кроме того, дополнительным фактором исследования выступает тот аспект, что в отношении смарт-технологий не все страны и общества имеют одинаковый вклад и влияние. Есть страны и общества «первого эшелона», где были разработаны различные смарт-технологии и получили возможность наиболее активного и полноценного развития, но есть страны и общества «второго эшелона», которые выступают чаще всего в качестве пользователей (потребителей) уже созданных смарт-технологий либо пытаются создавать собственные аналоги последних, но по разным причинам не являются «переводчиками» в этих областях. Само понятие «смарт-технология» нуждается в осмыслении, поскольку в зависимости от того, где она была сгенерирована и где применяется, может меняться его коннотация и характер понимания.

Особенно такое свойственно для стран «второго эшелона», где данное понятие заимствовано из другого языка, а сам феномен в контексте языковой и социокультурной среды не сформировался, а автоматически появляется по факту приобретения смарт-технологии (смарт-технологий). Подобное требует осуществления понятийного анализа в отношении применяемой дефиниции как в контексте того языка, в котором рассматриваемый термин возник, так и в рамках того языка, где он применяется (в рамках статьи речь пойдет о русском языке).

И еще один актуальный и проблемный аспект, вытекающий из постановки проблемы. Смарт-технология (смарт-технологии) – это понятие, которое образовано посредством присоединения слова «смарт» к слову «технология». Такого рода словообразование сегодня активно распространяется, поскольку предполагается, что прибавление понятия «смарт» к любой вещи, процессу, технологии, даже к человеку и обществу несет в себе существенный смысл. Можно сказать, что подобное словообразование предполагает формирование определенного онтологического измерения, которое меняет сущность и способ функционирования той вещи, процесса, технологии, даже человека и общества. И данные трансформации носят не только онтологическое измерение, но также и гносеологическое, аксиологическое, праксиологическое [1–4]. В связи с этим не менее важно понять, а чем обозначенные измерения с приставкой «смарт» отличаются от своих аналогов без указанной приставки, каковы критерии, на основании которых одни феномены мы называем смарт, а другие нет.

Представленный круг аспектов выражает предметное и проблемное поле исследования, которое авторы постараются осветить в рамках данной статьи. Вряд ли в объеме одной публикации получится полностью ответить на поставленные вопросы, но наметить основные подходы к их осмыслению вполне по силам.

Смарт-технологии представляют собой высший уровень технологического развития. Под это понятие можно подвести все самые современные технологии, которые базируются на основе информационных технологий. По этой причине сюда можно включить помимо собственно информационных информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые технологии, конвергентные технологии, NBICS-технологии, усовершенствованная инфраструктура учета (Advanced Metering Infrastructure (AMI)), интернет вещей (Internet of Things) и другие технологии [3]. Специфика смарт-технологий заключается в том, что они глубоко интегрируются в индивидуальные, социальные, культурные пространства человека, меняя характер его восприятия мира, коммуникации с ним, а также ценностные приоритеты последнего. Подобные трансформации настолько существенны, они кардинально влияют на характер сознания, познания и поведения, способы его хозяйственной деятельности, институты образования, здравоохранения, безопасности и т.д.

Человек, с одной стороны, активно применяет смарт-технологии, с другой стороны, в процессе эксплуатации последних испытывает определенные проблемы, осознавая не только позитивные, но и негативные последствия их применения. Об этом активно говорят зарубежные исследователи, особенно учитывая тот опыт активного и зачастую неосмотрительного применения смарт-технологий, который они наблюдают в своих странах. В частности,

норвежский исследователь С.Э. Бибри говорит о рисках и возможных негативных следствиях развития смарт-технологий на примере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и таких их форм, как AmI (Advanced metering Infrastructure (усовершенствованная инфраструктура учета)) и IoT (Internet of Things, Интернет вещей). Он пишет, что «фокус концепции устойчивого информационного общества (ИКТ и его достижения, такие как AmI и IoT) может привести к занижению или недооценке негативных последствий разработки новых технологических ландшафтов, необходимых для того, чтобы европейское общество и экономика были „более смарт“ устойчивыми. Предвзятость в стратегических интересах может привести к упущению альтернативных возможностей многообещающего устойчивого экономического и городского развития. Возможно, существует риск того, что слишком большая конвергенция в отношении AmI и IoT будущего социального мира может в конечном итоге исключить альтернативные представления об экологической устойчивости как подсистеме общества» [5. Р. 207].

В каком-то смысле риски, связанные с использованием смарт-технологий, обусловлены тем, что данный феномен недостаточно исследован и исследователи по-прежнему больше уделяют внимания тем преимуществам, которые они дают, а не тем возможным рискам и негативным следствиям, которые последние несут. Тот же С.Э. Бибри, подчеркивая необходимость изучения рисков использования AmI (Advanced metering Infrastructure), в то же время акцентирует внимание на тех преимуществах, которые они могут дать. Он указывает, что «с точки зрения здравоохранения и социальной поддержки, AmI предоставляет возможности для поддержки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями: это „реагирующая и проактивная среда, которая обеспечивает легкое участие человека в управлении собственным здравоохранением“ и „позволяет осуществлять дистанционный мониторинг активности и физическое благополучие и электронное включение для людей с ограниченными физическими возможностями“. В целом AmI обладает огромным потенциалом для кардинального преобразования функционирования системы здравоохранения» [5. Р. 198].

Тем не менее сам по себе феномен смарт-технологий, как это ни странно, больше используется «вслепую», нежели достаточно изучен, что требует исправления.

Можно констатировать, что в настоящий момент единого и универсального определения смарт-технологий еще не сложилось, так же как нет и общего набора подходов к интерпретации данного понятия и феномена. У авторов есть предположение, что такой единой и универсальной дефиниции и не возникнет. По разным причинам.

Существует множество факторов, согласно которым смарт-технологии можно было бы свести к общему основанию. Возможно, в технологическом плане это и реализуемо, но в социальном и культурном планах вряд ли. Даже само употребление понятия «смарт-технология» («смарт-технологии») имеет существенные различия в отечественной и иностранной литературе. Использование его в таком виде (в качестве обобщающего термина) наиболее часто встречается в отечественной литературе, в зарубежной литературе такое употребление крайне редко. Там чаще всего используется упоминание какой-то конкретной технологии, процесса, вещи с приставкой «смарт». Трудно одно-

значно определить, чем обусловлено такое употребление терминологии. Можно лишь предположить, что поскольку в тех странах и обществах, где появились первые образцы смарт-технологий, они выступали не как новый обобщенный тип технологий, а как конкретное усовершенствование имеющихся технологий, позволяющее добиться новых возможностей для своего предшественника. Поэтому чаще в зарубежной литературе мы встречаем понятия «смарт-квартира», «смарт-дом», «смарт-учебник», «смартфон», «смарт-город», «смарт-туризм» и т.д., чем некое обобщенное понятие «смарт-технологии».

Такой конкретный способ понимания феномена современных технологий подтверждается пусть редким, но иногда встречающимся употреблением понятия «смарт-технология» («смарт-технологии»). Хорошим примером, демонстрирующим сказанное, является статья М. Шабо, Л. Делавэра, С. Маккарли, С. Литтла, А. Ная, Э. Андерсона, посвященная возможностям смарт-технологий в организации помощи жизни пожилых и больных людей в случае, когда последние вынуждены оставаться в домах и квартирах и не выходить за их пределы. И в статье в ее названии присутствует понятие «смарт-технология» («смарт-технологии»), но речь идет о конкретных технологиях, а не о смарт-технологиях вообще. В частности, авторы упоминают переносные технологии (датчики, приборы, сенсоры, которые прикрепляются к человеку для постоянного контроля параметров его здоровья (wearable technology)), информационно-коммуникационные технологии (Information and Communication Technologies), технологии умного дома (Smart Home Technology) [6].

Получается, что использование обобщенного понятия «смарт-технология» («смарт-технологии») в данном случае обусловлено лишь выбором определенной группы людей – тех, кто по причине возраста или здоровья вынужден оставаться в жилых помещениях, не выходя наружу. Поэтому, с одной стороны, употребляется обобщенное понятие, но с другой стороны, оно ориентировано на ключевые параметры той аудитории, для которой собственно и используется. Это хорошо видно из следующего отрывка: «Смарт-технологии в настоящее время бывают разных форм и выполняют различные функции. В то время как смарт-технологии на рынке диверсифицируются ежедневно, в литературе есть отдельные категории, которые влияют на повседневную жизнь пожилых людей. Эти смарт-технологии включают сенсорные системы с анализом предсказуемости, переносные технологии, информационно-коммуникационные технологии и технологии умного дома. Независимо от типа смарт-технологии связаны с сохранением независимости, поддержанием здоровья, снижением падений, ранним выявлением хронических заболеваний, снижением количества госпитализаций и уменьшением количества посещений домов престарелых» [6. Р. 233].

В отечественной литературе мы чаще сталкиваемся с обобщенным употреблением понятия «смарт-технология». Следует уточнить, что это не значит отсутствие применения понятий, обозначающих конкретные смарт-технологии (смарт-образование, смарт-город, смарт-дом и т.д.), но, возможно, является, по мнению авторов, способом компенсации недостаточной представленности, недостаточной развитости, неаутентичности, недостаточной степени рефлексии относительно данного феномена в нашей стране. Даже само понятие «смарт-технология» является полностью заимствованным из иностранного языка и используется у нас исключительно посредством бук-

вального перевода с английского на русский, что также, с точки зрения авторов статьи, существенно осложняет понимание того, что это за феномен и чем он отличается от традиционных технологий.

Понятие «смарт-технология» в отечественной литературе понимается как умная технология, поскольку слово «смарт» в качестве одного из своих значений при переводе с английского языка имеет значение «умный». Но насколько это соотносится с теми смыслами, которые имеются в отношении данного значения в русском языке и русской культуре, насколько это коррелируется со значением указанного слова в английском языке и культуре? Что мы хотим сказать, когда характеризуем технологию как «умную», что мы вкладываем в такое значение?

Лучше, пожалуй, начать с последнего вопроса. Собственно, такой вопрос не имеет какой-то сложной загадки, поскольку любые технологии, технику, орудия труда человек разрабатывал с целью «облегчения» собственной трудовой активности, в частности и жизнедеятельности в целом. Чем больше функций выполняла технология, тем большей ценностью она обладала. В идеале человек вообще хотел бы создать такую технику и технологии, которые полностью помогли бы ему заменить себя в процессе трудовой деятельности.

При этом здесь возникает другой, по сути, философский вопрос о том, во всех ли своих функциях и проявлениях человек согласен на собственную замену технологиями, смарт-технологиями. Хотел бы он, чтобы его заменяли технологии в тех аспектах, которые ему сами интересны, актуальны и ради которых, собственно, человек живет. Очевидно, что на такой вопрос не может быть универсального ответа, поскольку ответы будут носить исключительно индивидуальный характер. И также аксиоматически на такой вопрос должен быть дан отрицательный ответ, так как то, что человек считает для себя самым ценным, не может быть заменено роботами, технологиями или еще чем-нибудь (или кем-нибудь).

Собственно, использование составляющей «смарт» призвано в идеале уровнять технологию с человеком, по крайней мере в конечном результате. Именно этот формат имеется в виду, когда речь заходит о смарт-технологиях. Не случайно их и переводят, как «умные» технологии. Но в английском языке слово «умный» имеет не только аналог в виде слова «smart», здесь есть еще другие термины, которые можно перевести как умные, например слова «intelligent» («intelligence») и «clever» («cleverness»). Тогда возникает вполне естественный вопрос: почему для обозначения технологий в качестве «умных» используется понятие «smart» («smartness»)?

Обратимся к электронной версии Оксфордского словаря английского языка. Согласно словарю слово «smart» имеет следующие значения: «чистый, аккуратный, хорошо одетый», «привлекательно, аккуратно, стильно», «яркий, свежий на вид», «модный, престижный», «наличие или проявление сообразительного интеллекта», «проявление наглости посредством умных или саркастических замечаний», «запрограммирован так, чтобы быть способным к некоторым независимым действиям», «быстрый, юркий» [7]. Как видно из переводных значений коннотации «умный» в чистом виде нет, либо речь идет о наличии и проявлении сообразительного интеллекта, либо о проявлении наглости через умные или саркастические замечания. Наоборот, более упо-

требуемые коннотации термина «smart» – это значения «чистый», «аккуратный», «привлекательный», «яркий», «свежий», «модный», «престижный».

Слово «intelligent» в этом же словаре обладает следующими значениями: «наличие или проявление интеллекта, особенно высокого уровня», «возможность изменять свое состояние или действие в зависимости от меняющейся ситуации и прошлого опыта» (для приборов и зданий), «включающий микро-процессор и имеющий собственные возможности обработки» (для компьютерного терминала) [7]. Исходя из рассмотренных значений, видно, что именно эти коннотации лучше всего подходят для того, что исследователи вкладывают в понятие «смарт-технологии».

Слову «clever» в электронной версии Оксфордского словаря английского языка свойственны такие коннотации: «быстро понять, изучить, разработать или применить идеи; умный», «умение делать или достигать чего-то; талантливый», «проявление мастерства и оригинальности; изобретательный», «разумный; рекомендуемый» (неформальное, обычно с негативом), «здорово или хорошо» (британский неформальный предикат с негативным оттенком) [7]. И здесь можно также наблюдать, что значения слова «clever» вполне хорошо подходят для выражения коннотаций, используемых при характеристике «смарт-технологий».

Все значения «intelligent» и «clever», которые больше подходят для описания сущности «смарт-технологий», относятся в основном к области русского языка и близки по содержанию значению слова «умный», по крайней мере, тому значению, которое сегодня мы связываем с этим словом. Но в контексте английского языка применение слова «smart» относительно технологий в значении «умный» и в контексте проведенного анализа значений слов, представляющих в английском языке коннотацию «умный», выглядит достаточно искусственно и притянuto.

Иными словами, в контексте английского языка обозначение технологий в качестве «smart» не обязательно значит в эквиваленте русского языка «умные». Авторы не одиноки в такой трактовке слова «smart», некоторые исследователи также отмечают тот момент, что «умность» не является их ключевой и приоритетной характеристикой. Так, Н.В. Днепровская, Е.А. Янковская, И.В. Шевцова полагают, что «в английском языке существует, по крайней мере, два других общеупотребительных слова, обозначающих признак обладания умом – „clever“ и „intelligent“». Из всех трех слов, обозначающих ум, наиболее глубоким смыслом обладает слово „intelligent“. Именно оно обозначает способность делать глубокие выводы, а также некоторую изначальную (inborn, inherent) способность к рациональному мышлению и поведению. В то же время „smart“ – понятие более „поверхностное“, иногда используемое даже с саркастическим оттенком. Смарт здесь не только обозначает способность к совершению интеллектуальных действий, но и внешнюю красоту, именно поэтому так хорошо работает понятие смарт применительно к различным гаджетам: оно выражает представление о связи между эстетикой, эргономикой и интеллектуальными функциями» [8. С. 46].

Конечно, характеристика «смарт» не исключает приписывания определенной разумности технологиям, а следовательно, некоторой человеко-заменимости. В английском языке «разумность» и «умность» не различаются, поскольку они выражаются в относительно близких по значению коннотаци-

ях разных слов (*mind, intellect, reason, nous*) и предстают как взаимозаменяемые. Например, «*mind*» – это «*a person's ability to think and reason; the intellect*» [7]. Или «*nous*» – это «*the mind or intellect*» [7]. Или «*reason*» – это «*the power of the mind to think*» [7].

В русском языке понимание и способ применения указанных понятий сильно отличается, что существенно осложняет применение заимствованных понятий, тем более когда они представляют собой феномен, также не имеющий своих корней в нашем языке и культуре. Авторы хотят сказать, что «ум» и «разум» в отечественной культуре и языке – это далеко не одно и то же. Получается, что в контексте английского языка использование слов «умный» и «разумный» не будет существенно в смысловом плане. Неважно, назовем мы технологии «умными» или «разумными», это будет означать нечто схожее. Но в рамках русского языка такое словоупотребление будет значительно отличаться. Даже на интуитивном уровне восприятия начинаешь улавливать, что «разум» – это нечто «холодное», «внешнее», «абстрактное», «мертвое», «механическое», тогда как «ум» – это что-то «теплое», «близкое» (внутреннее), «конкретное», «живое», «всемирное» и т.д.

Интуитивное различие «ума» и «разума» как в русском языке, так и русской культуре достаточно полно проанализировано. И один из способов дифференциации этих понятий очень хорошо обозначил М.В. Загребин. Согласно данному исследователю, «деятельностный, диалектико-материалистический подход рассматривает понятие „ум“ в двух значениях. Первое (априорное) гласит: ум – понятие, обозначающее врожденные способности к определенному виду мышления (например, к математике). Второе значение (апостериорное) утверждает: ум – понятие, выражающее способность к овладению способами организации и регулирования мышления в целях познания и коммуникации. С учетом последней значимости понятие „ум“ можно разделить на три вида: предрассудок, рассудок и разум» [9. С. 24–25]. То есть «ум» в отечественной традиции понимается как нечто более существенное, неформализованное, с элементами интеллекта, но при этом живая и немеханически проявляемая способность человека.

Более того, для отечественной традиции «ум» – это способность, которую не всегда следует проявлять, особенно когда речь идет о социальной иерархии. Если вы вдруг начинаете демонстрировать свой «ум» перед человеком, который занимает более высокий социальный статус, то этого лучше не делать. Отсюда постоянное опасение проявить свои умственные способности. Особенно ярко такую специфику коннотации слова «ум» демонстрирует название литературного произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Кстати, в связи с таким положением дел и возникает понимание ума как «заднего ума». Составитель толкового словаря русского языка В.И. Даль отмечал в своем труде такую особенность. Как пишет В.В. Колесов, «русский ум особенный. В.И. Даль говорит о нем как о заднем уме. Русский человек „задним умом богат“. Можно подумать, что задний ум всегда отстает от уже совершенного дела или испытанного чувства – осмысляет „задним числом“ событие. Однако этнографы XIX в. показали, что в русском представлении задний ум объясняется скудостью специальных знаний, недостатком достоверной информации и даже отсутствием разделения труда. Современное о нем представление „как итог, который русский человек подводит в результате самоана-

лиза“, делает упор на рефлексию „самоедства“ и привязано к узко интеллигентскому пониманию дела... *Задний ум* у самого Даля, скорее, соответствует общему смыслу слова *задний* – то, что следует *потом*, а не *сзади* (*задним умом догадлив* – только после природных ощущений и чувства)» [10. С. 84].

Все это лишний раз подтверждает, что приращение слову «технология» («технологии») составляющей «смарт» в значении «умная» в рамках русского языка – не самый подходящий способ как перевода, так и выражения соответствующего смысла.

Тем не менее, несмотря на эти особенности культурно-языковых аспектов, «смарт-технологии» у нас понимаются как «умные технологии», и подобный способ их интерпретации уже вряд ли переломить. Другое дело, что такое несовпадение социокультурных аспектов понимания того, что предполагает характеристика «умный» в отечественной и западной традициях, существенно меняет характер их создания и эксплуатации, что очень хорошо демонстрирует практика применения смарт-технологий (например, в России). Получается своеобразная амбивалентность, когда люди не доверяют смарт-технологиям, поскольку их «умность» связана с отношением к такому качеству человека как «ум» в качестве «заднего ума» (для технологии не важен по определению социальный статус того, кто является основным ее пользователем), и в то же время на смарт-технологии возлагают большие задачи, полагая, что с их помощью можно кардинально что-то улучшить в жизни общества (например, национальная программа «Цифровая экономика РФ»).

В этом случае важно понимать, что для любой технологической трансформации при условии соблюдения ее социальной полезности важно не только наличие самих технологий, соответствующего уровня образования (инженерного образования), финансово-экономических ресурсов, но соответствующих этим трансформациям ценностных ориентиров и уровня социальных отношений [11]. А учитывая, что формат «смарт» (даже вне зависимости от того, будет он пониматься как «умный» или как-то иначе (например, гибкий, быстрый и т.д.)) связан с формированием нового измерения реальности, он наиболее остро нуждается в ценностных основаниях, поскольку именно последние во многом определяют характер человеческого сознания и поведения. Без соответствующей аксиологической составляющей сам по себе феномен смарт-технологий может быть не только определен иначе, чем можно было бы это сделать, но и применен исключительно технологически, опуская все социальные и культурные нюансы.

Пользуясь образом понимания «ума» как «заднего ума» (особенно применительно к технологиям), несложно представить, к чему последствия такого использования смарт-технологий могут привести. Особенно это хорошо видно на примере смарт-образования, той смарт-технологии, которая в нашей стране достаточно активно внедряется и используется. Как пишут Л.Г. Королева и А.В. Сухоруких, «инновационные стратегии российского образования, декларационно оставаясь гуманизирующими, направленными на формирование личности, продолжают определяться преимущественно краткосрочными маркетинговыми решениями, в числе которых – ускоренный переход „на цифру“. Система образования всячески нивелирует «человеческий фактор» ради операционно-нормативных приоритетов. Наряду с этим на второй план парадоксально уходит концептуальный базис онтологических презумпций

самого человека как феномена антропо- и социогенеза и, следовательно, аксиологических категорий его становления в этом качестве – т.е. всех гуманистических оснований образовательного процесса, сформированного обществом на сегодняшний день и формирующих, в свою очередь, антропологический вектор культуры, морали и гнозиса» [12. С. 382].

Рассматриваемая двойственность в отношении смарт-технологий указывает на одну очень любопытную деталь. Получение не тех результатов, на которые люди рассчитывают в случае применения последних, не является следствием самих технологий. Как не «вина» технологий, что их не так применяют. Результаты, которые получаются в качестве следствия такого их использования, есть проявление неготовности, прежде всего, самих людей, в первую очередь, неготовности аксиологической, потому что неспособность придать ценностное измерение любой вещи, технологии, живому существу влечет соответствующее отношение. Если для кого-то человек не представляет собой важную ценность, то никакими технологическими (смарт-технологическими) разработками это исправить нельзя. Поэтому зачастую в отечественной практике самые современные технологии не приносят того результата, потому что российское общество не сформировало соответствующих оснований (прежде всего, аксиологических).

Для смарт-технологий аксиологические основания важны вдвойне по отношению к технологиям традиционным, поскольку их телеологическое предназначение связано не просто с человеком, а с фактически достигнутыми способами его замены во многих сферах и ситуациях. А при таком формате использование последних требует еще большей ответственности и внимания, поскольку им предстоит самостоятельное и длительное функционирование. Как ранее при исследованиях информации как феномена и понятия возникал вопрос о ценности последней для человека, а не только о ее количестве и способах поиска, хранения, обмена и т.д., так и сейчас нечто аналогичное в отечественной практике формируется в отношении смарт-технологий. И.В. Мелик-Гайказян, М.В. Мелик-Гайказян, В.Ф. Тарасенко пишут, что в отношении изучения феномена информации также возникал вопрос о ее ценности, а не только о количестве и способах ее передачи. «Информация может быть более или менее ценной в зависимости от преследуемой цели, происхождение которой до недавнего времени в теории информации не обсуждалось. Ценной информацией считается та, которая помогает достижению цели» [13. С. 97].

Так и смарт-технологии без соответствующих ценностных оснований не смогут приносить пользу, если они не будут помогать достижению целей, которые ставит перед собой человек и общество. Собственно, феномен смарт предполагает создание определенных социальных и культурных измерений способов отношений и их регулирования на практике.

Иными словами, опыт обращения к отечественному контексту применения смарт-технологий как понятию и феномену демонстрирует прямую зависимость самого фактора существования последних в качестве явления личной и социальной жизни от того контекста, в который данный феномен погружен, следовательно, понимается и определяется. В указании такой зависимости нет факта «открытия», но каждый раз, начиная разговор о взаимообусловленности понятия и феномена, необходимо демонстрировать специфику такой зависимости. В этот раз авторы хотели показать и, как им представляется,

достаточно убедительно это сделали в отношении смарт-технологий, как данное понятие интерпретируется в англоязычной литературе и практиках и как это происходит в отечественной литературе.

Смарт-технологии в качестве понятия многообразны, их невозможно определить однозначно таким образом, чтобы полученная дефиниция подходила для всех обществ и культур (на примере русского языка и культуры это было продемонстрировано выше). Возможно, технически и технологически смарт-технологиям свойствен универсализм (смартфон остается смартфоном и в России, и в Китае, и в США, и в других странах), но в том-то и дело, что «смарт» выражает собой онтологическое, гносеологическое, аксиологическое, праксиологическое измерения, связанные с социальными и культурными составляющими, которые во многом определяют характер использования таких технологий. И уже в этой сложной структуре реальности технический и технологический универсализм утрачивает свою природу.

Сегодня исследователи только в одном измерении социального и культурного планов видят такое универсальное проявление смарт-технологий. Это измерение поколенческого плана. Ведь нельзя не признать, что смарт-технологии фактически привели к появлению поколения Z. Это поколение тех, кто появился с середины нулевых годов XXI в. не жил вне контекста смарт-технологий. Как пишут В. Роблек, М. Мешко, В. Димовски, Ю. Петерлин, «на самом деле феномен смарт-технологий представляет собой то, что появляющиеся технологии будут влиять на личное и профессиональное общение и, следовательно, на качество человеческой жизни и развитие коллективных сетей, основанных на стратегическом интеллекте, в котором части экономики и человеческой среды расширяются.

Смарт-технологии являются неотъемлемой частью образа жизни поколения Z. Оно растет с технологиями, и онлайн-сервисы социальных сетей стали одним из его самых важных каналов коммуникации. Поэтому естественно строить теорию, состоящую в том, что с поколением Z мы не можем говорить о технологической зависимости, потому что технология является неотъемлемой частью их жизни» [14. С. 96]. В то же время нельзя утверждать, что поколение Z абсолютно одинаково себя демонстрирует в остальных социальных и культурных планах. Несмотря на свою технологическую укорененность, представители этого поколения живут в разных обществах, и это сказывается на их социализации столь же существенно, как и технологическая составляющая. Поэтому если им легче находить «общий язык» на основе технологической составляющей, то все остальные составляющие больше способствуют дифференциации, нежели интеграции. И по этой причине контекст конкретного феноменального инварианта смарт-технологий все равно повлияет на его интерпретацию в качестве понятия.

Именно подобная зависимость и определила необходимость демонстрации определения критериальных принципов понимания смарт-технологий. Это всегда, согласно литературе, современные технологии (в отношении смарт-технологий важен фактор времени, учитывая скорость их возникновения и короткий цикл их жизни), в их основе лежат информационные технологии, способ их применения носит трансдисциплинарный характер, а также обязательно «гибкий» принцип применения («человекоподобность») и ориентация на разумность, внешняя привлекательность и яркий дизайн, эффективная организа-

ция взаимодействия людей и технологий, формирование общих ценностных (культурных) и социальных оснований, гармонизирующих взаимодействие технологической и нетехнологической составляющих для облегчения решения стоящих перед человеком и обществом проблем и др. [15–21].

Как видно из критериального ряда представленных дифференциаций смарт-технологий по отношению к другим технологиям, параметр «умность» присутствует, но не является ключевым, что подтверждает несколько неточную трактовку последних в качестве «умных» технологий, а также что необходимость аксиологической и социальной составляющих является неотъемлемой частью того, чтобы технологии назывались «смарт». Другое дело, что в зависимости от того, какие это составляющие по своему содержанию, и будет формироваться понимание смарт-технологии как феномена и понятия.

Литература

1. Ардашкин И.Б. Смарт-технологии как феномен: концептуализация подходов и философский анализ. Являются ли смарт-технологии действительно умными? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 43. С. 55–68.
2. Гончаренко М.В., Гончаренко В.Н. Трансформация дискурса как следствие формирования новых эпистемологических полей // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2019. № 47. С. 103–110.
3. Ардашкин И.Б. Смарт-общество как этап развития новых технологий для общества или как новый этап социального развития (прогресса): к постановке проблемы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 32–45.
4. Гончаренко М.В., Гончаренко В.Н. Эпистемологические поля и новые смыслы // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 439. С. 85–94.
5. Bibri S.E. Shaping of Ambient Intelligence and the Internet of Things: Historico-Epistemic, Socio-Cultural, Politico-Institutional and Eco-Environmental Dimensions. Part of the Atlantis Ambient and Pervasive Intelligence book series. Paris : Atlantis Press, 2015. Vol. 10. 301 p.
6. Chabot M., Delaware L., McCarley S., Little C., Nye A., Anderson E. Living in Place: The Impact of Smart Technology // Current Geriatrics Reports. 2019. № 8. P. 232–238.
7. The Oxford English Dictionary, 2019. URL: <https://www.lexico.com/en> (accessed: 03.12.2019).
8. Днепровская Н.В., Янковская Е.А., Шевцова И.В. Понятийные основы концепции смарт-образования // Открытое образование. 2015. № 6. С. 43–51.
9. Загребин М.В. Предрассудок как вид ума // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2016. № 1. С. 24–32.
10. Колесов В.В. Концепты Рассудок, Разум, Ум и Мудрость в поле русского сознания // Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 3. С. 75–86.
11. Makienko Marina A., Kurkan Natalia V., Emelyanenko Ekaterina E. Etnical Implications to the Assessment of the Smart grid Technology in Russia // MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 91. P. 01020.
12. Королева Л.Г., Сухоруких А.В. «Цифровизация» или гуманизация образования: актуальность асиологической альтернативы // Научные ведомости. Серия: Философия. Социология. Право. 2019. Т. 44, № 3. С. 375–385.
13. Мелик-Гайказян И.В., Мелик-Гайказян М.В., Тарасенко В.Ф. Методология моделирования нелинейной динамики сложных систем. М. : Физико-математическая литература, 2001. 272 с.
14. Roblek V., Meško M., Dimovski V., Peterlin J. Smart technologies as social innovation and complex social issues of the Z generation // Kybernetes. 2019. № 48 (1). P. 91–107.
15. Nakashima H., Aghajan H., Augusto J.C. Ambient Intelligence and Smart Environments: A State of the Art // Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments. New York : Springer, 2010. P. 3–34.
16. Jacobson I. What they don't teach you about software at school: Be smart! Lecture Notes in Business Information Processing. Springer-Verlag Berlin, 2009. Vol. 31. P. 1–4.
17. Jucevičius R., Jucevičienė P. Sumaniosios socialinės sistemos koncepcija // Sumanioji socialinė Sistema. Kaunas : Technologija, 2017. P. 12–34.

18. Jucevicius G., Juceviciene R. Smart Development of Organizational Trust: Dilemmas and Paradoxes // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2015. № 213. P. 860–866.

19. Pauliukevičiūtė A., Jucevičius R. Six Smartness Dimensions in Cultural Management: Social / Cultural Environment Perspective // *Business, Management and Education*. 2018. № 16(1). P. 108–120.

20. Ardashkin I.B., Chmykhalo A.Y., Makienko M.A., Khaldeeva M.A. Smart-Technologies In Higher Engineering Education: Modern Application Trends // *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. 2018. Vol. L. P. 57–64.

21. Рыгина М.Е., Чмыхало А.Ю. Перспективы и проблемы использования смарт-технологий в образовательном процессе // *Непрерывное благополучие в мире : сб. науч. тр. III Междуна. науч. симп. / под ред. Г.А. Барышевой, Л.М. Борисовой ; Том. политехн. ун-т. Томск : Изд-во ТПУ, 2016. С. 67–72.*

Igor B. Ardashkin, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

Valery A. Surovtsev, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation), Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: surovtssev1964@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 32–44.

DOI: 10.17223/1998863X/60/4

SMART TECHNOLOGIES AS A CONCEPT AND PHENOMENON: ON CRITERIA

Keywords: smart; smart technology; criteria; concept; phenomenon.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-78-10082.

Smart technologies are explored as a phenomenon and concept. The focus on the subject is due to the wide spread of smart technologies, their ubiquitous use in everyday life, and the insufficient level of their reflection both as a phenomenon and as a concept. This contradiction does not always contribute to the efficient use of smart technologies. Smart technologies as a concept are largely determined by the specifics of their phenomenal functioning, which complicates the possibility of its clear definition. Therefore, in foreign and domestic studies, it is impossible to find a universal way of determining smart technologies due to the contextual factors in the form of social, cultural, value differences between different societies and countries. On the example of comparing connotations of the concept “smart technology” in English- and Russian-language studies, the differences in semantic nuances is demonstrated. The inaccuracy of translating “smart technologies” as “umnye tekhnologii” (“umnye” is a derivative of “um” [mind]) is justified, since this connotation is not unambiguously recognized either by foreign or domestic authors. More precisely, the concept “um” is not of the utmost importance in the concept under consideration in foreign literature. The Russian-speaking tradition of understanding the word “um” (“umnye”) also has certain specifics. In the domestic tradition, an understanding of “um/mind” as a “staircase wit” has developed, which significantly prevents the formation of value-based, cultural and social ontological foundations for the creation and effective use of smart technologies. This dependence of the definition of smart technologies on the practice of applying this phenomenon is also evident in other societies and countries. Criteria for distinguishing smart technologies from technologies of a traditional type are revealed: technological and generational. The characteristics associated with technological criteria are universal in nature, but their values are nevertheless determined by the values and cultural features of countries where smart technologies are exploited. The same applies to the generational foundation, which manifests itself all over the world regardless of culture and country and is due to the birth of generation Z. At the same time, the universalism of the generational plan does not negate the cultural values of this or that society, under the influence of which this factor is further leveled.

References

1. Ardashkin, I.B. (2018) Smart technologies as a phenomenon: conceptualization of approaches and philosophical analysis. Are smart technologies really smart? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 43. pp. 55–68. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/43/5

2. Goncharenko, M.V. & Goncharenko, V.N. (2019) Discourse transformation as a consequence of new epistemological fields formation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya*.

Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 47. pp. 103–110. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/47/11

3. Ardashkin, I.B. (2017) Smart-society as a stage of development of new technologies for society or as a new of social development (progress): to the problem of the problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 38. pp. 32–45. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/38/4

4. Goncharenko, M.V. & Goncharenko, V.N. (2019) Epistemological Fields and New Narratives. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 439. pp. 85–94. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/439/10

5. Bibri, S.E. (2015) *Shaping of Ambient Intelligence and the Internet of Things: Historico-Epistemic, Socio-Cultural, Politico-Institutional and Eco-Environmental Dimensions*. Vol. 10. Paris: Atlantis Press.

6. Chabot, M., Delaware, L., McCarley, S., Little, C., Nye, A. & Anderson, E. (2019) Living in Place: The Impact of Smart Technology. *Current Geriatrics Reports*. 8. pp. 232–238. DOI: 10.1007/s13670-019-00296-4

7. Lexico.com. (2019) *The Oxford English Dictionary*. [Online] Available from: <https://www.lexico.com/en> (Accessed: 3rd December 2019).

8. Dneprovskaya, N.V., Yankovskaya, E.A. & Shevtsova, I.V. (2015) The conceptual basis of the smart education. *Otkrytoye obrazovaniye – Open Education*. 6. pp. 43–51. (In Russian). DOI: 10.21686/1818-4243-2015-6(113-43-51)

9. Zagrebin, M.V. (2016) Prejudice as a way of thinking. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki – Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Philosophy*. 1. pp. 24–32. (In Russian). DOI: 10.18384/2310-7227-2016-1-24-32

10. Kolesov, V.V. (2016) The Concepts of Mind (Um), Reason (Rassudok), Intellect (Razum) and Wisdom (Mudrost') in the Conceptual Field of Russian Conscience. *Gumanitarnyy vector – Humanitarian Vector*. 11(3). pp. 75–86. (In Russian). DOI: 10.21209/2307-1834-2016-11-3-75-86

11. Makienko, M.A., Kurkan, N.V. & Emelyanenko, E.E. (2017) Ethical Implications to the Assessment of the Smart Grid Technology in Russia. *MATEC Web of Conferences*. 91. 01020.

12. Koroleva, L.G. & Sukhorukikh, A.V. (2019) “Digitalization” or humanization of education: activity of asiological alternative. *Nauchnyye vedomosti. – Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo – Scientific Bulletins of the Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law*. 44(3). pp. 375–385. (In Russian). DOI: 10.18413/2075-4566-2019-44-3-375-385

13. Melik-Gaykazyan, I.V., Melik-Gaykazyan, M.V. & Tarasenko, V.F. (2011) *Metodologiya modelirovaniya nelineynykh dinamiki slozhnykh system* [Methodology for modeling nonlinear dynamics of complex systems]. Moscow: Fiziko-matematicheskaya literatura.

14. Roblek, V., Meško, M., Dimovski, V. & Peterlin, J. (2019) Smart technologies as social innovation and complex social issues of the Z generation. *Kybernetes*. 48(1). pp. 91–107. DOI: 10.1108/K-09-2017-0356

15. Nakashima, H., Aghajan, H. & Augusto, J.C. (2010) Ambient Intelligence and Smart Environments: A State of the Art. In: Nakashima, H., Aghajan, H. & Augusto, J.C. (eds) *Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments*. New York: Springer. pp. 3–34.

16. Jacobson, I. (2009) What they don't teach you about software at school: Be smart! *Lecture Notes in Business Information Processing*. 31. pp. 1–4.

17. Jucevičius, R. & Jucevičienė, P. (2017) Sumaniosios socialinės sistemos koncepcija. In: Jucevičius, R. & Šiugždinienė, J. (eds) *Sumanioji socialinė Sistema*. Kaunas: Technologija. pp. 12–34.

18. Jucevicius, G. & Juceviciene, R. (2015) Smart Development of Organizational Trust: Dilemmas and Paradoxes. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 213. pp. 860–866. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.496

19. Pauliukevičiūtė, A. & Jucevičius, R. (2018) Six Smartness Dimensions in Cultural Management: Social / Cultural Environment Perspective. *Business, Management and Education*. 16(1). pp. 108–120. DOI: 10.3846/bme.2018.2144

20. Ardashkin, I.B., Chmykhalo, A.Y., Makienko, M.A. & Khaldeeva, M.A. (2018) Smart-Technologies in Higher Engineering Education: Modern Application Trends. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. L. pp. 57–64. DOI: 10.15405/epsbs.2018.12.8

21. Rygina, M.E. & Chmykhalo, A.Yu. (2016) Perspektivy i problemy ispol'zovaniya smart-tehnologiy v obrazovatel'nom protsesse [Prospects and problems of using smart technologies in the educational process]. In: Barysheva, G.A. & Borisova, L.M. (eds) *Nepreryvnoye blagopoluchiye v mire* [Continuous Wellbeing in the World]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University. pp. 67–72.

УДК 37.014

DOI: 10.17223/1998863X/60/5

П.П. Глухов, А.А. Попов, М.С. Аверков

КОНТУРЫ НОВОГО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС при Президенте РФ.

Центральным понятием статьи выступает антропологический проект, который рассматривается как основа образовательных парадигм и формаций. Исследуется связь антропологического проекта образования и дидактики, которая играет ключевую роль в практической реализации философско-антропологических оснований той или иной образовательной системы. Рассматриваются предпосылки формирования современного антропологического проекта, которые содержат в себе представления о «человеке будущего», к идее дальнейшего развития теории и философии образования.

Ключевые слова: антропологический проект, дидактика, образовательная логика, философия образования, будущее образования, антропоцен.

Введение

Происходящие в рамках последних десятилетий глобальные социокультурные изменения явным образом сказываются на системах образования, определяя новые тренды и вызовы. Наиболее активно обсуждаются глобальные проблемы, связанные с экологическим кризисом, ростом социального и экономического неравенства, возникающей поляризацией в обществе, ростом общей неопределенности будущего. При этом образование начинает интерпретироваться не как средство решения данных проблем, а как их часть, что актуализирует новые проекты и исследовательские программы в области философии образования и теории обучения. Одним из центральных вопросов подобных изысканий является оформление нового антропологического проекта, который бы раскрывал сущностные характеристики и качества человека, адекватные складывающейся ситуации и поддающиеся специальному формированию в рамках педагогических практик. Мы не станем утверждать, что в настоящий момент уже сложился новый антропологический проект, который может выступить универсальным ядром современного образования. В настоящей статье оформлены концептуальные тренды, которые явно претендуют на то, чтобы стать новым антропологическим проектом образования, выступая, таким образом, его контурами.

Антропологический проект как двойственное философское основание образования

Философская проблематика образования может обсуждаться с разных позиций, которые, как правило, определяются дисциплинарными контекстами (психологии, социологии, политологии, теологии и др.). Однако сложно

отрицать, что в контексте установления целей, принципов и базовых идей образовательной деятельности ведущей проблематикой является антропологическая как ставящая вопрос о формируемом человеке. С.И. Гессен удачно охарактеризовал педагогику как прикладную философию [1], где антропологические основания, выраженные в специфическом понимании личности, выступают символическим знанием, определяющим образ надлежащего образования. Как особая синтетическая структура философского и педагогического знания может выступать антропологический проект [2]. Чаше мы можем встретить применение данного понятия в контексте исследования творчества разных философов, где предметом изучения выступает представление об идеальной сущности человека, изложенное в системе трудов конкретного автора. Однако не каждый философско-антропологический проект может быть взят как основание образовательной деятельности, так как требует соответствия критерию практичности и в конечном счете должен быть имплецирован дидактикой.

Также важно отделять представления о человеке, изложенные в философско-антропологическом проекте, от феноменологически зафиксированных. В первом случае исследуются представления о должном или идеальном образе человека, который предлагается к реализации. В социологическом подходе к образованию, который часто используется в рамках социально-философских исследований, антропологическая проблематика рассматривается в контексте эффектов или феноменов уже сложившейся образовательной практики. Данная разница хорошо прослеживается в работах М. Фуко. С одной стороны, он обсуждает образование как дисциплинарный институт, организационное устройство которого порождает особый уклад, склоняющий учеников к повиновению [3]. С другой стороны, Фуко описывает принципы «заботы о себе» [4, 5], которые оформляются как антропологический проект и ориентир для современного образования, превозносящий идею многоплановой «самости». В первом случае Фуко разоблачает идеологию, которая сформировалась в сложившейся системе образования дисциплинарного общества. Если следовать традиции С. Жижека, то Фуко указывает на противоречие между предлагаемым образованием конструкциями и действительностью, формирующей повседневный опыт участников данной системы [6]. Но это вовсе не означает, что данное противоречие закладывалось в систему образования специальным образом. Понятие дисциплинарного института часто применяется к классической образовательной модели и классно-урочной системе Я.А. Коменского [7], который выделял особую значимость дисциплины и порядка в рамках «пансофии»¹, но оформлял антропологические идеалы, идущие вразрез с концепцией дисциплинарного общества, описанной М. Фуко. Поэтому и возникает интерес к исследованию антропологических проектов на стадии их становления, так как их практическая реализация может порождать подобные не программируемые изначально идеологии, которые могут быть зафиксированы только феноменологически. Это актуализирует прогностическую ценность таких изысканий. В настоящей статье мы также попытаемся обозначить некоторые причины подобной двойственности антропологического проекта образования.

¹ Философско-религиозное учение, направленное на освоение всеобщей мудрости и лежащее в основе образовательного проекта «Великой дидактики».

Таким образом, антропологический проект представляет собой не столько рациональное дискурсивное знание, сколько знание символическое, которое в идеале позволяет мыслящему человеку преодолеть проблемную повседневность и себя как эмпирического индивида в системе социальных статусов и ролей, привычек, обязательств и зависимостей. Но также зафиксируем, что антропологический проект может содержать в себе риски порождения на практике нежелательных идеологий.

Антропологические проекты как контекст развития образования

Чаще всего антропологические проекты рассматриваются как модусы, исторически сопровождающие процесс развития педагогической мысли и эволюции образовательных систем. Так, И.В. Брылина обосновывает, что каждый философ и каждая эпоха формируют свой специфический антропологический проект: «В античном антропологическом проекте сущность человека понимается как восхождение к Эйдосу, в средневековом – человек соотносит себя с Богом, возрожденческий – ассоциирует природу человека с его творчеством, которое является основным фактором самореализации, индивидуализации. Нововременной – осмысляет природу человека через поиск истины посредством опыта (Бэкон), разума (Декарт, Гегель), чувств (Локк, Гоббс) или воли (Кант)» [8]. Следуя этой же логике, различные антропологические проекты могут быть объединены в укрупненные группы по принадлежности к традиции или посредством выделения эпох как разных фаз реализации одного проекта. В первом случае можно выделить классический антропологический проект как соответствующий западноевропейской традиции, за которым следует неклассический антропологический проект, уже соответствующий новой интерпретации человека в XX в. [8]. Смысловым ядром данного антропологического проекта выступает проблема «самости» и ее становления. Во втором случае обосновывается антропологический проект «Просвещение», символизирующий «Человека знающего» и разворачивающегося с XVI по XX в. [9, 10]. В качестве центральной проблемы нового, становящегося антропологического проекта обозначается «разрушение культуры», смена «социума» на «массы» в контексте постмодернистской социальной теории [11]. Подобная историографическая логика позволяет фиксировать уход философско-антропологических проектов в постмодернистские рамки, что проблематизирует образование как единый и целостный институт человеческого развития. Развитие получают концепты, которые ориентированы на преодоление «массового человека» [11–13], что в образовании выражается как критика репродуктивных форм деятельности, построенных на повторении и воспроизводстве образцов. В свою очередь, классическая модель Коменского, которая во многом построена на воспроизводстве в учебной деятельности и правилах, окончательно становится символом образования индустриальной эпохи.

Другой подход к изучению антропологических проектов образования можно охарактеризовать как исследование его в качестве трансцендентного антропологического задания для образовательной формации [2]. В данном подходе антропологические проекты уже являются не просто отражением представлений о человеке той или иной эпохи, а выступают подобием пара-

дигм Т. Куна [14], только по отношению к педагогическим сообществам. Такие парадигмы определяют правомерность антропологических проблем, поставленных перед образованием, и педагогических методов их решения для нескольких поколений деятелей в области образования. У Куна парадигма задается научным трудом, в нашем контексте она задается антропологическим проектом, закрепленным в педагогической системе, устанавливающей логику и правила процесса учения.

Базовые предпосылки возникновения новых антропологических проектов образования

Рассмотрим далее две предпосылки возникновения нового антропологического проекта образования, которые можно выделить из дискуссий, имеющих место в современной образовательной политике. Первая предпосылка появляется в контексте идей технологического прогресса и постиндустриального общества [15]. Эти идеи обретают связь с образовательными практиками тогда, когда оформляется проблема готовности человека к новой индустриальной революции и переходу в новый технологический уклад [16–18]. В качестве базовых вызовов фиксируются процессы автоматизации и цифровизации, которые приведут к устранению целых кластеров профессий, таким образом предрекая ситуацию неопределенности, в которой человеку нужно будет уметь ориентироваться. Здесь выделяется еще один важный фактор, который указывает на то, что автоматизация и цифровизация затронут в большей степени рутинный труд, что актуализирует те качества человека будущего, которые связаны с креативными и творческими видами деятельности. Данная технократическая предпосылка, по сути, сводит антропологический проект к образцам конкурентоспособной личности, которая в противовес традиционному антропологическому проекту должна будет не просто овладеть знаниями, но и применять их, а также уметь производить их. Адаптивность сводится к конкурентоспособности в условиях быстро растущей креативной экономики.

Однако растущая неопределенность обусловливается не только технологическими трендами, но и множеством иных грядущих изменений, касающихся самых разных сфер. Данную проблему неготовности общества к грядущим изменениям сформулировал в конце XX в. Э. Тоффлер, введя широко используемый термин «футурошок» [19]. Так, предпосылки нового антропологического проекта формируются на широкой содержательной базе, связанной с категорией будущего как такового и обретают футурологический контекст. Ориентация на будущее становится глобальной базовой идеей формирования антропологического проекта образования в начале XXI в. Удачное обобщение, характеризующее рост неопределенности, найдено в концепте «VUCA-мира»¹ (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность). На сегодняшний день сформирован внушительный корпус визионерских текстов и аналитических докладов, исследующих проблематику адаптации образования к будущему [20–23]. Значимым для формирования современного антропологиче-

¹ Q. Who first originated the term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity)? URL: <https://usawc.libanswers.com/faq/84869>

ского проекта образования является дискуссия о новых грамотностях, компетенциях и навыках XXI в., которая позиционируется как разработка нового содержания образования и предлагает концепцию универсальных компетенций. Проблема заключается в том, что неопределенное будущее предполагает неограниченные перечни навыков и компетенций, необходимых для жизни в нем. Данное противоречие породило большое множество разных открытых и слабо систематизированных списков актуальных образовательных результатов, которые были представлены в докладах ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирного банка и других международных организаций. Ситуация усложняется тем, что разные национальные системы образования также по-своему определяют актуальные образовательные результаты. Данные обстоятельства не способствуют закреплению какого-либо целостного антропологического проекта образования.

В международном докладе «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности» [24] была проведена работа по обобщению всего многообразия, результатом которой явилось выделение трех универсальных компетентностей: познание (мышление), взаимодействие с другими людьми и взаимодействие с собой (управление собой).

При всех достоинствах уже богато сложившейся системы представлений об универсальных компетентностях и навыках будущего они все же могут быть квалифицированы лишь как предпосылка антропологического проекта. Дискуссия о навыках будущего может быть понята как факт политической заботы о детстве, которая выражается в усилении повысить качество образовательного института, основываясь на многообразии лучшего опыта. Таким образом, у данного процесса нет четко заявленных философских оснований, которые могли бы быть поняты как традиция. Например, явно подчеркивается значимость креативных и творческих качеств человека как требующих развития в образовании. Но не кладется философская концепция творчества или философско-антропологические основания креативности. Они сводятся к натуральным качествам, а их основания в каждом случае оказываются разными и смешанными (взятыми из разных традиций). Однако это является отличной почвой для исследования и последующего оформления антропологии неопределенности.

Если первая предпосылка возникает из условного тезиса «образование для ориентации в неопределенном будущем», то для рассмотренной нами далее предпосылки предлагается тезис «образование для выживания в будущем». В конце 2020 г. экспертной группой был опубликован справочный документ «Learning to become with the world: Education for future survival» [25], который был заказан ЮНЕСКО для подготовки доклада о будущем образования, готовящегося к публикации в 2021 г. Данный текст может стать одним из важнейших для современной философии образования и теории обучения по ряду причин. В основу указанной работы положена экологическая проблематика, а планета характеризуется авторами как травмированная. Человеку необходимо научиться жить с природой в единой экосистеме и перестать усугублять экологический кризис. Массовая образовательная практика интерпретируется как проблема, так как направлена на обслуживание целей экономического роста, занижая значимость целей устойчивого экологического развития.

В отличие от множества других современных работ в области философии образования здесь коллектив авторов предлагает изменить саму парадигму образования, отказавшись от идеи антропоцена (Anthropocene). Подвергается критике картезианская основа человеческой исключительности и декартовский дуализм, которые заложены в основе действующей модели образовательной деятельности. В них авторы видят корень множества проблем и предлагают перестать выстраивать образование в человекоцентричной западноевропейской традиции. Это достаточно интересный и парадоксальный тезис для философско-антропологической проблематики образования. Требуемый парадигмальный сдвиг в образовании характеризуется как необходимость перехода в непосредственной логике обучения от познания мира для воздействия на него к изучению мира для жизни в гармонии с ним. В рамках данной позиции мир / природа должны перестать пониматься как объект или инертная материя и выступить на правах полноценного субъекта. На подобных основаниях может сформироваться новый антропологический проект, в основе которого уход от идеи индивидуализма и пересборка гуманистического проекта образования. Однако не стоит понимать данные тезисы как отрицание необходимости философско-антропологических оснований образования в связи с их очевидной антропоцентричностью. Скорее говорится о том, что образование должно преодолеть парадигму человеческой исключительности для пересмотра позиционирования человека среди других существ, объектов, сред. Это созвучно с идеями акторно-сетевой теории Б. Латура [26], на которого часто ссылаются авторы справочного документа, когда говорят, что образование должно решать задачу коллективной сборки общих миров через сети человеческих и более чем человеческих акторов. В подобной парадигме сущность человека должна быть рассмотрена в одной плоскости с иными сущностями и материями, которые так же, как человек, должны быть наделены субъективными качествами. Подобное имел в виду Б. Латур, когда высказывался о политике природы, заявляя, что политика не может заботиться о природе, если полагает ее как объект. Чтобы защищать природу, необходимо признать ее субъектность и наделить правами [27].

У данной предпосылки большой потенциал для формирования новой педагогической формации и влияния на теорию обучения. Парадигма, которая может сложиться на основе подобного антропологического проекта, требует описания принципиально новых технологий познания в процессе обучения. Такие технологии, возможно, будут критичны по отношению к самой идее познания в той западноевропейской традиции, в которой ее сегодня применяет классическая дидактика. И если первая рассмотренная нами предпосылка основывается на классической парадигме дидактики, то во втором случае классическая дидактика встает как проблема логики обучения и развертывания образовательного процесса.

Заключение

Предпосылки нового антропологического проекта связаны с исследованием возможностей человека жить и действовать в будущем, при этом будущее осмысливается в разных контекстах. В первом случае будущее рассматривается как проблема неопределенности, в которой человеку необходимо

уметь эффективно ориентироваться. Во втором – как планетарный кризис, в котором человеку необходимо научиться выживать изменив свое отношение к окружающему миру (или даже мирам) и пересмотрев статус собственной субъектности.

Можно характеризовать современную ситуацию образования как кризис классической парадигмы, решавшей проблемы прошедших эпох, укорененной в классической дидактике Я.А. Коменского как ядре данной парадигмы и прежде всего тормозящей смену образовательной формации. Ядром новой парадигмы выступает современный антропологический проект, который в настоящий момент еще не сформирован. Однако его разработка не должна быть связана с отказом от дидактики как таковой. Дидактика должна быть рассмотрена как логика обучения, которая из эпохи в эпоху меняется и открыта для нового содержания, методик и антропотехник, так как они являются ее предметом. Проблема заключается в попытках реализовать неклассические философско-антропологические концепты средствами классической дидактики. В этом смысле новый антропологический проект образования напрямую связан с разработкой неклассической дидактики.

Литература

1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. М. : Школа-Пресс, 1995. 448 с.
2. Попов А.А. Открытое образование: философия и технологии. М. : URSS, 2016. 256 с.
3. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ad Marginem, 2019. 416 с.
4. Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1981–1982 уч. году / пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб. : Наука, 2007. 677 с.
5. Фуко М. История сексуальности. К. : Дух и литера : Грунт ; М. : Рефл-бук, 1998. 288 с.
6. Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. М. : Художественный журнал, 1999. 234 с.
7. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский : 2 изд., испр. М. : Педагогика, 1970. 268 с.
8. Брылина И.В. Формирование нового антропологического проекта современного образования в контексте неклассической философии // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8, вып. 5. С. 143–157.
9. Ефимов В.С., Лаптева А.В. Высшее образование в России: вызовы XXI века // Университетское управление: практика и анализ. 2010. № 4. С. 6–17.
10. Розин В.М. Рефлексия образов и сферы образования // Философия образования: этюды-исследования. Москва ; Воронеж, 2007. 52 с.
11. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства // Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. 95 с.
12. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ, 2002. 509 с.
13. Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. М. : Айрис-пресс, 2005. Т. 24. 352 с.
14. Кун Т. Структура научных революций. М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. 317 с.
15. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М. : Академия, 2001. 578 с.
16. Белл Д. Третья технологическая революция и ее возможные социально-экономические последствия. М. : АН СССР. ИНИОН, 1990. 8 с.
17. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статистики и динамики. М. : Наука, 1991. 219 с.
18. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. М. : Дело. 2011. 231 с.
19. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. М. : АСТ, 2002. 557 с.
20. В ожидании «девятого вала»: компетенции и модели образования для 21 века. URL: <http://www.slideshare.net/edu2035/gefmoscow-edcrunch-preparing-for-the-tide> (дата обращения: 26.01.2021).

21. *Навыки будущего*. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире. URL: https://futuref.org/futureskills_ru (дата обращения: 26.01.2021).
22. *Образование для сложного общества*. URL: https://futuref.org/educationfutures_ru (дата обращения: 26.01.2021).
23. *Будущее образования: глобальная повестка*. URL: <https://vbudushee.ru/upload/iblock/f47/f47425d3a3eeae0b4d37ce157f622aea.pdf> (дата обращения: 26.01.2021)
24. *Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности* / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина ; при участии К.А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И.М. Реморенко, Я. Хаутамяки ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2020. 472 с.
25. *Learning to become with the world: Education for future survival*. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374032?fbclid=IwAR0YU-sJserzEoHPvkRHkYAYO1Eq_nyFjHmcH8EmOn4KJx0BZib4hP5bk8A (дата обращения: 26.01.2021).
26. *Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию* / пер. с англ. И. Полонской. 2016.
27. *Латур Б. Политика природы*. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2006/2/politika-prirody.html> (дата обращения: 26.01.2021).

Pavel P. Glukhov, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: gluhovpav.pav@gmail.com

Alexander A. Popov, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: aktor@mail.ru

Mikhail S. Averkov, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: mgolota@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 45–54.

DOI: 10.17223/1998863X/60/5

OUTLINES OF A NEW ANTHROPOLOGICAL EDUCATION PROJECT

Keywords: anthropological project; didactics; educational logic; philosophy of education; future of education; anthropocene.

The article investigates the problem of the philosophical and anthropological foundations of the new educational policy with an aim of determining the key foundations and prerequisites for the emergence of a new anthropological education project. The article attempts to deduce the image of a person that may lie behind the current discussions about the results and content of education that take place in the emerging educational policy. The central concept of the article is the anthropological project, which is considered as the basis of educational paradigms and formations. The connection between the anthropological project of education and didactics, which plays a key role in the practical implementation of the philosophical and anthropological foundations of a particular educational system, is investigated. The prerequisites for the formation of the modern anthropological project, which contain ideas about the “person of the future” to the idea of further development of the theory and philosophy of education, are considered. The basic research methods were: a content-genetic analysis of the main categories and principles of open education didactics; explication of its system-forming principles in accordance with the category “anthropological project of education”. In the course of the study, anthropological projects were analyzed as a context for the development of education. Two approaches were identified to describe the relationship between education and anthropological projects, which can be considered as the foundations of educational activity. The dual structure of anthropological projects is considered, which is expressed in the fact that the practical implementation of idealized images of a person can lead to the formation of ideologies focused on achieving opposite results laid down in these images. Based on the materials reflecting the essence of the discussion in modern educational policy, the possible prerequisites for a new anthropological project were analyzed. As a result of the study, the prerequisites for a new anthropological project were identified, which are associated with the study of a person’s ability to live and act in the future, while the future is interpreted in different contexts. In the first case, the future is viewed as a problem of uncertainty, in which a person needs to be able to effectively navigate; in the second as a planetary crisis, in which a person needs to learn to survive by changing their attitude to the world (or even worlds) around them and revising the status of their own subjectivity.

References

1. Gessen, S.I. (1995) *Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnyuyu filosofiyu* [Fundamentals of Pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Shkola-Press.
2. Popov, A.A. (2016) *Otkrytoe obrazovanie: filosofiya i tekhnologii* [Open Education: Philosophy and Technology]. Moscow: URSS.
3. Foucault, M. (2019) *Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my* [Discipline and Punish. The Birth of the Prison]. Translated from French. Moscow: Ad Marginem.
4. Foucault, M. (2007) *Germenevtika sub'ekta. Kurs lektsiy, prochitannykh v Kolledzhe de Frans v 1981–1982 uch. godu* [Hermeneutics of the subject. A course of lectures at the College de France in 1981–1982 academic year]. Translated from French by A.G. Pogonyaylo. St. Petersburg: Nauka.
5. Foucault, M. (1998) *Istoriya seksual'nosti* [The History of Sexuality]. Translated from French. Kiev: Dukh i litera: Grunt; Moscow: Refl-buk.
6. Žižek, S. (1999) *Vozvyshennyi Ob'ekt Ideologii* [The Sublime Object of Ideology]. Translated from English. Moscow: Khudozhestvennyy zhurnal.
7. Lordkipanidze, D. (1970) *Yan Amos Komenskiy* [John Amos Comenius]. 2nd ed. Moscow: Pedagogika.
8. Brylina, I.V. (2018) Formation of new anthropological project of the modern education in the context of non-classical philosophy. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 8(5). pp. 143–157. (In Russian). DOI: 10.15293/2226-3365.1805.09
9. Efimov, V.S. & Lapteva, A.V. (2010) Higher education in Russia: challenge of the 21st century. *Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz – University Management: Practice and Analysis*. 4. pp. 6–17. (In Russian).
10. Rozin, V.M. (2007) *Filosofiya obrazovaniya: etyudy-issledovaniya* [Philosophy of Education: Studies]. Moscow; Voronezh: MPSI, MODEK.
11. Baudrillard, J. (2000) *V teni molchalivogo bol'shinstva* [In the shadow of the silent majority]. Ekaterinburg: Ural State University.
12. Ortega y Gasset, H. (2002) *Vosstanie mass* [The Revolt of the Masses]. Translated from Spanish. Moscow: AST.
13. Fromm, E. (2005) *Revolutsiya nadezhdy. Izbavlenie ot illyuziy* [The Revolution of Hope. Getting rid of illusions]. Vol. 24. Translated from German. Moscow: Ayris-press.
14. Kuhn, T. (2009) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English. Moscow: AST: AST MOSKVA.
15. Bell, D. (2001) *Gryadushchee postindustrial'noe obshchestvo* [The Future Post-Industrial Society]. Translated from English. Moscow: Akademiya.
16. Bell, D. (1990) *Tret'ya tekhnologicheskaya revolyutsiya i ee vozmozhnye sotsial'no-ekonomicheskie posledstviya* [The third technological revolution and its possible socio-economic consequences]. Translated from English. Moscow: USSR AS.
17. Kondratiev, N.D. (1991) *Osnovnye problemy ekonomicheskoy statiki i dinamiki* [The main problems of economic statics and dynamics]. Moscow: Nauka.
18. Perez, K. (2011) *Tekhnologicheskie revolyutsii i finansovyy kapital* [Technological Revolutions and Financial Capital]. Translated from English. Moscow: Delo.
19. Toffler, E. (2002) *Shok budushchego* [Future Shock]. Translated from English. Moscow: AST.
20. Anon. (n.d.) *V ozhidanii "devyatogo vala": kompetentsii i modeli obrazovaniya dlya 21 veka* [Waiting for the "ninth wave": competencies and models of education for the 21st century]. [Online] Available from: <http://www.slideshare.net/edu2035/gefmoscov-edcrunch-preparing-for-the-tide> (Accessed: 26th January 2021).
21. Global Education Futures & WorldSkills Russia. (n.d.) *Navyki budushchego. Chto nuzhno znat' i umet' v novom slozhnom mire* [Skills of the future. What you need to know and be able to do in a new complex world]. [Online] Available from: https://futuref.org/futureskills_ru (Accessed: 26th January 2021).
22. Global Education Futures. (n.d.) *Obrazovanie dlya slozhnogo obshchestva* [Education for a complex society]. [Online] Available from: https://futuref.org/educationfutures_ru (Accessed: 26th January 2021).
23. Anon. (n.d.) *Budushchee obrazovaniya: global'naya povestka* [The future of education: a global agenda]. [Online] Available from: <https://vbudushee.ru/upload/iblock/f47/f47425d3a3eeae0b4d37ce157f622aea.pdf> (Accessed: 26th January 2021).

24. Dobryakova, M.S. & Frumin, I.D. (eds) (2020) *Universal'nye kompetentnosti i novaya gramotnost': ot lozungov k real'nosti* [Universal competences and new literacy: from slogans to reality]. Moscow: HSE.

25. UNESCO. (n.d.) *Learning to become with the world: Education for future survival*. [Online] Available from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374032?fbclid=IwAR0YU-sJserzEoHPvkRHkYAYO1Eq_nyFjHmcH8Em0n4KJx0BZib4hP5bk8A (Accessed: 26th January 2021).

26. Latour, B. (2016) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembly of the social: an introduction to the actor-network theory]. Translated from English by I. Polonskaya. Moscow: HSE.

27. Latour, B. (2006) *Politika prirody* [Politics of Nature]. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/nz/2006/2/politika-prirody.html> (Accessed: 26th January 2021).

УДК 37.012.1

DOI: 10.17223/1998863X/60/6

О.В. Городович

**«ЧИСТЫЙ ЛИСТ» ИЛИ ПРИРОДНАЯ ДАННОСТЬ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ЯСНОГО ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА
«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА» В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК**

Обозначен ряд проблем изучения природы человека в контексте понимания этой природы современными социальными науками. Утверждается необходимость изучения человеческой природы, на которую в значительной степени воздействуют образовательные практики. В заключение приведены аргументы в пользу изучения образования как значительно влияющего на человеческую природу фундаментального процесса, что доказывает важность его осмысления.

Ключевые слова: человеческая природа, теория чистого листа, философия образования, эволюционная психология, Стивен Пинкер, религия, социальный конструктивизм.

Современные социокультурные изменения, происходящие в обществах, вне зависимости от принадлежности этого общества к тому или иному государству, идут достаточно бурно, а в последние десятилетия значительно ускорились. Происходят сложные и неоднозначные процессы: глобализация и информатизация общества, интенсивность межкультурных коммуникаций, мультилингвальность и мультизадачность. Все эти процессы провоцируют требования, которые современное общество и мир труда предъявляют к человеку и к его образованности как одной из фундаментальных человеческих характеристик.

Обратиться к проблеме изучения образовательных практик необходимо, в том числе и для того, чтобы описать состояние современного человека, который во многом фрустрирован собственными ожиданиями и ожиданиями общества, а также задачами, которые ставятся перед ним как обществом, так и им самим. Мы можем легко фиксировать, что традиционные для тех или иных сообществ ценности пересматриваются, этические нормы во многом размываются. Картины мира тех или иных сообществ очень сложно переплетаются, традиционные структуры исчезают или преобразовываются.

В такой ситуации проблема ценности образования становится как никогда ранее актуальной: для современного человека образование является безусловной и необходимой ценностью. Самоопределение в процессе «образования» личности во многом становится моментом стресса, так как этот выбор есть выбор пути если не на всю жизнь, то на долгие годы: какого «себя будущего» выбирает человек.

Одновременно с этим особую востребованность приобретают такие характеристики личности, как целостность, активная позиция, нацеленность на саморазвитие, способность к социально ответственной культуротворческой деятельности, поиск эффективной человекоберегающей системы социализа-

ции. Формирование личности, развитие и укрепление ее в социуме неразрывно связаны с процессом получения образования.

Однако все факторы, которые влияют на трансформацию образовательного процесса, в конечном итоге могут стать препятствием в формировании личности, ее развитии как полноценного социального субъекта. Одной из основных задач, таким образом, становится задача понимания человеческой природы, это позволит делать образовательные практики максимально адаптивными, способными, подстраиваться под эту природу и, возможно, изменять ее.

В книге «Чистый лист: современное отрицание человеческой природы» Стивен Пинкер утверждает, что в настоящее время существует три конкурирующих взгляда на человеческую природу: христианская теория, теория «чистого листа» (то, что можно назвать теорией социального конструктивизма) и дарвиновская теория.

Можно говорить, что конкретное содержание этих теорий не так однозначно, как полагает Пинкер. В этой статье критически и конструктивно рассматривается тот вызов социальным и гуманитарным наукам, а также теологии (христианской теории, по Пинкеру), который представляет дарвиновская теория человеческой природы.

Прежде всего, видится необходимым выявить те противоречия, которые возникают в процессе практического применения упомянутых теорий из-за неопределенности понимания исследователями человеческой «природности», и наметить условия для решения обозначенных противоречий.

Рассмотрим представление о природе человека всех трех упомянутых теорий.

Что касается христианской теории, Пинкер считает ее «устаревшей» и, тем не менее, фиксирует, что христианская идея понимания человеческой природы остается крайне влиятельной в том смысле, что многие люди были, остаются или считают себя христианами. Эта теория, по его мнению, характеризует человека как создание, сотворенное по образу и подобию Бога и, в отличие от животного, не только имеющее нематериальную душу и свободную волю, но также врожденную склонность «выбирать грех». То есть согласно этой теории осознанность выбора и неизбежность его совершения – часть человеческой природы. Другой частью – почвой для осознанности – является некий общий для всех людей и неизменно-позитивный конструкт: душа, соединенная с телом по божественному образу и подобию.

«На протяжении двадцатого века, – пишет Пинкер, – многие интеллектуалы пытались обосновать принципы приличия на хрупких фактических утверждениях, таких как то, что люди биологически неотличимы, не питают неблагородных мотивов и совершенно свободны в своей способности делать выбор. Эти утверждения сейчас ставятся под сомнение открытиями в науках о разуме, мозге, генах и эволюции» [1. Р. 2].

Пинкер утверждает, что у человека есть набор естественных врожденных индивидуальных способностей и ограничений, которые нельзя легко изменить или отменить. Человеческий разум имеет внутреннюю структуру определенного рода, которая не может быть изменена или перезаписана заново под воздействием общества или индивидуума.

Пинкер ясно дает понять, что нам следует думать о христианских представлениях о человеческой природе. Его вердикт состоит в том, что, хотя многие люди по-прежнему являются христианами, современная наука сделала невозможным принятие «научно грамотным человеком» традиционного христианского взгляда на человеческую природу. Христианская точка зрения несовместима с наукой в целом и с теорией эволюционного психолога о человеческой природе в частности, поскольку она игнорирует упомянутые выше врожденные индивидуальные особенности.

Этим же недостатком характеризуется и вторая теория, описывающая человеческую природу, – теория чистого листа. Теория «чистого листа» представляет собой точку зрения на природу человека большинства ученых в области гуманитарных и социальных наук. Критики иногда называют ее «стандартной моделью социальных наук» [2. Р. 23]. Термин можно назвать уместным, поскольку «отцы-основатели» социальных наук (Карл Маркс, Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм) придерживались ее, и с тех пор такой взгляд на природу человека продолжает доминировать в вышеперечисленных науках.

В общем смысле эта теория выражает идею о том, что человеческий разум не имеет внутренней структуры и может быть «отпечатком» воздействия общества или отдельных людей, другой личности. То, как мы ведем себя и как мы думаем, во всем зависит от социальной обусловленности, и почти ничто в природе человека не связано с нашей биологической природой.

Пинкер настаивает, что эти теории, объясняющие человеческую природу, продолжают «довлеть» в традиции ее интерпретации. Сам же Пинкер, напротив, считает, что человеческая природа является «драйвером» человеческих поступков. Наша генетическая структура развивалась миллионы лет, становясь той самой человеческой природой и ограничивая наши модели поведения. Человеческое существо не рождается с абсолютно пустым, «нулевым» умом, *tabula rasa*, как белый лист бумаги, лишенный всех символов, которые впоследствии могут быть вписаны обществом или отдельным человеком. Скорее, мы существа, чей разум «запрограммирован» при рождении и больше похож на «лист бумаги с заранее напечатанным на нем текстом».

Чтобы решить, прав Пинкер или нет, нам необходимо сначала разобраться с основными тезисами третьей – дарвиновской – теории человеческой природы. Эта теория формулируется так: человеческая природа (человеческие черты или склонности) не пластична, а достаточно устойчива.

Пинкер, однако, на этот счет утверждает следующее: человеческая природа не закреплена в том додарвиновском смысле, что она дана человеку раз и навсегда. Согласно теории эволюции виды нестабильны, природные виды не считаются имеющими неизменные формы или сущности, характерные для большей части додарвиновской биологии и философии. *Homo sapiens* эволюционировал и, как любой другой вид, будет продолжать развиваться.

Ссылаясь на одного из последователей Дарвина Уильяма Джеймса, Пинкер замечает, что обладатель инстинкта вовсе не должен действовать как «абсолютный автомат». Он утверждает, что нам присущи все те же инстинкты, что и животным, и многие другие; гибкость нашего разума происходит из взаимодействия множества соревнующихся между собой инстинктов. На самом деле именно инстинктивная природа человеческого мышления мешает

нам замечать, что это и есть инстинкт. «Мы так же не осознаем функционирование языка, как муха не обдумывает откладывания яиц» [3. С. 13].

Таким образом, выявив представления каждой из теорий о человеческой природе, мы обнаруживаем принципиальное сходство двух из них и явное отличие третьей в вопросе изначальной данности человеческой природы. Основываясь на этом противоречии, я хотела бы далее рассмотреть тот вызов социальным и гуманитарным наукам, а также теологии (христианской теории), который представляет собой третья – дарвиновская – точка зрения.

Главные вопросы, которые интересуют нас при попытке применить дарвиновскую теорию в практике современных социальных и гуманитарных наук: может ли дарвиновское понимание нашего происхождения быть использовано для объяснения человеческой природы и поведения человека, и если да, то в какой степени? Какова новая интерпретация этих идей, и как эти идеи должны быть интегрированы, если это вообще возможно, в ткань социальных, гуманитарных наук и теологии? Это движение только в одну сторону и в одном направлении, или есть важные черты в человеческой природе и поведении, которые биологи могли бы позаимствовать у социальных, гуманитарных наук и, возможно, теологии?

Роберт Райт говорит об этом дарвиновском вызове как о происходящей тихой революции, как о смене парадигмы и о разворачивании нового мировоззрения. Он называет привлеченных ученых «новыми дарвиновскими социологами» и пишет, что они «борются с доктриной, которая доминировала в их областях на протяжении большей части этого столетия: идей о том, что биология не имеет большого значения, – что уникально податливый человеческий разум, вместе взятый с уникальной силой культуры, оторвал наше поведение от его эволюционных корней; что человеческая природа не является движущей силой человеческих событий, скорее, наша сущностная природа должна быть управляемой» [4. Р. 43].

В этой связи понятиями «дарвинисты» или «дарвиновские социологи» в данном эссе будут обозначены те исследователи, которые утверждают, что человеческая природа может быть объяснена в терминах биологических процессов, связанных с естественным отбором и дающих ключ к нашему пониманию человеческой культуры, или, по крайней мере, эти биологические процессы являются очень важными факторами понимания человека.

Очевидно, Райт и Пинкер считают, что дарвиновский вызов будет иметь глубокие последствия для нашего понимания своей природы, а также для понимания своего мировоззрения, поскольку такой подход принесет социальным наукам нечто принципиально новое.

Главным отличием эволюционной теории Пинкера видится признание существования некой изначальной данной человеческой природы, но, возможно, теория чистого листа, главенствующая в настоящее время в гуманитарных и социальных науках, уже учитывает в некоторой степени эту природу?

Пинкер – и в этом мне видится одно из коренных противоречий его подхода – придерживается по этому поводу, кажется, двух мнений одновременно. Он заявляет, что вся его книга направлена против «отрицания человеческой природы», но затем, несколькими страницами позже, говорит, что «у каждого есть теория человеческой природы», а кроме того, описывает чистый

лист как теорию человеческой природы, а именно то, что «чистого листа» почти не существует.

Еще более тревожным является тот факт, что исследователи, которые обычно воспринимаются читателями как сторонники теории чистого листа, также могут придерживаться различных взглядов по этому вопросу.

Маргарет Мид, к примеру, пишет так: «...мы вынуждены заключить, что человеческая природа невероятно податлива – она точно и разносторонне реагирует на разнообразные культурные условия» [5. С. 280].

Жан Поль Сартр утверждает: «Человеческой природы нет... человек есть не что иное, как его проект самого себя» [6. Р. 321]. По словам Рут Хаббард, «человеческая природа» не описывает людей. Это нормативная концепция, воплощающая исторически обоснованные представления о том, что такое люди и как они должны себя вести. Сомнительно, означает ли что-нибудь понятие человеческой природы» [7. Р. 63].

Итак, мы привели три примера сторонников модели социальных наук, которые утверждают следующее: во-первых, что у человека есть природа, во-вторых, что у человека нет природы, в-третьих, что говорить о человеческой природе бессмысленно.

Робин Хэдлам Уэллс и Джон Джо Макфадден, пытаясь охарактеризовать современные дискуссии, предполагают: «...то, что разделяет современных мыслителей, – это не вопрос различных интерпретаций человеческой природы, хотя они все еще существуют, а вопрос о том, имеет ли это смысл вообще – говорить о человеческой природе» [8. С. 1].

Обобщив вышесказанное, мы можем в качестве решения данного противоречия сформулировать следующий тезис: приведенные выше теории есть не одна теория человеческой природы, но несколько разных теорий, которые критики произвольно объединили в одну точку зрения. Поэтому необходимо признать тот факт, что понятие природы человека в данном контексте неоднозначно, и, главное, разграничить те смыслы, которые исследователи вкладывают в это понятие. Разные смыслы обуславливают разные подходы к вопросу.

Первый подход заключается в том, что природу понимают как биологический мир в противовес культуре или миру общества. Под культурой в данном случае понимается любая человеческая деятельность в отличие от деятельности животного. То есть интеллектуально-творческая деятельность – литература, искусство, наука, право, религия, мораль, технологии, экономика и политика. Тогда, в отличие от культуры человека, понятие человеческой природы будет относиться только к биологической части человеческого существа, к результату естественного отбора.

В этой связи человеческая природа была бы совокупностью таких человеческих черт и моделей поведения, которые физически присутствуют в человеке в момент рождения. Если именно это мы подразумеваем под человеческой природой и, более того, если согласимся, что люди (в значении «не животные») являются продуктом культуры, мы вполне можем вслед за Сартром утверждать, что человеческой природы нет, во всяком случае, с точки зрения социальных наук.

Когда Пинкер пишет: теория «чистого листа» подразумевает, что человеческая природа почти не существует, он, вероятно, понимает человеческую

природу описанным выше способом. В стандартных и типичных представлениях социологов о людях не так много биологии и нейробиологии, поэтому биологическая природа в них почти отсутствует. Когда Дюркгейм пишет: «Индивидуальная [человеческая] природа – это просто неопределенный материал, который социальный фактор формирует и трансформирует» [9. С. 106], эта цитата, кажется, поддерживает вывод Пинкера.

Однако, продолжая вскрывать противоречия в понимании «природности» различными теориями осмысления человеческой природы, нельзя игнорировать и другое значение, другой подход. «Природа» может относиться ко всем тем свойствам – биологическим, социальным, моральным, религиозным и т.д., которые характеризуют людей и отличают их от других видов или любых других объектов в мире.

При таком подходе понятие «природа» применимо не только к естественным видам или биологическим объектам, но также и к искусственным видам и абстрактным объектам, таким как числа, утверждения или теории. В этом смысле часть «природы стола» – иметь «ноги», велосипеда – колёса, а денег – иметь экономическую ценность. Часть исследователей используют понятие человеческой природы именно в этом широком смысле, хотя мы должны иметь в виду, что некоторые из ученых, которых мы цитировали выше, используют его в первом смысле либо колеблются между двумя смыслами.

Со вторым пониманием природы совместим основной тезис стандартной модели социальных наук или теории социального конструктивизма, а именно что человеческие черты и поведение человека социально сконструированы и являются продуктом культурных, а не биологических процессов.

Если использовать понятие человеческой природы в этом смысле, то человеческая природа может быть продуктом культуры, а Мид и другие социологи могут осмысленно говорить о человеческой природе, но одновременно с этим все же не соглашаться с дарвиновскими социологами. Однако, как мы видим, не все сторонники теории социального конструктивизма едины, если вспомнить цитаты Сартра. Когда Мишель Фуко утверждает, что «ничего в человеке не является достаточно устойчивым, чтобы служить основой для понимания других людей» [10. С. 78], это можно интерпретировать как утверждение, что нам не хватает общей природы даже во втором смысле.

При объяснении идей Фуко и их отношения к постмодерну Уэллс и Макфадден пишут: «Антиэссенциализм – вера, что не существует универсальной сущности человеческой природы – это основной принцип в большинстве современных литературных теорий» [8. С. 2]. В современной феминистской теории Шарлотта Витт отмечает, что «демонстрация того, что позиция является „эссенциалистской“, сама по себе может служить хорошей причиной для отказа от нее. Человеческая природа – это скорее миф, направленный на то, чтобы навязать „один конкретный набор ценностей остальному миру“» [11. Р. 321].

Питер Лоптсон описывает эту точку зрения как идею о том, что мы подобны разновидностям лука со слоями культурных наслоений, удаление которых, даже если бы это было возможно, не выявило бы внутреннего ядра или какого-либо ядра, которое разделяют все люди [12. Р. 22].

Таким образом, мы видим, по крайней мере, два направления в стандартных социальных науках, одно из которых утверждает, что у нас есть природа, но она является продуктом культуры или социальных условий, а другое утверждает, что не существует такого понятия, как универсальная человеческая природа.

Мы не можем признать это простым «словесным разногласием», вызванным двусмысленностью понятия человеческой природы. Эти две точки зрения – модернистскую и постмодернистскую версии социальной конструктивистской теории – необходимо разграничить.

Итак, с одной стороны вызов дарвиновской теории, с которым сталкиваются современные социальные и гуманитарные науки, заключается в том, что невозможно далее игнорировать достижения естественных наук, таких как, например, нейробиология, в области их объяснения поведения человека как индивидуума и как члена социума.

С другой стороны, нет никаких свидетельств каких-либо видоизменяющих трансформаций в нашей природе, по крайней мере, за последние 35 000 лет, а возможно, и 100 000 лет. Следовательно, любое развитие за последние несколько тысяч лет вряд ли могло изменить человеческую природу, то, какие мы есть, и наши природные склонности.

Скорее, человеческая природа универсальна и неизменна в том смысле что присуща каждому человеку, который родился на протяжении всей истории нашего вида, и вместе с тем индивидуальна и зависима от множества факторов от генетики до жизненных условий.

Человеческий разум и черты характера эволюционировали в конце каменного века под решение адаптивных задач и проблем, с которыми сталкивался наш предок охотник-собиратель. Человеческая природа фиксирована, но может развиваться в ответ на изменения в окружающей среде или культуре, однако такое изменение занимает очень много времени.

Таким образом, человеческая природа, по сути, достаточно устойчива и индивидуальна.

Суммируя материал исследований в области изучения природы человека, можно отметить, что Пинкер, его предшественники и последователи дают такое определение человеческой природы, согласно которому даже крайние случаи ее «пластичности» обнаруживают важные врожденные ограничения. То есть лучше было бы говорить об «ограниченной пластичности».

На основе этого вывода и возвращаясь к влиянию изучения человеческой природы на развитие современных образовательных практик, можно сформулировать следующую гипотезу: в терминах теории чистого листа и с учетом дарвиновской теории человек не является ни чистым листом, ни листом с заранее набранным текстом. Природу человека можно сравнить с листом лингвистического теста, где часть информации дана заранее, а часть – пропущена и нуждается в дополнении. При этом текст задания в каждом случае набран общим для всех алфавитом, но для каждого человека – это индивидуальный текст и индивидуальные пропуски, заполнять которые необходимо согласованно с окружающими их словами.

Применительно к образовательным практикам это означает:

1) необходимость выработки базовых принципов практики с учетом общих, непластичных с точки зрения человеческой природы основ;

2) выстраивание этих принципов в систему таким образом, чтобы они подстраивались под те индивидуальные особенности личности, которые являются пластичными и обуславливают способность человека к восприятию и усвоению информации и навыков.

В дальнейших исследованиях я хотела бы проанализировать, как тезис об «ограниченной пластичности» рассматривается в современной нейробиологической литературе в контексте образовательных практик, и прежде всего, в преломлении влияния процесса образования на изменение человеческой природы.

Возможно, правильным было бы показать, что существуют врожденные ограничения природы, однако процесс обучения при условии сочетания опоры на неизменное с адаптивностью там, где допустима пластичность, может существенно изменять то, что казалось достаточно устойчивым.

Противопоставление концепции такого понимания человека концепции эмпиризма есть фундаментальная философская проблема, сквозь эту оппозицию мы будем рассматривать тему современных образовательных практик.

Литература

1. *Пинкер С.* Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня / пер. с англ. Г. Бородиной. М. : Альпина нон-фикшн, 2018. 388 с.
2. *Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J.* The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford University Press Inc., 1992. 664 p.
3. *Пинкер С.* Язык как инстинкт / пер. с англ. Е. Кайдаповой ; общ. ред. В.Д. Мазо. М. : Едиториал УРСС, 2004. 456 с.
4. *Райт Р.* Моральное животное / пер. с англ. А. Чечиной, К. Карповой. М. : АСТ, 2020. 512 с.
5. *Mead M.* Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York : William Morrow, 1963. 335 p.
6. *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов / сост. и общ. ред. А.А. Яковлева ; пер. с фр. А. Санина. М. : Политиздат, 1990. С. 319–345.
7. *Hubbard R.* The Political Nature of “Human Nature” // Theoretical perspectives on sexual difference / ed. by D.L. Rhode. New Haven. CT : Yale University Press, 1990. P. 63–70.
8. *Wells R.H., McFadden J.J.* Human Nature: Fact and Fiction. London : Continuum, 2006. 216 p.
9. *Дюркгейм Э.* Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. М. : Канон, 1995. 352 с.
10. *Фуко М.* Ницше, генеалогия, история // Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996. С. 74–97.
11. *Witt Ch.* Anti-Essentialism in Feminist Theory // Philosophical Topics 23. 1995. № 2. 321 p.
12. *Loptson P.* Theories of Human Nature. Peterborough : Broadview, 2001. 262 p.

Olga V. Gorodovich, Tomsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: gorodovich@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 55–63.

DOI: 10.17223/1998863X/60/6

A “BLANK SLATE” OR A NATURAL PREDISPOSITION: THE NECESSITY OF CLARIFYING THE TERM “HUMAN NATURE” IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL PRACTICE STUDIES

Keywords: human nature; Blank Slate theory; philosophy of education; evolutionary psychology; Steven Pinker; religion; social constructivism.

Modern sociocultural changes are running rapidly, are constantly provoking new requirements that society and labor market impose on a person and his/hers education. As a result, people are largely

frustrated with their own expectations and the expectations of society. The value of education increases permanently, and the study of educational practices has become more relevant than ever. In this regard, one of the main challenges that social and human sciences face is the challenge of understanding human nature – this will make educational practices as adaptive as possible, capable of adjusting to this nature, and, possibly, changing it. This issue is deeply reflected by the cognitive scientist Steven Pinker in his book *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature*. His main idea is that human nature cannot be understood as a blank slate and must be studied in the context of the evolutionary baggage of humanity. Pinker states that it is impossible to ignore the achievements of the natural sciences, such as neurobiology, in explanation of human behavior as an individual and as a member of society. It should be noted that certain contradictions in the definition of the concept of human nature exist in Pinker's work and in the works of his colleagues. Some researchers understand human nature as a part of the biological world opposed to the human culture or society. Others see it as a collection of properties – biological, social, moral, etc. – that distinguish human beings from other species or objects in the world. As a result, Pinker suggests a definition of human nature, according to which even extreme cases of human nature's "plasticity" reveal important innate limitations. Based on that definition, the following hypothesis can be formulated: in terms of the blank slate theory (social constructivism) and taking into account the evolutionary theory, we can say that a human being is neither a blank slate, nor a sheet with a pre-typed text. Human nature can be compared to a linguistic test, in which information is partly given and partly skipped for sentences to be completed. In relation to educational practices, it means: 1) the necessity of developing core principles of a practice, taking into account the above mentioned innate limitations of human nature; 2) the systematization of these principles in such a way that they adapt to those plastic individual traits which determine the person's ability to assimilate information.

References

1. Pinker, S. (2018) *Chistyy list: Priroda cheloveka. Kto i pochemu otkazyvaetsya priznavat' ee segodnya* [The Blank Slate: Human Nature. Who and Why Refuses to Recognize it Today]. Translated from English by G. Borodina. Moscow: Al'pina non-fikshn.
2. Barkow, J.H., Cosmides, L. & Tooby, J. (1992) *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*. Oxford University Press Inc.
3. Pinker, S. (2004) *Yazyk kak instinkt* [The Language Instinct]. Translated from English by E. Kaydapova. Moscow: Editorial URSS.
4. Wright, R. (2020) *Moral'noe zhivotnoe* [The Moral Animal]. Translated from English by A. Chechina, K. Karpova. Moscow: AST.
5. Mead, M. (1963) *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*. New York: William Morrow.
6. Sartre, J.-P. (1990) *Sumerki bogov* [Twilight of the Gods]. Translated from French by A. Sanin. Moscow: Politizdat. pp. 319–345.
7. Hubbard, R. (1990) The Political Nature of "Human Nature". In: Rhode, D.L. (ed.) *Theoretical perspectives on sexual difference*. New Haven, CT: Yale University Press. pp. 63–70.
8. Wells, R.H. & McFadden, J.J. (2006) *Human Nature: Fact and Fiction*. London: Continuum.
9. Durkheim, E. (1995) *Sotsiologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology. Its Subject, Method, Purpose]. Translated from French by A.B. Gofman. Moscow: Kanon.
10. Foucault, M. (1996) Nietzsche, Genealogiya, istoriya [Nietzsche, Genealogy, history]. In: Usmanova, A.R. (ed.) *Filosofiya epokhi postmoderna* [Philosophy of the Postmodern Era]. Minsk: Krasi-ko-Print. pp. 74–97.
11. Witt, Ch. (1995) Anti-Essentialism in Feminist Theory. *Philosophical Topics*. 23(2). pp. 321–344.
12. Loptson, P. (2001) *Theories of Human Nature*. Peterborough: Broadview.

УДК 930

DOI: 10.17223/1998863X/60/7

Н.С. Корнющенко-Ермолаева

ИДЕОЛОГИЯ VERSUS КОЛЛЕКТИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ? К ИСТОРИИ ДИСКУРСА

Представлен категориальный анализ понятий «коллективная историческая память» и «идеология». Раскрыто смысловое содержание и теоретическая ценность понятия «коллективная историческая память». Выявлены существенные отличия коллективной исторической памяти от идеологии, что позволило аргументированно показать, что в современном дискурсе не произошла подмена понятий, объясняемая сменой парадигмы от деидеологизации к коллективной памяти.

Ключевые слова: коллективная историческая память, официальная память, конвенциональность воспоминаний, национальная идентичность, абберации памяти.

В истории употребления понятия «память» на рубеже XX–XXI вв. наступает переломный момент, когда его содержание еще сохраняется в стабильном состоянии, а концептуальная структура уже подвергается радикальным преобразованиям и получает новое развитие. Понятие «память» начинает использоваться различными представителями социально-гуманитарного знания как составная часть термина, с которым образуются сложносоставные лексемы, такие как «социальная память», «культурная память», «коллективная историческая память» и др.

Начало процессу переосмысления понятия «память» дал французский философ и социолог Морис Хальбвакс (1877–1945), последователь Э. Дюркгейма, введя в оборот понятие «коллективная память». Основной идеей Хальбвакса является тезис о том, что носителем памяти может быть как отдельный индивид, так и коллективы – семья, социальная группа, нация в целом. Хальбвакс выдвинул идею, согласно которой и память отдельного человека, и память социальной группы социально детерминированы. В результате то, что на протяжении долгого времени было принято считать индивидуальным, оказалось на самом деле социальным. Исследования коллективной (исторической и культурной) памяти нашли свое продолжение в работах французского философа П. Рикера, немецкого историка и культуролога А. Ассман, французского историка П. Нора, немецких исследователей Х. Вельцера, Д.К. Олика и др.

Однако подобное контекстное словоупотребление М. Хальбвакса и его последователей в социогуманитарных научных исследованиях не было оценено академичным сообществом по достоинству и вызвало волну возражений и критики. Оппонентами М. Хальбвакса становятся американский писатель, критик и философ С. Зонтаг, немецкий историк и теоретик исторической науки Р. Козеллек, венский философ Р. Бургер, немецкий историк религии и культуры Я. Ассман, голландский философ Ф.Р. Анкерсмит и др. Основные претензии этих мыслителей к употреблению понятия «коллективная истори-

ческая память» можно свести к нескольким концептуальным положениям. Во-первых, они выступают против признания коллектива субъектом памяти. Воспоминания, по их мнению, принадлежат только индивиду и исчезают со смертью их носителя. На данном основании эти мыслители утверждают, что понятия «коллективная память» и «память нации» могут использоваться только как метафоры. Во-вторых, критики концепта «коллективная историческая память» солидарны в том, что «такого явления, как коллективная память, не существует» [1]. С. Зонтаг в книге «Когда мы смотрим на боль других» приходит к умозаключению: «То, что мы зовем коллективной памятью, – на самом деле не память, не воспоминание, а условность, конвенция, соглашение <...>» [1]. В-третьих, эти мыслители утверждают, что во второй половине XX в. концепт «коллективная память» заменил собой понятие «идеология», т.е. в современном дискурсе произошла подмена понятий, объясняемая «сменой парадигмы от критики идеологии к коллективной памяти» [2. С. 28].

Таким образом, становится очевидным, что границы понятия «коллективная историческая память» не установлены, а сам концепт используется в разных смыслах, включая метафорические. В связи с этим вопрос об условности конструкта «коллективная историческая память» становится весьма актуальным. Именно поэтому необходимо прояснить смысловое содержание и теоретическую ценность этого понятия, последовательно ответить на возражения и критические замечания оппонентов и противников данного концепта, а также разграничить понятия «коллективная историческая память» и «политическая идеология».

До начала XX в. приписывание сознания коллективному субъекту было невозможно. Только для философии и социологии XX в. коллективное сознание становится той реальностью, онтологический статус которой не вызывает более сомнений. Стоит заметить, что при внимательном прочтении работ Хальбвакса происходит столкновение с еще одной терминологической трудностью. Она заключается в том, что мыслитель не только не отождествляет понятия «коллективной» и «исторической» памяти, но и различает их, поэтому в первую очередь необходимо разобраться с точками пересечения этих понятий. Хальбакс утверждает, что главным референтом исторической памяти является нация, а носителями коллективной памяти выступают социальные группы. По мнению философа, индивидуальная и коллективная память прирастают историческим прошлым. «Если под исторической памятью мы понимаем ряд событий, воспоминания о которых хранит национальная история, то не она ли, не ее ли рамки являются основной частью того, что мы называем коллективной памятью?» [3]. Таким образом, понятие «историческая память» шире понятия «коллективная память», но в идеале историческая память растворяется в коллективной, тем самым расширяя ее временной горизонт. В современном философском дискурсе понятие «коллективная память» используется в двух разных значениях: как память различных социальных групп и как национальная или политическая память, связанная с коммеморативными практиками. В понятии «коллективная историческая память» зафиксирована ментальная способность коллективов, социальных групп и нации в целом сохранять и реконструировать воспоминания о совместно пережитом историческом опыте. Коллективная историческая память возникает в среде пространственной близости (одна страна), регулярной ин-

терактивности, сходного образа жизни и совместных воспоминаний. Временной горизонт исторической памяти определяется сменой поколений (80–100 лет). «Это период одновременного сосуществования нескольких поколений (обычно их бывает три, в исключительных случаях – пять), которые благодаря непосредственному общению образуют сообщество совместного опыта, воспоминаний и нарративов» [2. С. 22]. Коллективная память представляет собой эволюционный процесс запоминания и амнезии, в который втянуты социальные группы общества.

Возникает закономерный вопрос: на каком основании противники концепта «коллективной исторической памяти» настаивают на том, что это понятие появляется в политико-философском дискурсе исключительно с целью подмены им понятия «политической идеологии»? Как создаются коллективные представления о прошлом и формируются национальные символы? Какую роль играют государство и политика в формировании коллективной исторической памяти?

В XX в. произошло кардинальное изменение способов функционирования политической идеологии, что позволило ей действовать «анонимно». В связи с этим некоторые обществоведы (Д. Белл, Ж. Фурастье, С. Липсет) начали говорить о «конце» идеологии. Появились концепции деидеологизации. Однако стоит заметить, что роль идеологии в обществе не снизилась. Идеологическое сохраняется, но в новых формах организации. Претерпел серьезные изменения сам способ ее существования. «Идеология была демонтирована более как официальная риторика, система институтов и символов, чем как глубоко укорененная сборка идей и представлений» [4. С. 107], и именно этот момент необходимо учитывать, анализируя взаимоотношения политической идеологии и коллективной исторической памяти.

В понятии «идеология» содержатся три основных значения: теория, ценность и интерес. Любая политическая идеология воплощается в теоретической модели или определенной когнитивной схеме, которая появляется как результат концептуализации социального и исторического опыта, осуществленный профессиональными политиками, идеологами и философами. Она представляет собой особый вид познавательной деятельности, связанный с построением знания о социальной реальности. Специфика идеологического процесса познания заключается в том, что это не отражение, а активное построение образа действительности – конструкт с его особого назначения интерпретацией. Он «представляет собой архив суггестивных образов, призванных влиять на верования, чувства, мнения и управлять ими» [1]. Таким образом, существенными характеристиками идеологии являются ее способность конструировать представления о социальной реальности в целях ее изменения и возможность эффективно воздействовать на коллективное сознание с целью внушения ему желательных установок и поведенческих актов, которые не осознаются и часто противоречат его воле.

Однако идеология – это не только теоретическая схема идей и убеждений, а еще и способ проектирования социально-политических действий, это программа, прагматически направленная на изменения того, что есть. Стремление идеологии к изменению может быть направлено на реформирование существующей социальной реальности, а может предполагать ее революционный слом. При любом из возможных сценариев устремления идеологии

направлены в будущее. Поэтому любая идеология, помимо теории, включает программу политических действий, направленных на трансформацию существующей реальности – утопический проект будущего, из чего можно заключить, что в политической идеологии акцент чаще всего смещен с конструирования теоретических положений к социальным действиям.

Идеологические программы предполагают в качестве обязательного условия наличие системы ценностей, побуждающей широкие массы своих приверженцев к действию. В этих системах обязательно имеет место ценностное отношение к знаковым для нации историческим событиям. Как писал Альтюссер, идеология может быть превращена «в орудие рефлексивного воздействия на Историю» [5. С. 330]. Ретроспективный взгляд в прошлое для идеологии представляет собой, в первую очередь, исходный материал для конструирования своей собственной предистории с целью «исторического» обоснования закономерности своего появления. Давно забытое коллективным сознанием историческое событие может быть реанимировано и использовано идеологами для своих целей. «Идеологически правильные» мертвые будут вырваны из исходного контекста: надгробия их могил будут перенесены <...> Памятники будут собраны в специальных мемориальных пространствах, эдаких „потемкинских деревнях“ для мертвых, за фасадами которых не будет никакого содержания» [6. С. 175]. Таким образом, для идеологии историческое прошлое становится «подручным материалом», из которого она конструирует свои идеи и принципы. В идеологии оценка прошлого может меняться в зависимости от целей его использования. Из определенного видения исторического прошлого нации идеология выстраивает технологии достижения будущего.

Выстраиваясь в виде ментальных конструкторов (идеологем), идеологические программы способны руководить поведением широких масс и формировать как идентичность нации, так и отдельного субъекта. Идеологии создают привлекательные для широких масс идеи и образы, «помещая в них, как в капсулы, наши представления о важном, значимом и порождая таким образом циркуляцию в обществе весьма предсказуемых идей и впечатлений» [1]. И, наконец, политическая идеология определяется парадигмой, основанной на интересах конкретных социальных групп. В ней артикулирован групповой интерес: классовый, национальный, корпоративный.

В отличие от политической идеологии коллективная историческая память не представляет собой стабильной теоретической модели. Это живая динамическая система, находящаяся в постоянном процессе эволюции. Она открыта диалектике запоминания, сохранения информации и ее забвения. Коллективная память, согласно Хальбваксу, подвержена двойному процессу трансформации: она одновременно формируется и деформируется. На этом основании Хальбвакс обращает внимание, что существование коллективной памяти протекает по своим, отличным от автобиографической памяти законам, которые требуют специального изучения.

Одним из специфических проявлений в работе коллективной исторической памяти является синдром «запаздывающей памяти», описанный М. Хальбваксом. В его основе лежит механизм забвения или вытеснения на некоторое время (от 10 до 30 лет) воспоминания о недавнем совместно пережитом опыте, который сильно травмировал коллективное сознание. Пока жи-

вы очевидцы и участники этих событий, критическое переосмысление и нравственная рефлексия прошлого, как правило, невозможны. Значимость исторического события становится очевидной для коллективного сознания только благодаря возникающей временной дистанции, которая позволяет критически переосмыслить прошлое. Нравственная рефлексия последующих поколений может привести не только к тому, что событие получит статус позитивного и сакрального, но и к полной конфронтации с родительским наследием. «С одной стороны, коллективная память может не включать события, которые сыграли важную роль в жизни членов сообщества (как, например, память о Второй мировой войне в Японии). С другой стороны, социально и географически отдаленные события могут быть приближены в целях самоидентификации группами людей, которые не были их непосредственными участниками (как в случае с памятью о Холокосте)» [7. Р. 192].

Как создаются коллективные представления о прошлом? Всегда ли они являются результатом воздействия официальной идеологии или могут формироваться независимо от ее воздействия и выступать в конфронтации с ней? В отличие от идеологии, которая целенаправленно конструируется профессиональными философами и политиками, память возникает тогда, когда историческое прошлое передается путем живого рассказа от представителя одного поколения другому. Коммуникативная природа коллективной памяти порождает эмоциональную вовлеченность в прошлое. Живой рассказ пробуждает у представителей следующего поколения интерес к событиям, свидетелями которых они не могли быть, и позволяет преодолеть чуждость исторического прошлого. Таким образом, коллективная историческая память – это поколенческая память, она соединяет поколения, обеспечивая «переход от выученной истории к живой памяти» [3].

Различия между коллективной памятью и идеологией очевидны. Коллективная память включает в себя исторические воспоминания как о триумфальных победах нации, так и о ее постыдных поражениях, связанных с кровавым насилием, поэтому это понятие получает этические коннотации, связанные с нравственной оценкой и переосмыслением национальным самосознанием своего прошлого. Воспоминания о коллективном историческом прошлом формируются под воздействием четырех основных переживаний совместного опыта: гордости, стыда, вины и страдания. Коллективная историческая память необходима, в первую очередь, для формирования национальной идентичности, поскольку «память ценят там, где существуют проблемы с идентичностью» [7. Р. 193].

Коллективная историческая память, в отличие от идеологии, фиксирует всеобщее признание определенной трактовки исторического события большинством сообщества (социальной группой или нацией в целом). Для нее характерно такое свойство, как конвенциональность воспоминаний. Поскольку коллективная память основана на ресурсе совместно опыта и знаний, воспоминания, сохраняемые в ней, «не всегда бывают собственными: они передаются другим и становятся воспоминаниями из вторых, третьих, четвертых рук» [8]. В процессе неоднократно повторяемого рассказа о прошлом происходит не только передача пережитого коллективного опыта, но и присвоение его представителями следующих поколений. Для того чтобы заимствованные воспоминания слились с личными, необходимо, чтобы они сочетались с тем

эмоциональным переживанием, которое испытывает человек по отношению к тем времени и событиям, о которых он слышит рассказ. Кроме того, в коллективной памяти, в отличие от политической идеологии, всегда имеет место конкуренция нескольких версий прошлого. Одни версии могут доминировать над другими, но другие тоже сохраняются. Для коллективной исторической памяти характерен объяснительный плюрализм, которого не может быть в идеологии.

Одним из важных вопросов, требующих пристального внимания, является тема искажения фактов об историческом прошлом. Искажения присутствуют как в коллективной исторической памяти, так и в идеологических конструктах. Однако механизм этих искажений различный. Идеология реконструирует исторические события исходя из тех принципов и мировоззренческих позиций, которые считает верными и не подвергает их процедуре гносеологической верификации. Как теоретическая система идеология включает в себя одновременно с достоверными знаниями об историческом прошлом и целенаправленно искаженные представления, которые смещают акценты и меняют оценки событий и деятельности политических лидеров. «Имеется в виду фабрикация таких текстов, в которых крупницы истины тонут в море сознательного обмана» [8]. Комплекс идеологем, подкрепленных емкими образами прошлого, позволяет создать канал, сообщающий личность и социум, гармонизирующий их отношения в рамках единства целей и задач развития. Прошлое, таким образом, становится для идеологии инструментальным, открывающим возможности для манипуляций сознанием, мотивацией и оценками широких масс.

Механизм работы коллективной памяти связан не только с сохранением воспоминаний, но и с абберациями памяти, которые приводят к бессознательным искажениям воспоминаний. Бессознательные искажения воспоминаний обусловлены, с одной стороны, высокой эмоциональной значимостью события, с другой – многократной повторяемостью рассказа о нем. В процессе неоднократного воспроизведения воспоминания происходят постоянные дополнения рассказа вымышленными деталями. При этом чем выше степень значимости воспоминания, тем больше оно претерпевает существенных трансформаций и дополнений. В этом и заключается парадоксальность коллективной памяти.

Процесс искажения (аббераций памяти) происходит по следующей схеме: неизменно в процессе рассказа вызванное воспоминание фиксируется в памяти каждый раз в новом качестве. Оно обогащается новыми нюансами и корректируется в зависимости от контекста ситуации, в которой имело место воспоминание. Таким образом, формула памяти может быть представлена следующим образом: воспоминание – это каждый раз событие плюс воспоминание о том, как и при каких обстоятельствах его вспоминали.

Нарративы о коллективно пережитых исторических событиях, связанных с большой степенью травматичности, обладают способностью оказывать сильное эмоциональное воздействие на коллективные воспоминания, приводя их к тому стандарту, в котором их помнит большинство. Именно поэтому, когда речь идет о коллективных воспоминаниях, связанных с серьезными историческими потрясениями, можно наблюдать феномен стандартизации комплекса воспоминаний, присутствующих в социуме. Создается обманчивое

впечатление, что все участники событий в этот период имели один и тот же опыт. В коллективной памяти образ должен быть упрощен. Коллективная память – это унифицированная конструкция – упрощение, редукция события до мифических архетипов. Следовательно, нарратив трансформируется в миф.

В процессе социальной коммуникации внутри коммеморативных сообществ происходит длительный обмен историями. Рассказы модифицируются и «переписываются» до того момента, пока у большинства членов группы не окажется идентичного набора одинаковых историй. Эти истории могут быть основаны на отдаленно схожем личном опыте, но в деталях оказываются «ложными» – сконструированными воспоминаниями, сформированными не собственным опытом, а скорее коммуникативным обменом. Чем более удалено событие, тем стабильнее и статичнее воспоминание о нем. Воспоминание удаленного во времени события имеет более завершенный характер и уровень рефлексивности.

Идеологические программы основаны на допущении, что условия, которые определяют социальную реальность, могут быть изменены, если сознательно и целенаправленно воздействовать на содержание коллективного сознания, в том числе и исторического. При формировании идеологических конструктов, необходимых для поддержания национальной идентичности и консолидации общества, исторические события порой извлекаются «из нафталина» или просто выдумываются. Эти исторические воспоминания базируются на основаниях, созданных задним числом. Иногда тот или иной исторический миф, сконструированный идеологами, может быть абсолютно иррелевантен для коллективной идентичности.

Коллективная память способна к самоорганизации под влиянием семьи, религии и социальной группы. Она конституирует систему социальных конвенций, в рамках которой мы придаем форму нашим воспоминаниям. «Воспоминание полностью превратилось в свою собственную [человека или общества] тщательную реконструкцию» [9. С. 29]. Реконструкция «общего прошлого» – это процесс восстановления и обновления отношения к историческому событию, его актуализация в свете происходящего настоящего. Таким образом, в отличие от идеологии, которая в своих проектных суждениях конструирует то, чего в мире еще нет (идеи, концепции, убеждения и т.д.), коллективная память скорее реставрирует, воспроизводит воспоминание в новом качестве. Память, в отличие от идеологии, ретроспективна, ее вектор направлен не в будущее, а в прошлое.

Когда идеология действует как дискурс, поддерживающий власть, коллективная память оказывается объектом манипуляции. В данном случае появляется опасность отождествить коллективную память с официальной памятью, которую П. Рикер определяет, как «навязанную», подкрепленную самой «дозволенной» историей – историей официальной. Формирование этой памяти связано с обучением и принудительным запоминанием дат, событий и исторических лиц. «Преподанная история, история, которой обучают, но также и история восславленная. К принудительному запоминанию прибавляются и мемориальные церемонии, поминания, установленные общим соглашением. Таким образом, между припоминанием, запоминанием и поминанием заключается несущий в себе опасность пакт» [10. С. 125]. Таким образом, между

официальной (публичной) памятью, легитимированной в обществе, и памятью приватной, сохраняемой в семьях и малых социальных группах, может иметь место противоречие, переходящее в конфликт. Публичная память формируется системой образования, политикой и дидактикой мемориальных комплексов. В современных обществах можно наблюдать «конфликты воспоминаний», которые зачастую связаны с тем, что свидетели событий помнят о них не так, как о них принято говорить в официальной истории. У свидетелей, в силу удаленности события, уже сформировалось эмоционально кодированное представление, которое не может быть изменено за счет информации, полученной в настоящее время. Коллективная историческая память может привести «...к войне, а не к миру... и к решимости скорее отомстить, чем посвятить себя тяжелой работе прощения» [11. Р. 27].

Проделанный категориальный анализ позволил аргументированно показать, что в современном социально-философском дискурсе не произошло подмены понятия «идеология» концептом «коллективная историческая память». Несмотря на то что коллективная историческая память и идеология понимаются как социальные конструкты с элементом деконструкции и имеют ряд общих черт, понятие «коллективная историческая память» обладает существенными признаками, позволяющими использовать его в качестве самостоятельного, обладающего теоретической и эвристической ценностью. В отличие от идеологии, которая представляет собой относительно устойчивый и долговременный конструкт, память нестабильна, изменчива, способна к самоорганизации воспоминаний о прошлом. И идеология, и память искажают память о прошлом. Однако механизм этих искажений различный. Несмотря на то что коллективная память формируется в том числе официальной идеологией и системой образования, по своему содержанию она чаще всего не совпадает с тем, что ей принудительно навязывается извне, поэтому между коллективной памятью и официальной идеологией могут иметь место противоречия, приводящие к конфликтам.

Литература

1. Зонтаг С. Когда мы смотрим на боль других // Индекс/Досье на цензуру. 2005. № 22. URL: <http://index.org.ru/journal/22/index.html> (дата обращения: 01.08.2020).
2. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое лит. обозрение, 2014. 328 с.
3. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения: 01.08.2020).
4. Рубцов А.В. Иллюзии деидеологизации // Философия и идеология: от Маркса до постмодерна / отв. ред. А.А. Гусейнов, А.В. Рубцов ; сост. А.В. Рубцов. М. : Прогресс-Традиция, 2018. С. 98–129.
5. Альтюссер Л. Марксизм и гуманизм // За Маркса. М. : Практика, 2006. С. 311–343.
6. Мэрридейл К. Каменная ночь. Смерть и память в России XX века. М. : АСТ : CORPUS, 2019. 512 с.
7. Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and Theory. 2002. Vol. 41, № 2. P. 179–197.
8. Вельцер Х. История, память и современность прошлого // Неприкосновенный запас. 2005. № 2 (40). URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/istoriya-pamyat-i-sovremennost-proshlogo.html> (дата обращения: 01.08.2020).
9. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1999. С. 17–50.
10. Рикёр П. Память. История. Забвение. М. : Изд-во гуманит. лит., 2004. 728 с.

11. Rieff D. In Praise of Forgetting. Yale University Press, 2016. 160 p.

Nataliya S. Kornushchenko-Ermolaeva, Tomsk University of Control Systems and Radioelectronics (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: nskorn@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 64–73.

DOI: 10.17223/1998863X/60/7

IDEOLOGY VERSUS COLLECTIVE HISTORICAL MEMORY? TO THE HISTORY OF DISCOURSE

Keywords: collective historical memory; official memory; conventionality of memories; national identity; memory aberrations.

Collective perceptions of the historical past and their assessment are an integral part of any culture. By transmitting historical experience from generation to generation, collective historical memory is the basis for the formation and preservation of national identity, especially in times of serious social upheavals and transformations. The study of collective historical memory is the focus of modern social and humanitarian knowledge. Despite the fact that the concept “collective historical memory” has thoroughly entered the socio-philosophical and political discourse in the second half of the twentieth century, one can find quite a lot of uncertainties and disagreements related to its content and use. In modern socio-philosophical discourse, there is a skeptical attitude to its use. Some researchers declare this concept a metaphor, a fiction, a meaningless construction, and claim that the concept of collective historical memory has replaced the concept “ideology”. According to the author, the concept “collective historical memory” has its own semantic content and essential features, and can be used as an independent concept. As a semantic concept, it does not replace the concept “ideology”, it has theoretical and heuristic value. Collective historical memory is the ability of social groups and the nation as a whole to symbolically reconstruct collectively significant historical events in the collective memorization and oblivion, giving them a certain value-based interpretation. According to the author, collective historical memory as a living dynamic system exists according to its own laws, different from individual memory. The most unique laws that require philosophical reflection are: 1) the “delayed memory” syndrome; 2) the conventionality of memories; 3) the specific mechanism of memory distortion; 4) the communicative and generational nature of collective historical memory. An important aspect of understanding collective historical memory should be the problem of manipulation of memory by official ideology, as well as the problem of contradictions and conflicts between memory preserved in families and small social groups and official (public) memory. According to the author, the significant differences between collective historical memory and ideology allow us to show that there was no substitution of concepts in modern discourse, which is explained by the paradigm shift from deideologization to collective memory.

References

1. Sontag, S. (2005) Kogda my smotrim na bol' drugikh [When we look at the pain of others]. *Indeks/Dos'e na tsenzuru*. 22. [Online] Available from: <http://index.org.ru/journal/22/index.html> (Accessed: 1st August 2020).
2. Assman, A. (2014) *Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. Moscow: Novoe lit. obozrenie.
3. Halbwax, M. (2005) Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat' [Collective and historical memory]. *Neprikosnovennyi zapas*. 2–3(40–41). [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (Accessed: 1st August 2020).
4. Rubtsov, A.V. (2018) Illyuzii deideologizatsii [Illusions of deideologization]. In: Guseynov, A.A. & Rubtsov, A.V. (eds) *Filosofiya i ideologiya: ot Marksa do postmoderna* [Philosophy and Ideology: from Marx to Postmodern]. Moscow: Progress-Traditsiya. pp. 98–129.
5. Althusser, L. (2006) *Za Marksa* [For Marx]. Translated from French. Moscow: Praksis. pp. 311–343.
6. Merridale, K. (2019) *Kamennaya noch'. Smert' i pamyat' v Rossii XX veka* [Stone Night. Death and memory in the 20th-century Russia]. Translated from English. Moscow: AST: CORPUS.
7. Kansteiner, W. (2002) Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies. *History and Theory*. 41(2). pp. 179–197. DOI: 10.1111/0018-2656.00198

-
8. Welzer, H. (2005) Istoriya, pamyat' i sovremennost' proshlogo [History, memory and modernity of the past]. *Neprikosnovennyi zapas*. 2005. 2(40). [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/istoriya-pamyat-i-sovremennost-proshlogo.html> (Accessed: 1st August 2020).
 9. Nora, P. (1999) Problematika mest pamyati [Problems of places of memory]. In: Nora, P., Aussouf, M., Puimège, G. de & Vinok, M. *Frantsiya-pamyat'* [Realms of Memory]. Translated from French. St. Petersburg: St. Petesburg State University. pp. 17–50
 10. Ricoeur, P. (2004) *Pamyat'. Istoriya. Zabvenie* [Memory. History. Oblivion]. Translated from French. Moscow: Izd-vo gumanitarnoy literatury.
 11. Rieff, D. (2016) *In Praise of Forgetting*. Yale University Press.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК: 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/60/8

Ю.А. Головина

Н.С. ТАГАНЦЕВ И ДЖ.СТ. МИЛЛЬ: ГОСУДАРСТВО И ЧЕЛОВЕК В СПОРЕ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Рассматривается аргументация русского философа права Н.С. Таганцева против смертной казни. Показаны спорные моменты его позиции, которые сравниваются с мнением в защиту смертной казни, выраженным Дж.Ст. Миллем. Анализируются философские и правовые аргументы в пользу и против смертной казни.

Ключевые слова: смертная казнь, Н.С. Таганцев, Дж.Ст. Милль, наказание, справедливость, гуманизм.

Вопрос о смертной казни в нашей стране возникает не в первый раз. В СССР смертная казнь неоднократно отменялась и возвращалась в практику. В период до событий октября 1917 г. история данного явления также была неоднозначной. Одним из важных моментов в этой истории является 1906 г., когда в Первую Государственную думу Российской Империи был внесен проект закона об отмене смертной казни. Единогласно одобренный Думой законопроект далее оказался на рассмотрении Государственного совета, где был отвергнут. Как говорили в Государственном совете, «Дума постановила свое решение в экстазе, в порыве, руководствовалась чувством, а не разумом» [1. С. 151]; если в Думе и были убежденные сторонники сохранения смертной казни, то они «замолчали в себе свои убеждения и при голосовании перешли без колебаний в противоположный лагерь» [1. С. 151]. В Госсовете ситуация оказалась иной. В обсуждении участвовали 12 человек; пять высказались против смертной казни, шесть – в защиту. Далее была создана комиссия, в которую вошли четверо из выступавших в Совете в защиту казни и двое высказывавшихся против нее. Аргументы за отмену смертной казни Государственному Совету представил авторитетный ученый российской юриспруденции Н.С. Таганцев, убежденный противник смертной казни. В выступлении перед Госсоветом он сказал, в частности, следующее: «Я 40 лет с кафедры говорил, учил и внушал той молодежи, которая меня слушала, что смертная казнь не только нецелесообразна, но и вредна, потому что в государственной жизни все то, что нецелесообразно, то вредно и при известных условиях несправедливо. И такова смертная казнь. С теми же убеждениями являюсь я и ныне пред вами, защищая законопроект об отмене казни» [1. С. 143]. Впоследствии Н.С. Таганцев в сборнике статей о смертной казни указывал, что защитники смертной казни не представили убедительных доводов в пользу своей позиции. По мнению некоторых историков, обсуждение смертной казни в тот момент было неразрывно связано с проблемой развернувшегося в стране террора, противостояние Думы и Правительства от-

ражало позиции политических сил и государственной власти по этим проблемам и привело в итоге к роспуску Думы [2].

Следует отметить, что вопрос о смертной казни в тот период был предметом особого интереса не только в России. Незадолго по историческим меркам до описанных событий в нашей стране, в 1868 г., отмена смертной казни обсуждалась в Парламенте Великобритании. Член Палаты общин Чарльз Гилпин представил ходатайство о запрете смертной казни, обосновав его следующим образом: «Смертная казнь не является целесообразной и необходимой, она не служит тем целям, ради которых учреждена, по самой своей сути она несправедлива, нередко приводит к уничтожению невинной человеческой жизни и далее – она позволяет избежать наказания виновным в жесточайших преступлениях» [3. С. 177]. Ответом на это ходатайство стала речь в защиту смертной казни, с которой выступил член Британского Парламента, философ, экономист Джон Стюарт Милль.

Как видим, в том и другом случае противники смертной казни говорят о ее нецелесообразности. Чем руководствуется государство, когда решает вопрос о смертной казни с помощью права, являясь основным и, по большому счету, единственным творцом последнего, во всяком случае в России? Анализ аргументации, предложенной в 1906 г. Н.С. Таганцевым, может в некотором смысле прояснить это. Вместе с тем смертная казнь связана с жизнью и смертью и потому является философским вопросом. И в этой связи интерес представляют рассуждения в защиту исключительной меры наказания за особенно тяжкие преступления, которые в 1868 г. представил Джон Стюарт Милль.

В сборнике статей о смертной казни Н.С. Таганцев пишет, что обзор обсуждения законопроекта об отмене смертной казни в Госсовете представляет не только исторический, но и практический интерес. Прежде всего, противники смертной казни указывали на ее *нецелесообразность*. Серьезное, на первый взгляд, слово и, соответственно, аргумент поясняются Н.С. Таганцевым следующим образом: «Смертная казнь, как угроза и как реальное наказание, не служит и не может служить задерживающим мотивом преступлений, а потому она нецелесообразна, все же нецелесообразное в механизме государственного управления – вредно» [1. С. 152]. Данный комментарий, вообще говоря, включает и подразумевает целый ряд допущений и утверждений, которые, если их разобрать, уже не кажутся столь же убедительными, как тяжеловесное слово «нецелесообразность». Смертная казнь действительно может рассматриваться как угроза и как реальное наказание. И в таком случае «адресаты» ее будут разными и цели, соответственно, тоже объективно должны быть разными. Далее: «Не служит и не может служить задерживающим мотивом преступлений». О каких преступлениях идет речь? О возможных? О планируемых? О тех, которые уже свершились? Очевидно, уже свершившиеся преступления сдержать невозможно. Вероятно, Н.С. Таганцев и противники смертной казни говорят о тех деяниях, которые государство хотело бы предотвратить в будущем. Но тогда возникает вопрос: если даже угроза смертной казни не может предотвратить некоторые виды преступлений, то стоит ли вообще о чем-либо говорить как о государственной политике в области преступности? Или, быть может, другие виды уголовного наказания демонстрируют исключительную эффективность как механизм сдерживания, и, как результат такого воздействия, мы избавились от каких-то

видов преступных деяний? Ни то ни другое не представляется приемлемым. В таком случае сомнения, видимо, должна вызывать сама цель, которая подразумевается, когда говорят о «нецелесообразности». И тогда становится более понятным, что если цель определена не вполне верно, то и причина «нецелесообразности» будет очевидной. И, наконец, отсылка к «вредности» всего «нецелесообразного» как достаточного условия исключения из механизма государственного управления на фоне изложенных размышлений также не представляется убедительной.

Второй аргумент. «Применение смертной казни *непоправимо*... как судебная ошибка, ее применение является самым страшным видом убийства; она неделима, а потому сохранение ее в лестнице наказаний нарушает основной принцип разумной карательной системы – индивидуализации наказаний» [1. С. 6]. В данном случае Н.С. Таганцев затрагивает сразу несколько важнейших аспектов. Часть из них касаются теории наказания: свойство «неделимости» смертной казни как вида наказания нарушает принцип индивидуализации наказания, если казнь сохраняется в «лестнице наказаний»; принцип индивидуализации является основным для «разумной карательной системы». Смертная казнь действительно «неделима» в отличие, например, от срока заключения, который можно варьировать и изменять в зависимости от обстоятельств дела и характеристик обвиняемого. Однако если мы будем исходить из того, что смертная казнь допустима только в случаях особо тяжких преступлений против жизни, то и вопрос об «индивидуализации» станет в значительной степени проще. Далее. Смертная казнь, учитывая ее характеристики наряду с характеристиками преступного деяния, объективно и очевидно является скорее некой «исключительной мерой», чем одним из видов наказания. И потому ее следует вывести из «лестницы наказаний» (на современном языке – из системы наказаний). Именно так было сделано в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.: смертной казни была посвящена отдельная статья; этим, наряду с самим текстом статьи, подчеркивался исключительный характер данной меры [4]. В этом смысле заслуживают внимания предложения о том, что содержащееся в законе понятие смертной казни должно быть сформулировано отдельно, а не как «вид наказания» [5]. Аспект «разумности» карательной системы в значительной степени пересекается с вопросом о целесообразности смертной казни, поэтому дополнительно обсуждать его нет необходимости. Наиболее спорным в разбираемой цитате видится часть о том, что применение смертной казни «является самым страшным видом убийства». Можно полагать, что Н.С. Таганцев допускает то, что следует расценивать как скрытую посылку: утверждение, что смертная казнь представляет собой убийство, требует отдельного, самостоятельного доказывания и не представляется очевидным и бесспорным хотя бы потому, что убийство – это преступление, это очевидное нарушение чьих-то прав и закона; за всяким преступлением должно следовать наказание. Однако, несомненно, самым сложным в данном случае является объективный аргумент о возможности судебной ошибки и невозможности ее исправить в случае, если смертный приговор приведен в исполнение. Здесь, как представляется, в качестве ответа следует присоединиться к доводам Дж.Ст. Милля, которые будут приведены далее.

Третий аргумент. Смертная казнь *противоречит сущности христианства, и потому как наказание несправедлива*. Этот аргумент излагается как

ответ на попытку защитников смертной казни использовать учение Христа в обоснование своей позиции. Н.С. Таганцев предваряет свой ответ весьма эмоционально: «Остается последний довод, который желательно было бы не слышать при защите смертной казни, – это ссылку на Евангелие. Христос, на кресте взяв грехи мира, – и защита Его именем смертной казни!» [1. С. 24]. Значительная часть дискуссии, излагаемой Н.С. Таганцевым, посвящена спору именно по этому вопросу. Данный аспект мы не обсуждаем, поскольку он требует отдельного самостоятельного и глубокого исследования. Можем сослаться лишь на некоторые современные работы, в которых имеются прямо противоположные утверждения о том, приемлема ли с точки зрения христианства смертная казнь [6, 7]. Стоит заметить также, что и в этом случае в рассуждениях Н.С. Таганцева можно усмотреть скрытую посылку: по сути, им презюмируется несправедливость того, что не соответствует учению Христа.

Четвертым аргументом можно назвать *ряд специфических характеристик российской реальности*. По мнению Н.С. Таганцева, особо несправедливым является применение смертной казни в России по причине особенностей исторического развития русского законодательства, которое дает широкие возможности усмотрения для административных лиц в той или иной местности в силу установления там усиленного, чрезвычайного или военного положения. При установлении такого «особого» положения смертная казнь может быть назначена в рамках сокращенного порядка производства, в результате чего, по большому счету, суд лишен возможности всестороннего обсуждения дела. Сложившееся положение дел в России (революционные бунты, террор) не могут изменить или ослабить приводимые доводы. Ответом на данное соображение могут служить слова Таганцева, о которых речь пойдет далее, при рассмотрении оценки фактов расправы населения над бандами.

Помимо представления своих аргументов против смертной казни, Н.С. Таганцев разбирает доводы тех, кто выступал в ее защиту. О качестве аргументации сторонников смертной казни в споре 1906 г. Н.С. Таганцевым были сказаны следующие слова: защитники ее «не могли сослаться ни на один труд, ни на одно имя среди русских ученых... они должны были, по необходимости, представить не только общие соображения о несвоевременности и даже невозможности ее отмены... они должны были привести и фактические данные или теоретические соображения, которые подкрепляли бы эти положения» [8. С. 8]. В обоснование этого мнения в отношении каждого из аргументов защитников смертной казни Н.С. Таганцев приводит свои комментарии.

Опыт цивилизованных государств, которые не только сохранили смертную казнь, но после ее отмены вновь вернули (Германия, Швейцария, США). Обстоятельства отмены и возвращения смертной казни позволяют говорить о значительной доле политической составляющей, включая борьбу высшей государственной власти с более низкими ее уровнями (протест отдельных кантонов в Швейцарии в связи с пересмотром союзной конституции, объединение земель в Германии при Бисмарке). В отношении Америки позиция Н.С. Таганцева сформулирована не вполне однозначно со ссылкой на недостаток данных: из общих сочинений по уголовному праву известно, что

законодательство большинства штатов угрожает смертной казнью, которая отменена в четырех штатах, только за весьма немногие преступления (тяжкие виды преднамеренного убийства). В четырех штатах в 1902 г., и в четырех в 1903 г. была установлена смертная казнь за посягательство на высших чиновников.

Статистические данные. Статистика других стран показывает, что отмена или неприменение смертной казни не ведут к увеличению числа преступлений, за которые она назначалась. По мнению противников смертной казни, в этом состоит убедительный аргумент в пользу их позиции. Сторонники смертной казни не могут возразить ничего против этого соображения, приводимые ими данные не вполне точны, и Н.С. Таганцев их опровергает либо уточняет, полагая, что дает тем самым дополнительный довод в пользу своей точки зрения. Однако сам он в этом случае демонстрирует некоторую непоследовательность, поскольку далее указывает: «Вообще исследователи социальной стороны преступности давно уже представили несомненные доказательства, что факторы преступности, а в частности и причины, заправляющие ее ростом, лежат в экономических и социальных условиях общественной жизни и слишком мало зависят от суровости наказаний» [8. С. 16]. По сути, такое положение дел говорит о бесперспективности вообще каких-либо попыток сделать обоснованные выводы из статистических данных о динамике преступности, фиксируемых после изменений наказания.

Революционное движение. Целесообразность сохранения смертной казни пытались обосновать необходимостью сдерживать нарастающее революционное движение. Ответ Н.С. Таганцева на это соображение выглядит корректным и убедительным: «...одними чувствительными словами и рассуждениями, одними благопожеланиями, даже одною строгою законностью остановить разыгравшееся революционное движение, подавить вспыхнувшее восстание нельзя. Для этого необходимы часто кровь и жертвы, но ведь мы рассуждаем не об этих мерах государственной защиты, а о целесообразности смертной казни, как акта правосудия» [8. С. 14]. Сложность и даже противоречивость данного ответа заключается в том, что смертная казнь в России того периода назначалась по большей части именно за преступления против государства и государственной власти, и в этом смысле крайне трудно рассматривать ее как «акт правосудия», поскольку она действительно к этому моменту уже в течение длительного периода использовалась как средство защиты интересов государства. Как пишет С.В. Жильцов, смертная казнь за убийство в истории отечественного права была явлением закономерным и происходила из обычая кровной мести, исполнение которого было обязанностью и «законом» неписаного права [9]. Однако уже к концу IX в. княжеская власть не могла обойтись без вмешательства в нормы обычного права, и природное предназначение смертной казни изменяется, дальнейшее распространение смертной казни происходит под влиянием византийского права при участии русской христианской церкви; «в период федеральной раздробленности и формирования единого Русского государства дальнейшее расширение применения смертной казни в отечественном праве связано с назначением этой меры за государственные преступления» [9].

Право решения вопроса о смертной казни. Защитники смертной казни в рассматриваемом споре указывали, что Государственная Дума не правомочна

решать вопрос о смертной казни, в особенности в отношении применения ее в военное время. Также они обращали внимание на то, что организованные группы, которые устраивают террор в стране, – по сути, враги, которых вполне можно уподобить внешним врагам, исходя из их действий. Н.С. Таганцев не оспаривает неправомочность Государственной Думы, однако в остальном не соглашается с этим доводом.

Фактическое применение смертной казни в стране в отношении бандитов силами населения (расправа). В защиту смертной казни были приведены факты самосуда населения над бандитами. Эти примеры трактовались как свидетельство того, что отмена смертной казни не соответствовала бы воззрениям русского народа. Ответ Н.С. Таганцева представляется интересным и не вполне однозначным: «Положим, что все это справедливо, но как вывести отсюда доказательство необходимости удержания смертной казни, как акта правосудия, за те преступные деяния, за которые она назначается по нашим законам?» [8. С. 22]. Во-первых, в данном высказывании ученый допускает и справедливость смертной казни, и ее укорененность в нравах населения. Во-вторых, будучи юристом, он, очевидно, не может согласиться с тем, что самосуд – это нормально. В-третьих, по сути, он высказывает сомнения в отношении оправданности смертной казни не вообще, а за те преступления, которые предусмотрены законом. На тот момент это преступления против государственной власти, а также «карантинные» и воинские. Таким образом, представленный Н.С. Таганцевым ответ нельзя признать доводом в пользу противников смертной казни или утверждением, опровергающим довод сторонников смертной казни; в большей степени это констатация несовершенства закона и, соответственно, низкой эффективности, если не сказать неэффективности, государственной власти предложить адекватный ответ на обострение социально-экономической и политической ситуации в стране.

Однако этим он не ограничивается и высказывает следующее соображение: «Даже в борьбе с отдельными явлениями, с преступностью, законодатель не должен забывать, что служит общей цели государства – развитию народной жизни, а тем самым и общему прогрессу человечества, осуществлению его идеалов. Кровавый призрак отдельных злодеяний, как бы глубоко они не потрясали нравственное чувство каждого, не должен заволакивать твердый и спокойный взгляд законодателя, устремленный в будущее» [8. С. 23]. Приведенная цитата свидетельствует о признании безусловного приоритета государственных интересов над частными. Возможно, это просто слишком эмоциональный ответ, поскольку речь идет об изложении реальной, крайне актуальной и весьма жесткой дискуссии. Тем более что есть и другое суждение: «В водворении порядка, ненарушимости прав, неприкосновенности личности и устранении произвола в управлении нужно искать оплота государственности и культуры, а не в развращающем общество пролитии крови человека. Горе тем, кто питает вражду и ненависть и будит в человеке зверя – будут ли это революционные безумцы, будут ли это мнимые охранители отжившего строя» [8. С. 14].

«Голос» жертв убийств (в том числе террора) – невинных исполнителей государственной службы и их семей. Реальность заключалась в том, что во многих случаях жертвами революционного террора становились добросовестные служители государства и члены их семей. Отвечая на этот до-

вод, Н.С. Таганцев обращается к истории. Кровная месть была узаконена в ст. 1 «Русской Правды», однако уже в третьей ее редакции (XII в.) норма «смерть за смерть» была отменена. «Итак, в XII веке наши князья отменили законом „смерть за смерть“, и, притом не поднимая вопроса о том, что скажут семьи убитых. Неужели же теперь, законодатель XX в. не может разрешить вопроса о смертной казни, руководствуясь только началами правды и государственного блага?» – пишет философ [8. С. 24]. Такой ответ затруднительно прокомментировать однозначно. Прежде всего, напрашивается историческая параллель с современной ситуацией, когда государственная власть, не выясняя мнения населения и не особо заботясь об интересах жертв преступлений, запретила смертную казнь. С одной стороны, представляется сомнительным игнорировать аспект прав пострадавших. С другой стороны, при буквальном прочтении мы снова видим именно мысль о безусловном приоритете интересов государственной власти над правами и интересами человека и допущение возможной правомерности неограниченных прав государства. Остается лишь вопрос: что понимается Н.С. Таганцевым в таком случае под *правдой*?

В качестве резюме изложенного спора представляется полезным дать комментарии по двум отдельным аспектам:

1. Исходя из материалов дискуссии 1906 г. в Госсовете, можно предположить, что главный интерес государственной власти в вопросе о смертной казни был связан с необходимостью подавления революционного движения. Набор составов преступлений (в современной терминологии), за которые предусматривалась смертная казнь в рассматриваемый период [10], сам собою показывает направленность этой меры наказания на защиту интересов государственной власти. Обе спорящие стороны ссылаются на сложное положение в России, однако каждая из них делает из этого выводы в обоснование своей позиции. Сторонники смертной казни питают надежды остановить развернувшийся в стране террор. Н.С. Таганцев, являясь известным авторитетом в области права, убедительно отвечает, что речь должна идти о смертной казни как об акте правосудия, а не как о средстве противодействия революционному движению. При этом он подчеркивает недостатки правовой системы, в особенности в части судопроизводства, что, вообще говоря, является прямым и очевидным указанием на неспособность государственной власти исполнять свои функции. Такую трактовку можно подтвердить следующей цитатой: «Негодное оружие не только не помогает, но вредит защите государственной безопасности, ибо, в надежде на него, нередко власть засыпает тогда, когда ей нужно сугубо бодрствовать» [8. С. 19].

2. И сторонники и противники смертной казни так или иначе используют для обоснования своих позиций статистические данные. На тот период науке уже известно, что преступность как явление связана как с индивидуальными характеристиками личности потенциального преступника, так и с социально-экономической ситуацией. Об этом пишет и сам Н.С. Таганцев, и вместе с тем использует ссылки на статистические данные. В таком случае сравнение статистических показателей в разные периоды, тем более в разных странах, вообще мало о чем может объективно свидетельствовать, если пытаться этими данными обосновать причинно-следственную связь между применением (неприменением) смертной казни и преступностью, поскольку при этом ни-

кто, как правило, не анализирует показатели в социальных и экономических процессах. Более того, такой анализ вряд ли возможен с достаточной степенью достоверности и обоснованности в силу сложности подобной модели. Вероятно, следует полагать, что данный класс аргументов бесполезен для обеих позиций в споре о смертной казни.

Однако наиболее удивительными представляются ответы Н.С. Таганцева на два соображения защитников смертной казни. Эти соображения непосредственно относятся к «сфере человеческого», если можно так выразиться, поскольку касаются расправы населения с бандитами (в некотором смысле такие факты отождествляются со смертной казнью) и «голоса» жертв убийств (на современном языке – прав жертв преступлений). Допуская *справедливость* народной расправы и *глубокое потрясение чувств* каждого как результат тяжких преступлений, Н.С. Таганцев дает ответ как будто из другой плоскости, ссылаясь на государственные блага и позицию законодателя (отмена кровной мести, т.е. убийства в отмщение, еще в XII в., необходимость спокойного, устремленного в будущее взгляда законодателя). Думается, что по сути своей это есть более глобальный вопрос – вопрос о соотношении прав человека и интересов государства.

И здесь уместно напомнить о том, что на сегодняшний день помимо Протокола № 6 об отмене смертной казни в мирное время существует, например, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятая 29.11.1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН. В соответствии с этим документом к жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство; они имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством; в тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации жертвам и семьям [11]. И в этой связи возникает вопрос: почему правам лица, совершившего особо тяжкое преступление, должно уделяться значительное большее внимание, чем правам жертв его деяния?

Доводы противников смертной казни в дискуссии 1906 г., как утверждает Н.С. Таганцев, опирались на науку и законодательный опыт Запада [8. С. 5]. И потому представляется странным, что в позиции видного и авторитетного ученого никак не отражен опыт Великобритании по отмене смертной казни. Тем более это выглядит удивительным, учитывая тот факт, что уже вышло «Исследование о смертной казни» А.Ф. Кистяковского, который саму смену подхода к дискуссии и решению вопроса о смертной казни связывал с работой представительных органов власти Англии и уже на их примере – Франции, и отмечал: «Англия издавна была классическою страню смертных казней, а город Лондон получил нелестное прозвище города виселищ» [12. С. 116].

Опыт Англии интересен своей спецификой по сравнению с другими европейскими государствами. Уголовное законодательство этой страны оставалось без изменений до начала XIX в. и предусматривало 200 «смертных» преступлений, в том числе за воровство пяти шиллингов в лавке и сорока шиллингов в доме [12. С. 144]. В силу явного несоответствия суровости наказания некоторым видам преступлений именно в Англии наиболее ярко про-

являлось «расхождение» закона и практики в отношении смертной казни: нигде закон «до такой степени не расходился с жизнью, как в Англии. Поэтому ни один европейский законодатель XIX в. не поставлен был обстоятельствами в такую необходимость произвести столько отмен смертных казней, в какую поставлен был английский» [12. С. 157]. Противодействие назначению явно несоразмерного некоторым видам преступлений наказания в виде смертной казни со стороны судов, присяжных и общества в целом приводило к фактическому освобождению от наказания даже в явных случаях преступлений. В итоге преступники стали рассчитывать на безнаказанность некоторых деяний. Отмена смертной казни в Англии началась в 1808 г. с того, что один из знаменитых адвокатов своего времени Самуил Ромильи внес в Палату депутатов билль об отмене казни за «воровство-мошенничество». В обоснование необходимости этой отмены был приведен ряд доводов, подкрепленных статистическими данными: «Положительное отвращение от назначения смертной казни за эти преступления – обвинителей, свидетелей, присяжных; ненаказанность, отсюда происходящую; увеличение количества осуждений после отмены смертной казни за некоторые преступления» [12. С. 16]. Этот билль Ромильи был принят Палатой, а несколько последующих – отвергнуты. Далее, с 1830 г. была отменена смертная казнь за подделку банковских билетов в ответ на петицию, поданную в парламент за подписью 1 тыс. банкиров. Однако, как пишет А.Ф. Кистяковский, «настоящая эпоха отмены смертной казни в Англии начинается с того времени, когда было расширено представительство английского народа, и в парламент были допущены в значительном количестве депутаты из среднего сословия, лучше понимающие потребности страны» [12. С. 157]. Смертная казнь была отменена за целый ряд преступлений, для которых она была явно нсоразмерна: подделка монеты, воровство лошадей, скота и овец, воровство в жилом доме, многие подлоги, насильственное вторжение в дом, возвращение из ссылки, святотатство и кража писем. Внесенный в парламент в 1840 г. депутатом Эвартом билль об отмене смертной казни за все преступления был отклонен большинством голосов (160 против 90), однако количество смертных преступлений вновь было сокращено. В 1841 г. было исключено еще 5 «смертных» составов и сохранено 11, а в 1861 г. смертная казнь была оставлена только за государственную измену, преднамеренное и умышленное убийство и покушение на них [12. С. 159].

Важно, что решения обо всех этих отменах смертной казни за отдельные преступления принимались не просто на основе внесенных биллей. В 1819 г. в Англии была учреждена комиссия с целью изучить все постановления о «смертных» преступлениях и определить соответствие данного вида наказания преступлению. Работа комиссии состояла из трех основных частей: систематизация («привели в известность современное состояние») уголовного законодательства и законов о смертной казни; сбор и анализ статистических данных; опрос экспертов (те, кто наблюдал осужденных перед казнью, т.е. директора тюрем, врачи, тюремные священники, те, кто общался с осужденными, т.е. судьи, государственные прокуроры и адвокаты, а также граждане из разных слоев общества). Подобные комиссии создавались впоследствии еще несколько раз, результаты их исследований публиковались, на их изысканиях были основаны законы, которыми отменялась смертная казнь за

те или иные преступления. Все эти работы проводились в законодательных целях. Помимо них усилиями частных лиц было опубликовано значительное число статей, отчетов, исследований, касающихся рассматриваемой проблемы. Это «философско-позитивное», как назвал его А.Ф. Кистяковский, направление, которое задали англичане для решения вопросов, связанных со смертной казнью, в дальнейшем, по его мнению, оказало значительное влияние на французских и немецких ученых [12. С. 18].

Дж.Ст. Милль выступил в Парламенте Великобритании в 1868 г. в ответ на очередное ходатайство о запрете смертной казни. Он начинает свою речь с того, что благодаря деятельности филантропов теперь смертью карается практически единственное преступление – убийство с отягчающими обстоятельствами, и вопрос касается того, должно ли быть сохранено исключительное наказание в этом единственном случае. Такую «исключительность» смертной казни Дж.Ст. Милль называет «огромным обретением не только для человечества, но и для целей уголовного права», отмечая, что это является результатом деятельности филантропов, которая до определенного момента была чрезвычайно благотворной. Однако существует момент, когда ее следует остановить. Что это за момент, Милль не уточняет прямо, однако сразу за упоминанием о нем говорит следующее: «Когда кто-либо был уличен посредством неопровержимого доказательства в совершении тяжелейшего из известных праву преступлений, и когда сопутствующие обстоятельства не смягчают вину, не дают никакой надежды на то, что подсудимый хотя бы до совершения этого преступления не был недостоин жить среди людей, – ничего, что указывало бы на возможность того, что преступление было скорее исключением для его характера в целом, нежели его следствием; тогда я думаю, лишить преступника жизни, которой он показал себя недостойным, – торжественно вычеркнуть его из человеческого сообщества и из списка живущих – это самый подходящий способ, поскольку является безусловно самым впечатляющим. Посредством него общество может применить к такому тяжкому преступлению необходимое в целях безопасности жизни уголовно-правовое последствие» [13. С. 184]. Не имея юридического образования, Дж.Ст. Милль в этой фразе достаточно четко и однозначно формулирует и условия применения исключительной меры наказания (доказанное виновное совершение лицом убийства с отягчающими обстоятельствами), и ее особый смысл (характеристика совершенного деяния настолько негативна и отрицательна, что не позволяет сохранить совершившему его лицу жизнь в человеческом сообществе), причем делает это как на языке права, так и на понятном, обыденном языке. В общем-то, уже этих соображений может быть достаточно для аргументации необходимости сохранения возможности применения исключительной меры наказания. Тем не менее Дж.Ст. Милль приводит и другие доводы.

Прежде всего, он обращается к гуманизму, ярко описывая пожизненное заключение и тяжелый труд, которые могли бы рассматриваться в качестве альтернативного смертной казни наказания за убийство с отягчающими обстоятельствами: «Как же в самом деле можно сравнивать, с точки зрения суровости, приговор человека к кратковременной боли от быстрой смерти, с заключением его в живую могилу, с жалким и вероятно долгим существованием в тяжелейшем монотонном труде без каких-либо облегчений и поощре-

ний, лишенным всех приятных видов и звуков, малейшей надежды, за исключением незначительного ослабления физического ограничения или ничтожного улучшения питания?» [13. С. 185]. Действительно ли это милосердие? Потому именно соображения гуманизма, по мнению Дж.Ст. Милля, обосновывают применение в таких крайних случаях смертной казни.

Интересными представляются рассуждения Дж.Ст. Милля о свойствах и эффективности наказания. По его мнению, наказание должно выглядеть более суровым, чем является таковым на самом деле, поскольку именно от того, каким оно кажется, зависит его сила на практике. Довод противников смертной казни о ее несостоятельности на основании поведения «закоренелых преступников» Милль не принимает, полагая, что наказание действует главным образом через воображение, и потому эффективность наказания должна связываться с тем впечатлением, которое оно производит на еще невинных, когда мысль о совершении преступления только зародилась, а также с «той сдерживающей силой, которую наказание прилагает к постепенному, никогда не случающемуся вдруг, соскальзыванию в состояние, в котором преступление больше не вызывает отвращения и наказание больше не ужасает» [13. С. 187]. При этом крайне важно, чтобы смертная казнь действительно сохраняла свой исключительный характер, а не становилась чем-то обыденным. Это означает, что сфера ее применения – только случаи самых зверских преступлений. Таким образом, Дж.Ст. Милль совершенно четко проводит различие между «адресатами» цели предупреждения наказания в виде смертной казни: лица, совершившие особо тяжкое преступление, к ним не относятся в принципе; они должны быть исключены из списка живущих; смертная казнь призвана вызывать ужас у тех, кто еще не стал преступником. Далее, отвечая на аргумент противников смертной казни о том, будто абсурдно полагать, что, разрушая жизнь (приводя в исполнение смертный приговор в отношении преступника), мы можем научить уважать ее, он одновременно и показывает механизм действия наказания вообще, и подчеркивает исключительность смертной казни в частности: «Разве штрафование преступника демонстрирует недостаток уважения к собственности или заключение его в тюрьму – к личной свободе? Точно так же неразумно считать, что лишить жизни человека, который лишил жизни другого, значит демонстрировать недостаток уважения к человеческой жизни. Мы, напротив, самым решительным образом демонстрируем наше уважение к ней посредством принятия закона о том, что тот, кто нарушает данное право другого, сам утрачивает его, и что если какое-то другое преступление, которое он может совершить, не лишает права на жизнь, то данное – лишает» [13. С. 189].

Единственный аргумент против смертной казни, который Дж.Ст. Милль признает сильным, – это возможность судебной ошибки, которую в случае исполнения наказания уже невозможно будет исправить. Однако он не считает, что возможность добиться положения, при котором такие случаи будут крайне редкими, отсутствует. В обоснование своего мнения он приводит несколько соображений общего характера о судебной системе, а также более частного порядка – об ответственности людей, участвующих в отправлении правосудия. Прежде всего, «данный аргумент не преодолит там, где механизм уголовного судопроизводства представляет опасность для невиновных или там, где нет доверия судам» [13. С. 190]. Никакое суждение человека,

полагает Милль, непогрешимым не является, однако судебная система всегда оказывается на стороне обвиняемого, если имеются какие-либо сомнения в его виновности. Более того, сама возможность назначения исключительной меры наказания должна заставить тех, кто принимает подобное решение, быть максимально внимательными и бдительными. Наконец, у суда есть возможность рекомендовать Короне смягчить приговор.

Завершая анализ аргументации Дж.Ст. Милля за сохранение смертной казни, стоит добавить, что в его речи содержались также общеполитические аксиологические размышления: почему лишение человека жизни может вызывать большее потрясение, чем лишение его всего того, что делает эту жизнь ценной; действительно ли смерть есть наибольшее из земных зол и несчастий, и как эту позицию соотносить с мужеством, которое издревле воспитывалось человеком; священными должны быть чувства человека, а не человеческая жизнь как таковая. В заключении своей речи Дж.Ст. Милль выразил надежду, «что по вопросу о полной отмене смертной казни *чувства страны*» не на стороне тех, кто предлагает ее отменить.

Мысль Дж.Ст. Милля о том, что позиционируемое в качестве альтернативы смертной казни наказание в виде пожизненного лишения свободы должно быть отвергнуто именно по соображениям гуманизма, в наше время подтверждается. «Выступая против смертной казни, ее противники не предполагают иных мер борьбы с убийствами, ограничиваясь пожизненным лишением свободы. А как свидетельствуют научные исследования, вопрос о тяжести смертной казни и пожизненного лишения свободы расценивается неоднозначно. Немалая часть граждан, да и сами осужденные к пожизненному лишению свободы, считают, что это наказание не является более мягким, чем смертная казнь, полагая, что пожизненное лишение свободы – тоже смертная казнь, но в рассрочку» [6]. Результаты медицинских и психологических исследований показывают, что ни физически, ни психически человек не может быть нормальным даже после двадцатипятилетнего срока, проведенного в камере [6]. Применение пожизненного лишения свободы вызывает немало вопросов, включая, помимо собственно правовых, также вопросы иного уровня: «корректно ли использовать условно-досрочное освобождение для таких категорий преступников и гуманно ли на самом деле такое наказание?» [14], во имя чего стоит содержать человека в заключении пожизненно? [6]. Поэтому, несмотря на поддерживаемое в течение довольно длительного времени положение, при котором смертная казнь фактически не применяется в нашей стране, данная тема представляется актуальной. Вряд ли ее можно считать закрытой и решенной, во всяком случае, до тех пор, пока хоть какое-то количество людей становится жертвами особо тяжких преступлений. Именно и только такой подход, как представляется, соответствует положению дел в государстве, где действительно осознается и признается ценность человеческой жизни.

Думается, что в целом в позиции Дж.Ст. Милля больше уважения к человеку, больше гуманизма и больше демократии. И права, вероятно, тоже. Вместе с тем следует признать, что условия, в которых сформировано мнение Н.С. Таганцева, существенно отличаются от тех, в которых находился английский философ. В Великобритании была проведена глубоко продуманная работа по исследованию проблемы, были найдены способы и механизмы

обоснования отмены казни за преступления, тяжести которых столь суровое воздаяние не соответствовало: на протяжении нескольких десятков лет выслушивались и исследовались мнения экспертов, ученых, населения; собирались и анализировались различные статистические данные; юридическая практика допускала судебское усмотрение, достаточное для того, чтобы зафиксировать «расхождение жизни и закона»; отдельные группы людей четко выражали свою позицию по отношению к смертной казни за отдельные виды преступлений; проходили дебаты в парламенте, где были представлены различные слои населения; результаты исследований публиковались как государством, так и усилиями частных лиц. В итоге к моменту выступления Милля смертная казнь сохранялась за особо тяжкие убийства, т.е. преступные виновные деяния с отягчающими обстоятельствами, безвозвратными жертвами которых становились конкретные люди. В этом смысле не удивительно, что Милль не обращается ни к какой статистике. Он говорит о человеке, о его жизни, о ценностях, о том, зачем вообще нужно жестко реагировать на данный вид преступлений. Он обоснованно рассуждает с позиций «вечных» вопросов, которые и есть единственно правильные в данной ситуации. В России конца XIX – начала XX в. ситуация была совершенно иной. Как указывает и сам Н.С. Таганцев, кровная месть, т.е. убийство в отмщение за убийство, была запрещена русскими князьями еще в XII в.; «поток и разграбление», равно как впоследствии и каторга, и рудники, а также ряд телесных наказаний, конечно, не являлись смертной казнью в смысле непосредственного лишения жизни, однако ясно, что это были жесточайшие наказания, которые, по большому счету, лишь маскировали неизбежную тяжелую смерть осужденного. Соответственно, в течение длительного периода смертная казнь сохранялась и предусматривалась главным образом как возможное средство защиты государственной власти. Как пишет С.В. Жильцов, «весь период истории отечественного государства и права свидетельствует о том, что вопрос о применении смертной казни решался с политических позиций; объектом защиты являлось государство – его безопасность, целостность, собственность, но не человек – его жизнь; смертная казнь использовалась в качестве устрашения и возмездия, но отнюдь не как справедливое наказание за совершение тяжких преступлений против жизни человека; была искажена сама суть предназначения смертной казни, исходя из истории ее происхождения» [9]. С особой остротой эта тема проявилась в период революционного террора конца XIX – начала XX в. Усугублялось положение тем, что существовала законодательно установленная возможность вынесения смертного приговора в рамках сокращенной судебной процедуры.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в русской научной элите, включая Н.С. Таганцева, было немало противников смертной казни. Возможно, что изначальный смысл исключительной меры как равноценного воздаяния и кары за особо тяжкое убийство был утрачен. И вместе с ним, возможно, осознание и признание ценности жизни.

Литература

1. Таганцев Н.С. Смертная казнь : сб. ст. СПб. : Государственная Типография, 1913. 335 с.
2. Портнягина Н.А. I Государственная дума в борьбе за власть: оценка революционного террора. 2013 // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/i-gosudarstvennaya-duma-v-borbe-za-vlast-otsenka-revolutsionnogo-terrora> (дата обращения: 09.03.2021).

3. *Артемяева О.В.* Предисловие к публикации // *Этическая мысль*. 2009. Вып. 9. М. : РАН, Институт философии. С. 177–182.
4. *Уголовный кодекс РСФСР* (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 27.08.1993) (утратил силу) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
5. *Щетинин А.А.* Юридическая трансформация института смертной казни в системе российского государственно-правового принуждения : автореф. ... канд. юрид. наук. 2004. URL: <https://www.dissercat.com/content/yuridicheskaya-transformatsiya-instituta-smertnoi-kazni-v-sisteme-rossiiskogo-gosudarstvenno> (дата обращения: 09.03.2021).
6. *Андреева В.Н.* Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее альтернатива : автореф. ... канд. юрид. наук. 2000. URL: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-i-pozhiznennoe-lishenie-svobody-kak-ee-alternativa> (дата обращения: 09.03.2021).
7. *Лепешкина О.И.* Смертная казнь как уголовно-правовой институт : автореф. ... канд. юрид. наук. 2003. URL: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-kak-ugolovno-pravovoi-institut> (дата обращения: 09.03.2021).
8. *Таганцев Н.С.* Законопроект о смертной казни в Государственном Совете. Сессия 1906 г. Т. VI. URL: <https://www.litres.ru/n-tagancev/zakonoproekt-o-smertnoy-kazni-v-gosudarstvennom-sovete-sessiya-1906-goda-tom-vi/> (дата обращения: 09.05.2019).
9. *Жильцов С.В.* Смертная казнь в истории отечественного права : автореф. ... д-ра юрид. наук. 2002. URL: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-v-istorii-otechestvennogo-prava> (дата обращения: 09.03.2021).
10. *Таганцев Н.С.* Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : 5-е изд., доп. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. 714 с.
11. *Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью* (Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2021. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Документ опубликован не был.)
12. *Кистяковский А.Ф.* Исследование о смертной казни. Тула : Автограф, 2000. 272 с.
13. *Милль Дж.Ст.* Речь в защиту смертной казни (1868) // *Этическая мысль*. 2009. Вып. 9. М. : РАН, Институт философии. С. 183–192.
14. *Тирранен В.А.* Высшие меры наказания в России и зарубежных странах : автореф. ... канд. юрид. наук. 2011. URL: <https://www.dissercat.com/content/vysshie-mery-nakazaniya-v-rossii-i-zarubezhnykh-stranakh> (дата обращения: 09.03.2021).

Yulia A. Golovina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: jagolovina@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 74–88.

DOI: 10.17223/1998863X/60/8

NIKOLAI TAGANTSEV AND JOHN STUART MILL: STATE AND MAN IN THE DEATH PENALTY DISPUTE

Keywords: death penalty; Nikolai Tagantsev; John Stuart Mill; punishment; justice; humanism.

The question of the death penalty has repeatedly arisen in Russia and other countries. In 1906, the First State Duma and the State Council of the Russian Empire considered a bill to abolish the death penalty. Nikolai Tagantsev supported the bill. The inexpediency of the death penalty as a form of punishment, statistical data, the specifics of the historical moment and the shortcomings of the Russian judicial system, inconsistency with Christian teachings, and the death penalty's defenders weak reasoning were Tagantsev's arguments. In 1868, the British Parliament considered the proposal to abolish the death penalty. John Stuart Mill supported the exceptional measure of punishment for especially grievous murders. He spoke about the value of human life, the sacredness of human feelings that make up this value, about punishment, the right to life and the grounds for depriving of this right. Mill argued that the alternative to the death penalty in the form of life imprisonment is not in line with considerations of humanism. Aleksandr Kistyakovsky described the approach to solving the death penalty question the British used throughout the 19th century as "philosophical positive". Mill's argument about the inconsistency of life imprisonment with humanism considerations is consistent with modern science, which confirms the extreme degree of gravity and severity of this type of punishment. Tagantsev's opinion primarily reflects the interests of the state. Mill is building his arguments based on philosophical concepts that are close to human beings. Historically, the death

penalty evolved from the custom of blood feud, and people used it as a retribution (recognized as just) and punishment for murders. Over time, in Russia, this type of punishment became mainly a means of protecting the state. Mill's position seems to be a more proper approach to addressing the issue of the death penalty as an exceptional measure applied to a person guilty of an especially grievous murder.

References

1. Tagantsev, N.S. (1913) *Smertnaya kazn'* [Death Penalty]. St. Petersburg: Gosudarstvennaya Tipografiya.
2. Portnyagina, N.A. (2013) *I Gosudarstvennaya дума v bor'be za vlast': otsenka revolyutsionnogo terror* [I State Duma in the Struggle for Power: Assessment of the Revolutionary Terror]. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/i-gosudarstvennaya-duma-v-borbe-za-vlast-otsenka-revolutsionnogo-terrora> (Accessed: 9th March 2021).
3. Artemieva, O.V. (2009) Predislovie k publikatsii [Preface to publication]. *Eticheskaya mysl'*. 9. pp. 177–182.
4. Russia. (2018) *Ugolovnyy kodeks RSFSR (utv. VS RSFSR 27.10.1960) (red. ot 27.08.1993) (utratil silu)* [The Criminal Code of the RSFSR (approved by the Supreme Soviet of the RSFSR on October 27, 1960) (revised on August 27, 1993) (no longer in force)]. [Online] Available from: Kon-sultantPlyus.
5. Shchetinin, A.A. (2004) *Yuridicheskaya transformatsiya instituta smertnoy kazni v sisteme rossiyskogo gosudarstvenno-pravovogo prinuzhdeniya* [Legal transformation of the institution of the death penalty in the system of Russian state-legal coercion]. Abstract of Law Cand. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/yuridicheskaya-transformatsiya-instituta-smertnoi-kazni-v-sisteme-rossiyskogo-gosudarstvenno> (Accessed: 9th March 2021).
6. Andreeva, V.N. (2000) *Smertnaya kazn' i pozhiznennoe lishenie svobody kak ee al'ternativa* [The death penalty and life imprisonment as its alternative]. Abstract of Law Cand. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-i-pozhiznennoe-lishenie-svobody-kak-ee-al'ternativa> (Accessed: 9th March 2021).
7. Lepeshkina, O.I. (2003) *Smertnaya kazn' kak ugolovno-pravovoy institut* [The death penalty as a criminal law institution]. Abstract of Law Cand. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-kak-ugolovno-pravovoi-institut> (Accessed: 9th March 2021).
8. Tagantsev, N.S. (1906) *Zakonoproekt o smertnoy kazni v Gosudarstvennom Sovete. Sessiya 1906 goda* [The death penalty bill in the Council of State. Session 1906]. Vol. VI. [Online] Available from: <https://www.litres.ru/n-tagancev/zakonoproekt-o-smertnoy-kazni-v-gosudarstvennom-sovete-sessiya-1906-goda-tom-vi/> (Accessed: 9th May 2019).
9. Zhiltsov, S.V. (2002) *Smertnaya kazn' v istorii otechestvennogo prava* [The death penalty in the history of Russian law]. Abstract of Law Dr. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/smertnaya-kazn-v-istorii-otechestvennogo-prava> (Accessed: 9th March 2021).
10. Tagantsev, N.S. (1886) *Ulozhenie o nakazaniyakh ugolovnykh i ispravitel'nykh 1885 goda* [The Code on Penal and Correctional Punishments of 1885]. 5th ed. St. Petersburg: M.M. Stasyulevich.
11. UNO. (2021) *Deklaratsiya osnovnykh printsiptov pravosudiya dlya zhertv prestupleniy i zloupotrebleniy vlast'yu (Prinyata 29.11.1985 Rezolyutsiey 40/34 General'noy Assamblei OON)* [Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Adopted on November 29, 1985, by Resolution 40/34 of the UN General Assembly)]. [Online] Available from: Konsul'-tant Plyus.
12. Kistyakovskiy, A.F. (2000) *Issledovanie o smertnoy kazni* [A Study on the Death Penalty]. Tula: Avtograf.
13. Mill, J.St. (2009) *Rech' v zashchitu smertnoy kazni (1868)* [Speech in Defense of the Death Penalty (1868)]. *Eticheskaya mysl'*. 9. pp. 183–192.
14. Tirranen, V.A. (2011) *Vysshie mery nakazaniya v Rossii i zarubezhnykh stranakh* [Capital Punishment in Russia and Foreign Countries]. Abstract of Law Cand. Diss. [Online] Available from: <https://www.dissercat.com/content/vysshie-mery-nakazaniya-v-rossii-i-zarubezhnykh-stranakh> (Accessed: 9th March 2021).

УДК 1'17; 1'1 (091)
DOI: 10.17223/1998863X/60/9

А.Г. Жаворонков

РАЗУМ КАК ПРИВИЛЕГИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ? КАНТ И ПРОБЛЕМА РАСИЗМА

Анализируется дискуссия вокруг дискриминирующего изображения неевропейских рас в антропологических работах Канта. В первой части дан краткий обзор мест у Канта, во второй рассматривается ход и промежуточные результаты дискуссии, а в третьей обращается внимание на те выводы, которые представляются наиболее важными из исторической, практической и теоретико-философской перспективы. Ключевые слова: Кант, Гердер, немецкий идеализм, антропология, география, европоцентризм, расизм.

Летом 2020 г. в Германии разгорелась широкая общественная дискуссия вокруг старой проблемы академического кантоведения – оценки того, как Кант подходит к описанию рас и народов. Специалисты, видящие истоки текущей дискуссии в коллективном ресентименте, движимом стремлением пересмотреть европейскую историю, не считают необходимым на нее подробно реагировать из-за ее академической непродуктивности и запоздалости (см.: [1]). В отличие от них я полагаю, что широкий характер текущего обсуждения и факт наличия ряда более ранних академических публикаций по вопросу об изображении рас у Канта не избавляют нас от необходимости взглянуть на эту проблему всерьез и детально, в том числе исходя из текущего контекста ее обсуждения в Германии.

1. Истоки проблемы и основные вопросы

Хотя все, что будет сказано в преамбуле к разбору дискуссии вокруг понятия расы у Канта, представляется очевидным, все же стоит кратко об этом упомянуть во избежание недопонимания того, с какой точки зрения я хочу взглянуть на эту проблему. Кант не только является ключевым философом позднего европейского Просвещения, но и одним из наиболее значительных ранних критиков колониализма и рабовладельческих отношений. В первую очередь его поздняя социальная и политическая философия, в особенности идея космополитизма, находится в прямом противоречии с расистскими аргументами и классификациями. С другой стороны, очевидно и то, что Кант, всегда большое внимание уделявший вопросам развития человека не только с этической, но и с физиологической стороны, в своих малых работах и лекциях 1760–1780 гг. предпринимает несколько попыток систематизировать имевшиеся на то время знания о расах в форме классификаций, не ограниченных лишь формальными признаками, но учитывающих и моральные аспекты. Так на почве просветительского проекта критической философии вырастает нечто совершенно чуждое, противоположное ему по духу: вертикальная, дискриминирующая система описания рас, отдающая первенство

в развитии человеческих задатков европейской расе и представляющая в той или иной степени ущербными все остальные.

Основными источниками, дающими нам представление об эволюции взглядов Канта на расы, являются его лекции, а также труды 1760–1780-х гг.: «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «О различных человеческих расах» (1775), «Определение понятия человеческой расы» (1785) и, наконец, трактат «О применении телеологических принципов в философии» (1788). Многие из представленных здесь аргументов Канта были предварительно опробованы им в его университетских лекциях. Наконец, в «Антропологии с прагматической точки зрения» (1798), представляющей собой попытку систематического обобщения его основных антропологических тезисов, есть специальный, хотя и очень короткий раздел о расах. Наиболее проблематичные, расистские по своему содержанию¹ высказывания содержатся в конспектах университетских лекций Канта по антропологии, прочитанных им в период с 1772 по 1796 г., а также в циклах лекций по физической географии, которые он читал уже с 1755 г.

Отдельные вызывающие серьезные вопросы пассажи о расах можно найти уже в работах 1760-х гг. Так, в четвертом разделе «Наблюдений», посвященном национальным характерам, Кант, ссылаясь на Юма, утверждает, что африканские негры не обладают чувством, выходящим за пределы нелепого (*läppisch*), и не имеют каких-либо талантов [2. Т. 2. С. 138–139]. Тот же эпитет мы видим и в лекциях Канта, в которых он вводит деление на четыре основные расы. В конспектах Коллинза (1772/73) речь идет об американцах, неграх², жителях Ост-Индии и европейцах [3. S. 233]. Говоря о том, что коренные американцы ленивы, все время погружены в собственные мысли, Кант вновь называет африканских негров нелепыми или ребячливыми (*läppisch*). Замечу, что в «Антропологии с прагматической точки зрения» [2. Т. 7. С. 266] слово *läppisch* играет важную роль в уточнении кантовской оппозиции *Empfindsamkeit* («чувствительности») и пассивной, слабой *Empfindelheit* («сентиментальности»). Называя негроидную расу словом *läppisch*, Кант намекает на ее неспособность ограничивать чувства, позволяя им влиять на суждения, что, в свою очередь, мешает формированию полноценного характера.

Наиболее скандальный для современного читателя вид описание рас приобретает в серии лекций «Menschenkunde» (предположительно 1781–1782 гг.): в ней Кант вводит в качестве связующего критерия количество мотивов (*Triebfeder*), побуждающих человека более активно пользоваться инструментами разума. Коренным американцам Кант отказывает в наличии побудительных мотивов из-за их лени и отсутствия аффектов. Негроидная раса, по Канту, напротив, чувствительна, полна аффектов и энергии и способна сформировать собственную культуру – но лишь культуру рабов, нуждающихся в том, чтобы их приучали к чему-либо. Индийская раса (*Hindus*) обладает

¹ Разумеется, во времена Канта слово «расизм» не использовалось, так что оценка его высказываний как расистских производится из современной нам позиции, из которой исходят почти все остальные участники академических и неакадемических дебатов о Канте.

² Стоит уточнить, что термин «негры», описывавший особенности цвета кожи как один из ключевых критериев классификации рас, употребляли почти все авторы во времена Канта. Сам по себе он был изначально нейтральным, однако к нему часто присоединяли пренебрежительные эпитеты, как и к именам для других неевропейских рас.

некоторыми побудительными мотивами, однако получить адекватное образование ее представители могут лишь в области искусств, но не в области наук. Всеми необходимыми мотивами и талантами, согласно Канту, обладает лишь четвертая, «белая» раса [3. S. 1186–1187]¹. Кроме того, Кант утверждает, что американская, негроидная и индийская раса не способны самостоятельно организовывать революции [3. S. 1187]. Отмечу, что последний тезис уже при жизни Канта наглядно опровергают события Гаитянской революции (1791–1803), о которой, в отличие от революции Французской, не упоминается и в поздних трудах философа.

Более дифференцированную и менее резкую картину мы видим в малых трудах Канта. Так, в «Определении понятия человеческой расы» Кант возвращается к делению рас на американскую, индийскую, негроидную и белую, но ограничивается лишь нейтральным горизонтальным описанием. В работе «О применении телеологических принципов в философии», написанной (в виде редкого исключения, так как Кант обычно не включался в подобные дискуссии) в ответ на критику Георга Форстера, ситуация меняется: здесь Кант, в частности, ссылается на издаваемые географом и историком Маттиасом Кристианом Шпренгелем «*Beiträge zur Länder- und Völkerkunde*» (1781–1799), в которых доказывалось, что индийцы и представители негроидной расы не способны полноценно заниматься свободным трудом из-за недостатка внутреннего побуждения (*Trieb*) к деятельности [2. Т. 8. С. 124–125]. Отсылка к Шпренгелю использована Кантом для доказательства того, что индийцы и представители негроидной расы не способны адаптироваться к холодному климату – в отличие от «универсальных» европейцев. В целом деление на расы в трактате 1788 г. подчинено не только формальным принципам, но и кантовской идее естественных, или первоначальных, задатков (*Anlagen*), вложенных природой в расы. И хотя Кант отказывается от употребления термина *Triebfeder* и не предлагает столь явно дискриминационной классификации рас, как в «*Menschenkunde*», общая логика его аргументации в сравнении с лекциями меняется лишь незначительно.

В работах 1790-х гг. мы, напротив, не обнаруживаем следов прежней классификации². Более того, в своих политических трудах (а до них уже в «*Метафизике нравов*») Кант решительно критикует рабство и колониальную политику европейцев. В «*Антропологии с прагматической точки зрения*» есть раздел о расах, но в нем Кант ограничивается лишь общими словами, отсылая читателей к книге Кристофа Гиртаннера «*О кантовском принципе естественной истории*» (1796), в которой мы находим только формальную, а не содержательную классификацию рас. Убежденным критикам Канта эти обстоятельства дают повод утверждать, что самое важное он уже сказал и не считает нужным повторять те же аргументы в поздних работах. В свою очередь, тем, кто Канта в той или иной степени защищает, особенность представления рас в его поздних текстах позволяет сформулировать теорию о существенном пересмотре им своей позиции и об отходе от дискриминаци-

¹ Хотя можно возразить, что мы имеем дело не с текстом самого Канта, а с конспектами его лекций, во многом построенных на отсылках к чужим источникам, логика формирования четырехчастной классификации рас четко прослеживается в записях, принадлежащих разным периодам и авторам.

² Менее очевидна ситуация с лекциями Канта, так как мы находим вертикальную классификацию рас как минимум в одном конспекте лекций по географии: Dohna 1792.

онной классификации рас, противоречащей идее космополитизма и многим другим ключевым элементам кантовской философии.

2. Академическая и широкая дискуссия

Именно по двум упомянутым векторам аргументации развивалась основная дискуссия о расизме в философии, а в первую очередь в антропологии Канта. На вопрос об отношении Канта к вопросу о расах как на отдельную проблему первым обратил внимание в 1995 г. философ Эммануэль Чуквуди Эз [4]. Во второй половине 1990-х и в 2000-х гг. статьи по той же теме опубликовал Роберт Бернаскони, а после него ряд других авторов. Бернаскони, один из наиболее известных критиков кантовского изображения рас, полагал, что проблему нельзя сводить к изолированным дискриминирующим описаниям, и доказывал, что эти описания представляют собой часть теоретически фундированного проекта [5. Р. 145]. Разбирая отдельные примеры дискриминирующих высказываний о расах в лекциях и малых работах Канта, Бернаскони показал как минимум в некоторых случаях Кант осознанно делал выбор в пользу источников, представлявших негроидную расу и американскую расу в резко негативном свете, хотя ему были известны и другие точки зрения [5. Р. 148–149].

На вопрос о роли понятия расы у Канта постепенно обратили внимание ведущие кантоведы как в англо-, так и в немецкоязычной среде. Одновременно начал формироваться альтернативный взгляд на проблему, кристаллизовавшийся в теории Паулины Кляйнгельд о пересмотре поздним Кантом собственной позиции относительно рас. Кляйнгельд не отрицает важности проблемы и присоединяется к критике изображения рас в малых работах и лекциях 1770–1780-х гг. Однако поздний Кант, по ее мнению, отходит от дискриминирующих классификаций рас как противоречащих его теории космополитизма [6. Р. 586–592]. Кляйнгельд полагает, что Кант в своих политических трудах и в «Антропологии с прагматической точки зрения» нарочито отходит от вертикальных классификаций рас.

Наиболее активных участников узких академических дебатов о Канте можно, несколько упрощая, разделить на два основных лагеря. К первому относятся те, кто считает, что взгляды Канта не претерпевают существенных изменений и что он даже в поздних работах не отказывается от своих сформулированных в «Лекциях по антропологии» и развитых в малых работах 1770-х и 1780-х гг. высказываний о недостатках других рас по сравнению с европеоидной расой. В эту группу исследователей входят не только критики кантовской антропологии Роберт Бернаскони, Марк Лэрримор, Чарльз Миллз и Джон Заммито, но и некоторые защитники Канта, утверждающие, что он лишь заимствует точки зрения других авторов. Ко второму лагерю принадлежат те, кто доказывает, что Кант в поздних работах 1790-х гг. кардинально меняет свою позицию по вопросу о расах, в том числе в свете своей идеи космополитизма и, возможно, вследствие событий Французской революции. Эту точку зрения разделяют, в частности, Сьюзан Шелл, Питер Фенвес, Шанкар Муту и Паулина Кляйнгельд.

Позиция последней группы исследователей представляется мне более убедительной по нескольким причинам. Тезис о том, что Кант осознал необходимость пересмотреть свое представление о расах именно в ходе размыш-

лений над политическими и культурными аспектами теории космополитизма, явно противоречившей любым вертикальным классификациям рас, выглядит вполне логичным. О кардинальных изменениях в позиции Канта свидетельствует и тот факт, что в «Антропологии с прагматической точки зрения», являющейся квинтэссенцией кантовской антропологии, представлено нарочито нейтральное, лишенное моральных коннотаций описание рас. И наконец, немаловажную роль могли сыграть события Французской революции, а также, вероятно (в этом случае нельзя утверждать с уверенностью из-за отсутствия документальных свидетельств), события революции на Гаити.

Завершающий на текущий момент этап дискуссии пришелся на лето 2020 г. Общественные дебаты вокруг Канта, в которых приняли участие и ведущие философы современной Германии, оказались одним из философских отзвуков социального движения Black Lives Matter, послужив наглядным свидетельством его широчайшего резонанса (вне зависимости от нашего отношения к его конкретным проявлениям). Начальный импульс обсуждению задал историк Михаэль Цойске, призвавший более детально критиковать философские основания расизма и назвавший Канта одним из основателей европейского расизма [7]. В ответах на высказывание Цойске академические позиции оказались представлены не только философами, но и рядом специалистов из других областей: социологами, историками и политологами. Хотя в целом дискуссия не породила принципиально новых аргументов, благодаря ей смогли публично высказаться те, кто является лицом немецкого кантоведения и философии в целом, но до сих пор не занимался этой темой, в частности Михаэль Вольф и Оттфрид Хёффе, а также издатели академического собрания Канта Фолькер Герхардт и Маркус Виллашек¹. Последний, на мой взгляд, занимает наиболее взвешенную позицию. С одной стороны, он признает, что у Канта, пусть и не в главных работах, можно найти представление об иерархии рас и что такое представление совершенно неприемлемо для нас как современных читателей. С другой стороны, Виллашек справедливо подчеркивает, что Кант никогда не поддерживал, а во многих случаях прямо критиковал рабство и колониализм², в частности выступая против захвата европейцами открытых ими земель [9].

3. Выводы: Кант и проблема расизма в европейской философии

В свете прошедших академических и общественных обсуждений можно сделать несколько замечаний, значимых как для исследований в области истории философии, так и для обсуждения проблематики расизма. Из *исторической* перспективы очевидно, что проблема расизма в «классической» европейской философии представлена не только Кантом. Различные, в некоторых

¹ Также стоит отметить, что широкая общественная дискуссия дала новый импульс дискуссии академической. В частности, с ноября 2020 г. по февраль 2021 г. в Берлин-Бранденбургской академии наук прошла серия круглых столов, посвященных вопросу о том, можно ли считать Канта расистским мыслителем. В дискуссии приняли участие ведущие кантоведы, а также историки, юристы и политологи.

² Ср. первую часть «Метафизики нравов», в которой Кант упоминает о том, что «человек может быть только собственным господином (sui iuris), но не собственником *самого себя* (sui dominus) <...> не говоря уже о том чтобы быть собственником других людей» [8. С. 191]. Критику колониализма легко обнаружить и в трактате «К вечному миру», в частности когда Кант пишет о «чудовищной несправедливости» и пренебрежении к человеческой жизни, с которыми представители европейских народов обращались с жителями открытых ими стран [2. Т. 7. С. 399].

случаях гораздо более радикальные расистские высказывания можно встретить у Юма, Вольтера, Дидро, Руссо, Лихтенберга, Фихте, Гегеля и многих других европейских философов XVIII–XIX в., не говоря уже о XX в. Кроме того, не следует смешивать перспективу современную и перспективу XVIII в., в которой формировалась философия Канта. Понятие расизма во времена Канта не существовало, а для философии, этнологии, физической географии и биологии был преимущественно свойствен европоцентризм со всеми вытекавшими из него следствиями. С другой стороны, в Германии дискуссия об употреблении понятия расы активно шла уже во второй половине XVIII в., а участвовали в ней в том числе и слушатели кантовских лекций – в первую очередь Гердер, борющийся с европоцентризмом в науках о человеке.

Из современной *практической* перспективы делать из этих высказываний выводы о необходимости избегать текстов тех или иных философов или призывать к их исключению из университетской программы было бы не просто непродуктивно, но и вредно. Как минимум недальновидно считать, что проблемы не существует или она является лишь продуктом сиюминутной моды, однако всегда стоит трезво оценивать и громкие высказывания против того или иного философа, сделанные ради широты общественного резонанса. К последним относятся не подкрепленные свидетельствами и аргументами тезисы о Канте как прародителе европейского расизма.

Из *теоретико-философской* перспективы в каждом случае нужно внимательно смотреть на то, в какой степени высказывания о расах затрагивают ключевые идеи и тезисы интересующего нас философа. В случае с Кантом эти высказывания всегда носили маргинальный характер и, судя по всему, были им пересмотрены в работах 1790-х гг. И хотя эти обстоятельства совершенно не избавляют нас от необходимости серьезно анализировать пассажи о расах в кантовских текстах, они не должны служить основанием считать, что расистские характеристики в некоторых текстах Канта обесценивают всю его антропологию или практическую философию, в которой есть не только крайне слабые элементы, но и свои сильные стороны – в частности концепция прагматического разума, а также понятия необщительной общительности и космополитизма.

Сделанные выводы подводят нас к финальному более общему вопросу: можно ли в принципе, обсуждая расистские аспекты философии того или иного мыслителя, успешно пройти между Сциллой апологетики и Харибдой огульной критики? Решение оказывается простым по форме и сложным по исполнению: требуется пристальное внимание к деталям и историческому контексту, непредвзятость в выборе источников и отказ от канонически-монументального взгляда на историю философии, подменяющего взгляд критический. Конечно, считать, что эти принципы будут соблюдаться в широкой дискуссии, чаще всего зависящей от сенсационности ее предмета, было бы наивно. Однако для профессионального анализа они не только полезны, но и совершенно необходимы.

Литература

1. Чалый В.А. Иммануил Кант – расист и колониалист? // Кантовский сборник. 2020. Т. 39, № 2. С. 94–98.
2. Кант И. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Чоро, 1994.

3. Kant I. Gesammelte Schriften. Akademie-Ausgabe. Berlin : De Gruyter, 1997. Bd. XXV: Vorlesungen über Anthropologie.

4. Eze E.C. The Color of Reason: The Idea of 'Race' in Kant's Anthropology // *Anthropology and the German Enlightenment* / ed. by K. Faull. Lewisburg : Bucknell University Press, 1995. P. 196–237.

5. Bernasconi R. Kant as an Unfamiliar Source of Racism // *Philosophers on Race* / ed. by T. Lott, J. Ward. New York : Oxford University Press, 2002. P. 145–166.

6. Kleingeld P. Kant's Second Thoughts on Race // *The Philosophical Quarterly*. 2007. Vol. 57, № 229. P. 573–592.

7. Zeiske M. Antirassistischer Denkmalsturm: Auch der Philosoph Immanuel Kant steht zur Debatte // *Deutschlandfunk Kultur*, 13.06.2020. URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/antirassistischer-denkmalsturm-auch-der-philosoph-immanuel.1013.de.html?dram:article_id=478593 (дата обращения: 28.01.2021).

8. Кант И. Сочинения на русском и немецком языках. Т. 5, ч. 1: Метафизика нравов. Первая часть. Метафизические первоначала учения о праве / под ред. Н. Мотрошиловой, Б. Тушлинга, при участии А. Круглова, А. Судакова, Д. Хюннига, В. Эйлера. М. : Канон-Плюс, 2014.

9. Willaschek M. Kant war sehr wohl ein Rassist // *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 15.07.2020. URL: <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-kant-sehr-wohl-ein-rassist-gewesen-ist-16860444.html> (дата обращения: 28.01.2021).

Alexey G. Zhavoronkov, Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation); Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation).

E-mail: outdoors@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 89–96.

DOI: 10.17223/1998863X/60/9

REASON AS A PRIVILEGE OF EUROPEANS? KANT AND THE PROBLEM OF RACISM

Keywords: Kant; German idealism; anthropology; geography; Eurocentrism, racism.

The article focuses on the origins and history of the academic and public discussion on the discriminatory depiction of non-European races in the anthropological works of Immanuel Kant. The first part contains a brief analysis of key works and passages that are at the core of the discussion: fragments of lectures on anthropology and physical geography, Kant's minor works of the 1770s and 1780s (*Of the Different Races of Human Beings*, *Determination of the Concept of a Human Race*, *On the Use of Teleological Principles in Philosophy*) and the paragraph on races in *Anthropology from a Pragmatic Point of View*. In the second part, I outline the main arguments of the three stages of the discussion, starting with the acknowledging of the problem by academic scholars in the 1990s and ending with the recent debates in German mass media in the summer of 2020. While providing a critical account of the arguments of scholars participating in the discussion (which can be roughly divided into two groups or interpretative strategies), I also present my point of view: there are, indeed, racist statements and classifications in Kant's minor works and lectures, although they do not affect the main elements of his critical philosophy; in his late works of the 1790s, Kant abandons his discriminatory approach to the description of races in the light of his idea of cosmopolitanism. In the final part, I present some aspects, results and possible conclusions from the discussion on Kant's concept of race that I deem to be important for historians of philosophy and those interested in classical European philosophy. In this regard, I distinguish three key aspects of the problem: the historical aspect which concerns the genesis of Kant's anthropology in general and his idea of race in particular; the practical aspect which relates to the question on our view of Kant's texts and ideas as subjects of teaching and study; the theoretical-philosophical aspect concerning the evolution of Kant's anthropological ideas and the role of the concept of race in Kant's practical philosophy. My key argument here is that while there is explicit evidence that some of Kant's remarks on different races can be called racist from our contemporary point of view, we cannot use this evidence as an argument against Kant's anthropology as a whole or as a basis for any restriction of studying Kant's texts in the academic curriculum.

Reference

1. Chaly, V.A. (2020) Immanuel Kant – Racist and Colonialist? *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 39/2. pp. 94–98. (In Russian).

2. Kant, I. (1994) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. In 8 vols. Moscow: Choro.

3. Kant, I. (1997) *Gesammelte Schriften*. Vol. 35. Berlin: De Gruyter.
4. Eze, E.C. (1995) The Color of Reason: The Idea of 'Race' in Kant's Anthropology. In: Faull, K. (ed.) *Anthropology and the German Enlightenment*. Lewisburg: Bucknell University Press. pp. 196–237.
5. Bernasconi, R. (2002) Kant as an Unfamiliar Source of Racism. In: Lott, T. & Ward, J. (eds) *Philosophers on Race*. New York: Oxford University Press. pp. 145–166.
6. Kleingeld, P. (2007) Kant's Second Thoughts on Race. *The Philosophical Quarterly*. 57(229). pp. 573–592.
7. Zeuske, M. (2020) Antirassistischer Denkmalsturm: Auch der Philosoph Immanuel Kant steht zur Debatte. *Deutschlandfunk Kultur*. 13th June. [Online] Available from: https://www.deutschlandfunkkultur.de/antirassistischer-denkmalsturm-auch-der-philosoph-immanuel.1013.de.html?dram:article_id=478593
8. Kant, I. (2014) *Sochineniya na russkom i nemetskom yazykakh* [Works in Russian and German]. Vol. 5(1). Translated from German. Moscow: Kanon-Plyus.
9. Willaschek, M. (2020) Kant war sehr wohl ein Rassist. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 15th July. [Online] Available from: <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-kant-sehr-wohl-ein-rassist-gewesen-ist-16860444.html>

УДК 165.6 : 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/60/10

А.А. Меньшикова

КАТЕГОРИЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ПОСРЕДНИКА В РАБОТАХ ФИЛОСОФОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Обосновывается несистемная функция языковых категорий в роли трансцендентального посредника, объединяющего традицию кантовской эпистемологии и работы философов аналитического направления, представляющих оригинальные теории метафизической онтологической направленности. Помимо функции трансцендентального посредника язык в очерках У. Куайна и теории П. Стросона представляет логико-семантическую сущность, отражает функционирование в естественной среде в качестве объекта коммуникации, занимает уровень онтологии.

Ключевые слова: трансцендентальный посредник, трансцендентальная эпистемология, метафизическая онтологическая направленность, онтология языка, референциализм, кантианство.

В истории философии существует актуальный вопрос, относящийся к изучению характера распространения традиции кантианства, связанного, в первую очередь, с англо-американской аналитической философией XX в., работами У.В.О. Куайна, Дж. Остина, Х. Патнэма и других авторов, критерием влияния исследований И. Канта. Влияние «Критики чистого разума» [1] составляет основание оригинальных концепций П. Стросона и У. Куайна. Вместе с тем характер распространения влияния И. Канта остается неопределенным. Среди исследователей установилась традиция констатировать одностороннюю направленность распространения кантовской философии, обозначая ее понятием «трансцендентализм», которое в общеизвестном представлении связано в первую очередь с вкладом немецкого философа в теорию познания, описанием принципов работы сознания, онтологии разума и т.п.

Между тем сохраняется неопределенность в отношении того, почему распространение кантовской традиции в истории философии не обозначается понятием «критический идеализм». Соответственно, возникает предположение о том, что единство направления кантианства нарушается, дальнейшее влияние философии И. Канта обуславливает новые формы связи. Возникает представление о том, что существование традиции кантианства в аналитической философии характеризуется несистемностью, нарушающей вероятность становления исторической традиции. Единство традиции трансцендентальной эпистемологии подвергается сомнению. Философы аналитического направления вводят в собственные работы категории («понятия» [2], «универсалии» [3], «объекты» [4], «деривация» [5], «обозначение» [6] и др.), которые представляют сферу онтологии и метафизики. С другой стороны, авторские концепции содержат фундаментальные понятия, отражающие влияние кантовской традиции в области теории познания, – «концептуальная схема», «денотат» [3], представляющие возможность становления общей концепции. Категории и понятия авторских концепций «аналитиков», в принципе, связа-

ны с логико-семантической направленностью философских дисциплин, их связь с кантовской традицией также требует обоснования. В этой связи остается непонятным, является ли направленность кантовской философии единой традицией либо плюрализмом направлений. Представление о единой традиции связано в первую очередь с принадлежностью к области эпистемологии, доминирующей в ситуации существования концепций, затрагивающих эту сферу [7]. Ближайшим принципом, обуславливающим зависимость концепций философов аналитического направления от кантовской традиции эпистемологии, можно считать категорию трансцендентального посредника, отмеченную в исследовании М.А. Смирнова [8]. Поэтому цель данного исследования – установить распространение кантовской традиции в аналитической философии языка, независимость направлений кантианства от эпистемологии на основании изучения функционирования данной категории в системе философских работ «аналитиков». В задачи исследования входит выявление категории трансцендентального посредника в работах У. Куайна, П. Стросона, конкретизация аспектов этой категории.

Несмотря на общее совпадение понятийного дискурса, М.А. Смирнов противопоставляет категории трансцендентального субъекта и трансцендентального посредника [8. С. 36]. Разграничение этих понятий является для него основанием опровержения влияния кантовской традиции на работы философов аналитического направления. Тем не менее само атрибутивное понятие «трансцендентальный» указывает на принадлежность к единой традиции. Категорию трансцендентального посредника как феномена, влияющего на познание, можно считать прямым продолжением кантовской традиции в отношении работ философов аналитического направления. Следуя концепции И. Канта, трансцендентальным посредником можно считать любое явление или процесс, вписывающиеся в систему отношений, связанных с исследованиями сознания и мышления И. Канта (неслучайно другую парадигму этого направления связывают с психологией).

Категорию трансцендентального посредника можно считать индикатором направления кантовской эпистемологии в системе аналитической философии, большая часть аспектов онтологии которой представлена как категории. В работах философов, применяющих аналитический метод, унаследовавших многое в онтологии собственных работ от парадигмы логики, категориальность становится наиболее важным признаком. Категории логики повлияли на концептуализм в онтологии, подавляющее большинство понятий и терминов их философских систем по-другому не мыслится либо в конечном итоге естественным путем сводится к онтологическому статусу категорий. Трансцендентальный посредник как категория в работах философов аналитического направления не входит в системную связь с какими-либо альтернативными областями или уровнями онтологии, поэтому рассматривается как показатель традиции кантовской теории познания во многом по причине ограниченности связей в ряду аспектов философских систем.

Категорию трансцендентального посредника невозможно расценивать как принцип исключительно онтологической направленности, потому что метафизическая суть этой категории затрагивает теорию познания. Трансцендентальный посредник может стать частью системы работ онтологической направленности при условии ее конвенциональной значимости, но

в отдельных очерках У. Куайна онтологию языка невозможно оценивать в русле подобной интерпретации в принципе.

Принимая во внимание преобладание категориального контента онтологии в работах философов аналитического направления, сложно безоговорочно разграничить онтологическое и эпистемологическое направления кантовской традиции в аналитической философии на основании исключительно категории трансцендентального посредника. Требуется установить функцию лингвистических категорий как неотъемлемой части специализации онтологии языка.

В работах философов аналитического направления существует тенденция интерпретации языка как опосредывающей познание категории. У. Куайн разработал концепцию онтологической относительности [7], в которой утверждается зависимость формирования представлений в сознании от языковых категорий. О влиянии языка на познание пишут в своих работах Р. Чизолм [9] и Н. Малкольм [10]. В очерках У. Куайна «*Ontological relativity*» [7] и «*Logic as a source of syntactical insights*» [11] целью исследования является обоснование зависимости процесса познания от языковых категорий. В определенном смысле можно констатировать тот факт, что концепция относительности перевода [12] также наследует принципы кантовской эпистемологии. Подобная же тенденция прослеживается в концепции Х. Патнэма [13], развивающего на основании этой идеи самостоятельную теорию. В статье Дж. Мура [14] можно установить естественный путь отождествления сущности языка с трансцендентальным.

Утверждение распространения функции языка как трансцендентального посредника среди работ философов аналитического направления способно обосновать зависимость онтологических концепций от традиции кантовской эпистемологии.

Определенная сложность возникает при поиске соответствующих оснований и оценке данности в теории П. Стросона «Индивиды» [3]. Автор действительно установил связь между аспектами метафизики, связанной с семантикой и языковыми категориями и концептуальной схемой. Проблема заключается в том, что П. Стросон не довел создание теории концептуальной схемы до конца. Текст «Индивидов» представляет собой комплекс отдельных очерков, в которых категории сохраняют ведущую связь с семантикой.

Перестройки самой онтологической системы, тем не менее, не происходит. Структурно-семантические категории не выполняют роли трансцендентального посредника, потому что теория П. Стросона не является когнитивной, и не освещает непосредственно проблем познания. Внимательный анализ онтологии языка в исследованиях П. Стросона позволяет выявить несколько ипостасей интерпретации языковых элементов.

В ходе исторического развития между аспектами онтологии исследований У. Куайна в отношении категорий «понятие», «класс понятий» [15], «множество», «универсалии» [16] не сложилось связи, предполагающей переход в область теории познания. Очерки «*Vagaries of definition*» [17], главы «*Word and object*» [18] не связаны с теорией познания. Партикулярии и универсалии как категории «Индивидов» [3] имеют больше связи с онтологической концепцией, чем с областью эпистемологии. Продолжение исследования П. Стросона в области когнитивных функций концептуальной схемы

приведет к тому, что использование понятий партикулярий и универсалий потеряет онтологическую связь с новой теорией. Фактически восстанавливается процесс сохранения преемственности кантовской традиции онтологической направленности через сохранение специфики онтологии языка, связанных принципов логико-семантической парадигмы – общераспространенным утверждается принцип референциализма.

Преобладание логико-семантического аспекта в интерпретации онтологии языка установлено как продолжение традиции развития кантовской философии. Типология высказываний (суждений) в сочинении И. Канта основывается на традиции формальной логики. Логико-семантическая онтология языка воспринимается в данном случае как продолжение традиции метафизического лингвистического инварианта онтологической направленности, связывающего работы И. Канта и философов аналитического направления непрерывной исторической традицией. Историческая традиция в данном случае представляется непрерывной и более фундаментальной, чем возможные формации, связанные с объектом сознания «Критики чистого разума». Во времена И. Канта представление о языке общения могло восприниматься только с позиции синкретизма логических категорий и семантики.

Категория трансцендентального посредника также находит выражение в области философии сознания, в работах Дж. Серла [19], Д. Деннета [20], поскольку, несмотря на отдельные доводы самостоятельных исследований, феномен сознания мыслится как объективированная концептуальная категория.

Занимаясь проблемой происхождения онтологии языка в работах философов аналитического направления, следует находить баланс между показателями преемственности и аспектами, которые привносят новые авторские работы в ходе исторического развития. Кантовская традиция онтологии языка не сводится исключительно к функции трансцендентального посредника.

Сущность языка понимается в логико-семантическом аспекте, присущем периоду кантовской философии в целом. Данная интерпретация онтологии языка реализуется в большей части статей У. Куайна наряду с ее дальнейшей эволюцией в области прикладных аспектов – практической методологии исследований логико-семантического анализа и соответствующих подходов. Аналогичное положение языковых структур можно проследить в «Индивидах». Грамматические языковые категории отождествляются с логическими [З. Р. 36–74]. Вместе с тем в «Индивидах» можно выявить также понимание языка в его естественной «внешней» среде повседневного общения.

Позиция онтологии языка, обращенная к языковому контенту как известной нам реальности, бытования языка как средства естественного общения, не представляет функции трансцендентального посредника по самой метафизической онтологической сущности. В продолжение логических теорий онтология языка сохраняет логико-семантическую природу, что находит отражение в содержании самой теории на уровне «теоретического объекта», отчасти граничащей с символической его природой. П. Стросон часто обращается к семантическому анализу, акцентирующему внимание на функциональном, прикладном аспекте языковых элементов. Символическая природа языка преобладает. П. Стросон соотносит категории универсалий и партикулярий с логическими аналогами субъекта и предиката. Последние не претерпели изменений и адаптации к новой, когнитивной, онтологии. В результате

не получается установить связь концепции П. Стросона с эпистемологическим направлением. Категории концепции П. Стросона больше связаны с аспектами, имеющими отношение непосредственно к реальности.

Аналогично онтология языка как логико-семантическая понимается в очерках У. Куайна [17]. Не все работы У. Куайна, имеющие отношение к философии языка, сохраняют связь с концепцией онтологической относительности. У. Куайн посвящает работу изучению категорий пропозиции и модальности [21]. С семантической онтологией языка можно связать программу изучения высказываний, что в итоге становится автономным исследованием области семантики, типологии высказываний. Трансцендентальной семантики как направления не сложилось. В свою очередь, отождествление семантики и эпистемологии характерно для направления когнитивного языкознания, которое стало самостоятельной наукой. Представление об априорном как продолжение кантовской традиции применяется в разработке собственной теории языка Дж. Остиным [22]. Тем не менее на почве новой концепции эта тенденция не получает преимущественного отношения к эпистемологии (Дж. Остин не занимался исследованиями в области когнитивной лингвистики).

Концепция онтологической относительности не оказала значимого влияния в парадигме аналитической философии за исключением работ ученика У. Куайна. Формирования цикла исследовательских работ философов, учитывающих значимость языка как трансцендентального посредника даже в аспекте методологии, не происходило. Фактически эту теорию У. Куайна можно только подтвердить или опровергнуть. Само понимание языка как трансцендентального посредника получает распространение в монографии У. Куайна «Pursuit of truth» [12], являющейся определенным этапом развития кантовской традиции эпистемологии. Идею языка как трансцендентального посредника ввести в другую концепцию области онтологии, теории или философии языка. Концепция относительности перевода [12] в продолжении второй части «Критики чистого разума» [1. С. 19], совпадающей с идеей онтологии «деятельностного» сознания, является единственным примером такого развития. Это свидетельствует о том, что категория трансцендентального посредника занимала слабую позицию в отношении формирования направления в истории философии.

Сложно представить себе аспект онтологии языка, способный заменить метафизическую функцию трансцендентального посредника, обозначив принадлежность к области традиции кантовской эпистемологии, которая не может являться системообразующей категорией.

Определенную проблему представляет интерпретация самого термина «трансцендентальное». Среди исследователей не сложилось определенного представления о содержании понятия «трансцендентальный». Обычно он связывается обозначением тенденций кантовской философии, отражающей уклон в область теории познания [23], потому что суть содержания «Критики чистого разума» И. Канта [1] понимают как исследование в области сознания и мышления. С другой стороны, этот термин стал синонимом исторической традиции распространения кантианства для философов, наиболее очевидно претерпевших влияние оригинала [24]. В наиболее общем смысле этот термин употребляется атрибутивно, передавая смысл о влиянии кантовской традиции как таковой. «Трансцендентальный» также употребляется для обозна-

чения некоторого принципа дихотомии, возникающего в системе противопоставления области объективной реальности и стороны субъекта, его сознания, конкретизации области, связанной с восприятием. С другой стороны, термин «трансцендентальный» стал употребляться для обозначения «обратной» стороны познания, в этом смысле становясь синонимом понятий, имеющих отношение к концепции идеализма, концепций его продолжения в истории философии, что фактически, принимая во внимание сущностную метафизику аналитической философии, заставляет усомниться в целесообразности специфики явления, поскольку аналитическую философию в принципе следует отнести к идеалистическим дисциплинам.

Принимая идеалистическую трактовку термина «трансцендентальный», при котором онтология языка понимается как идеалистическая, а языковые единицы фактически становятся тождественным компонентом слов в обыкновенной семантике, невозможно доказать специфику влияния кантовской традиции в плане сложностной онтологии языка. В любом случае такое понимание лингвистических категорий не связывает их с эпистемологической направленностью, так как парадигма обыкновенной семантики не предполагает когнитивных принципов функционирования языка. В аналитической философии не сложилось концепции, при которой принципы семантики и когнитивистики являются равнозначными. Даже исследования Дж. Серла [19] характеризуются определенной иерархией отношений языковых категорий в области эпистемологии – влияние философии языка переходит на методологический уровень подходов и оснований. Статус «Индивидов» П. Стросона как теории эпистемологической направленности, в которой теорию можно рассматривать относимой в равной степени к области семантики и эпистемологии, также ставится под сомнение в связи с тем, что сама работа не представляет теоретического, метафизического и методологического единства. В остальном категории работ У. Куайна вполне согласуются с областью философской семантики, по способу образования они близки концепциям из области теории языка.

В подтверждение того, что И. Кант оказывал влияние на становление семантики как философской дисциплины, можно указать на общую преемственность логики как исторического источника науки о значении. Филологическая направленность в этой дисциплине появилась гораздо позднее. Г. Фреге как признанный основатель семантики также испытывал влияние И. Канта. Под влиянием разграничений, внесенных «Критикой чистого разума» между аспектами реальности как таковой, «вещи в себе», стороной субъекта, с которой следует отождествлять также область сознания, в онтологии языка возникло отношение референциализма, поскольку семантические теории философов-аналитиков воспринимаются также как теории референции, в которых значение становится компонентом структуры.

Функционирование категории языка как трансцендентального посредника не обязательно должно сохраняться неизменным в концепциях философов. Можно ожидать сохранения позиций отношений в структуре концептуальной схемы семантического поля терминов и понятий авторских исследований, что гипотетически определяет позицию положения компонентов системы, оказавшейся результатом влияния введенной некогда категории трансцендентального посредника. Однако в очерках У. Куайна [17, 18] и теории П. Стро-

сона [3] не установлено подобной предпосылки структуры компонентов, оказавшей влияние на авторские концепции.

Отношения между компонентами семантического поля представляют завершенность, логически связную систему, исключаящую влияние когнитивных пропозиций. Онтология языка в очерке У. Куайна «Vagaries of definition» [17], теории «Word and object» [18] сохраняет приверженность семантике и философии языка без когнитивных оснований. Существенным доводом в опровержение распространения традиции трансцендентальной эпистемологии, установленной в философии У. Куайна, является тот факт, что работы американского автора не подчинены некой философской позиции и не представляют собой системы.

Исследованием, направленным на обоснование позиции языковых категорий как трансцендентального посредника является не только концепция онтологической относительности. В остальном порядок компонентов семантического поля образуют завершённую метафизическую теорию онтологической направленности – «понятие», «объект», «непустое множество» – «антецедент» [16], «обозначение» – «объект» – «высказывание» [17]. «Тень» влияния категории трансцендентального посредника можно установить в работах в области философии сознания [19].

Конечно, при определенных обстоятельствах в работах философов аналитического направления отдельные категории могут приобретать функцию трансцендентального посредника. Тем не менее существенных изменений в отношении онтологии языка не происходит. Языковые категории в очерках У. Куайна сохраняют онтологию семантики. Изменения статуса аспектов «множество», «понятие», «объект» не происходит. Ни одно из указанных понятий не является ни посредником в авторской концепции, ни частью комплексной теории. Категории философских работ У. Куайна не связаны с «чистым» разумом или рассудком. Это означает, что в парадигме истории философии следует говорить об определенном изменении традиции, аспекте влияния и интеграции. С другой стороны, возникновение функции трансцендентального посредника может быть обусловлено процессом контаминации. Идея опосредующей познание функции языка утвердилась в общих работах [9, 10]. Теоретические системы, основывающиеся на практическом исследовании, как правило, исключают подобную трактовку. Вместе с тем может возникнуть предположение о том, что описанные принципы не имеют отношения к кантовской традиции или воздействие работ немецкого философа ограничилось более частным влиянием, не затрагивающим альтернативные, более общие направления. Однако постановка целей и специфика однообразных категорий в работах философов исключает возможность автохтонного возникновения соответствующих категорий. Существенным фактором наследования онтологической традиции является также преемственность логики. С другой стороны, принадлежность к кантовской традиции подтверждается влиянием «Критики чистого разума» и других исследований И. Канта на различные аспекты онтологии работ философов последующих поколений, в частности на принцип референциализма [3, 17] в онтологии языка, его комплексную онтологию, подразумевающую связь нескольких аспектов, в том числе внутрисистемные отношения языковых категорий, связь со спецификацией теории референции [25]. Между тем количественные показатели компо-

нентов семантического поля теории референции не позволяют установить принцип преемственности общей эпистемологии. Категория языка не везде предстает как объект, что снижает ее значимость.

Следует ожидать кардинальное переосмысление функции языка либо расширение онтологического контекста, при котором область семантики перестанет быть односторонней дисциплиной объектоцентрической направленности, произойдет исключение «внешнего» функционализма. При таком раскладе можно говорить о контаминации в отношении распределения позиций. Очерки У. Куайна в любом случае не вписываются в логику целостной эпистемологической концепции. Допускается два варианта развития эпистемологической направленности кантовской традиции. Первая относится к концепции «чистого разума», связана с феноменом сознания и метафизическими основаниями мышления. При таком подходе следует ожидать расширения прикладных аспектов области семантики или усложнения отношений между компонентами семантического поля работ философов. Второе направление поддерживает функциональные аспекты, также допускает интеграцию и прикладные аспекты. Метафизические онтологические категории при таком подходе становятся органичной частью эпистемологического направления или теории. Эволюция метафизической онтологической парадигмы в области теории познания получила развитие как самостоятельная наука – когнитивная лингвистика.

В большинстве работ философов аналитического направления онтология языка не связана исключительно с функцией трансцендентального посредника. Поэтому делать вывод о существовании единства трансцендентального направления преждевременно. Одновременно кантовское представление о сущности языка, аналогичное соответствующим положениям в работах философов аналитического направления, является дополнительным аргументом в пользу обособленной метафизической онтологической направленности распространения кантовской традиции.

Литература

1. Кант И. Критика чистого разума. М. : Наука, 2006. Ч. 1. Т. 2. 1081 с.
2. Strawson P. Entity and identity : and other essays. Oxford : Clarendon Press [a. o.], 2005. 285 p.
3. Strawson P. Individuals : an essay in descriptive metaphysics. London : Routledge, 2005. 255 p.
4. Quine W.V.O. New foundations of mathematical logic // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 80–101.
5. Quine W.V.O. Two dogmas of empiricism // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 20–46.
6. Quine W.V.O. On what there is // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 19.
7. Quine W.V.O. Ontological relativity and other essays. New York : Columbia University Press, 1969. 165 p.
8. Смирнов М.А. Философия Канта и «лингвистическое кантианство» // Кантовский сборник. 2018. Т. 3, № 2. С. 32–45.
9. Чизолм Р. Философы и обыденный язык // Аналитическая философия: избранные тексты. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 100–104.
10. Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: избранные тексты. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 84–99.
11. Quine W.V.O. Logic as a source of syntactical insights // The ways of paradox and other essays. Cambridge : Harvard University Press, 1976. P. 44–49.

12. Quine W.V.O. Pursuit of truth. Cambridge : Harvard University Press, 2003. 114 p.
13. Putnam H. The nature of mental states // Art, Mind, and Religion. Pittsburgh : Pittsburgh University Press, 1967. 223 p.
14. Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избранные тексты. М. : Изд-во МГУ, 1993. С. 66–83.
15. Quine W.V.O. Logic and the reification of universals // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 102–129
16. Quine W.V.O. Meaning and existential inference // The ways of paradox and other essays. Cambridge : Harvard University Press, 1976. P. 74–89.
17. Quine W.V.O. Vagaries of definition // The ways of paradox and other essays. Cambridge : Harvard University Press, 1976. P. 50–55.
18. Quine W.V.O. Word and object. Cambridge : The MIT Press, 1960. 294 p.
19. Серд Д. Мозг, сознание и программирование // Аналитическая философия: становление и развитие. М. : ДИК, 1998. С. 315–400.
20. Деннет Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия: становление и развитие. М. : ДИК, 1998. С. 360–375.
21. Quine W.V.O. Reference and modality // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 139–159
22. Остин Дж. Значение слова // Аналитическая философия: избранные тексты. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 105–120.
23. Калинин Л.А. Природа трансцендентальной философии и ее формы // Трансцендентальный поворот в современной философии. М. : Изд-во ГАУГ, 2018. С. 11–13.
24. Мовсесян С.Г. Семиотическая трансформация трансцендентализма И. Канта в философии К.-О. Апеля // Проблемы управления. Минск : Изд-во Академии управления при президенте Республики Беларусь, 2007. № 1. С. 221–226.
25. Quine W.V.O. Notes on the theory of reference // From a logical point of view. Cambridge : Harvard University Press, 2003. P. 130–138.

Anna A. Menshikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: menanna1366@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 97–107.

DOI: 10.17223/1998863X/60/10

THE TRANSCENDENTAL INTERMEDIARY IN ANALYTIC PHILOSOPHY

Keywords: transcendental intermediary; transcendental epistemology; metaphysical ontological tradition; language ontology; reference, Kantian tradition.

The transcendental intermediary aspect is a core link in analytic philosophers' papers, which enables verifying the ontological metaphysical tendency development in the course of the Kantian epistemological tradition. Up to this moment, the way of the Kantian tradition development in analytic philosophy is undefined. It rejects critical idealism as a term, whereas the transcendental intermediary is accepted to have different meanings. There is a hypothesis concerning multiple tendencies in the Kantian tradition development, perceiving ontological and epistemological items to be separate. The transcendental intermediary rejects a direct cognition of reality. It represents either a phenomenon or a concept. Quine's ontological relativity presents language as the transcendental intermediary, which exerts a link between epistemological and ontological Kantian traditions. In Quine's essays, language ontology, perceived as the transcendental intermediary, is not unique. It is also accepted to be a separate tendency in Kant's tradition, representing methodology and excluding epistemology, in the course of logic and semantics. Peter Strawson's *Individuals* is not a separate epistemological theory. Its first part is derived from Kantian metaphysics, but the second tends to be a specific research in logic and semantics. Language ontology in *Individuals* covers several levels. As a whole theory, it comprises metaphysical aspects, those of reality and language grammatical categories representing a new language ontology. Similar to Quine's papers, it mostly covers the logical and semantic essence of language units, as well as the communicative function, which naturally denies epistemological influence. Epistemological and ontological unity as the result of blending is not realized. Neither Quine's categories nor Strawson's universals or particulars represent an epistemological conception. The basic core trend caused by Kant's influence in language philosophy is logical and semantic language ontology, the principle of reference and the relevant categories. The theory of reference is equal to the semantic one, though there is no transcendental semantics affirmed as the philosophical

sphere: see Kant's influence upon Austin's theory, which has nothing to do with transcendental epistemology. The transcendental theory in language ontology does not have a wide influence upon analytic philosophy. This matter has been accepted by the sovereign transcendental intermediary, performing the scheme of concepts for analytic philosophers' papers, but it does not influence the mere ontological system. "Transcendentalism" as a term has an uncertain meaning: it specifies Kantian philosophy, represents a complex ontology for objects, synonymous to idealism. There is no precise model of the transcendental epistemological theory equal to Quine's papers. Transcendental ontological autonomy is confirmed by Kantian influence upon the origins of semantics, the category of meaning, the complex language ontology, its referential intentions and equal links between language units, which does not uncover epistemological origins.

References

1. Kant, I. (2006) *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. Vol. 2. Translated from German. Moscow: Nauka.
2. Strawson, P. (2005) *Entity and Identity and Other Essays*. Oxford: Clarendon Press.
3. Strawson, P. (2006) *Individuals*. New York; London: Routledge.
4. Quine, W.V. (2003a) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 80–101.
5. Quine, W.V. (2003b) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 20–46.
6. Quine, W.V. (2003c) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. p. 19.
7. Quine, W.V. (1969) *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press.
8. Smirnov, M.A. (2018) Kantian philosophy and Linguistic Kantianism. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 3(2). pp. 32–45. (In Russian).
9. Chisolm, R. (1993) *Filosofy i obydenyny yazyk* [Philosophers and the ordinary language]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: izbrannye teksty* [Analytical Philosophy: Selected Texts]. Moscow: Moscow State University. pp. 100–104.
10. Malcolm, N. (1993) *Mur i obydenyny yazyk* [Moore and the Common Language]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: izbrannye teksty* [Analytical Philosophy: Selected Texts]. Moscow: Moscow State University. pp. 84–99.
11. Quine, W.V. (1976a) *The ways of paradox, and other essays*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 44–49.
12. Quine, W.V. (2003) *Persuit of Truth*. Cambridge: Harvard University Press.
13. Putnam, H. (1967) The nature of mental states. In: Capitan, W.H. & Merrill, D.D. (eds) *Art, Mind, and Religion*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
14. Moore, D.E. (1993) *Dokazatel'stvo vneshnego mira* [A proof of the external world]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: izbrannye teksty* [Analytical Philosophy: Selected Texts]. Moscow: Moscow State University. pp. 66–83.
15. Quine, W.V. (2003d) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 102–129.
16. Quine, W.V. (1976b) *The ways of paradox, and other essays*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 74–89.
17. Quine, W.V. (1976c) *The ways of paradox, and other essays*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 50–55.
18. Quine, W.V. (1960) *Word and object*. Cambridge: The MIT Press.
19. Searl, D. (1998) *Mozg, soznanie i programmirovaniye* [Brain, consciousness and programming]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: stanovleniye i razvitiye* [Analytical Philosophy: Formation and Development]. Moscow: DIK. pp. 315–400.
20. Dennett, D. (1998) *Ontologicheskaya problma soznaniya* [Ontological problem of consciousness]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: stanovleniye i razvitiye* [Analytical Philosophy: Formation and Development]. Moscow: DIK. pp. 360–375.
21. Quine, W.V. (2003e) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 139–159.
22. Austin, J. (1993) *Znachenie slova* [The meaning of a word]. In: Gryaznov, A.F. (ed.) *Analiticheskaya filosofiya: izbrannye teksty* [Analytical Philosophy: Selected Texts]. Moscow: Moscow State University. pp. 105–120.

23. Kalinnikov, L.A. (2018) Priroda transtsendental'noy filosofii i ee formy [The nature of transcendental philosophy and its forms]. In: Katrechko, S.L. & Shiyan, A.A. (eds) *Transtsendental'nyy povorot v sovremennoy filosofii* [Transcendental Turn in Modern Philosophy]. Moscow: GAUG. pp. 11–13

24. Movsesyan, S.G. (2007) Semioticheskaya transformatsiya transtsendentalizma I. Kanta v filosofii K.-O. Apelya [Semiotic transformation of Kantian transcendentalism in K.-O. Apel's Philosophy]. *Problemy upravleniya*. 1. pp. 221–226.

25. Quine, W.V. (2003f) *From a Logical Point of View*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 130–138.

УДК 14

DOI: 10.17223/1998863X/60/11

О.И. Целищева

РЕЛЯТИВИЗМ РОРТИ И ВИТГЕНШТЕЙНОВСКИЙ СКЕПТИЦИЗМ КУНА

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта
№ 19-011-00437.

Соотношение релятивизма в науке и философии представлено сравнением идей Томаса Куна и Ричарда Рорти. Показано, что перенос Рорти куновской концепции развития науки на философию представляет четкую картину «лобового» сопоставления релятивизма в «зрелых науках» и философии и центральную роль эпистемонтологической иерархии. Показано влияние скептицизма Витгенштейна на релятивизм Куна.

Ключевые слова: рационализм, релятивизм, скептицизм, Кун, Рорти, Витгенштейн.

Инверсия проблемы

Концепция научных революций Т. Куна является одной из наиболее значимых атак на научную рациональность. Перенос Р. Рорти этой концепции на философию стал значительным поводом для замены рациональной аргументации герменевтикой. Оба предприятия ассоциируются с релятивизмом. Часто не замечаемая проблематичность такого понимания релятивизма заключается в том, что Кун говорит о естественнонаучном знании, а Рорти – о гуманитарном. Коль скоро их пресловутый релятивизм есть в первую очередь отрицание рациональности, неизбежен вопрос, имеет ли дело философия с теми же критериями и с тем же типом рациональности, что и естественные науки? Поскольку концепции рациональности являются столь многочисленными, сколько и многообразными, их прямое сопоставление в контексте «философия vs естественные науки» представляется в высшей степени затруднительным, если не тупиковым. В данной статье предлагается инверсия проблемы, заключающаяся в том, что сопоставлению подлежит не рациональность, а ее «антипод» в виде релятивизма. Обоснование подобного подхода предложено Дж.Л. Остином, предложившим метод, который, по его мнению, позволяет избежать ряда традиционных тупиков такого рода. Метод основан на предположении, что, прояснив обратную сторону какого-либо понятия или понятий, мы можем прояснить или, по крайней мере, сделать более понятной лицевую сторону. Стролл иллюстрирует метод обсуждения крайне многозначного слова «свобода»: «Это название измерения, в котором оцениваются действия. Если бы это имя свойства действий, мы могли бы дать положительный отчет о том, что делает действие свободным. Но мы не можем этого, потому что „свободный“ – это слово, которое приобретает свое значение из понятий, которое оно исключает» [1. С. 220].

Ближе к нашей теме слова самого Остина: «Подобно тому, как слова „реальный“, „свободный“ используются только для того, чтобы исключить

предположение некоторых или признанных антитез. Подобно тому как „истина“ – это не название характеристики утверждений, так и „свобода“ – это не название характеристики действий, а название измерения, в котором оцениваются действия» [2. Р. 128].

В духе этого метода мы предлагаем обсуждать не столько понятие рациональности в науке и философии, сколько семейство понятий, объединенных оппозицией к нему, – релятивизм, иррационализм, скептицизм. Ожидаемыми «героями» в сопоставлении именно с этих позиций естественных наук (далее, наука) и философии являются Т. Кун и Р. Рорти, поскольку «Структура научных революций» и «Философия и зеркало природы» являлись долгое время «культовыми» не только и не столько в философском сообществе. Интерес представляют не только их собственные взгляды на это сопоставление, но и неявная или явная полемика двух ведущих фигур релятивизма. Любопытным обстоятельством является то, что сопоставление этих мыслителей не привлекало до сих пор особого внимания.

Оговоримся сразу по поводу некоторого изменения изначального вопроса «философия vs наука». Если в отношении Рорти нет никаких сомнений по части его принадлежности к философскому сообществу, то Кун вряд ли может считаться ученым-физиком, каковым он и является по образованию. Однако Кун исследует историю именно физики, и если можно говорить о понятиях истины и рациональности в естественных науках, то, конечно же, подобный словарь выходит за пределы собственно науки и принадлежит в лучшем случае методологии науки, а в худшем – опять-таки философии. Кун проводит «границу между сферой научной рациональности и тем, чем наука не является и быть не может» [3. С. 8]. История науки является лучшим компромиссом в этой дилемме, так что Кун может считаться полноправным участником дискуссии о сопоставлении релятивизма в философии и науке.

Следует заметить, что соображения о релятивизме работающих ученых весьма похожи на попытки вторжения в чужую для них область, или же просто, попытки нарушения автономии философии, низводящей ее до уровня «здорового смысла», который в такого рода дискурсе не особенно плодотворен. В этом аспекте любопытно неприятие физиками концепции Куна (которое в данной работе не обсуждается) и реакция Рорти на «здоровый смысл» физика (которая обсуждается). Так называемая эпистемо-онтологическая иерархия играет важную роль в размежевании науки и философии, и принятие или отказ от нее фактически определяет границы релятивизма.

Сам по себе релятивизм является вариантом более общей философии скептицизма. В этом отношении прослеживание релятивизма к предполагаемому скептицизму Витгенштейна – не такое уж неожиданное предприятие. Неожиданным является обнаружение влияния Витгенштейна на Куна, что также обсуждается в данной статье. Это влияние имеет два аспекта, один из которых связан со своего рода иррационализмом Витгенштейна, а второй – со скептической интерпретацией Крипке философии Витгенштейна. Принимая во внимание, что Витгенштейн не уделял в своей философии достаточно внимания науке, эти рассуждения проливают новый свет на соотношение теперь уже не просто релятивистской, а скорее скептической позиции в науке и философии. Опять-таки, учитывая, что для многих релятивизм является просто проявлением иррационализма, апеллируя к методу Остина, можно

считать, что данные рассмотрения являются попыткой ответа на поставленный в заглавии статьи вопрос.

Прямое сопоставление науки и философии

До того, как Рорти предпринял попытку прямого перенесения методологии истории естественных наук Куна на область философии, он рассматривал несколько вариантов посткуновского видения будущего философии [4. Р. 208].

Первый состоит в возвращении к тем идеям, которые предшествовали в определенном смысле идеям Куна, а именно идеям Куайна и Витгенштейна, а также к прагматистам и идеалистам до Куна. Второй путь состоял в обращении к тем философам, которые, по выражению Рорти, хотят «перекусить» Куна, людям типа П. Фейерабенда, А. Макинтайра, С. Тулмина. Третий путь, по Рорти, состоял в обращении к критикам философии Куна, которые сочетали в себе техническую сноровку в области математической логики и вовсе не были уверены в том, что времена рационального дискурса ушли в прошлое. Четвертый путь состоял в обращении к тем людям, которые полагали позитивизм и прагматизм наивными, лишенными подлинной философской культуры, понимаемой, например, как герменевтическая интерпретация культуры Ю. Хабермаса или доклассический способ понимания М. Фуко природы как чтения текста.

Исключая второй путь, все остальные реакции на философию Куна оставляют следы в более поздней философии Рорти. Однако это были лишь следы, а основная направленность мысли Рорти зрела в сторону буквального истолкования взглядов Куна через перенос его базисных концепций на философию. Как это можно было сделать? Есть три точки соприкосновения с Куном, которые намечаются Рорти в качестве отправного момента своего довольно неожиданного предприятия.

Рорти преследует идею исторических периодов в развитии философии, пытаясь ассоциировать переход от одного к другому сдвигом парадигм в философии. Радикальным шагом в этом направлении является убеждение Рорти, что в истории философии нет какого-то набора проблем, которыми занимаются философы на протяжении всей истории. Внешне сходные вопросы в разные эпохи на самом деле оказываются разными. Так, Рорти говорит о сдвиге от парадигмы Декарта–Лейбница к философии XIX в. Среди мыслителей, которые порывают с прошлым, Рорти называет Витгенштейна, Дьюи, Хайдеггера. Характеристикой разрыва является историцизм и антифундаментализм. Убедительность такого рода прощания с прошлым зависит от выбора примеров. Эта проблема стояла еще перед Куном, которого упрекали в селекции примеров из истории физики, удовлетворявших его концепции. Для опоры на Куна Рорти не мог ограничиться чисто философским дискурсом, и поэтому он использует идею о недоопределенности альтернативных теоретических каркасов, ослабляющей контакт с реальностью. Эта отчужденность теоретических каркасов усиливается концепцией теоретической нагруженности терминов, согласно которой нет резкой границы между теорией и наблюдением. Таким образом, из-под понятия реальности выбивается опора в виде наблюдений, поскольку значение утверждений в рамках каркасов и самих наблюдений изменяется при появлении новой теории. Этот комплекс реляти-

вистских идей является второй точкой соприкосновения Рорти и Куна. Рорти полагает, что наибольший вклад тут внесли Фейерабенд и Селларс, первый – своей концепцией несоизмеримости значений теорий, а второй – критикой понятия данности эмпирических свидетельств.

На этом пути Рорти придумывает несколько способов сопоставления философского категориального аппарата куновской понятийной схеме, каждый из которых напрямую является критикой концепции рациональности. Так, Рорти противопоставляет нелюбимую им эпистемологию, которая ищет согласия в описании реальности, герменевтике, где важен разговор, не требующий рационального выбора лучшей теории. Тогда эпистемология в куновской терминологии становится нормальным периодом в развитии философии, а герменевтика – революционным. Эпистемологический застой сменяется герменевтическим ростом и развитием, что выходит за пределы идеала рациональности Просвещения.

Рорти стремится в описании истории философии как можно ближе придерживаться словаря Куна при описании развития науки. Например, настаивая на том, что в философии нет постоянных проблем, Рорти объясняет их смену тем, что на определенной стадии они становятся аномалиями, и именно разрешение аномалий является целью научных революций, а философская революция ничем не хуже научной. Для этого нужно подвергнуть категориальную структуру философии процедуре релятивизации: «Чтение Куна убедило меня и многих других, что взамен отображения культуры на эпистемонтологическую иерархию, вверх которой логический, объективный и научный, а низ – риторический, субъективный и ненаучный, нам следует отображать культуру в социологический спектр, от хаотического левого, где критерии постоянно меняются, до аккуратного правого, где они, по крайней мере, на момент фиксируются. ...Мысля в терминах такой структуры, возможно считать, что дисциплина движется влево в революционный период и вправо в устойчивые скучные периоды – того рода периоды, которые Кун назвал „нормальной наукой“» [5. Р. 180].

Такая картина рисуется Рорти в описании соотношения физики и философии, проливающего свет на расхождение аналитической философии, с ее приверженностью рациональности, с континентальной традицией. В XV в. обе дисциплины – аристотелевская физика и схоластическая философия – занимали крайне правое положение. В XVII в. они сдвинулись влево, когда родились ньютоновская наука и философия Нового времени. В XX в. физика ушла вправо, а философия «отчаянно» пыталась сделать то же самое. Но в этом философия потерпела неудачу, так что подлинные ее успехи ближе к континентальной традиции. Развитие философии идет по «куновским» канонам, поскольку Рорти делит философов на нормальных и революционных, но с некоторыми оговорками. У Куна революционная и нормальная фазы в развитии науки могут осуществляться одними и теми же фигурами, которые после революционных открытий продолжают свою работу в рамках нормальной (в куновском смысле) науки. При этом главная проблема состоит в преодолении несоизмеримости старых и новых парадигм, которое позволило бы продолжать нормальную науку. Рорти этот полумистический процесс ставит на более твердую основу, говоря о смене словарей или постепенном вытеснении старого словаря новым. Рорти отмечает, что вопрос о смене слова-

рей являются ключевым для деления революционных философов на две группы, говоря, что «есть революционные философы – те, кто основывает новые школы, в рамках которых может практиковаться нормальная профессионализированная философия, кто смотрит на несоизмеримость своих новых словарей со старыми как на временное неудобство, вина за которое ложится на недостатки их предшественников и которое может быть преодолено институционализацией собственного словаря революционеров-философов» [6. С. 273].

К таким философам Рорти относит Гуссерля и Рассела, а в более ранней истории – Декарта и Канта. На этом аналогия с Куном заканчивается, потому что «есть великие философы, которые трепещут при мысли, что их словарь может вообще быть институционализирован или что их сочинения могли бы оказаться соизмеримыми с традицией». К таким философам отнесены поздний Витгенштейн и поздний Хайдеггер, а в более ранней истории – Кьеркегор и Ницше.

Поскольку дальнейшее проведение Рорти параллелей между им и Куном становится затруднительным, Рорти прибегает к другому различению – на наставительную и систематическую философию. Суть наставительной философии в духе герменевтики состоит в том, чтобы поддерживать разговор, а не в том, чтобы искать объективную истину в рационалистическом духе. Таким образом, Рорти вводит в рассмотрение несколько дихотомий, запутанная схема соотношения которых упрощается окончательным предпочтением Рорти философов-наставников, намеренно периферийных в отношении традиции рационализма и поисков объективной истины.

Наставительная философия отвергает саму идею проникновения в сущность реальности, предлагая другие представления о роли философии. Вместо систематического поиска вечных истин предлагается «Разговор Человечества». Такая трактовка философии исключает ту особенность философии, которая роднит ее с наукой, а именно аргументацию. Как следствие, наставительные философы являются «партнерами по разговору», и их цель – не поиск объективной истины, а продолжение разговора самого по себе, и поддержание такого разговора – вполне достаточная цель для философии.

Однако герменевтика не является полным спасением в революционный период, поскольку некоторые философские «революционеры» не выдвигают новых парадигм, ограничиваясь лишь разрушением старых. К ним относятся, например, Дьюи и Хайдеггер, противостоящие позитивизму и, в конечном счете, аналитической философии. Рорти предупреждает нас о том, что деление на систематиков и наставников не совпадает с различием на нормальных и революционных философов, так что последняя дихотомия не подменяет первую. В частности, для введения новой характеристики континентальных философов Рорти обращается к философам-наставникам: «Великие философы-наставники настроены на то, чтобы реагировать сатирой, пародиями, афоризмами... Они намеренно периферийны» [6. С. 273].

Введение в оборот нескольких дихотомий у Рорти явно нарушает более или менее однородную картину развития науки у Куна, приводя к весьма прихотливой классификации философов. Так, причисление к революционным философам Гуссерля, Рассела, позднего Витгенштейна и позднего Хайдеггера путает, с первого взгляда, все мыслимые традиционные деления.

Однако Рорти свойственно как раз такое парадоксальное объединение сильно различающихся философов, которое, с его точки зрения, обнаруживает глубинные закономерности в истории мировой философии. Одновременно это отдаляет его от первоначальной цели – переноса куновской категориальной «машинерии» на философию. Возможно, что такое отдаление объясняется отсутствием у Куна интереса в подобной интерпретации его взглядов.

Два типа соотношения концепции рациональности в философии и естественных науках

Наше видение «лобового» сопоставления Куна и Рорти в существенной степени опирается на неявное пока предположение, что Кун в вопросе рациональности или иррациональности (скажем, при выборе парадигм) является «физиком», а Рорти в классификации философов, скажем, на нормальных и революционных – «философом». На самом деле, ситуация гораздо сложнее даже в рамках убеждений одного философа. Кун этот вопрос рассматривает в контексте того, как его взгляды на историю физики связаны с тем, что философы называют релятивизмом. Его упорные попытки откrestиться от обвинений в релятивизме (постоянный рефрен в его разговорах «Я не говорил этого! Я не говорил этого!») не приносили особого успеха.

В свою очередь, в философском релятивизме Рорти объективность и рациональность науки ассоциируются с претензией на научность аналитической философии, которую он считает продолжателем эпистемологической традиции, восходящей к Декарту и Канту. В этом смысле критика аналитической философии есть своего рода косвенное сопоставление иррационализма континентальной философии с рационализмом традиционной эпистемологии и естественных наук. Важной частью такого сопоставления является крайне упрощенное толкование функции науки, которую Рорти сводит к предсказанию. И поскольку философия ничего не предсказывает, Рорти отказывает аналитической философии в претензии на научность, а стало быть, и в ее «пресловутой рациональности». В этом случае возникает впечатление, что в случае Рорти не может быть никакого сопоставления рациональности в науке и философии как по причине того, что речь у него может идти о сопоставлении иррационализма в науке и опять-таки в философии. Несмотря на странность разговора об иррационализме в науки, он вполне оправдан анархизмом П. Фейерабенда. Однако Рорти не идет на крайности последнего и осуществляет-таки сопоставление научных и философских методов мышления, обращаясь к куновскому понятию дисциплинарной матрицы, уже в применении к философии. Это понятие, призванное объяснять механизм смены научных теорий, используется Рорти для объяснения смены философских теорий. Аналитическая философия, согласно этому взгляду, является «тестированием новой модели» философского исследования, предложенной Расселом и Карнапом. Континентальная философия, скажем, в лице Гегеля или Хайдеггера – это другая модель философского разговора. Предпочтение модели никак не зависит от ее «научного» статуса, поскольку строгость и ясность, приписываемая аналитической философии, есть апелляция к науке, которая не обладает ничем, кроме успеха в предсказании, что, как уже было сказано, неприменимо к философии.

Рорти критикует понятие рациональности в философии, приписывая его исторически контингентному обстоятельству. Новая Наука в лице Галилея и Ньютона имела вид «натуральной философии», и превращение последней в физику делало выживание философии, имеющей дело с наукой, проблематичным. Но философия выжила, согласно Рорти, потому что она переняла функцию религии, вытесняемой последующим Просвещением. Наука пытается ответить на вопрос «как работают вещи?», а философия – «есть ли что-либо не-человеческое вне нас, с которым нужно входить в соприкосновение?». В этом смысле есть плавный переход от науки к философии: «Ссылка на полезность не является достаточной для описания ваших мотивов, но она может быть достаточным объяснением того, почему мы называем вас „учеными“. Потому что, если ваша работа не поможет рано или поздно улучшить наше состояние, мы находим более подходящее имя для вас (например, „мечтатель“, „чистый математик“, „эксцентричный тип“, или „просто философ“» [7. Р. 240].

Таким образом, как у Куна, так и у Рорти, наблюдается обсуждение «смешанного» поля науки и философии, поэтому критерии объективности и рациональности, субъективности и иррациональности не имеют у обоих четких границ. Это обстоятельство затрудняет «лобовое» сопоставление данных критериев, но оно не является единственным препятствием на этом пути. Само соотнесение научных методов и философского дискурса является в высшей степени проблематичным ввиду разных мировоззренческих предпочтений Куна и Рорти.

Автономия философии и эпистемо-онтологическая иерархия

Их расхождения касаются значимости науки для той области, которая считается прерогативой философии, в частности при обсуждении «общезначимых» категорий истины, объективности, рациональности и т.п. Рорти полагает, что слишком вольное обращение многих представителей научного сообщества с концепциями, которые сотнями лет обсуждаются в философии, просто недопустимо. Примером такого вмешательства является Стивен Вайнберг, лауреат Нобелевской премии, который говорит, что «утверждения о законах физики находятся в одно-однозначном отношении с аспектами объективной реальности... [и что] объективная природа научного знания отрицается... влиятельными философами Ричардом Рорти и Томасом Куном, но она принимается как само собой разумеющееся большей частью ученых-естественников» [8. Р. 15].

Рорти бросает резкие упреки Вайнбергу, обвиняя его в «напуски тумака»: «Он [Вайнберг] разбрасывается терминами (например, „объективная реальность“, „одно-однозначное соответствие“), которые являются предметом бесконечных философских размышлений и споров, как будто простой читатель превосходно знает, что они означают, и могут позволить себе игнорировать утонченность людей, которые провели свою жизнь в размышлениях над смыслом этих понятий...» [5. Р. 183]. И далее: «Я сомневаюсь, что Вайнберг имеет какое-то более ясное представление о „кумулятивности“ [критикуемой Куном], чем об „одно-однозначном соответствии“». Но его намерения ясны: держать естественные науки наверху культурной стадной иерархии» [5. Р. 186].

Такая резкая реакция, направленная против некомпетентных мнений ученых-естественников о философских проблемах, однако, не вызвала поддержки самого Куна, который был скорее смущен такой защитой. Кун, видимо, считал, что его разногласия с физиками – это внутренний вопрос, куда не должны вмешиваться философы. Здесь следует отметить, что указанное противостояние касается не всей науки и философии, а только физики и философии. Кун исследовал структуру научных революций в применении исключительно к физике, подразумевая, что парадигмальные сдвиги в науке могут относиться только, в терминологии М. Фуко, к «зрелым» наукам [9]. «Незрелые» науки никоим образом не входили в круг его интересов. Но именно «незрелые» науки вроде биологии гораздо ближе к философской проблематике. По этой причине Кун, независимо от своих намерений, не мог избежать вовлечения в философские споры, что волей-неволей сближало его с позицией Рорти упрощенного видения естественных наук. Вместе с тем важно понимать, что в случае сравнения позиций Куна и Рорти мы имеем дело с различными интеллектуальными традициями. Это обстоятельство можно усмотреть даже в особенностях личных отношений Куна и Рорти.

Во второй половине 1970-х гг. Кун занимался педагогической деятельностью в Принстонском университете, где преподавал и Рорти. Несмотря на то что Рорти был, можно сказать, поклонником Куна, они встречались в неформальной обстановке не более трех раз в год, что просто удивительно. Скорее всего, Кун просто избегал такого рода встреч с философами, которые, как он считал, склонны к искажению его точки зрения. Косвенной догадкой тут служит следующее обстоятельство: Кун вел семинар, который посещал Рорти. Можно представить себе, принимая во внимание темперамент обоих, что вряд ли Рорти отмалчивался на них, а также то, как мог Кун реагировать на него. Взаимное непонимание явствует из замечания Рорти, что ему в конце концов так и не стало ясно, почему с точки зрения Куна, «я [Рорти] был большим „релятивистом“, чем он, и где, с его точки зрения, я сошел с рельсов» [5. Р. 188].

Рорти следует за Куном, и, тем не менее, Кун не проявлял интереса к этой интерпретации своих взглядов. Более того, «в своих интервью [Кун] приложил старания для того, чтобы дистанцироваться от „релятивизма Рорти“ и от сочинений различных других его поклонников, которые пытались вплести куновские доктрины в ткань философских направлений, которые Кун считал непривлекательными» [5. Р. 188].

Рорти объясняет смущение Куна тем, что грандиозность современной науки довела над Куном, заставляя его делать «реверансы» в адрес естественных наук. Между тем эти реверансы входят в противоречие с признанием самого Куна, что ученые, в конечном счете, решают те же самые проблемы, что и философы: «...осознают это индивидуальные практиционеры [науки] или нет, но они подготовлены для решения тонких загадок и вознаграждены в случае успеха – будь то инструментальные, теоретические, логические или математические загадки – как интерфейса между их феноменологическим миром и верами своего сообщества о нем» [10. Р. 338].

Подобный интерфейс, на самом деле, подразумевает, хотя и неявно, уже упоминавшуюся эпистемо-онтологическую иерархию, с особой четкостью представленную У. Куайном с его градацией наук с точки зрения их иммун-

ности от новых аномалий, тесно связанной с тезисом Дюгема–Куайна. Верх иерархии – логика и математика, а затем теоретическая физика – менее всего подвержены опровержениям опытного происхождения, тогда как, скажем, психология с новым важным экспериментальным результатом меняется радикально [11]. В определенном отношении и Кун исповедует эту эпистемонтологическую иерархию, отдав предпочтение в своей картине стоящей наверху иерархии физике. Но в целом, разрушая идею рациональности в обосновании науки, Кун объективно отвергает эту иерархию. Это конфликтная ситуация, которая не поддается простому решению.

Именно эпистемонтологическая иерархия в науке является основой объявления Вайнбергом некоторых вещей объективными, т.е. стоящими на более высокой ступени иерархии. Реакция Рорти состоит в отказе от такой иерархии вообще: «...я не хочу приписывать науке более низкое положение в этой системе куриных насестов. Что я хочу, так это прекратить использование таких терминов как „реальный“, „объективный“ для конструирования такого порядка» [5. Р. 186].

Рациональность и витгенштейновский релятивизм Томаса Куна

При сопоставлении концепции рациональности в науке и философии нами был использован тот факт, что Рорти перенес концепцию Куна с методологии науки на философию. Одновременно с этим Рорти защищал автономию философии от этой самой науки. В конечном варианте философия Рорти оказалась вариантом релятивизма, от которого отрекся Кун. Возникает вопрос, на кого или на что при этом ориентировался Кун, лавируя между философией и физикой. С одной стороны, физики не признали его за «своего», с другой стороны, анархизм Фейерабенда и диалектика Лакатоса также не прельщали его, несмотря на то что большая часть философского сообщества зачисляла всех троих в «иррационалисты». В данной статье поддерживается точка зрения, что Кун, настаивая на своеобразии своей позиции, на самом деле склонялся в сторону скептицизма в отношении знания, и как оказалось, этот скептицизм был витгенштейновского толка. Если это действительно так, требуется обсуждение двух вопросов. Во-первых, что связывает философию позднего Витгенштейна и позицию Куна и, во-вторых, была ли философия Витгенштейна на самом деле скептической. Такой поворот исследований представляет соотношение рационализма в науке и философии в новом свете, учитывая радикальный отход Витгенштейна от традиционных взглядов на этот счет.

Действительно, относительно просто обнаруживаются аналогии между куновскими парадигмами и нормальной наукой, с одной стороны, и витгенштейновскими языковыми играми или формой жизни. Языковая игра предполагает, прежде всего, согласие «игроков» по поводу правил, а нормальная наука Куна подразумевает соглашения членов научного сообщества. Как «форма жизни», так и «нормальная наука» определяются культурой, контекстом, историей и другими обстоятельствами, которые не позволяют считать, что эти формы жизни имеют отношение к объективной реальности. Рассмотрим сначала аргументы о скептицизме Куна: «Рассматривая результаты прошлых исследований с позиций современной историографии, историк науки

может поддаться искушению и сказать, что когда парадигмы меняются, вместе с ними меняется сам мир... Изменение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их исследовательских проблем в ином свете. Поскольку они видят мир не иначе, как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело с иным миром» [12. С. 151].

Скачок от изменения идей к изменению мира, который совершает Кун, большинству исследователей кажется худшим из того, что содержит «Структура научных революций». Приведенный пассаж *содержится* в главе X, что дало повод одному из рецензентов произнести мрачный каламбур, что эта глава является X-rated (т.е. отнесена к разряду «неприличных»).

«Это худший материал в великой книге Куна. Было бы лучше, если бы он оставил эту главу в такси» [13. Р. 96].

Дэвид Дойч усматривает роковую ошибку Кун в том, что «его (Куна) теория объясняет переход от одной парадигмы к другой в терминах социологии или психологии, вместо того чтобы говорить главным образом об объективных достоинствах соперничающих объяснений» [14. С. 539].

Уход от эпистемологических проблем в социологию или психологию вызывает протест у Х. Патнэма, который упрекает Куна в идеализме. Сила этого упрека в том, что он исходит из точки зрения философа, который сделал серьезный вклад в защиту скептицизма. Его известная концепция «внутреннего реализма» по сути своей является критикой реализма как такового, но с использованием тонкой аргументации, связанной с логикой и математикой [15]. Но даже для Патнэма Кун зашел слишком далеко. Одно из интервью Патнэма является интересным свидетельством эпистемологических отклонений Куна. Речь идет о несоизмеримости парадигм, которая и лишает роли главного фактора при выборе теорий рациональность научного мышления: «У любого реалиста есть ход, который Кун не допускает, потому что он не допускает, что существует реальный мир. На самом деле Кун прямо *отрицает* существование реального мира. Миры у него изменяются. Он определенного рода идеалист. Когда у вас есть понятие *реального мира*, вопрос не в том, чтобы сказать, что имел в виду Ньютон. Нет необходимости искать выражение на языке нашей физики, которое имело бы тот же смысл, что и выражение Ньютона. Может быть, это невозможно. Но мы можем дать представление о смысле слова в языке, отличном от нашего, приведя примеры его употребления» [16. Р. 62].

Последняя фраза звучит весьма в витгенштейновском духе: «не спрашивай о значении, смотри на употребление». Быть может, Кун мог бы и принять подобного рода рекомендацию в отношении концепции несоизмеримости, но его роднит с Витгенштейном гораздо больше. Д. Дойч говорит: «В идеях Куна привлекает еще одно: он ставит ученых на место. Они больше не могут объявлять себя благородными искателями истины, использующими рациональные методы предположения, критики и экспериментальной проверки для решения задач и создания все более удачных объяснений мира. Кун открывает, что ученые – всего лишь конкурирующие группы, которые играют в бесконечные игры за право контроля территории» [14. С. 538].

Употребленное в этом пассаже слово «игра» неслучайно и как нельзя лучше подходит для напоминания о влиянии Витгенштейна на Куна: ученые

играют в определенные языковые игры, которые в реальной жизни действительно становятся «формой жизни». Но если это влияние вылилось в открытый релятивизм, то встает естественный вопрос, можем ли мы назвать Витгенштейна релятивистом хоть в каком-то смысле.

Иррационализм, релятивизм и Витгенштейн

При сравнении взглядов Куна и Рорти надо признать, что Рорти гораздо откровеннее говорит о причинах своего релятивизма, чем Кун. Недосказанность в артикуляции позиции Куна в последнее время получила неожиданное объяснение из не менее неожиданного места. Бывший аспирант Куна, впоследствии успешный кинодокументалист Э. Моррис представил в своей книге «Пепельница» [16] набор интересных аргументов против концепции Куна. (Ранее между этими двумя людьми случилось столкновение, которое и дало название книге. Обвиненный студентом в релятивизме научный руководитель в ярости запустил в него тяжелой стеклянной пепельницей, но, к счастью, промахнулся.)

Помимо общих аргументов против релятивизма, часто обсуждаемых в литературе, Моррис нашел удивительную нишу, о существовании которой никто, похоже, и не подозревал. В качестве антагониста релятивисту Куну в книге предстал философ и логик С. Крипке. Моррис полагает, что релятивизм опровергается теорией Крипке о необходимых априорных утверждениях, присущих как научному, так и обыденному дискурсу. Далее вопрос становится еще более запутанным, потому что собственно релятивизм ассоциируется Моррисом, и вполне основательно, со скептическим аргументом о возможности знания. Моррис утверждает, что Крипке в этом нарративе играет двойную роль: не только как автор интересной интерпретации семантики возможных миров (откуда и произрастает понятие необходимых априорных утверждений), но и как автор также очень интересной интерпретации концепций позднего Витгенштейна, в соответствии с которой Крипке объявляет Витгенштейна скептиком. И наконец, последний аккорд в стратегии Морриса: он обнаруживает, что на формирование концепции нормальной науки и парадигмы Куна напрямую существенно повлияла философия позднего Витгенштейна.

Действительно, есть свидетельства, что идеи Куна сформировались под влиянием Витгенштейна. Согласно известному философу Кэвеллу [17], с которым Кун был вместе в Беркли, тот очень интересовался работами Витгенштейна и более того, недоумевал по поводу невнимания к этому мыслителю со стороны своих коллег. Естественно, что интересы Куна лежали совсем в другой плоскости, чем идеи Витгенштейна, но метод последнего был крайне интересен для Куна. В частности, Куну импонировала идея социального конструирования знания.

Согласно позднему Витгенштейну, философии не следует искать объяснения, ее задача состоит в описании. В этом витгенштейновском духе следует найти такое описание ситуации, когда релятивизм Витгенштейна проявляется с неожиданной, но весьма характерной стороны. Предполагаемая ситуация включает подход крайнего в своем релятивизме, даже «методологическом анархизме» П. Фейерабенда. Автор методологического анархизма Поль Фейерабенд в своих «Диалогах» [18] убеждает читателя в том, что астрономия не

имеет никаких преимуществ перед астрологией или, по крайней мере, нет никаких рациональных оснований для того, чтобы решать такие проблемы. Это вполне вписывалось в его знаменитый методологический лозунг «все пойдет» (*anything goes*). В этом же духе Фейерабенд ставит на одну доску восточную и западную медицину, современную науку и примитивные верования. Но для придания психологической правдоподобности он рассказывает собственную историю излечения от болезни восточными хилерами, когда западная медицина опустила руки. Несоизмеримость сопоставляемых практик либо культур или же несоизмеримость парадигм является краеугольным камнем релятивизма в любой его форме. Правда, защита релятивизма в такой форме страдает упрощением, но есть и другие, гораздо более тонкие средства, о чем свидетельствуют, например, споры о релятивизме Т. Куна в связи с его парадигмами. А в случае Витгенштейна дело становится совсем тонким, поскольку афористичный стиль его работ дает возможность по-разному интерпретировать его философию. Но и в этом случае мы наталкиваемся на вещи, которые полностью параллельны аргументам Фейерабенда.

Вот свидетельство одной из наиболее истовых сторонниц Витгенштейна, Э. Энском: «Однажды я спросила Витгенштейна, захочет ли он остановить своего друга, если тот захочет посетить знахаря, который занимается колдовством. Он немного подумал и сказал: „Да, но я не знаю почему“. Я полагаю, что это возражение носит религиозный характер. Ученый не может осуждать суеверные практики на основании своей науки. Он может сделать это на основе „сайентистской философии“. Но ему нет нужды придерживаться такой философии, чтобы заниматься наукой... Из работы Витгенштейна „О достоверности“ мы могли извлечь явный тезис: не может быть таких вещей, как „рациональные основания“ для нашей критики практики и убеждений, которые так отличаются от наших собственных. Эти чуждые практики и языковые игры просто существуют. Они не наши, мы не можем двигаться в них» [19. Р. 125].

Этот пассаж, с методологической точки зрения, полностью подобен тому, что говорит Фейерабенд. Отсутствие рациональных оснований для выбора между наукой и суеверием является следствием откровенного релятивизма. Да и без косвенных выводов релятивизм Витгенштейна в этом смысле как будто очевиден. Действительно, «...допустим, мы встретили людей, которые не считают истинность физики убедительным основанием. И все же, как мы себе это представляем? Ну, скажем, вместо физика они вопрошают оракула. (И потому мы считаем их примитивными.) Ошибочно ли то, что они советуются с оракулом, следуют ему? Называя это „неправильным“, не выходим ли мы уже за пределы нашей языковой игры, *атакуя их?*» [20. С. 397].

Конечно же, чисто философские соображения слишком абстрактны для применения их на практике. И Фейерабенд, и Витгенштейн под конец жизни были окружены профессионалами западной медицины. К тому же положения обоих мыслителей постоянно подвергаются самым различным интерпретациям, которые не позволяют лобовую атаку на релятивизм. Критика релятивизма принимает более тонкий характер, связывая, например, бесспорный (как в случае Фейерабенда) релятивизм Куна с поздней философией Витгенштейна.

От такого прямолинейного зачисления Витгенштейна в релятивисты предостерегают несколько обстоятельств. Первое из них – неясность самого

Витгенштейна. В этом отношении характерно высказывание С. Крипке, одного из самых «громких» интерпретаторов Витгенштейна. Он, как и многие другие исследователи, полагает, что „Философские исследования“ Витгенштейна не являются систематической философской работой, где выводы, однажды в определенной степени установленные, не нуждаются в новой аргументации. Скорее, они написаны как некая непрерывная диалектика, где беспокойство, выраженное голосом воображаемого собеседника, сохраняется и никогда окончательно не утихает» [16. Р. 93].

Более того, сам Крипке как интерпретатор Витгенштейна высказывается о его релятивизме очень уклончиво. Моррис в кратком интервью с Крипке, спросив, согласен ли Крипке с тем, что Витгенштейн был релятивистом и что, стало быть, это делает вопрос об объективности бессмысленным, говорит следующее: «Я думаю, что вполне правомерно рассматривать это таким образом, но я бы сказал – с осторожностью. Написана целая книга, защищающая точку зрения, которую я характеризую не только как последовательную, но и как истину. Не знаю, полностью ли я согласен с ее автором М. Кушем, но мне кажется, что многое из того, что говорится в книге, верно. (Придерживаясь своей позиции), я... рассуждаю как юрист. Но я выражаю тут кое-какое сомнение...» [16. Р. 106].

Конечно, такая уклончивость продиктована еще и тем, что интерпретация Витгенштейна, предложенная Крипке, подверглась резкой критике, и большинство философов считают, что эта интерпретация ошибочна. Но позиция «адвоката» вряд ли уместна при обсуждении таких глобальных проблем, как объективность и истина. И поэтому Э. Моррис в разговоре с Крипке проявляет настойчивость:

«*Эррол Моррис*: вы высмеиваете Витгенштейна? Принимая его серьезно, может быть, даже серьезнее, чем он сам?

Сол Крипке: Да, я выразил некоторые сомнения относительно того, может ли все это действительно сработать. И беспокоился, имеет ли этот взгляд смысл. Или, если это в высшей степени культурно-релятивистский...

Моррис: Тот, что ведет к релятивизму?

Крипке: Витгенштейна это, конечно, беспокоило. У него был разговор с одной из его ведущих учениц, по ее словам, Элизабет Энском. На самом деле в его работе „О достоверности“ есть пассаж об этом: люди, вместо того, чтобы консультироваться с врачами, консультируются с колдуном» [16. Р. 106].

В этом отношении Фейерабенд более решителен (хотя, как оказалось, и не совсем искренен). Очевидно, что делом вкуса является название такой позиции – скептицизм, релятивизм, или более искренне, иррационализм. В конечном счете, иррационализм в высшей степени рациональных людей не является таким уж редким явлением, если вспомнить, например, интерес в демонологии Курта Геделя [21. С. 130].

Таким образом, объявление Витгенштейна релятивистом, даже если оно и оправданно в каком-то смысле, не реабилитирует релятивизм Куна, поскольку перед этими философами стояли разные задачи, а их концептуальные аппараты различались радикальным образом. В этом смысле прямолинейная атака Морриса на релятивизм Куна через объявление релятивистом Витгенштейна не совсем оправданна. Дело в том, что в основе стратегии Морриса лежит интерпретация Витгенштейна, исходящая от Крипке. Моррис пытается

буквально выдавить из Крипке признание, что Витгенштейн является скептиком в отношении знания, и на основании схожести понятий парадигмы и языковых игр объявить скептиком и Куна. Но это очень запутанная стратегия, поскольку скептицизм Куна и его отказ от рационализма демонстрируются гораздо более простыми средствами.

Дело осложняется еще и тем, что Моррис апеллирует в своей аргументации к Крипке в двух его разных ипостасях. Во-первых, как к теоретику концепции твердых десигнаторов, где появляется понятие необходимых априорных утверждений. Моррис считает эту теорию прямой антитезой релятивизму Куна. Во-вторых, как к интерпретатору позднего Витгенштейна, теория индивидуального языка которого полагается сильнейшей версией скептического аргумента, до сих пор представленного в истории философии. При чтении книги Морриса эти два Крипке сливаются в один образ, который очень близок к образу союзника Морриса в борьбе с Куном. Но даже незаинтересованному читателю ясно, что между Куном и Крипке едва ли есть существенная связь.

Релятивизм Куна в качестве следствия имеет скептические выводы относительно рациональности науки как таковой. Наука оказывается не исследованием объективной реальности, а результатом социального конструирования. Поэтому симптоматично, что история физики, использованная Куном в качестве материала в «Структуре научных революций», подверглась критике со стороны профессионального научного сообщества. Во-первых, его история физики, начиная от времен Галилея, доведена до 1920-х гг., что выглядит странным в свете последовавшего бурного развития физики. Во-вторых, Кун в своем представлении науки ограничивается лишь физикой, а скажем, биология вообще не фигурирует в качестве материала в куновской концепции парадигм. Еще более интересным оказалось то, что Кун стал героем не в профессиональном физическом сообществе, а среди представителей гуманитарных наук – философов, историков, социологов и культурных критиков, подвергших постмодернистской критике объективный характер научного знания. Если научные теории являются результатом социального конструирования, тогда следующим шагом будет объявление их языковыми играми. В этом смысле наука есть одна из многих игр наряду со спортом, искусством, ремеслом. Более того, сам переход от парадигмы к парадигме в процессе научной революции имеет характер религиозной конверсии, или же психологического гештальт-сдвига. Ясно, что рациональное научное мышление при этом отодвигается в сторону. И всякий, знакомый с философией Витгенштейна, обнаружит, что склонность придавать объяснительную силу гештальт-сдвигам для Витгенштейна и для Куна является общей.

Заимствование Куном взглядов Витгенштейна для объяснения структуры научных революций представляется, в общем, странным предприятием. Известно, что Витгенштейн не проявлял никакого интереса к науке как таковой и никоим образом не выделял научное мышление в качестве рационального. Больше того, Витгенштейн не проявлял внимания к рациональному мышлению, потому что его интересовали границы языка, за которыми стояла бессмыслица. Он полагал, что исследование бессмыслицы в важных случаях больше говорит нам о том, каким образом функционирует язык. Эта тенденция трактовки языка, начавшаяся с «Трактата», перешла и в «Философские

исследования». Дж. Флойд свидетельствует: «Всеохватывающий философский дух Витгенштейна был антирационалистическим, что являло резкий контраст с духом философов XX в., с духом Гёделя. Для Витгенштейна, как ранее для Канта, философия и логика – это поиски самопонимания и самопознания, деятельность по самокритике, самоопределению и примирению с несовершенствами жизни, а не специальные отрасли знания, направленные непосредственно на открытие безличной истины» [22. Р. 77].

И хотя Витгенштейн размышлял о природе логики и математики, он был далек от размышлений об огромной роли, которую они сыграли в науке XX в. Так что писать об истории науки, проникшись ощущением Витгенштейна, как это делал Кун, – значит вступать с явное противоречие с рационализмом и исповедовать скептицизм в отношении человеческого познания.

Заметка о методе

В какой степени метод Джона Лэнгшоу Остина исследования философских концепций является пригодным в дискуссии о соотношении рационализма в науке и философии – вопрос дискуссионный. Рациональность как таковая имеет слишком много измерений и смыслов, чтобы можно было говорить о таком сопоставлении достаточно уверенно. Как видно, и сама критика предполагаемой рациональности принимает слишком много обликов – будь то релятивизм, скептицизм или, наконец, ее полный антипод – иррационализм. Быть может, при исследовании подобного рода вопросов следует говорить о методе не столько Остина, сколько Витгенштейна, который требовал от философии не объяснения, а описания. В этом случае описание приведенных выше примеров соотношения в науке и философии опять-таки предполагаемого релятивизма и скептицизма позволяет менее традиционное видение проблемы.

Литература

1. *Стролл А.* Аналитическая философия. 20 век / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон+, 2020.
2. *Austin J.L.* Philosophical Papers : 2d ed. / ed. by J.O. Urmson, G.J. Warnock. Oxford : Oxford University Press, 1970.
3. *Касавин И.Т., Порус В.Н.* Возвращаясь к Т. Куну: консервативна ли 'нормальная наука'? // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57 (1). С. 6–19.
4. *Gross N.* Richard Rorty: The Making of an American Philosopher. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. P. 208.
5. *Rorty R.* Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. Penguin Books, 1999.
6. *Рорти Р.* Философия и зеркало природы / пер. с англ. В.В. Целищева. Новосибирск : Сиб. университ. изд-во, 1997.
7. *Rorty R.* Response to B. Allen // Rorty and His Critics / ed. R. Brandom. London : Blackwell, 2000.
8. *Weinberg S.* Sokal's Hoax // New York Review of Books. August 1996. Vol. VIII. P. 15.
9. *Hacking I.* Michel Foucault's Immature Science // Historical Ontology. Cambridge : Harvard University Press, 2004. P. 87–99.
10. *Kuhn T.* Afterwords // World Change: Thomas Kuhn and the Nature of Science / ed. P. Horwich. Cambridge : MIT Press, 1993.
11. *Quine V.W., Ullian J.S.* The Web of Belief. New York : McGraw-Hill Humanities, 1978.
12. *Кун Т.* Структура научных революций / пер. с англ. С.Р. Микулинского, Л.А. Марковой. М. : Прогресс, 1997.
13. *Godfrey-Smith P.* Theory and reality: An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago : University of Chicago Press, 2003.

14. Дойч Д. Структура реальности : пер. с англ. / под ред. И. Лисова. М. : Альпина нон-фикшн, 2018.
15. Putnam H. Models and reality // The Journal of Symbolic Logic. 1980. Vol. 45, № 3. P. 464–482.
16. Morris E. The Ashtray (Or the Man Who Denied Reality). Chicago : The University of Chicago Press, 2018.
17. Cavell S. Little Did I Know: Excerpts from Memory. Stanford : Stanford University Press, 2010.
18. Feyerabend P. Three Dialogues on Knowledge. New York : John Wiley & Sons, 1991.
19. Anscombe G.E.M. The Question of linguistic idealism // The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe. Vol. 1: From Parmenides to Wittgenstein. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1981. P. 112–133.
20. Витгенштейн Л. О достоверности // Философские работы / пер. с англ. М.С. Козловой. М. : Гнозис, 1994. Ч. 2.
21. Крайзель Г. Биография Курта Геделя / пер. с англ. Г.Е. Минца, Д.П. Сковрцовой, Е.З. Сковрцовой. М. : Ин-т компьютер. исслед., 2003.
22. Floyd J. Wittgenstein on Philosophy of Logic and Mathematics // The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic / ed. S. Shapiro. Oxford : Oxford University Press, 2005. P. 75–129.

Oksana I. Tselishcheva, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: oxanatse@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 108–124.

DOI: 10.17223/1998863X/60/11

RELATIVISM AND SKEPTICISM VS RATIONALITY IN PHILOSOPHY AND SCIENCE

Keywords: rationalism; relativism, skepticism; Thomas Kuhn; Richard Rorty; Ludwig Wittgenstein.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00437.

The article considers whether philosophy deals with the same criteria and the same type of rationality as natural sciences. The research method involves inversion in the spirit of John Langshaw Austin, according to which the meaning of the concept is revealed by analyzing its opposite – in this case, replacing rationality with the concepts of relativism, skepticism and irrationalism. The corresponding concepts in science and philosophy are analyzed by comparing the ideas of the methodologist and historian of science Thomas Kuhn and the philosopher Richard Rorty. It is shown that Kuhn and Rorty are the most interesting figures in this comparison, since Rorty's transfer of the categorical apparatus of Kuhn's concept of the development of science to philosophy proper presents the clearest picture of the "frontal" comparison of relativism (rationality) in "mature sciences" and philosophy. The original problem is to investigate whether philosophy deals with the same criteria and the same type of rationality as natural sciences. Further, it is shown that Kuhn's relativism is an implicit appearance of the skeptical position he took under the influence of Ludwig Wittgenstein's skeptical philosophy. Errol Morris initially raised this problem in his recent critical assessment of Kuhn's skepticism, based on the involvement of Saul Kripke, in two independent aspects: 1) the concept of a posteriori necessary truths as a refutation of Kuhn's relativism, and 2) Kripke's skeptical interpretation of Wittgenstein's late philosophy. The use of the Austin method is quite compatible with the Wittgenstein method, which required philosophy not to explain, but to describe. In this case, the description of the above examples of the relationship between science and philosophy, again the assumed relativism and skepticism, allows a less traditional view of the problem.

References

1. Stroll, A. (2020) *Analiticheskaya filosofiya. 20 vek* [Analytic Philosophy. The 20th century]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Moscow: Kanon+.
2. Austin, J.L. (1970) *Philosophical Papers*. 2d ed. Oxford: Oxford University Press.

3. Kasavin, I.T. & Porus, V.N. (2020) Turning back to Kuhn: is normal science conservative? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(1). pp. 6–19. (In Russian). DOI: 10.5840/eps20205711
4. Gross, N. (2008) *Richard Rorty: The Making of an American Philosopher*. Chicago: The University of Chicago Press. p. 208.
5. Rorty, R. (1999) *Philosophy and Social Hopes*. Penguin Books.
6. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izd-vo.
7. Rorty, R. (2000) Response to B. Allen. In: Brandom, R. (ed.) *Rorty and His Critics*. London: Blackwell.
8. Weinberg, S. (1996) Sokal's Hoax. *New York Review of Books*. 8. p. 15.
9. Hacking, I. (2004) *Historical Ontology*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 87–99.
10. Kuhn, T. (1993) Afterwords. In: Horwich, P. (ed.) *World Change: Thomas Kuhn and the Nature of Science*. Cambridge: MIT Press.
11. Quine, V.W. & Ullian, J.S. (1978) *The Web of Belief*. New York: McGraw-Hill Humanities.
12. Kuhn, T. (1997) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by S.R. Mikulinsky, L.A. Markova. Moscow: Progress.
13. Godfrey-Smith, P. (2003) *Theory and reality: An Introduction to the Philosophy of Science*. Chicago: University of Chicago Press.
14. Deutsch, D. (2018) *Struktura real'nosti* [The Fabric of Reality]. Translated from English by I. Lisov. Moscow: Alpina.
15. Putnam, H. (1980) Models and reality. *The Journal of Symbolic Logic*. 45(3). pp. 464–482.
16. Morris, E. (2018) *The Ashtray (Or the Man Who Denied Reality)*. Chicago: The University of Chicago Press.
17. Cavell, S. (2010) *Little Did I Know: Excerpts from Memory*. Stanford: Stanford University Press.
18. Feyerabend, P. (1991) *Three Dialogues on Knowledge*. New York: John Wiley & Sons.
19. Anscombe, G.E.M. (1981) *The Collected Philosophical Papers*. Vol. 1. Minneapolis: University of Minnesota Press. pp. 112–133.
20. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Vol. 2. Translated from English by M.S. Kozlova. Moscow: Gnosis.
21. Kreisel, G. (2003) *Biografiya Kurta Gedelya* [Biography of Kurt Gödel]. Translated from English by G.E. Mints, D.P. Skvortsova, E.Z. Skvortsova. Moscow: Institute of Computer Studies.
22. Floyd, J. (2005) Wittgenstein on Philosophy of Logic and Mathematics. In: Shapiro, S. *The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic*. Oxford: Oxford University Press. pp. 75–129.

УДК 17.023.1

DOI: 10.17223/1998863X/60/12

Н.А. Шавеко

ЭТИКА ДИСКУРСА ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассматривается предложенная Юргеном Хабермасом этика дискурса, анализируются ее логические предпосылки, а также достоинства и недостатки. Автором делается вывод о том, что в конечном счете недостатки этики дискурса вынуждают придать принципу дискурса подчиненный характер по сравнению с принципом универсализации.

Ключевые слова: дискурс, этика дискурса, Хабермас.

Ю. Хабермас (р. 1929) – современный немецкий философ и социолог, которого относят одновременно и к Франкфуртской школе (неомарксизму), и к наследникам И. Канта. Хабермас является разработчиком собственной этической теории, так называемой этики дискурса, которую он сам называл intersubjectivistским толкованием категорического императива [1. С. 100]. Анализу этики дискурса, ее достоинств и недостатков и посвящена данная статья. Целью является определение того, насколько перспективно развитие этики дискурса как фундаментальной теории, которая может быть положена в основу частных нормативных исследований. Для этого мы полагаем необходимым проанализировать основные положения этики дискурса Ю. Хабермаса (при необходимости сопоставляя ее с этическими взглядами К.-О. фон Апеля), а также основные направления критики данного учения. По результатам такого анализа будет сделан вывод о том, нуждается ли этика дискурса в совершенствовании и развитии как общая этическая теория, либо же ее недостатки вынуждают нас отвергнуть ее в целом, понимая дискурс лишь как один из возможных методов нормативного исследования, а не как сущностную основу морали.

Исследование этики дискурса в современной моральной философии приобретает особую актуальность постольку, поскольку данная этическая теория представляет собой глубоко продуманный и учитывающий предыдущее развитие философской мысли ответ на постмодернистский скепсис относительно моральных вопросов. Кроме того, по нашему мнению, именно этика дискурса как учение о моральной истине является важнейшим подспорьем для философских построений в области проблем правового и политического идеала. Так, сам Хабермас является автором концепции делиберативной демократии, основывающейся на этике дискурса. Отсюда недостатки этики дискурса выливаются в соответствующие им недостатки концепции делиберативной демократии и различных концепций правового идеала, и это обстоятельство вновь придает особое значение изучению и развитию этики дискурса.

Кантовскую этическую традицию Ю. Хабермас видит в когнитивизме, т.е. в предположении, что в вопросах морали есть нечто, подобное истине в

вопросах познания, и существует некий объективный моральный идеал [2. С. 100]. Но почему Хабермас пришел к выводу о необходимости реформирования кантовской этики? Этот вывод прямо следует из следующих посылок, которых придерживается Хабермас.

Во-первых, ученый пишет, что мы не можем доказать свои моральные убеждения ссылками на эмпирию или дедуктивными выводами, поскольку каждый человек имеет собственные «последние основания», т.е. базовые очевидности, не поддающиеся (с точки зрения этого человека) опровержению и не подлежащие обоснованию (у каждого свой «жизненный мир», который пересекается с «жизненными мирами» других людей). Если бы и существовало какое-либо обоснование или опровержение данных моральных убеждений, то оно строилось бы на других моральных убеждениях, которые бы и выступали в данном случае, опять же, «последними основаниями».

Во-вторых, Хабермас убежден, что каждый сам является главным экспертом в своем внутреннем мире «последних оснований», и вряд ли кто-либо другой знает их так же хорошо: «вчувствование» в другого – это всегда лишь «реконструкция», а не доподлинное отражение его внутреннего мира. Поэтому чтобы норма права действительно была справедливой, необходимо дать возможность каждому высказаться с помощью «коммуникативного действия». Под коммуникативным действием ученый понимает выражение актором мнения, убеждения, обещания, приказа, рекомендации и т.п., т.е. выдвижение им «притязания на значимость», направленного на критическую оценку другим актором, и на признание этого притязания на значимость со стороны другого актора на основе некоторых аргументов в отсутствие угроз и принуждения; при этом предполагается, что высказывающийся готов привести аргументы в пользу своей позиции, а также сам искренне верит в сказанное и готов этому следовать [2. С. 91–92].

В-третьих, мыслитель исходит из того, что консенсус достижим только тогда, когда посредством некоторой дискуссии люди могут развить и пересмотреть свои «последние основания» или каким-то образом убедить в них других людей; при этом такая дискуссия «требует не только вчувствования, но и интерпретаторского вмешательства в самопонимание и миропонимание участников», в их ценности [1. С. 113]. Никто, в конечном счете, не понуждается к тому, чтобы стать единым во взглядах и ценностях с другими: границы общества «открыты для всех – в том числе и для тех, кто чужд друг другу и хочет таковым оставаться» [1. С. 48]. Но без дискуссий можно получить лишь компромисс, но не консенсус. Кроме того, человек немислим вне социума, и только благодаря взаимодействиям с другими людьми формирует и познает свою идентичность, подлежащую учету в законодательстве.

В виду того что справедливость – это вообще есть то, что может быть одобрено всеми (соответствует критерию универсальности), вышеуказанные три тезиса делают коммуникацию неизбежным этапом поиска справедливости. Хабермас оспаривает возможность какого-либо одного человека (философа) самостоятельно проделать мыслительную работу за других и прийти к моральным выводам, которые одобрил бы каждый. Именно поэтому теорию справедливости Дж. Ролза он воспринимает не как истину, а как всего лишь вклад в дискуссию об истине [2. С. 147–148]. Но если так, то у нас отсутствует необходимость конструировать идеальные условия некоего «исходного

положения», в котором происходило бы обсуждение принципов справедливости, ибо подобная конструкция нужна только философу, пытающемуся делать выводы за других. Хабермас поэтому выступает за реальную дискуссию (ведущуюся, конечно, по определенным правилам) между реальными индивидами [2. С. 105–106]. Иными словами, единственным средством достижения истины является коммуникация, или коммуникативное действие в рамках дискурса. На место классической рациональности приходит коммуникативная рациональность, обусловленная языком. В своих трудах Хабермас последовательно проводит идею о том, что если границы языка – это границы мира, то рациональность можно отождествить с аргументированностью, объективность – с интересубъективностью, а коммуникативный разум является наследником практического разума; следовательно, истину можно постигнуть только через дискурс, открытый для каждого.

Итак, Хабермас утверждает, что если моральные нормы должны *заслужить* признание со стороны *всех*, кого они затрагивают, тогда недостаточно, чтобы *отдельные* лица проверили:

«– хотят ли они, чтобы та или иная спорная норма вступила в силу, принимая во внимание прямые и побочные действия, которые имели бы место, если бы все начали следовать этой норме; или

– хотел ли бы каждый, кто находился бы на их месте, чтобы такая норма вступила в силу, или нет» [2. С. 103].

Очевидно, что под первым условием Хабермас имеет в виду «золотое правило морали», а под вторым – «категорический императив» Канта. По мнению ученого, и то и другое условие недостаточно для воплощения кантовской идеи всеобщности. Ее подлинным воплощением будет лишь интересубъективное (а не монологическое) признание той или иной моральной нормы. По сути, он продолжает традицию критики кантовской философии, утверждающей, что проверку на общезначимость (всеобщность) нормы не должны проходить в деконтекстуализированном виде [3. С. 24]. Иными словами, мы должны не только отказаться от «монологического» поиска нормы, но и от любых попыток абстрагироваться от существующего опыта. Эти два аспекта отличают философию Хабермаса от философии Канта.

Хабермас вводит так называемый принцип универсализации, выражающий идею всеобщности. В работе «Вовлечение Другого: очерки политической теории» ученый формулирует его следующим образом. «Норма является действенной только тогда, когда прямые и побочные следствия, которые общее следование ей предположительно повлечет за собой для положения интересов и ценностных ориентаций каждого, могут быть без какого бы то ни было принуждения сообщая приняты всеми, кого эта норма затрагивает» [1. С. 113]. В работе «Моральное сознание и коммуникативное действие» Хабермас добавлял: «и оказались бы для них предпочтительнее результатов других известных им возможностей урегулирования» [2. С. 103], также в этой работе отсутствует указание на «ценностные ориентации» [2. С. 146].

Таким образом, принцип универсализации утверждает, что выбор моральных норм может быть обоснован, и указывает соответствующий критерий обоснованности. При этом в отличие от «золотого правила» и «категорического императива» он сформулирован так, что исключает «монологическое употребление», т.е. предполагает некоторые дискуссии по установленным

правилам, является скорее правилом аргументации, чем содержательным принципом справедливости.

«Категорический императив... адресуется второму лицу единственного числа, что производит впечатление, будто каждый сам в состоянии провести *in foro interno* (в своей внутренней сфере. – *Перевод мой*) требуемую проверку норм. Фактически, однако, для того, чтобы рефлексивно применить проверку на обобщаемость, требуется ситуация обсуждения, где каждый обязан принимать точку зрения каждого другого, чтобы проверить, может ли та или иная норма быть желательна для всех *с точки зрения каждого*. Такова ситуация нацеленного на достижение взаимопонимания *рационального дискурса*, в котором участвуют все заинтересованные лица. Даже на субъекта, выносящего те или иные суждения в одиночестве, эта идея дискурсивного взаимопонимания возлагает для их обоснования более тяжелое бремя, чем монологически применяемая проверка на обобщаемость» [2. С. 98]. Таким образом, даже сидя в одиночестве и рассуждая о моральных принципах, человек как бы беседует с другими людьми, пытается понять их желания и ценности наряду со своими, что очень важно в связи с «культурным своеобразием исторически изменчивых способов само- и миропонимания тех или иных индивидов и групп» [2. С. 99].

Принцип универсализации является единственным моральным принципом. «Моральный принцип понимается таким образом, что он исключает как недейственные те нормы, которые не могли бы получить *квалифицированного одобрения* у всех, кого они, возможно, касаются» [2. С. 100]. Моральный принцип, отмечает Хабермас, следует отличать от содержательных принципов и основных норм, поскольку те всегда зависят от результатов конкретной дискуссии.

Отсюда принцип универсализации служит предпосылкой (хотя и не необходимой) для другого принципа – «принципа дискурса» («Д»), который выглядит следующим образом: «Претендовать на действенность могут лишь те нормы, которые способны в практических дискурсах снискать одобрение всех, кого они касаются» [1. С. 112]. Или: «На значимость могут претендовать только те нормы, которые получают (или могли бы получить) одобрение со стороны всех заинтересованных лиц как участников практического дискурса» [2. С. 146].

Под дискурсом (рассуждением) ученый подразумевает вид коммуникативного действия, осуществляемый при отсутствии единогласия и направленный на доказывание / изменение своей точки зрения с целью достижения этого единогласия; дискурс – это «идеальная речевая ситуация», когда владеющие языком, вменяемые и дееспособные люди, круг которых не ограничен, руководствуясь законами логики и мотивом поиска справедливости, пытаются привести друг другу аргументы, которые они считают убедительными для своих оппонентов, чтобы убедить последних в своей позиции относительно высших ценностей, которой они честно придерживаются и которой сами готовы следовать, при этом каждый вправе задавать тематику коммуникации, имеет равные с другими шансы на коммуникацию, свободу самовыражения и не принуждаем ничем, кроме силы аргументов (отсутствует обман, насилие и другие факторы). Чем ближе условия реальной коммуникации к этой идеальной модели, тем ближе полученные выводы к моральной истине.

Итак, правило универсализации подразумевает, что предполагаемые последствия нормы должны быть приняты всеми и каждым, а правило дискурса говорит, что фактически одобрить эту норму должны все участники идеального обсуждения. Хабермас подчеркивает формальный, а не содержательный характер этики дискурса: содержания привносятся в нее извне как предмет дискурса [2. С. 163].

Как представляется, этика дискурса обладает рядом важнейших достоинств. В сущности, она находит продуманный, аргументированный и изящный выход из постмодернистского релятивизма. Одним из следствий этого является возможность решить с помощью этики дискурса насущный вопрос о связи классических либеральных идеалов свободы и равенства с идеалом братства и солидарности. По замыслу Хабермаса, коммуникация должна стать заменой навязыванию гражданам идеи единой нации и других общих идеологий, поскольку сама является способом социализации. Очевидно, что при проведении практических дискурсов будут играть существенную роль признанные в конкретном обществе (участников дискурса) ценности, табу и авторитеты, а также общий для всех членов общества «жизненный мир» (совокупность некритично воспринимаемых убеждений), национальная история, поэтому справедливость будет разной для различных обществ, причем не только в силу внешних изменяющихся обстоятельств, но и в силу внутренних убеждений и опыта членов данного общества, их культурных традиций. Но точно так же очевидно, что этика дискурса не допускает ущемления прав меньшинств и навязывания им каких-либо ценностей, поскольку отставляет их «инклюзию» в общее обсуждение и исходит из того, что в конечном счете социальные нормы должны быть приняты всеми заинтересованными лицами.

В то же время этика дискурса сталкивается со своими специфическими проблемами. Мы предлагаем различать две линии критики этики дискурса.

Первая линия критики связана с тем, что этика дискурса не спасает нас от этического релятивизма. Ю. Хабермас пытается обосновать неизбежность правил дискурса. Так, он пишет, что, отстаивая те или иные моральные принципы, мы попадаем в «трилемму Мюнхгаузена», а именно: мы должны либо прибегнуть к бесконечному регрессу (выявлению оснований наших моральных взглядов, потом оснований этих оснований и т.д.), либо в произвольной точке оборвать цепь логического вывода (постулировать догматическим образом некие «последние основания»), либо, наконец, двигаться по порочному кругу (совершать логическую ошибку «предвосхищения основания») [2. С. 125]. По мнению Хабермаса и его коллеги Апеля, существует ответ на эту трилемму. Хотя в современном плюралистичном мультикультурном глобализирующемся мире очень сложно сказать, каких именно моральных интуиций придерживаются все без исключения люди, некоторые правила все же являются приемлемыми для каждого. Ими, пишет Хабермас, являются правила дискурса, ведь даже тот, кто пытается их аргументированно оспорить, вступает в дискурс, т.е. фактически придерживается этих правил (это так называемая идея перформативного противоречия, которую Хабермас заимствует у Апеля) [2. С. 126]. Оспаривая правила дискурса, человек вообще лишает себя всякой коммуникации, тогда как любая человеческая культура так или иначе нацелена на коммуникацию [2. С. 157–161].

Однако данная идея лишает силы только тезис о принципиальной невозможности обоснования норм. По сути, в видоизмененной форме она повторяет давно известный аргумент против скептиков, согласно которому вступающий в дискуссию о справедливости тех или иных явлений уже признает наличие объективного идеала справедливости; но теперь лишь указывается, что участник дискуссии хоть и может отрицать наличие идеала, но, тем не менее, даже в этом случае признает, по крайней мере, некоторые процедурные правила. Все это, однако, еще не снимает с нас обязанности привести аргументы в поддержку своей моральной позиции, чтобы она могла считаться соответствующей принципу универсализации: правила дискурса – это необходимая предпосылка, а не собственно вывод, это нормы аргументации, а не моральные нормы, последние же пока что нуждаются в обосновании (нормы дискурса необходимы *de facto*, а не вследствие их трансцендентальной природы, т.е. не в смысле философии Канта). По мнению Хабермаса, сказанное, по крайней мере, решает проблему поиска общих «последних принципов», каковыми оказываются принципы дискурса [2. С. 129]. Но очевидно, что когда лица вступают в дискурс, они по-прежнему сталкиваются с проблемой обоснования своих моральных интуиций перед другими, с точки зрения правила универсализации, и должны искать для этого убедительные основания.

Хабермас указывает на неразрешимость вопроса о том, что является убедительным аргументом. «Убедительность» может быть оценена только в процессе дискурса. Это означает, что, апеллируя к принципу универсализации, люди, по большому счету, никогда не могут быть до конца уверенными в том, что их точка зрения лучше соответствует принципу универсализации, чем точки зрения других людей. Хабермас указывает, что тот, кто вступает в дискурс, косвенно признает правило универсализации, т.е. оно имплицитно содержится в правиле дискурса (или, по крайней мере, неизбежно выводится в ходе него). Но данный вывод не спасает от ситуации, когда участник дискурса отрицает саму возможность согласия относительно универсального правила справедливости, и доказывает именно этот тезис. Короче говоря, теоретически может сложиться ситуация, когда результатом дискурса, в котором его участники аргументируют по правилу универсализации, является консенсус лишь относительно невозможности найти объективно справедливое (убедительное для всех) решение, т.е. этический релятивизм, согласие относительно отсутствия универсального идеала справедливости. Конечно, стремление последовательного скептика развенчать все наши надежды (т.е. его утверждение, что нет никаких моральных тезисов, которые могли бы убедить каждого) – это лишь пустой демарш: скептик сам заставляет себя молчать. Но не означает ли сказанное, что нам остается лишь постулировать нравственный идеал? Критики Хабермаса решают эту проблему постулированием приоритета принципа универсализации перед принципом дискурса. Так, О. Хёффе пишет: «Согласие всех заинтересованных лиц могут получить лишь те нормы, которые в строгом смысле способны к обобщению. Следовательно, критерий морали не в дискурсе, а в том правиле аргументации, которое Хабермас сам признает в качестве морального принципа, хотя бы только в качестве посреднического – в принципе универсализации. Согласно логике легитимации способность обобщения имеет приоритет перед дискурсом» [4.

S. 377]. При таких обстоятельствах центральный тезис о необходимости коммуникации и «социальной перспективы» теряет свой вес.

Более того, Хабермас сам замечает, что точные правила дискурса, которые признает и скептик, пытающийся вступить с нами в дискуссию, являются лишь нашими допущениями (реконструкциями интуиций относительно дискурса), которые могут проясняться с течением времени, поэтому даже правила дискурса не являются окончательными [2. С. 148–154]. С этих позиций он возражает Апелю, который возвел правила дискурса в трансцендентальный (независимый от опыта) идеал. По мнению Хабермаса, дискурс о правилах дискурса обусловлен исторической ситуацией так же, как и другие виды дискурсов, поэтому его нельзя рассматривать в качестве метадискурса. Во всяком случае, он не имеет приоритетной значимости перед другими дискурсами. Но если так, то и сами правила дискурса, а не только конкретные этические воззрения, оказываются относительными. Если мы не можем быть до конца уверенными в том, что правильно (независимо от своей культуры) понимаем и эксплицируем правила дискурса, то в этике дискурса вообще не остается никакой опоры. Как представляется, правила дискурса (по Апелю, дискурс характеризуется свободой от принуждения, абсолютным равноправием, а также открытостью [5. С. 44], Хабермас дополнительно акцентирует внимание на искренности участников [6. S. 132]) все же следует понимать как априорные, вне зависимости от несовершенства конкретных исторически обусловленных формулировок. Иначе не будет «перформативного противоречия» при отказе следовать конкретным правилам дискурса, не будет определено и само понятие дискурса, а ориентация на фактически укорененные в обществе правила дискурса ведет к смешению противопоставляемых самим Хабермасом фактичности и значимости.

Существует еще одна проблема, связанная с тем, что этика дискурса делает моральные истины относительными и неопределенными, а именно проблема определения результатов дискурса. «Нормативное содержание идеи разума сохраняется в концепции коммуникативной рациональности в измененном виде: истина остается регулятивно идеей в смысле Канта. Ведь ориентация на истину в каждом конкретном случае коммуникации, когда ее участники стремятся аргументативно (аргументация, по Хабермасу, – рефлексивный вид коммуникации) оправдать, обосновать претензии на истинность своих высказываний, еще не обеспечивает обладание истиной как таковой. Никто не обладает привилегированным доступом к условиям истинности (правильности, аутентичности); эти условия всегда подвергаются интерпретации здесь и теперь живущими индивидами, конечными и социально обусловленными – таковы, согласно Хабермасу, постулаты постметафизического мышления» [3. С. 191]. Таким образом, коммуникативный разум не приписан какому-либо определенному субъекту, и только дискурсивно обоснованные нормы «в каждом конкретном случае позволяют выяснить, что именно представляет равный интерес для всех» [3. С. 24]. Но тогда, безусловно, возникает острый вопрос: кто на практике будет определять, что является результатом дискурса, если никто не имеет права говорить за всех? Получается, что дискурс – это своего рода бесконечная игра без какого-либо результата. Т. Рокмор писал: «Интеллектуальное исследование происходит в процессе спора, который, подобно лечению у психоаналитика, может тянуть-

ся бесконечно. Нет оснований утверждать, что оно быстро или когда-нибудь вообще дойдет до конечного заключения, приемлемого для всех сторон» [7. С. 113]. Попытки Хабермаса различить дискурсы, связанные с обоснованием норм, и дискурсы, связанные с применением норм [3. С. 24–25], проблемы, как представляется, не решает. Если отсутствует какая-то высшая инстанция, то никто никогда не поймет, к чему привел их дискурс и каков его (хотя бы промежуточный) результат, ведь лишь каждый сам за себя может сказать, что именно его убедило. Вообще, Хабермас подчеркивает, что теоретической конструкцией этики дискурса не решается вопрос о надлежащем правовом регулировании, поэтому правила дискурса вовсе не должны быть всецело закреплены в действующем праве – обоснование последнего всегда ситуативно (притом что «идеальная речевая ситуация» на практике недостижима!). Правила дискурса, пишет ученый, следует тщательно отличать от правил институционализации дискурса [2. С. 144–145], в частности от обоснования конкретных форм демократии. Сказанное, конечно, подрывает практическую значимость этики дискурса. Если же мы ограничиваем дискурс какими-то временными рамками, то каковы критерии этого ограничения, и не будут ли именно эти критерии, а не правила дискурса, высшими постулатами этики? Заметим, что эти критерии должны быть определены до самого дискурса, иначе есть риск, что они никогда не будут определены.

Другая линия критики этики дискурса связана с оспариванием той роли, которую в этике Хабермас приписывает коммуникации. В некотором смысле Хабермас смешивает справедливость и консенсус. Дело в том, что по многим вопросам консенсус вряд ли достижим в принципе. Например, по вопросу допустимости аборта одни считают аборт убийством, а вторые – фундаментальным правом, выражением личной неприкосновенности и свободы частной жизни, и сложно найти здесь точки соприкосновения. Но если в данном случае достигим только компромисс (*modus vivendi*), не получается ли, что вопрос неразрешим с точки зрения морали? Как представляется, на практике в подавляющем большинстве случаев приходится довольствоваться компромиссом, а не консенсусом. В таком случае приходится признать, что по большинству вопросов объективной морали и справедливости попросту не бывает. Именно поэтому О. Хёффе, как было показано выше, обоснованно оспаривал тот факт, что принцип дискурса (консенсус) первичен по сравнению с принципом универсализации.

Еще один важный вопрос состоит в том, может ли наблюдатель-философ установить, что считают благом произвольно взятые личности. Хабермас отрицательно отвечает на данный вопрос и говорит «о принципиальной ущербности существа, которое может сформировать свою тождественность, лишь выходя во внешнюю сферу межличностных отношений» [1. С. 93]. У каждого есть свои моральные интуиции, «но практическое соображение, *критически* усваивающее это интуитивное знание, требует для себя *социальной* перспективы» [1. С. 87]. Таким образом, даже сам человек (не говоря уже о стороннем его наблюдателе), согласно Хабермасу, может прийти к какому-то моральному выводу и оценить свои собственные мотивы и ценностные ориентации как правильные или неправильные только через коммуникацию. Такая позиция встретила критику со стороны О. Хёффе, который полагал, что внутренний дискурс лица (с самим собой) важнее, чем социальный дискурс

(с другими), а последний следует рассматривать только как способ подтверждения своих суждений. По мнению Хёффе, при попытке согласовать различные потребности людей мы должны исходить в первую очередь из их трансцендентальных интересов и из трансцендентального обмена благами, который встает на место интерсубъективности. Те правовые нормы, которые являются результатом трансцендентального обмена, аналогичны правилам дискурса по Хабермасу и являются, в сущности, условиями дееспособности человека. Действительно, коммуникацию можно рассматривать лишь как вспомогательное средство, способ выяснить действительные интересы заинтересованных сторон, чтобы стало ясно, что именно мы пытаемся согласовать. Если же мы отдадим все вопросы на откуп дискурсу, то не получится ли так, что некоторые его участники не смогут защитить свои интересы исключительно потому, что не смогли найти подходящего аргумента, убеждающего других лиц, оказались менее искусными ораторами и в итоге, не обладая искусственным умом, согласились с аргументами участников, имеющих противоположные интересы, хотя эти аргументы и содержали не замеченные никем фактические и логические ошибки? Наконец, не получится ли так, что человек искренне не соглашается с аргументами противоположной стороны исключительно потому, что не может их понять? Вероятно, многие выводы современной науки, равно как и положенные в их основу доказательства, большинству неспециалистов понять будет сложно, даже если для этого имеется время и желание (необходимы еще и соответствующие условия обучения, отличные от условий дискурса).

Одним из аспектов рассматриваемого вопроса является, казалось бы, очевидный тезис Хабермаса о том, что дискурс должен быть открыт для каждого. Очевидно, однако, и другое: некоторые люди более компетентны, некоторые – менее. Как справедливо отмечают исследователи творчества Хабермаса, «выводы здравого смысла, даже если они сделаны на легитимной и демократической основе, но при этом противоречат научным данным, способны привести к социальной катастрофе» [8. С. 62]. Поэтому окончательное слово, как представляется, должно быть за людьми сведущими. Между тем, «ученые, за которыми остается решающее слово, вынуждены трудиться над сложной коммуникативной задачей, представляя итоги научных анализов в форме, стимулирующей одобрение представителей *common-sense* сознания, обыденного сознания» [8. С. 61]. Поэтому для устранения этого диссонанса приходится дополнительно вводить условие стремления масс быть компетентными. Но даже и это не спасает от всех проблем. Хабермас предполагает, что в дискурсе будут участвовать только дееспособные и вменяемые лица. Тогда возникает вопрос: кто определяет критерии дееспособности и вменяемости? По Хабермасу, все эти вопросы решаются в ходе самого дискурса или попыток вступить в него. Но это означает, что результатом дискурса будет являться правило, одобренное уже не всеми, а только теми, кто не отсеян по признаку невменяемости и недееспособности, последние же не смогут даже обозначить свои интересы. А что насчет частично дееспособных / вменяемых лиц (дети или лица с некоторыми психическими отклонениями), обладающих ограниченными речевыми навыками и способностями мышления: не получится ли так, что убедить их как участников дискурса в некоторых аргументах попросту невозможно? Это обстоятельство тоже ставит под сомнение

идею полной открытости дискурса. Хабермас же делает только одно исключение в вопросе открытости дискурса: в нем не должны принимать участие люди, выступающие за любые формы дискриминации, т.е. за ограничение участников дискурса по половому, национальному, расовому и другим подобным признакам [9. С. 49–50].

Итак, вторая линия критики взглядов Хабермаса связана с вопросом о том, действительно ли человеку нужна коммуникация для того, чтобы посмотреть на себя со стороны и, так сказать, «преобразовать» свою частную волю в общую, или мы можем обойтись правилом универсализации? Хабермас, конечно, обращает внимание на тот факт, что мы должны не просто согласовать частные интересы, предоставив равные шансы на их реализацию, но и каким-то образом оценить эти частные интересы и согласовать их не каким-то произвольным образом [2. С. 108–120]. Воля лица не должна сводиться к произволу, она должна быть подвержена коммуникации, чтобы превратиться в общую волю; если же мы ищем просто согласования частных волей, то этика теряет когнитивный характер. Действительно, кантовская традиция ищет консенсус (всеобщую волю), а не компромисс (волю всех, *modus vivendi*). Поэтому правило дискурса невозможно без правила универсализации (иначе дискурс будет направлен на временный компромисс и будет лишен эпистемиологического значения). Но у Хабермаса, придающего правилу универсализации лишь второстепенное значение, мы наблюдаем в некотором смысле возврат от Канта к Руссо. Следует отметить, что дискурс (рассуждение) может осуществляться «в форме гипотетически разыгрываемого в уме обмена аргументами», но Хабермас постоянно пытается нивелировать значимость этой формы, и, как представляется, незаслуженно. Не следует ли отдать приоритет своего рода «монологичному» дискурсу ученого, или хотя бы узкому научному дискурсу теоретиков и исследователей, для преодоления «бесконтрольной демократизации дискурса»? Хабермас постоянно мимоходом повторяет, что воплощение этики дискурса в политической практике подразумевает некоторый уровень образованности и политической культуры (политических добродетелей) участников дискурса, чувства ответственности за себя и других. «Идеальная речевая ситуация» при таких обстоятельствах остается лишь утопией.

Вышесказанное позволяет сделать выводы о том, что хабермасовская этика дискурса имеет как достоинства, так и недостатки. В конечном счете ее недостатки перекрывают ее достоинства и вынуждают если не отказаться от этики дискурса полностью, то придать дискурсу как таковому лишь второстепенную роль по сравнению с принципом универсализации. При этом сам принцип универсализации у Хабермаса остается в некотором смысле необоснованным. Нельзя не отметить, что этот принцип подвергался критике (Т. Рокмор, О. Хеффе и др.) как смешивающий кантианство (деонтологию) с консеквенциальной этикой, т.е. с этикой последствий, которая противоположна кантианству. Впрочем, возможно, проблема здесь состоит не в той второстепенной роли, которую Хабермас отводит последствиям, а в той первостепенной роли, которую он отводит согласию. Для Канта не имел совершенно никакого значения не только тот факт, к каким последствиям приведет «всеобщий принцип права» в конкретной ситуации, но и то, согласятся ли реальные индивиды с этими последствиями. Скорее напротив, конкретный

индивид должен был согласиться с тем, что соответствует принципу универсализации. Обсуждение (для которого у Канта не нашлось места), необходимо, как представляется, только для того, чтобы определить, какие именно интересы составляют различия и подлежат обобщению, и какова значимость этих интересов для самих их носителей. Таким образом, ключевое значение имеет то, равным ли образом учтены интересы всех заинтересованных лиц при принятии конкретного решения (в этом и состоит истинная суть принципа универсализации), а не то, согласились ли фактически эти заинтересованные лица с данным решением. Вместе с тем, оценивая то, соблюдено ли равенство интересов, мы, безусловно, должны принимать во внимание последствия принимаемого решения для каждого индивида. И уже в этом отношении отход Хабермаса от кантовской этики (безуспешно пытающейся усмотреть в тех или иных максимах противоречия *per se*), как мы полагаем, вполне оправдан. Но как бы мы ни понимали принцип универсализации, заложенную в нем идею справедливости как всеобщности, в конечном счете, можно только постулировать. Задумка этики дискурса Хабермаса состояла в том, чтобы не допустить такой тотальной релятивизации, найдя опору в дискурсе. Но шаткость этой опоры подсказывает, что выход, возможно, состоит как раз в том, чтобы не бояться тотальной релятивизации и признать, что все наши моральные суждения относительны. Одновременно, высказывая частные моральные суждения, следует открыто демонстрировать и специально оговаривать, что в их основе лежит общая идея универсализации (всеобщности) и что оправдываются данные моральные суждения, в конце концов, данной идеей. В свою очередь дискурс как «идеальную речевую ситуацию» следует рассматривать лишь как один из путей реализации данной идеи.

Литература

1. Хабермас Ю. Вовлечение Другого : очерки политической теории. СПб. : Наука, 2001. 417 с.
2. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. : Наука, 2001. 382 с.
3. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М. : Academia, 1995. 252 с.
4. Höffe O. Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne. Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1993. 431 S.
5. Ситникова Е.И. Обоснование дискурсивной этики К.-О. Апелем // Вестник ВятГУ. 2008. № 4. С. 41–45.
6. Habermas J. Erläuterung zur Diskursethik. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. 229 S.
7. Рокмор Т. К критике этики дискурса // Вопросы философии. 1995. № 1. С. 106–117.
8. Писанова Т.В. Лингвистические и философские принципы дискурсивной этики: Актуальные дискуссионные вопросы // Вестник МГЛУ. 2010. № 603. С. 54–66.
9. Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Социологические исследования. 2006. № 1. С. 45–53.

Nikolai A. Shaveko, Udmurt Branch of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Izhevsk, Russian Federation).

E-mail: nikolai_91@inbox.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 125–136.

DOI: 10.17223/1998863X/60/12

DISCOURSE ETHICS OF JÜRGEN HABERMAS: A CRITIQUE

Keywords: discourse; discourse ethics; Habermas.

The article considers discourse ethics proposed by Jürgen Habermas, analyzes its logical premises, key points, advantages and disadvantages. The following are distinguished as logical premises: 1) the impossibility to derive the descriptive from the prescriptive, and therefore the inevitable dogmatism of ethical norms; 2) the inability to predict reliably what kind of dogmas will be accepted by other people as convincing; 3) the necessity to discuss moral dogmas in order to clarify them, as well as to test their persuasiveness for oneself and for other people; 4) an understanding of justice as a principle that could be approved by everyone. The virtue of discourse ethics is that it finds a thoughtful, reasoned and elegant way out of post-modern relativism. One of the consequences of this is the possibility to solve the pressing issue of the connection of the classical liberal ideals of freedom and equality with the ideal of brotherhood and solidarity with the help of discourse ethics. The author of the article divides the critique of the ethics of discourse into two directions. The first line of criticism is that the ethics of discourse does not save us from ethical relativism completely. This includes arguments according to which: 1) discourse may lead us to the absence of any universal persuasive rules at all; 2) the rules of discourse according to Habermas are historically relative; 3) it is not exactly clear who will determine the end and the result of discourse, and therefore the practical applicability of the corresponding ethical theory is doubtful. The second line of criticism is related to the fact that Habermas overestimates the role of communication and discourse: 1) the inability to come to an agreement on moral values leads to the fact that the communicative interpretation of justice erases the boundaries between justice and a temporary compromise; 2) Habermas underestimates possibilities and significance of the internal discourse of an individual; 3) the real possibility of opening a discourse for everyone is doubtful. As a result, the author concludes that the flaws in discourse ethics force one to give the principle of discourse a subordinate character compared to the principle of universalization.

References

1. Habermas, J. (2001a) *Vovlechenie Drugogo: ocherki politicheskoy teorii* [Involvement of the Other: Essays on Political Theory]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.
2. Habermas, J. (2001b) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral consciousness and communicative action]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.
3. Habermas, J. (1995) *Demokratiya. Razum. Nравstvennost'. Moskovskie lektzii i interv'yu* [Democracy. Mind. Moral. Moscow lectures and interviews]. Moscow: Academia.
4. Höffe, O. (1993) *Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
5. Sitnikova, E.I. (2008) Obosnovanie diskursivnoy etiki K.-O. Apelem [K.-O. Apel's substantiation of discursive ethics]. *Vestnik VyatGU – Herald of Vyatka State University*. 4. pp. 41–45.
6. Habermas, J. (1992) *Erläuterung zur Diskursethik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
7. Rockmore, T. (1995) K kritike etiki diskursa [To the criticism of discourse ethics]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 106–117.
8. Pisanova, T.V. (2010) Lingvisticheskie i filosofskie printsipy diskursivnoy etiki: Aktual'nye diskussionnye voprosy [Linguistic and Philosophical Principles of Discursive Ethics: Topical Discussion Issues]. *Vestnik MGLU*. 603. pp. 54–66.
9. Habermas, J. (2006) *Kogda my dolzhny byt' tolerantnymi? O konkurentsii videniy mira, tsennostey i teorii* [When should we be tolerant? On the Competition of World Visions, Values and Theories]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 45–53.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.334.56

DOI: 10.17223/1998863X/60/13

Д.О. Дунаева

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ГОРОЖАН КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА КОМФОРТНОГО ГОРОДА (ОПЫТ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Рассматривается проблема участия горожан в определении текущего состояния городской среды и актуальных направлений ее развития. Акцентируется внимание на различиях в понимании комфортности города у горожан и градоправителей. На основании анализа дискурсивных практик горожан выделены витальные и экзистенциальные категории комфортности городского пространства, а также общие оценки г. Томска.

Ключевые слова: городское пространство; комфортность города; качество городской среды; дискурсивные практики; образ города; управление городом.

Введение

В современных условиях интерес к городскому пространству как объекту исследования увеличивается в связи с нарастанием темпов урбанизации и трансформацией роли города. Города являются теперь не только экономическим и территориальным субъектом, но и социокультурным пространством взаимодействия различных городских сообществ. Предметная область изучения города расширяется, смещаясь в сторону ценностно-смыслового пространства, город теперь воспринимается как феномен, включающий в себя не только объективные физические параметры, но и интерсубъективные представления горожан о нем, как ценностно-символическая система их мировоззренческих установок.

Традиционно развитием городского пространства занимались властные структуры, однако с точки зрения социокультурного подхода к городу [1, 2] катализатором его развития выступают горожане – их жизненные стратегии, интересы, притязания, их личные смыслы и значения формируют запрос на комфортный город. Представители власти выражают свое понимание комфорта путем вкладывания средств в развитие определенных областей или в политические программы, горожане же выражают его иначе – в процессах коммуникации, социальных взаимодействиях в вербальной форме, т.е. посредством конструирования дискурсивных практик. Дискурсы тесно связаны с понятием языка – они существуют в его рамке: «он [язык] диктует исследовательскую оптику: мы видим то, что видим, потому что описываем это так, как описываем» [3. С. 19]. Когда физический объект определяется в сознании и фиксируется в речи определенным образом, он наделяется рядом функций, к

которым впоследствии стремится. Дискурсы, т.е. определения ситуаций с помощью языка, являются важным аспектом развития города, поскольку формируют отношение горожан к проблемам и перспективам его развития.

Итак, комфортный город становится актуальным запросом городских сообществ и первостепенной задачей властных структур, однако представления о комфортности, формирующиеся в процессе повседневных социальных практик и транслирующиеся в дискурсах, значительно разнятся у этих субъектов, помимо этого, в настоящей момент отсутствует диалог между ними, что ведет к рассогласованности действий и нерациональному использованию ресурсов в контексте развития городской среды.

В связи с этим становится актуальным поиск ответа на вопросы: каковы дискурсивные практики горожан о городе, в котором они живут? Считают ли они комфортным свой город, какие критерии комфортности выделяют? На что в первую очередь обращают внимание при оценке городской среды?

Гипотеза исследования: в потребностях горожан к качеству городской среды произошел сдвиг от витальных к экзистенциальным, для горожан при оценке городского пространства более важными критериями являются эмоциональная симпатия и воспоминания, нежели физические характеристики городской среды.

Теоретико-методологические основания исследования

1. Социальный конструкционизм: какой будет реальность (город), зависит от людей (горожан), поскольку они являются активным субъектом конструирования желаемой реальности – комфортного города. Горожане отбирают значимые для них факты в процессе повседневного взаимодействия. Этим впоследствии обуславливаются их дискурсивные практики и реальные практические действия в городе.

В работах П.Л. Бергера и Т. Лукмана [4] сформулирован основной тезис социального конструктивизма – люди сами конструируют социальную реальность в целом и ее отдельные элементы. Они рассматривают пути создания людьми социальных феноменов, которые институционализуются и превращаются в объективную реальность. Социальное конструирование реальности идет постоянно, в процессе интерпретации уже существующих феноменов. Представление о реальности является продуктом договоренности людей: «Таким образом, социологический интерес к проблемам „реальности“ и „знания“ объясняется прежде всего фактом их социальной относительности. То, что реально для тибетского монаха, не может быть реальным для американского бизнесмена» [4. С. 6].

М. Фуко [5, 6] выдвинул и обосновал тезис о том, что, используя те или иные языковые конструкции, создавая дискурс, люди, тем самым, задают видение и понимание мира: «языковая норма бессознательно предопределяет языковое поведение, а, следовательно, и мышление индивидов» [7]. Реальность конструируется вербально в ходе интерпретации и обсуждения некоторой объективной реальности – окружающего человека мира.

Одним из методологических принципов социального конструктивизма является теорема Томаса: «Ситуации, определяемые людьми как реальные, реальны по своим последствиям» [8. С. 29]. Ее смысл заключается в том, что люди действуют в зависимости от того, как они определяют ситуации – «об-

ественные определения ситуации (пророчества или предсказания) становятся неотъемлемой составляющей ситуации и тем самым влияют на последующие события» [8. С. 29].

В рамках концепции социального конструктивизма важно отметить, как воспринимается пространство города, какую роль оно играет в повседневной жизни горожан, что делает такое пространство общественным.

А. Лефевр предлагает неомарксистскую концепцию пространства. В своих работах он впервые начал говорить об идее производства пространства. Она заключается в том, что городское пространство создается горожанами в процессе экономических, культурных и социальных практик. В этой связи город можно определить, как социокультурную, аутопойетическую, саморазвивающуюся систему. Пространство, по Лефевру, динамично и зависит от социальных отношений. В своей работе «Производство пространства» [9] он пытается объяснить наличие связи между физическим, ментальным и социальным пространствами.

Ш. Зукин [10] в своих работах выделяет следующие критерии публичного пространства: оно должно быть, во-первых, общественно управляемым, во-вторых, открытым для всех и, в-третьих, цели людей, взаимодействующих в его рамках, должны быть общественными, а не частными.

Р. Сеннет [11] также полагает, что публичное пространство – это место множественных встреч, социальных взаимодействий и коммуникаций без какой-либо цели, а только лишь ради самих встреч, ради социальной жизни. Самое важное, что характеризует публичную сферу, – это коллективные события, в ней происходящие. Городское пространство должно обладать свойством объединения, делать возможными определенные виды активности, которые нельзя себе представить или нельзя реализовать в приватной сфере.

Таким образом, в рамках социального конструкционизма горожанам отводится основная роль в процессе изменения городского пространства, которое, в свою очередь, представляется как пространство взаимодействия, где происходит обмен дискурсами и прочие социальные практики, в ходе реализации которых и формируется город.

2. Гуманитарная география связана с принятием управленческих решений для повышения уровня комфортности городской среды посредством выявления множественных реальностей места, установления смыслов, которые вкладывают в него горожане [12]. И.И. Митин [13, 14] пишет о том, что такой подход может помочь определить уязвимые, проблемные, с точки зрения горожан, моменты характеристик места, специфику ситуации востребованности места, отношение к нему и своевременно принять необходимые меры, в перспективе – выработать наиболее адекватные формы и механизмы организации системы «человек–среда», осуществив, тем самым, управление средовым (среда = пространство + территория) развитием конкретных «мест» в городе.

Ряд исследователей в своих работах сравнивают российские города с зарубежными и дают рекомендации управленцам по улучшению качества жизни в них на основании полученного опыта. Так, П.Н. Саньков [15] актуализирует необходимость наличия соседского сообщества на примере финских «meeting rooms» – общих комнат для обсуждения важных, с точки зрения жильцов, вопросов. М.С. Мартынова описывает опыт города Куритиба (Бразилия), где специально созданный Институт исследования и планирования во

главе с мэром города занимается разработкой дизайна городских пространств и новых нетривиальных методов решения проблем города под лозунгом «Город – это не проблема, город – это решение!» [16]. Управленцы этого города смогли создать комфортную среду при минимальном бюджете, например, из-за отсутствия средств на газонокосилки для парков, власти выпустили туда пастись «муниципальных» овец. Была создана система раздельного сбора мусора, расширены тротуары, улучшен общественный транспорт, все это удалось реализовать благодаря ответственному отношению группы архитекторов к созданию комфортных условий для жизни. Автор предлагает реализовать такой подход в российских городах. М.Е. Суворова обращает внимание на рассогласованность образа города, транслируемого администрацией Вологды и имеющегося у его жителей. Она изучает дискурсы о городе, которые продвигают власти, и делает вывод, что они не получают отклика от горожан, поскольку не имеют отражения в действительности, – это «метафизические бренды» [17]. Здесь проявляются идеи гуманитарной географии – акцентируется внимание на роли горожан в управлении городским пространством.

3. Географическая герменевтика утверждает, что у геокультурного пространства есть духовная составляющая, заключающаяся в формировании для человека значения, смысла места и вызывающая у него эмоции. И.П. Корнев [18] рассматривает характеристики геокультурного пространства: 1) системность – в геокультурном пространстве или «местах» элементы взаимосвязаны между собой, что обеспечивает их устойчивость и автономность; 2) динамичность – «места» непрерывно меняются, вместе с тем как меняется их восприятие в сознании горожан; 3) уникальность – каждое «место» неповторимо, поскольку имеет специфический набор смыслов; 4) информативность – «место» посылает индивиду, который в нем находится, информацию, дает указания к действию. Марк Оже [19] также делал в своих работах акцент на важности смыслового определения горожанами пространств, в которых они пребывают. Он ввел термин «не-место» для обозначения таких пространств, которые не выполняют ни идентифицирующую, ни связующую, ни историческую функцию для горожан, т.е. являются «пустыми» с точки зрения их значимости. Не-места, по мнению М. Оже, никак не влияют на идентичность горожан, не соединяют в себе прошлое и современность, у них нет связи с жителями города. Например, перекрестки Оже считает местами, ведь там люди встречаются друг с другом, а транспортные развязки – не-местами. В целом можно сказать, что не-места, по мнению М. Оже, – это все пространства, где человек находится временно и вынужденно: залы ожидания аэропортов, вокзалов, отели и другие, т.е. в них человек не живет постоянно, они связаны с мобильностью и путешествиями, поэтому им не присуща аутентичность, история, отношения и идентичность. По мнению автора, чем больше не-мест в городе, тем менее комфортным он является для горожан. Дорин Б. Массей, М. Кастельс [20, 21], в отличие от М. Оже, определяют место как точку пространства, которая пропускает через себя потоки и движения, она не обязательно должна быть историчной, идентифицирующей, связующей или аутентичной, достаточно того, чтобы она занимала определенное положение в сети и имела взаимосвязь с другими элементами сети. Однако

общим у этих подходов остается восприятие пространства городов как необходимо наделенного смыслом и отвечающего притязаниям горожан на него.

В работах о комфортности городского пространства можно проследить сдвиг интереса исследователей в сторону ценностно-смыслового аспекта, в чем и проявляется главная идея географической герменевтики – акцент на важности смыслов, значений, которые горожане придают городским пространствам. Они указывают на важность наличия благоприятных условий для отдыха горожан – «разнообразие общественных пространств и способов проведения досуга перевешивает планировочные и экологические недостатки крупных городов» [22. С. 271], т.е. необходимость решать проблемы, связанные с физическим пространством города, стоит не так остро. Горожане делают город целостным, если используют его пространства, в противном случае он распадается на отдельные локусы, что негативно сказывается на его комфорте. А.А. Паукаева и В.И. Лучкова [22] делают акцент на важности создания комфортных общественных пространств в городе, поскольку они дают людям возможность чувствовать себя причастными к обществу, самовыражаться и ощущать безопасность.

4. Экоантропоцентрическая парадигма, идеи которой описаны в работах Т.М. Дридзе [23–26], включает в себя: а) принцип социального участия, который заключается в предоставлении населению права участвовать в модернизации городской среды; б) идею активного субъекта – люди, а не группы или структуры, являются субъектом изменений; в) идею необходимости коммуникации, взаимодействия – определение состояния окружающей реальности; деятельность по ее изменению или развитию, разработка вариантов решения проблем могут протекать только в режиме коммуникации между всеми заинтересованными субъектами, существующими в этой реальности.

В последнее время наблюдается значительный интерес властных структур к проблемам городского пространства как ответ на претензии горожан к качеству жизни в городе. Управленцы перестали игнорировать тот факт, что город должен быть не только функциональным и экономически эффективным, но и комфортным. В связи с этим появились такие проекты, как «Умный город», он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» [27] и представляет собой комплекс мероприятий, целью которых является создание комфортной среды за счет цифровизации различных сфер жизнедеятельности города. В методических рекомендациях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявлены пять принципов проекта [27]: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности. Проект позиционирует себя как ориентированный на человека, однако в его положении не указано, что авторы подразумевают под комфортностью среды. Минстрой для улучшения качества городской среды предлагает цифровизировать сферу ЖКХ, транспорта, управления, т.е. в основном внимание уделяется витальным аспектам жизнедеятельности горожан. Несмотря на это, одна из задач проекта – обеспечить диалог между представителями власти и горожанами с помощью мобильного приложения, таким образом вовлекая жителей в управление городом. Помимо этого, горожане имеют возможность

предлагать свои проекты в Банк решений умного города, что должно позитивно сказываться на формировании их идентичности и ответственности за город. Таким образом, в действиях властных структур прослеживается позитивная динамика, хотя основные понятия, используемые в проекте, нуждаются в более детальной операционализации. Тем не менее данный проект учитывает все ключевые аспекты экоантропоцентрической парадигмы – акцентирует внимание на важности участия, включения горожан, формирования у них желания менять городскую среду, а также воплощает в себе основную идею социального конструкционизма – взаимозависимость качества городского пространства и притязаний на это качество со стороны горожан.

Таким образом, исследователи города уделяют внимание факторам, из которых складывается комфортность города, более детально изучают этот вопрос, обращают внимание на важность участия в планировании местных жителей, а также их диалога с властью для согласования представлений о качестве городской среды и направлений развития городского пространства.

Методы и источники данных

Метод сбора информации: полуформализованное интервью.

Метод анализа информации: дискурс-анализ.

Методы отбора информантов: панель добровольцев, метод снежного кома.

Критерии отбора информантов: 1) зарегистрирован в г. Томск; 2) проживает в г. Томск постоянно. Выборка является целевой и заключается в отборе информативно богатых случаев.

Поскольку горожане теперь выступают активным субъектом изменений городской среды, представляется актуальным установить, какой же город они будут считать комфортным, какие притязания они транслируют в процессе своих повседневных социальных практик, в том числе дискурсивных. С этой целью было проведено исследование, объектом которого выступали жители Томска. Было проведено 22 полуформализованных интервью, в ходе которых горожане в свободной форме высказывали свое отношение к городу в целом, акцентировали внимание на своих ценностях в контексте городской среды, указывали на недостатки городского пространства, а также детально описывали свое понимание комфортности городской среды.

Полученные результаты

Акцентируем еще раз внимание на понимании комфортности города. Наиболее актуальным является определение Т. Дридзе: «Любые фрагменты городской среды хороши, если они коммуникативны и, значит, осмысленны и гуманны. Это рождает у человека ощущение комфорта, желание остановиться и посмотреть вокруг, посидеть на скамейке в скверике, просто пройти по знакомым и любимым улицам своего города, чувствуя свою причастность ко всему, что здесь происходило, происходит и произойдет в будущее» [28. С. 96]. В рамках исследования важно было установить, совпадает ли понимание комфортности информантов с этим определением, а также понять, как они оценивают комфортность Томска.

В общем можно сказать, что большинство информантов понимают комфортный город как место, где каждый человек был бы обеспечен всем, что

для него важно, и при этом не мешал жизни других людей. Однако есть мнение о том, что город не должен быть комфортным, так как комфортность предполагает усреднение, стирание индивидуальности. Такая точка зрения означает, что люди должны самостоятельно обеспечивать себе удобство, т.е. они должны приспособиться под город, а не наоборот. Город воспринимается как нечто независимо существующее, живое и индивидуальное, что не может нравиться всем: *«В городе не должно быть комфортно, в городе должно быть просто удобно жить... Если город будет комфортным, он будет неинтересным, потому что комфортность – это общее требование, а люди все разные. Он будет просто большим домом, общежитием, т.е. он не будет городом. У него не будет своего лица, своей культуры, потому что это разные понятия. Мне должно быть комфортно дома, мне должно быть комфортно на рабочем месте... но мне не должно быть комфортно в городе»* (Ж, 30). Это можно считать альтернативным взглядом на городскую среду.

Общие оценки комфортности г. Томска. Что касается Томска, мнения информантов разделились. Можно выделить два аспекта, по которым оценивали город в общем: ретроспективная оценка и территориально-государственная оценка.

1. Негативные мнения выражались так: «Что касается меня, то чисто для меня нет [не комфортный]. Я бы не очень хотела тут жить... У них [в Канаде] очень большие налоги на все, но за эти налоги видно результат. У них нет коррупции, нет воровства, у них очень серьезные наказания. Люди сами по себе другие. Там все сделано для человека. Законы написаны под людей, отношение более человеческое» (Ж, 33) – территориально-государственная оценка; «Мне есть с чем сравнивать. Я жил здесь в советское время. Томск был очень чистый и другой...» (М, 55) или «Он [город] перестал быть комфортным... Раньше был комфорт, раньше мы могли гордиться своими дорогами, своими чистыми газонами» (Ж, 48) – ретроспективная оценка.

2. Комбинированные оценки: «Не совсем [комфортный]. Здесь есть и то, что мне, безусловно, нравится, и то, чего мне не хватает» (Ж, 24) или «По современным меркам... нет, естественно мы очень далеки от того иллюзорного, идеального, к чему нужно стремиться. Но, в принципе, мы достаточно близки к этому. Я не думаю, что мы хуже, чем остальные» (Ж, 29). Здесь видна противоречивость высказываний информантов: несмотря на то что их не устраивают определенные моменты, городом они довольны и уезжать не хотят.

3. Позитивные оценки: несмотря на то что абсолютно все информанты критикуют Томск по большинству критериев, указанных ниже, позитивные оценки – не редкость. Они эмоционально окрашены, выражают уверенность в лучшем будущем: «Я люблю Томск, я верю, что все свои проблемы он сможет преодолеть. Люди какие-то социальные ипохондрики, паникуют раньше времени, кричат, что уже ничего не исправить, что мы погрязли... а вот на Западе, а в Америке вообще... [все хорошо]» (Ж, 31). Территориально-государственная оценка: «Несмотря на все, Томск хороший город. И люди тоже не как в Москве – все бегут, все злые, никому ни до кого дела нет. У нас более-менее народ нормальный. Нет, в Томске бы я и осталась. Везде проблемы есть, без этого не бывает. Это же не Луна и не Марс, это Земля,

тем более Россия. Где угодно есть проблемы, в любой стране» (Ж, 55). Ретроспективная оценка: «Какая сейчас красивая Ушайка стала! Раньше все было заросшее, река вся в тине была, в мусоре. Улица Обруб – там сейчас все здания отреставрировали... Раньше ужас что творилось – темно, страшно, деревьяшки заваленные. Этот уголок мой любимый. Я помню все эти места раньше, каким они были захолустьем, и вот буквально за несколько лет все изменилось» (Ж, 55).

Таким образом, как общее понимание комфортности, так и оценки Томска весьма противоречивы. Оценки включают ретроспективный и территориально-государственный аспекты, делятся на негативные, комбинированные и позитивные. Чтобы понять причины противоречий, обратимся к конкретным категориям комфортности города, релевантным для информантов.

Категории комфортности города. Мы определили, что информанты вкладывают в понятие комфортности, установили противоречивость оценок г. Томска, предположительно это связано с многоаспектностью понятия, поэтому важно определить, на основании каких категорий оно формируется. Гипотеза нашего исследования состояла в том, что экзистенциальные потребности горожан преобладают над витальными, что сказывается и на требованиях к качеству городской среды. Поэтому выделенные категории мы разделили на две группы – связанные с витальными и экзистенциальными потребностями горожан (рис. 1).

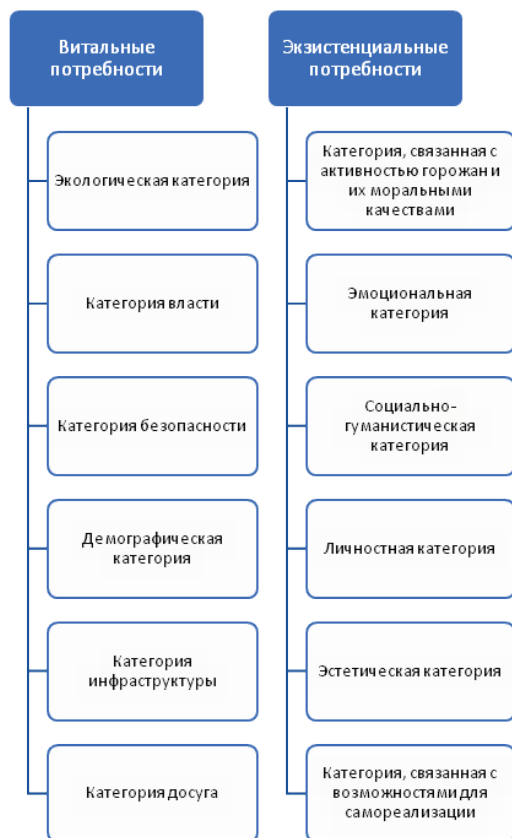


Рис. 1. Категории комфортности городской среды

Категории, связанные с витальными потребностями, не являются новыми и всегда фигурируют в официальных рейтингах качества городской среды. Сюда входит экологическая категория (состояние воздуха, воды, почвы, уровень радиации, зеленые насаждения, количество пыли, уровень шума, запахи, мусор в городе (мусорные баки, в том числе для раздельного сбора мусора, урны, свалки как в городе, так и за его чертой)); категория власти (личная заинтересованность властей в развитии города, наличие обратной связи от властных структур); категория безопасности (гарантия того, что экологические показатели находятся на стабильном уровне, что нет террористической угрозы, агрессивных бездомных животных, которые могут напасть, хорошее освещение, защита полиции, а также внутреннее чувство безопасности); демографическая категория (размер и возраст города, количество мигрантов); категория инфраструктуры (состояние дорог, наличие детских садов, школ, качество общественного транспорта, уровень медицины, уровень сервиса, предоставления услуг, состояние тротуаров, работа ЖКХ); категория досуга (наличие мест, в которых люди могли бы проводить свободное время, а также организация мероприятий, т.е. развитость общественной и культурной жизни города).

Категории, имеющие отношение к экзистенциальным потребностям, связаны лично с горожанами. Категория, связанная с активностью горожан, их моральными качествами (насколько горожане проявляют инициативу для развития городской среды); эмоциональная категория (внутреннее ощущение комфорта, чувство, что ты находишься на своем месте); социально-гуманистическая категория (отношение горожан к бездомным людям, людям, просящим милостыню, детям-сиротам, беспризорникам, одиноким старикам, инвалидам и другим мало защищенным группам населения); личностная категория (личные связи, знакомства, семья, воспоминания); эстетическая категория (внешний вид города, его архитектура, оформление цветочными клумбами летом, новогодними украшениями зимой); категория, связанная с возможностями для самореализации (возможность заниматься тем, что нравится, возможность реализовывать свои представления о городе).

Таким образом, можно сделать вывод, что понимание комфортности города сильно дифференцировано по различным категориям, имеющим разную степень значимости для горожан. Факт того, что количество экзистенциальных категорий равно количеству витальных, говорит о том, что для жителей фокус внимания сместился к городской среде (витальный аспект) – потребности в здоровом образе жизни, обеспечении элементарных нужд становятся само собой разумеющимися и отходят на второй план. Наибольшую значимость приобретает экзистенциальный аспект – необходимость самореализации, воплощения в городе своих желаний, возможность влиять на среду проживания, т.е. реализовывать свои ценностно-смысловые представления о том, каким должен быть город. Итак, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Об этом говорит наличие категорий, отнесенных нами к экзистенциальным. Стоит отметить, что все они, а также категория власти, отсутствуют в официально принятых рейтингах оценки качества городской среды [29]. Однако в большинстве из них присутствует категория экономического благосостояния населения, которая не была упомянута информантами. Эти рей-

тинги отражают представления власти о комфортности города, поскольку приняты на государственном уровне, что еще раз указывают на разницу в понимании комфорта власти и горожан.

Заключение

Горожане являются активным субъектом развития городской среды, свой запрос на комфортность города они формулируют и выражают с помощью дискурсов. В связи с этим актуальной проблемой становится определение критериев комфортности городской среды и отношения горожан к городу через анализ их дискурсивных практик. С этой целью было проведено исследование, объектом которого выступали жители г. Томска. В общей сложности состоялось 22 полуструктуризованных интервью, в ходе которых горожане в свободной форме высказывали отношение к городу в целом, акцентировали внимание на своих ценностях в контексте городской среды, указывали на недостатки городского пространства, а также детально описывали свое понимание комфортности городской среды. В качестве метода анализа выступал дискурс-анализ текстов интервью.

Основные выводы исследования:

1. Информанты понимают комфортный город как место, где каждый человек был бы обеспечен всем, что для него важно, и при этом не мешал жизни других людей, эта точка зрения предполагает, что город должен меняться в соответствии с запросами горожан, однако существует и альтернативный взгляд на город, связанный с его пониманием как независимого саморазвивающегося организма, под который должны подстраиваться жители.

2. Оценки г. Томска разнообразны и противоречивы, они включают в себя ретроспективный и территориально-государственный аспекты, делятся на негативные, комбинированные и позитивные. При оценке информанты руководствуются, в первую очередь, личными ценностями и смыслами. В связи с этим для лучшего понимания комфортности необходимо проанализировать критерии оценки городской среды.

3. Категории комфортности города мы разделили на две группы – связанные с витальными (экологическая категория, категория власти, категория безопасности, демографическая категория, категория инфраструктуры, категория досуга) и экзистенциальными потребностями горожан (категория, связанная с активностью горожан, их моральными качествами, эмоциональная категория, социально-гуманистическая категория, личностная категория, категория, связанная с возможностями для самореализации). Их количество равно, т.е. можно сделать вывод, что в настоящий момент удовлетворение витальных потребностей горожан в городской среде становится само собой разумеющимся и отходит на второй план, в то время как экзистенциальные потребности наиболее актуальны и именно на них в большей степени обращают внимание горожане при формировании запроса к качеству городского пространства.

Однако градоправители при планировании направлений развития городской среды делают упор именно на витальные категории, что подтверждается официальными рейтингами качества городов – в них практически отсутствуют экзистенциальные категории.

Таким образом, в ходе исследования подтвердился тот факт, что понимание комфортности представителей власти и горожан различно. Следовательно, очевидна возникшая необходимость формирования общего смыслового поля взаимодействия, диалога между властными структурами и горожанами, направленного на согласование представлений и формирование общих целей для развития города.

Литература

1. Пирогов С.В. Концептуальные модели управления развитием города // Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. 2012. № 1 (17). С. 114–128.
2. Харви Д. Право на город // Логос. 2008. № 3 (66). С. 80–94.
3. Вахитайн В. Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти. 2014. № 2. С. 9–38.
4. Бергер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М. : Медиум, 1995. 323 с.
5. Фуко М. Дискурс и истина // Логос. 2008. № 2 (65). С. 159–262.
6. Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. М. : Касталь, 1996. С. 47–97.
7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. : Гуманитарная академия, 2004. 416 с.
8. Хаустов Д.С. Теорема Томаса и особенности конструирования социальной реальности через массовые коммуникации // Социс. 2012. № 7. С. 29–36.
9. Lefebvre H. The production of space. Wiley-Blackwell, 1991. 464 p.
10. Zukin S. The cultures of cities. Malden and Oxford : Blackwell Publishing, 1995.
11. Sennett R. The public realm / R. Sennett, G. Bridge, S. Watson (Eds.). London : Blackwell Publishers, 2010.
12. Yi-Fu Tuan. Espace et lieu; la perspective de l'expérience. Paris : Infolio, 220 p.
13. Митин И.И. Мифогеография: новые механизмы интерпретации пространства. URL: <https://refdb.ru/look/2793104.html> (дата обращения: 15.10.2017).
14. Митин И.И. От когнитивной географии и мифогеографии: интерпретации пространства и места // Первая российская конференция по когнитивной науке : тез. докл. Казань : КГУ, 2004. С. 163–165.
15. Саньков П.Н., Ткач Н.А., Збиренко В.В., Накутная А.С. Комфортное общественное пространство в большом городе // Архитектура, градостроительство, историко-культурная и экологическая среда городов Центральной России, Украины и Беларуси : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти заслуженного архитектора РФ В.Н. Городкова. Брянская государственная инженерно-технологическая академия. 2014. С. 381–384.
16. Мартынова М.С. Инновационные решения в организации комфортной городской среды на примере города Куритиба (Бразилия) // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015. № 2. С. 413–421.
17. Суворова М.Е. Образ идеальной Вологды: «город добрых дел», «культурная столица русского севера» или «комфортный город»? // Леденцовские чтения. Бизнес. Наука. Образование : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 2013. С. 329–332.
18. Корнев И.Н. Географическая герменевтика в контексте концепции геокультурного пространства // Региональные исследования. 2008. № 1. С. 3–9.
19. Augé M. Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Seuil Publ., 1992. 155 p.
20. Massey D. For space. London : SAGE Publications, 2005. 222 p.
21. Castells M. End of Millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Oxford : John Wiley & Sons, 2010. Vol. 3. 488 p.
22. Паукеева А.А., Лучкова В.И. Формирование комфортной среды открытого общественного пространства города в условиях холодного климата // Новые идеи нового века : материалы междунар. науч. конф. ФАД ТОГУ. 2016. Т. 1. С. 269–275.
23. Дридзе Т.М. На пороге эокантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 97–103.

24. Дридзе Т.М. Социально значимые процессы как объект управления (к экоантропоцентрической парадигме научного познания социальной реальности) // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 1993–1994. № 3–4. С. 164–170.

25. Дридзе Т.М. Урбанизм и городская политика в свете экоантропоцентрической социологии // Урбанизация в формировании социокультурного пространства / РАН. Науч. совет по истории мировой культуры, отв. ред. Э.В. Сайко. М., 1999. С. 219–228.

26. Дридзе Т.М. Экоантропоцентрическая парадигма в социальном познании и социальном управлении // Человек. 1998. № 2. С. 95–105.

27. Проект цифровизации городского хозяйства «умный город». URL: https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/proekt-tsifrovizatsii-gorodskogo-khozyaystva-umnyy-gorod/?sphrase_id=954746 (дата обращения: 23.04.2020).

28. Дридзе Т.М. Социальная диагностика в градостроительстве // Социологические исследования. 1998. № 2. С. 94–98.

29. Рейтинг городов по качеству жизни (2011 г.) // Mercer Human Resource Consulting. URL: <http://www.education-medelle.com/articles/rejting-gorodov-po-kachestvu-zhizni.html> (дата обращения: 23.04.2020).

Daria O. Dunaeva, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: darya.dunaewa@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 137–150.

DOI: 10.17223/1998863X/60/13

DISCURSIVE PRACTICES OF CITIZENS AS A COMMUNICATIVE MECHANISM FOR FORMING THE IMAGE OF A COMFORTABLE CITY (PRACTICAL RESEARCH EXPERIENCE¹)

Keywords: urban space; comfort of city; quality of urban environment; discursive practices; image of city; city management.

Citizens are an active subject of the urban environment development, they formulate and express their request for the comfort of the city through discourses. In this regard, an urgent problem is to determine the criteria for the comfort of the urban environment and the attitude of citizens to the city through the analysis of their discursive practices. For this purpose, a study was conducted, the object of which was the residents of the city of Tomsk. A total of 22 semi-formal interviews were held, during which citizens freely expressed their attitude to the city as a whole, focused on their values in the context of the urban environment, pointed out the shortcomings of the urban space, and described in detail their understanding of the comfort of the urban environment. The method of analysis was discourse analysis of interview texts. The main conclusions of the study are the following. Firstly, the informants understand a comfortable city as a place where citizens have everything that is important to them and, at the same time, do not interfere with other people's lives. Secondly, the assessments of Tomsk are diverse and contradictory; they include retrospective and territorial-state aspects, are divided into negative, combined and positive. When giving assessments, the informants are guided primarily by personal values and meanings. In this regard, for a better understanding of comfort, it is necessary to analyze the criteria for evaluating the urban environment. Thirdly, the categories of comfort of the city have been divided into two groups – related to vital (environment, power, security, demography, infrastructure, leisure categories) and existential (citizens' activity, citizens' moral qualities, emotional, socio-humanistic, personal, self-realization opportunity categories) needs of citizens. They are equal in number; thus, it can be inferred that at the moment the satisfaction of citizens' vital needs in the urban environment becomes a matter of course and takes a back seat, while existential needs become the most relevant. It is existential needs that citizens pay more attention to when forming a request for the quality of the urban space. However, when planning the development of the urban environment, city managers focus on vital categories, which is confirmed by official ratings of the quality of cities – there are practically no existential categories in them. Thus, the study confirms the fact that the understanding of the comfort by government representatives and by citizens is different. Therefore, it is obvious that there is a need to form a common semantic field of interaction,

¹ See Dunaeva, D.O. (2018) *Discursive practices of citizens as a mechanism for constructing places in the city*. Master's Thesis in Sociology (39.04.01), <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:8161> (In Russian).

a dialogue between government structures and citizens to coordinate ideas and form common goals for the development of the city.

References

1. Pirogov, S.V. (2012) Conceptual models of city development management. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 1(17). pp. 114–128. (In Russian).
2. Harvey, D. (2008) Pravo na gorod [The right to the city]. *Logos*. 3(66). pp. 80–94.
3. Vakhshayn, V. (2014) Reassembling the City: Between Language and Space. *Sotsiologiya vlasti – Sociology of Power*. 2. pp. 9–38. (In Russian).
4. Berger, P.L. & Luckmann, T. (1995) *Sotsial'noe konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [Social construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge]. Translated from English by E. Rutkevich. Moscow: Medium.
5. Foucault, M. (2008) Diskurs i istina [Discourse and truth]. *Logos*. 2(65). pp. 159–262.
6. Foucault, M. (1996) *Volya k istine: po tu storonu vlasti, znaniya i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [Will to Truth: Beyond Power, Knowledge and Sexuality. Works of Different Years]. Translated from French. Moscow: Kastal'. pp. 47–97.
7. Foucault, M. (2004) *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences]. Translated from French. St. Petersburg: Gumanitarnaya akademiya.
8. Khaustov, D.S. (2012) Teorema Tomasa i osobennosti konstruirovaniya sotsial'noy real'nosti cherez massovye kommunikatsii [Thomas's theorem and social reality construction through mass communications]. *Sotsis – Sociological Studies*. 7. pp. 29–36.
9. Lefebvre, H. (1991) *The production of space*. Wiley-Blackwell.
10. Zukin, S. (1995) *The cultures of cities*. Malden and Oxford: Blackwell Publishing.
11. Sennett, R., Bridge, G. & Watson, S. (eds) (2010) *The Public Realm*. London: Blackwell Publishers.
12. Yi-Fu Tuan. (2006) *Espace et lieu; la perspective de l'expérience*. Paris: Infolio.
13. Mitin, I.I. (n.d.) *Mifogeografiya: novye mekhanizmy interpretatsii prostranstva* [Mythogeography: new mechanisms for interpreting space]. [Online] Available from: <https://refdb.ru/look/2793104.html> (Accessed: 15th October 2017).
14. Mitin, I.I. (2004) Ot kognitivnoy geografii i mifogeografii: interpretatsii prostranstva i mesta [From cognitive geography and mythogeography: interpretations of space and place]. In: Gusev, A.N. & Soloviev, V.D. (2004) *Pervaya rossiyskaya konferentsiya po kognitivnoy nauke* [First Russian Conference on Cognitive Science]. Kazan: Kazan State University. pp. 163–165.
15. Sankov, P.N., Tkach, N.A., Zhirenko, V.V. & Nakutnaya, A.S. (2014) Komfortnoe obshchestvennoe prostranstvo v bol'shom gorode [Comfortable public space in a big city]. *Arkhitektura, gradostroitel'stvo, istoriko-kul'turnaya i ekologicheskaya sreda gorodov Tsentral'noy Rossii, Ukrainy i Belarusi* [Architecture, urban planning, historical, cultural and ecological environment of the cities of Central Russia, Ukraine and Belarus]. Proc. of the International Conference. Bryansk State Engineering and Technological Academy. pp. 381–384.
16. Martynova, M.S. (2015) Innovatsionnye resheniya v organizatsii komfortnoy gorodskoy sredy na primere goroda Curitiba (Braziliya) [Innovative solutions in the organization of a comfortable urban environment: a case study of Curitiba (Brazil)]. *Dekorativnoye iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA*. 2. pp. 413–421.
17. Suvorova, M.E. (2013) Obraz ideal'noy Vologdy: “gorod dobrykh del”, “kul'turnaya stolitsa russkogo severa” ili “komfortnyy gorod”? [The image of an ideal Vologda: “the city of good deeds”, “the cultural capital of the Russian north” or “comfortable city”?]. *Ledentsovskie chteniya. Biznes. Nauka. Obrazovanie* [The Ledentsov Readings. Business. Science. Education]. Proc. of the Third International Conference. pp. 329–332.
18. Kornev, I.N. (2008) Geographical hermeneutics in the context of the concept of geocultural space. *Regional'nye issledovaniya*. 1. pp. 3–9. (In Russian).
19. Augé, M. (1992) *Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité*. Paris: Seuil.
20. Massey, D. (2005) *For Space*. London: SAGE.
21. Castells, M. (2010) *End of Millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Vol. 3. Oxford: John Wiley & Sons.
22. Paukaeva, A.A. & Luchkova, V.I. (2016) Formirovaniye komfortnoy sredy otkrytogo obshchestvennogo prostranstva goroda v usloviyakh kholodnogo klimata [Formation of a comfortable

environment of an open public space of the city in a cold climate]. In: *Novye idei novogo veka* [New Ideas of New Century]. Vol. 1. pp. 269–275.

23. Dridze, T.M. (1994) Na poroge ekoantropotsentricheskoy sotsiologii [On the threshold of ecoanthropocentric sociology]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'* – *Social Sciences and Contemporary World*. 4. pp. 97–103.

24. Dridze, T.M. (1993–1994) Sotsial'no znachimye protsessy kak ob'ekt upravleniya (k ekoantropotsentricheskoy paradigme nauchnogo poznaniya sotsial'noy real'nosti) [Socially significant processes as an object of management (towards the ecoanthropocentric paradigm of scientific cognition of social reality)]. *Sotsiologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie* – *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling*. 3–4. pp. 164–170.

25. Dridze, T.M. (1999) Urbanizm i gorodskaya politika v svete ekoantropotsentricheskoy sotsiologii [Urbanism and urban politics in the light of eco-anthropocentric sociology]. In: Sayko, E.V. (ed.) *Urbanizatsiya v formirovanii sotsiokul'turnogo prostranstva* [Urbanization in the formation of sociocultural space]. Moscow: RAS. pp. 219–228.

26. Dridze, T.M. (1998) Ekoantropotsentricheskaya paradigma v sotsial'nom poznanii i sotsial'nom upravlenii [Ecoanthropocentric paradigm in social cognition and social management]. *Che-lovek*. 2. pp. 95–105.

27. Russia. (n.d.) *Proekt tsifrovizatsii gorodskogo khozyaystva “umnyy gorod”* [The “smart city” project of urban economy digitalization]. [Online] Available from: https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/proekt-tsifrovizatsii-gorodskogo-khozyaystva-umnyy-gorod/?sphrase_id=954746 (Accessed: 23rd April 2020).

28. Dridze, T.M. (1998) Sotsial'naya diagnostika v gradoustroystve [Social diagnostics in urban planning]. *Sotsiologicheskie issledo-vaniya* – *Sociological Studies*. 2. pp. 94–98.

29. Mercer Human Resource Consulting. (2011) *Reyting gorodov po kachestvu zhizni (2011 g.)* [Rating of cities by quality of life (2011)]. [Online] Available from: <http://www.education-medelle.com/articles/rejting-gorodov-po-kachestvu-zhizni.html> (Accessed: 23rd April 2020).

УДК 316.455

DOI: 10.17223/1998863X/60/14

В.А. Прохода

ОТНОШЕНИЕ К МИГРАНТАМ И СТРАТЕГИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОССИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Анализируются результаты межстранового социологического исследования. Выявлены установки населения России и других европейских государств по отношению к мигрантам. Отмечается, что среди россиян по сравнению с большинством европейских стран широко распространено негативное отношение к мигрантам. Определены предпочтительные для принимающего сообщества стратегии межкультурного взаимодействия. Угроза культуре коренного населения рассмотрена как детерминанта отношения населения к мигрантам.

Ключевые слова: миграция, мигранты, отношение к мигрантам, стратегии межкультурного взаимодействия.

Введение

Миграция является фундаментальным демографическим механизмом [1], одним из важных факторов формирования демографического потенциала [2]. Выполняя ряд важных функций, связанных с компенсацией демографических потерь, восполнением недостатка рабочей силы, корректировкой дисбаланса на рынке труда, активизацией социально-культурного обмена и другими факторами [3], миграция одновременно актуализирует обеспечение национальной и международной безопасности [4–7], детерминируя ряд угроз и рисков – обострение безработицы, криминализацию экономики, рост преступности, нарастание угрозы терроризма, деформацию ценностей коренного населения, распространение заболеваний и др.

В Европе проблемы, связанные с миграцией, приобрели значительные масштабы и обострились с 2015 г., что связано с неготовностью многих европейских стран к приему и перераспределению резко увеличившегося числа мигрантов с Ближнего Востока, из Северной Африки и Южной Азии. Миграционные потоки нацеливались на наиболее экономически развитые государства Европы, однако в условиях тесного взаимодействия социально-экономических и политических институтов, открытых внутренних границ затронули много стран, спровоцировав европейский миграционный кризис. Пик кризиса пришелся на 2015 г., когда, по данным Европейской службы пограничной и береговой охраны, было выявлено более 1 млн 822 тыс. случаев незаконного пересечения внешних границ [8. Р. 16]. Цифра является абсолютным максимумом для Европейского союза и существенно превышает показатели предыдущих лет. Россию европейский миграционный кризис практически не затронул [9]¹.

¹ В России ситуация с миграцией по масштабам существенно отличается от европейской. По данным Росстата, в 2005–2017 гг. наблюдается рост основных показателей миграции, однако при этом после 2011 г. фиксируется сокращение прироста внешней (межгосударственной) миграции. Снижение миграционной привлекательности связано с социально-экономической ситуацией в стране, в том числе с кризисными явлениями в экономике.

Осложняющим фактором является не только скачкообразное увеличение численности мигрантов, но и наличие глубоких социокультурных различий с принимающим сообществом. В качестве нелегальных мигрантов в 2015 г. чаще всего фигурировали выходцы из бедных стран, расположенных за пределами культурного поля Европы, – Сирии (594 059 случаев пересечения), Афганистана (267 485), Ирака (101 275), Пакистана (43 310), Эритреи (40 349), Нигерии (23 605), Гамбии (8 874) [8. Р. 47].

Успех адаптации во многом зависит не только от самих мигрантов, но и от отношения коренного населения, обуславливающего готовность к приему. Исследователи отмечают, что установки принимающего сообщества могут производить эффект бумеранга – мигранты бессознательно воспроизводят паттерны, ожидаемые от них коренным населением [10. С. 74]. Освещение миграционного кризиса характеризуется большим потоком медийной информации. Однако миграционная тематика в российском дискурсе крайне политизирована [11], что чревато смещениями и искажениями информации. На таком фоне представляется целесообразным обратиться к материалам авторитетного сравнительного социологического проекта. Попутно отметим определенный дефицит современных исследований, базирующихся на данных межстрановых сравнительных социологических опросов.

Целью исследования является выявление установок по отношению к мигрантам населения России и других европейских стран, определение предпочтительных для принимающего сообщества стратегий межкультурного взаимодействия.

Методология исследования

Концептуальной основой исследования выступает теория комплексной угрозы (*integrated threat theory*, теория межгрупповых угроз), описывающая основные компоненты воспринимаемой угрозы, приводящие к предубеждениям между социальными группами [12], в частности между коренным населением и мигрантами. Предполагается, что представители принимающего сообщества выражают негативное отношение к тем группам, которые представляют для них угрозу. У. Стефан и К. Ренфро выделяют реальные (*realistic threats*) и символические угрозы (*symbolic threats*) [13]. Под первым типом понимаются угрозы физическому и материальному благополучию, угрозы существованию группы. Символическая угроза – восприятие того, что внешняя группа угрожает образу жизни, ценностям, верованиям, установкам принимающего сообщества. Результаты эмпирических исследований показывают, что идеология мультикультурализма и низкий уровень воспринимаемой угрозы со стороны мигрантов связаны с позитивным отношением к ним [14].

Актуальность воспринимаемой угрозы зависит от ряда факторов: групповой идентичности, уровня информированности, наличия конфликтов в прошлом, а также наличия контактов между социальными группами и др. [10, 12]. Теория контакта постулирует, что взаимодействие между представителями разных социальных групп способствует ослаблению негативных стереотипов [15, 16]. При этом к условиям оптимального контакта, способствующим снижению предрассудков, относятся поддержка интеграции, сотрудничество между представителями разных групп, институциональная приемлемость контакта [17. С. 191].

Методика и инструментарий исследования

Публикация базируется на вторичном анализе материалов второго релиза пятой волны межстранового социологического исследования «Европейское исследование ценностей» (European Values Study, EVS)¹, проведенного в 2017 г. В публикации анализируются данные по 27 странам. Азербайджан, Армения и Грузия географически расположены в Азии, поэтому не представлены в анализе.

При обработке первичной социологической информации использован факторный и корреляционный анализ. Из базы данных EVS-2017 были взяты для обработки ответы респондентов на пять вопросов (табл. 1).

Таблица 1. Вопросы анкеты и результаты факторного анализа

	Вопрос	Факторные нагрузки
Факторный анализ*	Q 51. Теперь мне хотелось бы узнать Ваше мнение об иммигрантах, т.е. о людях из других стран, которые переезжают жить в нашу страну. Какое влияние, на Ваш взгляд, эти люди оказывают на развитие страны? (Шкала ответов от 1 до 5: «1» означает «Очень плохое», а «5» – «Очень хорошее»)	0,75
	Q 52A. Посмотрите на утверждения на концах шкалы на этой карточке и скажите, куда бы Вы поместили Вашу точку зрения на этой шкале? «1» означает, что Вы полностью согласны с утверждением слева, «10» означает, что Вы полностью согласны с утверждением справа. Вы можете также выбрать любое число между ними. Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? (Шкала ответов от 1 до 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,75
	Иммигранты отнимают рабочие места у коренного населения	
	Иммигранты не отнимают рабочие места у коренного населения	
	Q 52B. Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? (Шкала ответов от 1 до 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,85
	Иммигранты способствуют увеличению уровня преступности	
	Иммигранты не способствуют увеличению уровня преступности	
	Q 52C. Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? (Шкала ответов от 1 до 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0,85
	Иммигранты являются бременем для национальной системы социального обеспечения	
	Иммигранты не являются бременем для национальной системы социального обеспечения	
	Q 52D. Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? (Шкала ответов от 1 до 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	Для общества было бы лучше, если бы иммигранты сохраняли свои обычаи и традиции	
	Для общества было бы лучше, если бы иммигранты не придерживались своих обычаев и традиций	

* Анализ методом главных компонент; извлечена только одна компонента; решение не может быть повернуто; мера выборочной адекватности Кайзера – Мейера – Олкина = 0,78; объясняемая дисперсия = 64,8%.

¹ «Европейское исследование ценностей» – проект, в рамках которого с 1981 г. регулярно проводится сравнительное изучение убеждений, предпочтений, установок, ценностей населения европейских стран. Опрашиваются респонденты в возрасте 18 лет и старше по репрезентирующей население страны случайной выборке. Метод сбора первичной социологической информации – формализованное личное интервью (face-to-face). В 2017 г. впервые ряд стран осуществил сбор данных в смешанном режиме с дополнительным использованием онлайн-опроса. (Подробнее см.: <https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/international-survey-programs/european-values-study/>.) В России опрос проведен ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований) в ноябре–декабре 2017 г., размер выборки – 1 825 респондентов.

Установки населения по отношению к мигрантам

Для выявления латентной переменной, характеризующей отношение респондентов к мигрантам, использовалась процедура факторного анализа. Поиск оптимального факторного решения проводился по различным наборам переменных (вопросов анкеты). Рассчитанный интегративный показатель (фактор), интерпретируемый как «отношение населения к мигрантам», включил в себя с высокими нагрузками четыре переменные – вопросы анкеты: Q 51, Q 52A, Q 52B, Q 52C (см. табл. 1). Проведенное факторное сравнение показало, что структура факторного решения идентична для национальных выборок. Чем больше значение по фактору, тем лучше респонденты относятся к иммигрантам. Иными словами, тем больше представители принимающего сообщества убеждены в позитивном влиянии мигрантов на развитие страны, согласны с тем, что иммигранты не являются источником экономической и физической угрозы.

Далее европейские страны были ранжированы по среднему значению фактора – чем лучше отношение населения страны к мигрантам, тем больше ее ранг. Расположение стран в соответствии с их рангами в системе координат от негативного до позитивного «отношения населения к мигрантам» представлено на рис. 1.

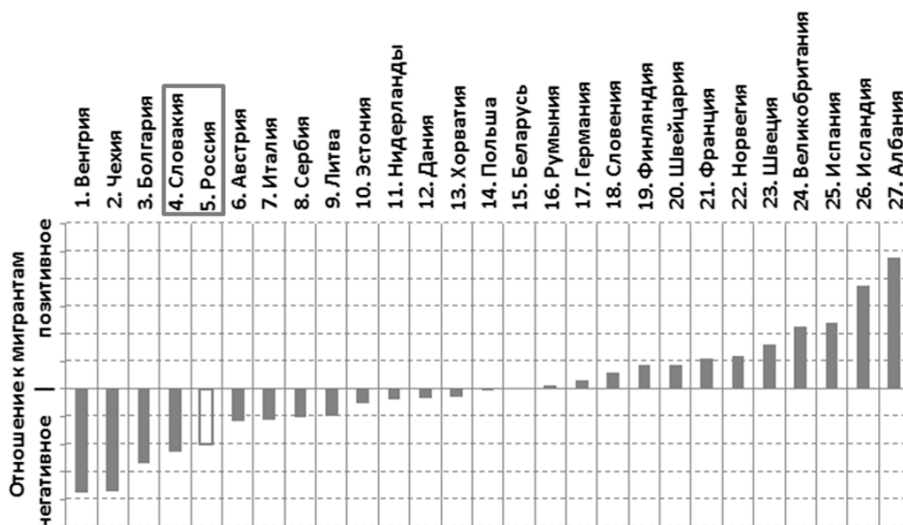


Рис. 1. Отношение жителей России и других европейских стран к мигрантам (ранжирование стран в порядке возрастания среднего значения фактора). Рамкой отмечена Словакия, где среднее значение фактора статистически значимо не отличается от России

Европейские страны оказались весьма дифференцированы по рассматриваемой характеристике. На общем фоне высоким оптимизмом отличаются оценки респондентов из Албании (ранг = 27). Отметим, что страна не пользуется популярностью у мигрантов, поскольку характеризуется низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности [18]. В Албании фиксируется одна из самых низких в Европе (наряду с Молдавией и Украиной) средняя месячная заработная плата [19]. Позитивное отношение отчасти связано и с тем, что албанцы сами в существенной степени являются трудовыми мигрантами.

В стране широкое распространение получила краткосрочная и сезонная и миграция в Грецию и Италию [20. С. 108]. При этом на официальном уровне все чаще декларируется озабоченность нехваткой человеческих ресурсов и целесообразность привлечения мигрантов в страну [21].

Выраженное позитивное отношение к мигрантам жителей Исландии (ранг = 26) во многом связано с географическим положением государства, находящегося далеко от материка у полярного круга. Это является естественным препятствием для большого миграционного прироста. Так, в момент пика миграционного кризиса (2015 г.) в Исландии было зафиксировано лишь 370 заявлений на получение убежища [22]. При этом население страны нельзя отнести к явным сторонникам сохранения культурного многообразия.

Испания (ранг = 25) как часть миграционного маршрута становится популярной только с 2018 г., что связывают с ужесточением контроля над границей между Ливией и Италией. В целом можно констатировать, что население Албании, Исландии и Испании фактически не сталкивается с масштабным проявлением негативных эффектов миграции.

Такие государства, как Великобритания (ранг = 24), Швеция (ранг = 23), Норвегия (ранг = 22), Франция (ранг = 21), принимают сравнительно большие миграционные потоки и имеют серьезный опыт приема иммигрантов. Здесь в терминах теории имеют место реальный контакт между группами и высокий уровень знаний о членах аутгрупп [10. С. 78]. Позитивные установки населения позволяют констатировать, что используемые в этих странах механизмы приема мигрантов достаточно эффективны, а условия межгруппового контакта близки к оптимальным.

В левой части рис. 1 расположились страны, население которых демонстрирует сравнительно негативное отношение к мигрантам. В их числе оказались государства, через которые проходили основные транзитные маршруты миграции – Венгрия (ранг = 1), Австрия (ранг = 6), Италия (ранг = 7), Сербия (ранг = 8). Население этих стран постоянно сталкивается с последствиями нелегальной миграции, что во многом и предопределяет установки респондентов. Здесь также оказались страны, сравнительно слабо затронутые основными потоками, – Чехия (ранг = 2), Болгария (ранг = 3), Словакия (ранг = 4), Литва (ранг = 9).

В ряде случаев установки населения можно связать с этнической однородностью принимающего социума, наличием устойчивых негативных этнических стереотипов. Отметим, что в постсоциалистических государствах в отличие от стран Западной Европы не настолько сильно актуализируется потребность в привлечении дополнительных трудовых ресурсов, при этом ярко выражено нежелание обременять дополнительной нагрузкой систему социального обеспечения. Полученные результаты позволяют констатировать, что среди населения России по сравнению с большинством европейских стран (ранг = 5) широко распространено негативное отношение к мигрантам. Такой вывод в целом соотносится с результатами других исследований [23, 24].

Для иллюстрации того, что собой представляет полученный нами ранг каждой страны после ранжирования средних значений интегративного показателя, обратимся к процентному выражению отношения респондентов к мигрантам в четырех выбранных для примера странах (табл. 2).

Таблица 2. Процентное выражение отношения респондентов к мигрантам в четырех странах, % опрошенных в стране

Ранг	Страна	Негативное	Скорее негативное	Скорее позитивное	Позитивное	Итого
01	Венгрия	57,8	19,3	13,5	9,3	100
05	Россия	37,1	28,6	22,8	11,6	100
14	Польша	24	26,2	25,8	24,1	100
27	Албания	7,2	11,1	18,5	63,2	100

В Венгрии (ранг = 1) и России (ранг = 5) имеет место закономерность: чем хуже отношение респондента к мигрантам, тем больше таких респондентов в стране. При этом большинство респондентов относятся к мигрантам негативно. Албания (ранг = 27) демонстрирует обратную закономерность: чем позитивнее отношение респондента к мигрантам, тем больше таких респондентов в стране. В Польше (ранг = 14) распределение близко к равномерному.

Стратегии межкультурного взаимодействия со стороны принимающего сообщества

О стратегиях межкультурного взаимодействия представителей принимающего сообщества и мигрантов отчасти позволяет судить распределение ответов на вопрос Q 52D (см. табл. 1). Шкала вопроса образует два полюса, которые можно интерпретировать как *ассимиляцию* (оптимально, что мигранты отказываются от своих обычаев и традиций и придерживаются норм и ценностей новой культуры) и *сохранение культурного наследия* (оптимально, что мигранты сохраняют свои обычаи и традиции) [25]. Сохранение возможно в разных формах от *мультикультурализма*, предполагающего включение в культурное поле культур мигрантов, до отсутствия смешения различных культурных групп между собой, проявляющегося в *изоляции (исключении)* мигрантов, их отторжении от различных сфер жизни общества [26, 27].

Отметим, что использование в факторном анализе дополнительной переменной Q 52D приводило к нарушениям идентичности факторного решения для национальных выборок¹. Это обосновывает целесообразность отдельного рассмотрения указанной переменной (рис. 2).

Обращает на себя внимание, что средний балл в большинстве европейских стран стремится к середине шкалы (5,5 балла)². В 20 странах отклонение среднего арифметического от середины шкалы не превышает 1,33 балла. Согласованность оценок объясняется наличием единого культурного пространства в современной Европе. За редкими исключениями существенная часть респондентов демонстрирует взвешенную позицию, понимая необходимость определенного компромисса между полярными точками зрения. Отметим, что рассматриваемый показатель оказался меньше середины шкалы только в Албании, Сербии, Литве, Хорватии и Румынии. Иными словами, население

¹ В странах, где переменная Q 52D все же попадала в главный фактор до вращения, в большинстве случаев она имела сравнительно низкую факторную нагрузку. Например, Беларусь (–0,288), Франция (–0,283), Болгария (–0,326), Румыния (–0,334) и т.д.

² Стандартное отклонение в абсолютном большинстве стран не превышает трех баллов. Минимальные значения показателя фиксируются в Норвегии (SD = 2,06), Швеции (SD = 2,19), Нидерландах (SD = 2,22), Финляндии (SD = 2,24), а максимальных значений достигают в Румынии (SD = 3,62).

перечисленных стран допускает параллельное существование культур принимающего сообщества и мигрантов.

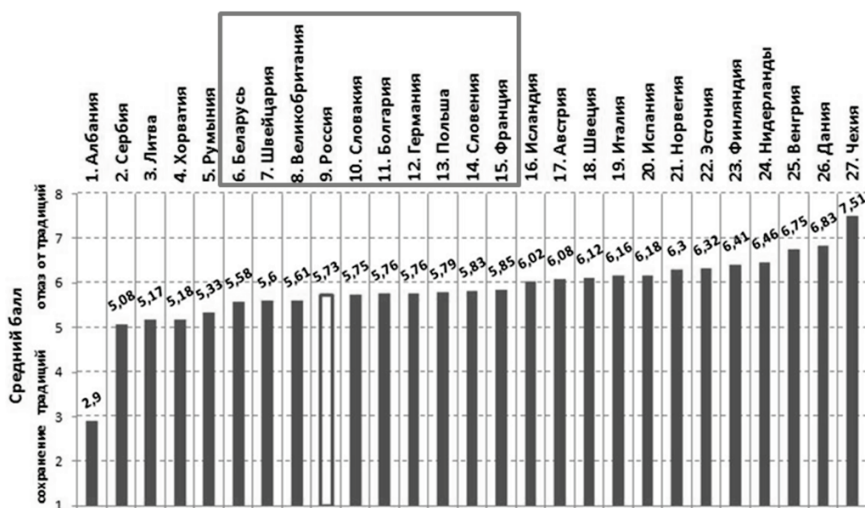


Рис. 2. Стратегии межкультурного взаимодействия со стороны принимающего сообщества (средний балл, от 1 балла – для общества лучше сохранение традиций мигрантов до 10 баллов – для общества лучше отказ от традиций мигрантов)

Показательно, что на сохранение культурного наследия мигрантов больше ориентированы респонденты из постсоциалистических стран (ранги 1–6) со сравнительно низким уровнем жизни, которые не рассматриваются иммигрантами как пункты конечного пребывания. Эти страны либо являются точками транзита на «балканском маршруте» (Сербия, Хорватия, в меньшей степени Албания), либо удалены от основных путей миграции (Литва, Румыния, Беларусь).

На общеевропейском фоне существенно выделяется Албания (2,9 балла), являясь своего рода «выбросом», что свидетельствует об ее уникальном положении в европейском культурном поле. Страна характеризуется сравнительно небольшой культурной дистанцией принимающего сообщества и мигрантов – ислам в государстве является преобладающей религией. Таким образом, срабатывает эффект «воспринимаемого сходства» [28] – чем больше мигранты воспринимаются принимающим сообществом как похожие, тем позитивней к ним относятся. Очевидно, что население страны не видит угрозы в сохранении мигрантами своего культурного уклада.

Жителям большинства стран – участниц проекта более привлекательной в качестве стратегии межкультурного взаимодействия представляется ассимиляция. Последнее сквозь призму общественного мнения подтверждает неоднократно высказываемый европейскими политиками тезис о провале политики мультикультурализма [29–31]. Полученные результаты иллюстрируют, что политика, направленная на сохранение и развитие культурных различий мигрантов и принимающего сообщества, не находит широкой поддержки среди европейцев.

В правой части рис. 2 расположились государства, население которых в большей мере уверено в целесообразности отказа мигрантов от своих обычаев и традиций – Чехия, Дания, Венгрия, Нидерланды, Финляндия, Эстония,

Норвегия. Установки россиян (5,73 балла; SD = 2,75) существенно не выделяются на европейском фоне. Средний балл в России статистически значимо не отличается от девяти европейских государств, отмеченных рамкой на рис. 2.

Угроза культуре как детерминанта отношения к мигрантам

Выявление зависимости между отношением коренного населения к мигрантам и ощущением угрозы культуре потребовало проведения корреляционного анализа¹ между рассчитанным ранее интегративным показателем и переменной Q 52D. Подразумевается, что символическая угроза проявляется в отсутствии уверенности в сохранности культуры коренного населения, несоблюдении мигрантами принятых норм поведения и традиций, культурном обособлении мигрантов, что в крайней форме может привести к возникновению замкнутых национальных анклавов. Актуализация угрозы культуре принимающего сообщества сопряжена с выбором в качестве предпочтительной стратегии взаимодействия ассимиляции, подразумевающий отказ мигрантов от своих обычаев и традиций и усвоение ценностей доминантной культуры или сегрегации выражающейся в изоляции культурной группы.

В подавляющем большинстве европейских стран обнаружена теоретически обоснованная статистически значимая ($p < 0,001$) обратная корреляционная зависимость. Иными словами, чем позитивнее отношение населения к мигрантам, тем больше уверенность респондентов в пользе для общества сохранения приезжими своих обычаев и традиций и наоборот негативные установки связаны с предпочтением стратегии ассимиляции (рис. 3). Только в Польше корреляция отсутствует, а в Сербии и Литве слабая зависимость имеет прямое направление.

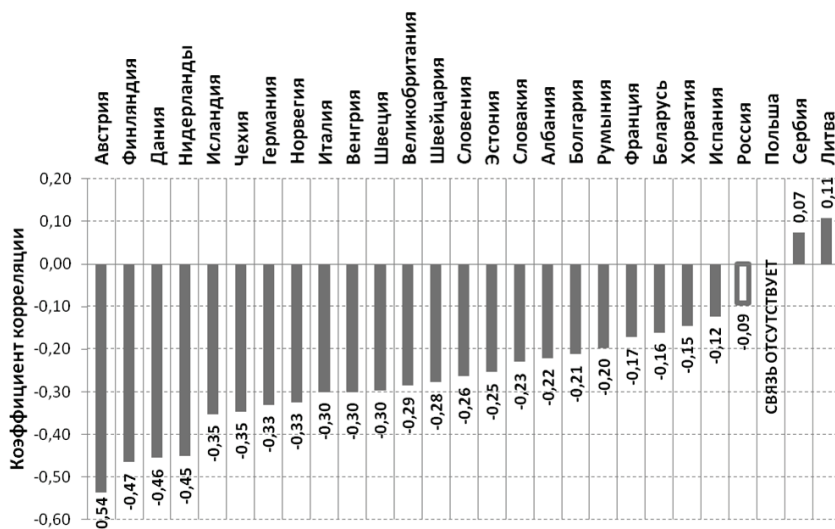


Рис. 3. Корреляционная зависимость между отношением населения европейских стран к мигрантам и стратегией межкультурного взаимодействия (значение коэффициента корреляции). Коэффициент корреляции может принимать значения от «0» – признаки независимы, до «1» (по модулю) – последовательности рангов полностью совпадают

¹ Вычислялся ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

В Литве, Сербии, России, Беларуси, Хорватии на фоне скорее негативно-го или нейтрального по европейским меркам отношения к мигрантам влияние культурной угрозы на установки респондентов не очень велико, как упоминалось ранее, в Польше значимая связь отсутствует. Бывшие республики Югославии являются частью транзита, а не местом конечного назначения. Остальные страны миграционный кризис в полной мере не затронул. Похожая ситуация только при выраженных позитивных установках населения характерна для Испании.

Сильнее всего символическая угроза детерминирует отношение к мигрантам в Австрии, Финляндии, Дании, Нидерландах. Немного слабее выявленная зависимость в Германии, Норвегии, Италии, Швеции, Великобритании, Швейцарии – странах, принявших основные миграционные потоки. При сильно выраженном негативизме по отношению к мигрантам волнует сохранение собственной культуры жителей Чехии и Венгрии, в несколько ослабленном виде картина повторяется в Словакии и Болгарии.

Заключение

Проведенный факторный анализ позволил рассчитать интегративный показатель, характеризующий отношение коренного населения к мигрантам. Чем больше представители принимающего сообщества убеждены в позитивном влиянии мигрантов на развитие страны, согласны с тем, что иммигранты не являются источником экономической (конкуренция на рынке труда, обременение системы социального обеспечения) и физической (рост преступности) угрозы, тем позитивнее отношение к ним.

Результаты исследования свидетельствуют, что европейские страны дифференцированы в зависимости от установок населения по отношению к мигрантам. Выявленные различия обусловлены действием комплекса взаимосвязанных факторов – географическое положение страны, масштабы миграционных потоков, этническая однородность принимающего социума, наличие опыта приема мигрантов и др. Можно констатировать, что на общеевропейском фоне в России сравнительно широко распространено негативное отношение к мигрантам.

Жителям большинства стран – участниц проекта более привлекательной в качестве стратегии межкультурного взаимодействия с мигрантами представляется ассимиляция. Политика, направленная на сохранение и развитие культурных различий мигрантов и принимающего сообщества, не находит широкой поддержки среди европейцев. Это аргумент в пользу тезиса о кризисе политики мультикультурализма в Европе. В то же время весьма существенная часть респондентов демонстрирует взвешенную позицию, не отдавая явного предпочтения той или иной стратегии взаимодействия. Установки россиян существенно не выделяются на европейском фоне.

В подавляющем большинстве европейских стран выявлена статистически значимая корреляционная зависимость – чем позитивнее отношение населения к мигрантам, тем больше уверенность респондентов в пользе для общества сохранения приезжими своих обычаев и традиций. Отсутствие уверенности в сохранности культуры коренного населения, несоблюдении мигрантами принятых норм поведения и традиций обуславливает выбор стратегии ассимиляции, связанный с негативным отношением к мигрантам. В России выявленная корреляция проявляется сравнительно слабо.

В заключение отметим, что в настоящей публикации рассмотрены лишь некоторые аспекты затрагиваемой проблематики. Перспективным представляется проведение множественного регрессионного анализа с целью выявления факторов неприятия мигрантов принимающим сообществом.

Литература

1. Вишневский А. Новая роль миграции в демографическом развитии России // Российский совет по международным делам. 2013. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-rol-migratsii-v-demograficheskom-razvitii-rossii/> (дата обращения: 14.10.2020).
2. Плоских Е.В., Межеричкий В.П. Влияние миграции на демографический потенциал // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14, № 3. С. 179–183.
3. Лузина Т.В., Елфимова О.С. Проблемы миграционной безопасности и региональные тенденции миграционных процессов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2019. № 1 (46). С. 213–221.
4. Троицкая О.В. Управление миграцией и безопасность: опыт развитых стран // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2012. № 4. С. 97–112.
5. Силантьева В.А. Регулирование миграционных процессов как основа национальной безопасности России // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 3–1. С. 22–27.
6. Янковская Е.С. Система национальной безопасности и международная миграция // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2014. № 4 (25). С. 79–84.
7. Lucini B. Security, resilience and migration: a sociological analysis. Lessons learned from the Federal Republic of Germany // Sicurezza, terrorismo e societa. 2016. № 3. P. 41–60.
8. Risk Analysis for 2017. European Borders and coast guard agency. Warsaw, 2017. 60 p. DOI: 10.2819/94559
9. Миграция населения в России: тенденции, проблемы, пути решения // Социальный бюллетень. № 11. Май 2018. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. URL: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16774.pdf> (дата обращения: 14.10.2020).
10. Миграционные процессы и проблемы адаптации / отв. ред. В.В. Константинов. Пенза : ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. 184 с.
11. Мукомель В.И. Мигранты на российском рынке труда: занятость, мобильность, интенсивность и оплата труда // Статистика и Экономика. 2017. № 6. С. 69–79. DOI: 10.21686/2500-3925-2017-6-69-79
12. Stephan W.G., Stephan C.W. An integrated threat theory of prejudice // Reducing Prejudice and Discrimination / ed. S. Oskamp. Mahwah (New Jersey) : Lawrence Erlbaum Associates, 2000. P. 23–45.
13. Stephan W.G., Renfro C.L. The role of threat in intergroup relations / From prejudice to intergroup emotions: Differentiated reactions to social groups. D.M. Mackie, E.R. Smith (Eds.). 2002. New York : Psychology Press, P. 191–207.
14. Ward C., Masgoret A.M. An integrative model of attitudes towards immigrants // International Journal of Intercultural Relations. 2006. Vol. 30 (6). P. 671–682.
15. Allport G.W. The nature of prejudice. New York : Basic books, 1979.
16. Pettigrew T.F., Tropp L.R. When groups meet: The dynamics of intergroup contact. New York : Psychology Press, 2012.
17. Варшавер Е.А. Теория контакта: обзор // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 183–214.
18. Рейтинг стран по уровню умышленных убийств. Информационный портал NoNews. Режим доступа: <https://nonews.co/directory/lists/countries/killer> (дата обращения: 14.10.2020).
19. Wage Statistics, Q1 – 2019 // The Institute of Statistics (INSTAT). URL: <http://www.instat.gov.al/en/themes/labour-market-and-education/wages/publications/2019/wage-statistics-q1-2019/> (дата обращения: 14.10.2020).
20. Синицына И.С. Международная трудовая миграция в Центральной и Юго-Восточной Европе // Россия и современный мир. 2017. № 1 (94). С. 103–119.
21. Албания приглашает мигрантов! // Русские Афины. 30.09.2019. URL: <https://rua.gr/news/migrantskij-front/32910-albaniya-priglasiaet-migrantov.html> (дата обращения: 14.10.2020).

22. *Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded)* // Eurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en (дата обращения: 14.10.2020).
23. *New Index Shows Least-, Most-Accepting Countries for Migrants* // Gallup. 23.08.2017. Режим доступа: <https://news.gallup.com/poll/216377/new-index-shows-least-accepting-countries-migrants.aspx> (дата обращения: 14.10.2020).
24. Донцов А.И., Зеленев И.А., Прохода В.А. Макросоциальная динамика и этническая толерантность/ интолерантность в современных Европе и России // Вопросы психологии. 2019. № 3. С. 75–93.
25. *Moghaddam F.M.* Individualistic and collective integration strategies among immigrants: Toward a mobility model of cultural integration // *Ethnic psychology: Research and practice with immigrants, refugees, native peoples, ethnic groups and sojourners* / eds. J.W. Berry, R.C. Annis. Amsterdam, 1988. P. 69–79.
26. *Berry J.W.* Acculturative Stress // *Psychology and Culture* / eds. by W.J. Lonner, R.S. Malpass. New York, 1994.
27. *Стратегии межкультурного взаимодействия мигрантов и населения России* / под ред. Н.М. Лебедевой, А.Н. Татарко. М.: РУДН, 2009. 420 с.
28. Триандис Г.К. Культура и социальное поведение. М., 2007. 382 с.
29. Саркози признал провал политики мультикультурализма // РИА Новости. 11.02.2012. URL: <https://ria.ru/20110211/333034181.html> (дата обращения: 14.10.2020).
30. *Merkel says German multicultural society has failed* // BBC News. 17.10.2010. URL: <https://www.bbc.com/news/world-europe-11559451> (accessed: 14.10.2020).
31. *State multiculturalism has failed, says David Cameron* // BBC News. 05.02.2011. URL: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994> (дата обращения: 14.10.2020).

Vladimir A. Prokhoda, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

E-mail: prohoda@bk.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 151–163.

DOI: 10.17223/1998863X/60/14

ATTITUDE TOWARDS MIGRANTS AND STRATEGIES OF INTERCULTURAL INTERACTION IN RUSSIA AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Keywords: migration; migrants; attitude towards migrants; strategies of intercultural interaction.

The study aims to identify the attitude of the population of Russia and of other European states towards migrants, to determine the strategies of intercultural interaction that are preferable for the host community. The publication is based on a secondary analysis of the materials of a cross-country sociological study, European Values Study (2017). Data for 27 countries were analyzed. The conceptual framework is the complex threat theory, which describes the main components of the perceived threat, leading to prejudice between social groups. To identify the latent variable characterizing the attitude of respondents to migrants, a factor analysis procedure was used. An integrative indicator was calculated that characterizes the attitude of the indigenous population towards migrants. The more the representatives of the host community are convinced of the positive impact of migrants on the development of the country and agree that immigrants are not a source of economic (competition in the labor market, burdening the social security system) and physical (growth in crime) threats, the more positive the attitude towards them is. The study showed that European countries are differentiated depending on the attitudes of the population towards migrants. The revealed differences are due to the action of a set of interrelated factors – the geographic location of the country, the scale of migration flows, the experience of receiving migrants, etc. In Russia, as compared to most European countries, a negative attitude towards migrants is more pronounced. Policies aimed at preserving and developing cultural differences between migrants and the host community do not find wide support among Europeans. Residents of most countries participating in the project see assimilation as a more attractive strategy of intercultural interaction with migrants. At the same time, a significant part of Europeans demonstrate a balanced position, not giving a clear preference for one or another interaction strategy. The attitudes of Russians do not stand out against the general background. A statistically significant correlation was revealed between the positive attitude of the population towards migrants and the respondents' confidence in the benefit to society from newcomers' preserving their customs and traditions. The lack of such confidence determines the choice of an assimilation strategy associated with a negative attitude towards migrants. The revealed correlation is weak in Russia.

References

1. Vishnevskiy, A. (2013) *Novaya rol' migratsii v demograficheskom razvitii Rossii* [The new role of migration in the demographic development of Russia]. [Online] Available from: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-rol-migratsii-v-demograficheskom-razvitii-rossii/> (Accessed: 14th October 2020).
2. Ploskikh, E.V. & Mezheritskiy, V.P. (2014) Vliyanie migratsii na demograficheskiy potentsial [Impact of migration on demographic potential]. *Vestnik KRSU – Herald of KRSU*. 14(3). pp. 179–183.
3. Luzina, T.V. & Elfimova, O.S. (2019) Problemy migratsionnoy bezopasnosti i regional'nye tendentsii migratsionnykh protsessov [Problems of migration security and regional trends in migration processes]. *Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa*. 1(46). pp. 213–221.
4. Troitskaya, O.V. (2012) Upravlenie migratsiei i bezopasnost': opyt razvitykh stran [Migration Management and Security: Experience of Developed Countries]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 25. Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika – Moscow University Bulletin of World Politics*. 4. pp. 97–112.
5. Silantieva, V.A. (2016) Regulirovanie migratsionnykh protsessov kak osnova natsional'noy bezopasnosti Rossii [Regulation of migration processes as the basis of the national security of Russia]. *Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl' – Historical and Socio-Educational Idea*. 8(3–1). pp. 22–27. DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-22-27
6. Yankovskaya, E.S. (2014) Sistema natsional'noy bezopasnosti i mezhdunarodnaya migratsiya [The system of national security and international migration]. *Vestnik Sankt-Peterburgskoy yuridicheskoy akademii*. 4(25). pp. 79–84.
7. Lucini, B. (2016) Security, resilience and migration: a sociological analysis. Lessons learned from the Federal Republic of Germany. *Sicurezza, terrorismo e societa*. 3. pp. 41–60.
8. European Borders and Coast Guard Agency. (2017) *Risk Analysis for 2017*. Warsaw: [s.n.]. DOI: 10.2819/94559
9. Analytical Center for the Government of the Russian Federation. (2018) Migratsiya naseleniya v Rossii: tendentsii, problemy, puti resheniya [Migration of the population in Russia: trends, problems, solutions]. *Sotsial'nyy byulleten'*. 11. [Online] Available from: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16774.pdf> (Accessed: 14th October 2020).
10. Konstantinov, V.V. (2009) *Migratsionnye protsessy i problemy adaptatsii* [Migration processes and problems of adaptation]. Penza: Penza State Pedagogical University.
11. Mukomel, V.I. (2017) Migrants at the Russian labor market: occupations, mobility, intensity of labor and wages. *Statistika i Ekonomika – Statistics and Economics*. 6. pp. 69–79. (In Russian). DOI:10.21686/2500-3925-2017-6-69-79
12. Stephan, W.G. & Stephan, C.W. (2000) An integrated threat theory of prejudice. In: Oskamp, S. (ed.) *Reducing Prejudice and Discrimination*. Mahwah (New Jersey): Lawrence Erlbaum Associates. pp. 23–45.
13. Stephan, W.G. & Renfro, C.L. (2002) The role of threat in intergroup relations. In: Mackie, D.M. & Smith, E.R. (eds) *From prejudice to inter-group emotions: Differentiated reactions to social groups*. Psychology Press. pp. 191–207.
14. Ward, C. & Masgoret, A.M. (2006) An integrative model of attitudes towards immigrants. *International Journal of Intercultural Relations*. 30(6). pp. 671–682. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2020.02.001
15. Allport, G.W. (1979) *The Nature of Prejudice*. New York: Basic books.
16. Pettigrew, T.F. & Tropp, L.R. (2012) *When groups meet: The dynamics of intergroup contact*. New York: Psychology Press.
17. Varshaver, E.A. (2015) Teoriya kontakta: obzor [Contact theory: an overview]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny*. 5. pp. 183–214.
18. NoNews. (n.d.) *Reyting stran po urovnyu umyshlennykh ubiystv* [Rating of countries by the level of premeditated murders]. [Online] Available from: <https://nonews.co/directory/lists/countries/killer> (Accessed: 14th October 2020).
19. The Institute of Statistics (INSTAT). (2019) *Wage Statistics, Q1 – 2019*. [Online] Available from: <http://www.instat.gov.al/en/themes/labour-market-and-education/wages/publications/2019/wage-statistics-q1-2019/> (Accessed: 14th October 2020).
20. Sinitsyna, I.S. (2017) The International Labour Migration of Population from Central and South-Eastern Europe. *Rossiya i sovremennyy mir – Russia and the Contemporary World*. 1(94). pp. 103–119. (In Russian). DOI: 10.31249/rsm/2017.01.08

21. *Russkie Afiny*. (2019) Albaniya priglashaet migrantov! [Albania invites migrants!]. 30th September. [Online] Available from: <https://rua.gr/news/migrantskij-front/32910-albaniya-priglashaet-migrantov.html> (Accessed: 14th October 2020).
22. Eurostat. (n.d.) *Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex. Annual aggregated data (rounded)*. [Online] Available from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap-pctza&lang=en (Accessed: 14th October 2020).
23. *Gallup*. (2017) New Index Shows Least-, Most-Accepting Countries for Migrants. 23rd August. [Online] Available from: <https://news.gallup.com/poll/216377/new-index-shows-least-accepting-countries-migrants.aspx> (Accessed: 14th October 2020).
24. Dontsov, A.I., Zelenev, I.A. & Prokhoda, V.A. (2019) Makrosotsial'naya dinamika i etnicheskaya tolerantnost' / intolerantnost' v sovremennykh Evrope i Rossii [Macrosocial dynamics and ethnic tolerance / intolerance in modern Europe and Russia]. *Voprosy psikhologii*. 3. pp. 75–93.
25. Moghaddam, F.M. (1988) Individualistic and collective integration strategies among immigrants: Toward a mobility model of cultural integration. In: Berry, J.W. & Annis, R.C. (eds) *Ethnic psychology: Research and practice with immigrants, refugees, native peoples, ethnic groups and sojourners*. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. pp. 69–79.
26. Berry, J.W. (1994) Acculturative Stress. In: Lonner, W.J. & Malpass, R.S. (eds) *Psychology and Culture*. New York: Pearson.
27. Lebedeva, N.M. & Tatarko, A.N. (2009) *Strategii mezhkul'turnogo vzaimodeystviya migrantov i naseleniya Rossii* [Strategies for intercultural interaction between migrants and the population of Russia]. Moscow: Russian University of People's Friendship.
28. Triandis, G.K. (2007) *Kul'tura i sotsial'noe povedenie* [Culture and Social Behavior]. Translated from English. Moscow: Forum.
29. RIA Novosti. (2012) *Sarkozi priznal proval politiki mul'tikul'turalizma* [Sarkozy admitted the failure of multiculturalism policy]. 11th February. [Online] Available from: <https://ria.ru/20110211/333034181.html> (Accessed: 14th October 2020).
30. BBC News. (2010) *Merkel says German multicultural society has failed*. 17th October. [Online] Available from: <https://www.bbc.com/news/world-europe-11559451> (Accessed: 14th October 2020).
31. BBC News. (2011) *State multiculturalism has failed, says David Cameron*. 5th February. [Online] Available from: <https://www.bbc.com/news/uk-politics-12371994> (Accessed: 14th October 2020).

УДК 316.74 + 316.774 + 327.83
DOI: 10.17223/1998863X/60/15

Г.А. Савчук, И.Б. Бритвина, В.А. Франц

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ ВУЗОВ КАК КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-011-00471.

Система высшего образования – один из элементов государственной «мягкой силы». В России учится много студентов из стран Центральной Азии. Российская Федерация имеет в этом регионе ряд стран-конкурентов, использующих привлекательность собственных систем высшего образования. Осуществлен сравнительный анализ сайтов вузов России, Казахстана, Китая, Турции, Южной Кореи и Японии (N = 30), занимающих высокие позиции в международных рейтингах.

Ключевые слова: интернационализация, высшее образование, «мягкая сила», коммуникативные технологии, интернет-сайт вуза, иностранные студенты, Центральная Азия.

Интернационализация образования тесно связана с повышением эффективности ряда направлений деятельности государства. Вузы работают по привлечению иностранных студентов, опираясь на поддержку со стороны государства (льготы для иностранных студентов, выделение стипендий и квот, возможность поступать для обучения на бюджетные места). Кроме того, влияние на иностранных абитуриентов может оказывать «мягкая сила»: выбирая зарубежный вуз для обучения, будущий студент оценивает для себя привлекательность страны, в которой он будет временно жить.

Доля граждан из стран Центральной Азии среди иностранных студентов в российских вузах существенна. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 г. доля студентов из стран Центральной Азии в числе иностранных студентов составляла 56% в государственных вузах России, в негосударственных вузах – 63% [1]. В Центральной Азии, наряду с США, Японией и странами Евросоюза, стремятся усилить свое влияние Китай, Турция и Южная Корея, тем самым становясь конкурентами России. Активным игроком на рынке образовательных услуг в Центральной Азии в настоящее время является Казахстан. На сегодняшний день доля студентов из стран Центральной Азии в Казахстане, по данным Центра международных программ (Астана), составляет около 43%, в Турции – 17% [2], в Китае – около 6% [3] и около 3% в Южной Корее, по данным Национального института международного образования (NIIED). Наименьшее число студентов из стран Центральной Азии в Японии (около 0,8%) [4].

Согласно исследованиям, сайт – один из самых эффективных каналов коммуникации при международном продвижении вуза [5]. Это «первый контакт» при взаимодействии абитуриентов с вузом. На сайте в максимально концентрированном виде представлена информация об особенностях и преимуществах вуза, его позиционировании.

Целью нашего исследования являлся сравнительный анализ использования интернет-сайтов вузов как канала воздействия «мягкой силы» на иностранных студентов из стран Центральной Азии. В рамках исследования мы опирались на подход экспертов агентства «Portland», ежегодно составляющего отчет «Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power» [6], которые рассматривают систему высшего образования как один из значимых элементов «мягкой силы» государства наряду с другими компонентами, такими как государственное управление, дипломатия, бизнес и инновации, культура, цифровизация, внешняя политика, качество жизни.

Концепция «мягкой силы» была создана и популяризирована Джозефом Наем в начале 1990-х гг. Най рассматривает мягкую силу как «способность получить желаемое посредством притяжения, а не принуждения или платежей» [7] и считает высшее образование важным источником «мягкой силы». Среди наиболее значимых исследователей, рассматривающих высшее образование через призму «мягкой силы», можно назвать С. Лукеса (S. Lukes), Г.М. Галларотти (G.M. Gallarotti), Дж. Найта (J. Knight), П.Г. Черни (P.G. Cerny), П. Макгилл Питерсона (P. McGill Peterson), П.Г. Альтбаха (P.G. Altbach), Т. Хопфа (T. Hopf), К. Аткинсона (C. Atkinson).

Можно выделить два основных критерия, разделяющих исследования «мягкой силы» высшего образования на противоположные течения. Первый – это характер «мягкой силы»: ряд исследователей (Дж. Найт, Г.М. Галларотти, П.Г. Черни) полагает, что «мягкая сила» высшего образования должна быть преимущественно «пассивной» (представлять собой естественную, никак и никем не регулируемую привлекательность). Их оппоненты (С. Лукес, К. Атkinson, Т. Хопф) настаивают на активном (целенаправленно управляемом и формируемом) характере «мягкой силы» системы высшего образования.

Второй критерий – это значимость академических и неакадемических факторов в формировании «мягкой силы» высшего образования. Академическим факторам первенство отдают, в частности, Дж. Найт, К. Атkinson, Т. Хопф, А. Войчук, а неакадемическим – Г.М. Галларотти, С. Лукес, А. Торкунов. При этом большинство как российских, так и зарубежных исследований посвящены изучению академических аспектов «мягкой силы» высшего образования. Суммируя существующие позиции, к академическим факторам привлекательности вузов, а также системы высшего образования в целом можно отнести государственную политику в сфере высшего образования, уровень интернационализации в конкретных вузах, качество и специфику учебных программ, доступность обучения на английском или родном языке, организацию процедуры поступления. К неакадемическим относят уровень и стоимость жизни в стране, политические и культурные ценности, условия получения виз, а также гражданства после окончания вуза, уровень толерантности общества, условия интеграции в принимающее сообщество. С нашей точки зрения, важно рассмотреть как активную, так и пассивную «мягкую силу» высшего образования, а также как академические, так и неакадемические факторы.

Система высшего образования конкретных стран в контексте «мягкой силы» является распространенным объектом исследования. Существует ряд работ российских и зарубежных исследователей о «мягкой силе» Китая в контексте высшего образования (Р. Янг, Э. Метцгар, К. Кинг, Дж. Альтерман,

М.П. Першина, Д.М. Ковалёва). Данный аспект «мягкой силы» Японии анализируется в исследованиях С. Грина, В.А. Королёва. «Мягкая сила» России в контексте высшего образования раскрывается в работах ряда исследователей (А.В. Торкунов, М.М. Лебедева, Н.Е. Суханова, С.Л. Таланов).

Большинство исследователей российской «мягкой силы» сходятся во мнении, что отечественное высшее образование имеет высокий потенциал, однако он реализуется недостаточно. При этом популярность российских вузов в Центральной Азии по-прежнему достаточно высока [10, 11].

Коммуникативные технологии, а также каналы коммуникации, используемые в рамках продвижения системы высшего образования или учреждения высшего образования, насколько нам известно, с точки зрения «мягкой силы» не рассматривались. Под коммуникативными технологиями мы понимаем системно организованную, опирающуюся на программу (план) совокупность операций, структур и процедур, обеспечивающих достижение цели социального субъекта посредством управляемой социальной коммуникации [12. С. 8]. Интернет-сайт представляет собой один из каналов используемых вузом коммуникативных технологий.

Современные исследования показывают, что в настоящий момент интернет-сайты вузов остаются наиболее эффективным инструментом привлечения иностранных студентов [13]. В связи с этим в рамках нашего исследования было принято решение об анализе сайтов наиболее успешных в интернационализации университетов стран-конкурентов России в Центральной Азии (что отражено в рейтингах QS University Rankings и The University Rankings). При определении стран-конкурентов мы руководствовались следующим: согласно данным Российского совета по международным делам (РСМД), в настоящее время наиболее активными игроками в странах Центральной Азии являются США, страны Евросоюза, Россия, Китай, Южная Корея, Япония и Турция [5]. Все перечисленные страны имеют существенное влияние в Центральной Азии, однако увеличивать его наряду с Россией планируют Китай, Южная Корея, Япония, Турция и Казахстан, в связи с чем именно эти страны были выбраны для анализа в рамках данной статьи.

С нашей точки зрения, выбор иностранными студентами вуза для обучения обуславливается, помимо его академической репутации, рассмотренными выше аспектами «мягкой силы»: привлекательностью страны и привлекательностью системы образования. Поэтому, рассматривая сайт вуза как канал коммуникации в контексте «мягкой силы», мы анализировали его с точки зрения представленности информации как академического, так и неакадемического характера.

Авторами статьи в мае–июне 2019 г. был проведен сравнительный анализ сайтов вузов России, Казахстана, Китая, Турции, Южной Кореи и Японии ($N = 30$). В каждой из стран мы выбрали пять вузов, занимающих наиболее высокие позиции в международных рейтингах (QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Shanghai Ranking) и, соответственно, имеющих большое число иностранных студентов. Такой выбор обоснован тем, что эти вузы имеют успешный опыт по привлечению иностранных студентов и уделяют внимание международному продвижению через сайт. Мы использовали методику, разработанную РСМД для анализа англоязычных интернет-ресурсов университетов (разделы «Поступление в

университет», «Выпускники» и «Карьера»). По мнению разработчиков этой методики, данные разделы наиболее важны для абитуриентов [13]. Мы также дополнили данную методику авторской, цель которой – выявить ориентированность коммуникации через сайт на студентов из стран Центральной Азии. Данная методика состояла из шести блоков информации, в каждом из которых бинарно замерялось несколько позиций (присутствие или отсутствие информации на сайте): особенности поступления для студентов из стран Центральной Азии; международное сотрудничество вуза со странами и вузами Центральной Азии; участие представителей из стран Центральной Азии в различных структурах вуза и ассоциациях; размещение информации о привлекательности страны обучения и места обучения; наличие в новостной ленте университетских событий за последние три года сообщений с акцентом на страны Центральной Азии; наличие и содержание коммуникации со студентами из стран Центральной Азии через социальные сети. С нашей точки зрения, такой подход позволяет замерить присутствие на сайтах вузов информации, отражающей как академические, так и неакадемические факторы привлекательности вузов.

В соответствии с теми критериями, которые мы определили, были проанализированы следующие вузы.

Россия: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Томский политехнический университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Казахстан: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университета им. Л.Н. Гумилёва, Казахстанский национальный технический университет имени Сатпаева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Китай: Университет Цинхуа (Tsinghua University), Пекинский университет (Peking University), Фуданьский университет (Fudan University), Шанхайский университет транспорта (Shanghai Jiao Tong University), Чжэцзянский университет (Zhejiang University).

Турция: Университет Коча (Koç University), Университет Билькент (Bilkent University), Университет Сабанчи (Sabancı University), Центрально-азиатский технический университет (Middle East Technical University), Босфорский университет (Bosphorus University).

Южная Корея: Сеульский национальный университет (Seoul National University), Корейский институт передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology), Пхоханский университет науки и технологии (Pohang University of Science and Technology), Университет Корё (Korea University), Университет Сонгюнгван (Sungkyunkwan University).

Япония: Токийский университет (University of Tokyo), Киотский университет (Kyoto University), Токийский технологический институт (Tokyo Institute of Technology), Осакий университет (Osaka University), Университет Тохоку (Tohoku University).

Учитывая, что студенты из стран Центральной Азии в России и Казахстане, как правило, учатся на русском языке, то для вузов из России и Казах-

стана мы анализировали русскоязычные версии сайтов, а для вузов из Китая, Турции, Южной Кореи и Японии – англоязычные версии.

По результатам нашего исследования с использованием методики РСМД можно сделать следующие выводы: наиболее информативно для иностранных студентов из Центральной Азии раздел «Поступление в университет» проработан у российских вузов (9,8 баллов в среднем из максимально возможных 10), затем идут японские вузы (8,6), южнокорейские (7,8), турецкие (7,4), казахские (6,6) и китайские вузы (5,4). Раздел «Выпускники» также лучше всего проработан у российских вузов (3,4 балла в среднем из 7 максимально возможных), затем следуют турецкие вузы (2,6), японские и казахстанские (по 2,4), китайские и южнокорейские (по 1,0). Раздел «Карьера»: Россия (4,2 балла в среднем из 7 возможных), Турция (3,0), Казахстан (2,2), Япония (0,8), Китай и Южная Корея (по 0 баллов). Следует отметить, что интернет-сайты вузов, созданные на родном языке, превосходят по информативности англоязычные версии сайтов, чем, на наш взгляд, объясняется разница в их оценке.

Анализ ориентированности коммуникации через сайт на студентов из стран Центральной Азии проводился по авторской методике. Информация была систематизирована по двум блокам: информация академического и неакадемического характера. К информации академического характера, содержащейся на сайтах вузов, мы отнесли информацию о возможностях обучения для иностранных абитуриентов, специфику организации процесса поступления для этой категории абитуриентов, международное сотрудничество со странами Центральной Азии.

Вузы всех шести стран ориентированы на привлечение иностранных студентов. Сравнивая особенности применения «мягкого» воздействия на абитуриентов из Центральной Азии, мы пришли к выводу, что академический аспект потенциального влияния наиболее развит в вузах России и Казахстана, меньшее развитие этого аспекта отмечено в Южной Корее и Китае. Все вузы имеют более-менее подробную информацию, поясняющую наличие грантов и стипендий для иностранных студентов, а также предлагают сервисы для онлайн-поступления. Но вузы Казахстана и России дополнительно к этому информируют через свои интернет-сайты абитуриентов из стран Центральной Азии о возможностях поступления через свои филиалы в этих странах, об организации выездных комиссий для приема документов и вступительных экзаменов, наличии филиалов ассоциаций выпускников в странах Центральной Азии, представлена информация о международном сотрудничестве с вузами из этих стран. Сравнивая деятельность вузов России и Казахстана в этом отношении, нужно отметить, что усилия российских вузов более значительны, несмотря на то, что Казахстан географически, экономически, политически и культурно имеет больше шансов получать абитуриентов из стран Центральной Азии.

В отношении интернет-сайтов вузов Южной Кореи и Китая можно сделать вывод, что они ориентируются на привлечение иностранных студентов в целом и не заинтересованы в акцентировании на студентах из Центральной Азии. Кроме того, обучение в Южной Корее и Китае осуществляется либо на языках этих стран, либо на английском языке, что сразу отсекает часть центральноазиатского потока абитуриентов. Однако отдельные факты развития

международного сотрудничества вузов Южной Кореи и Китая со странами Центральной Азии на сайтах отмечены. Например, Корейский институт передовых технологий развивает партнерские отношения с Ташкентским университетом информационных технологий (Узбекистан) и с Центром международных программ (JSC) (Казахстан). Университет Корё указывает партнерами вузы Узбекистана и России. В целом вузы Южной Кореи из всех стран Центральной Азии больше всего ориентированы на сотрудничество с Узбекистаном. Вузы Японии (Киотский и Токийский университеты) имеют в качестве партнеров вузы Казахстана, а также вузы Киргизстана и Узбекистана (университет Тохоку). Вузы Японии в отношении привлечения студентов из стран Центральной Азии на своих сайтах не размещают никакой информации, кроме факта партнерских отношений с вузами этого региона. На сайтах анализируемых турецких вузов нет информации о вузах-партнерах. Только университет Билькент ориентируется на привлечение учащихся из Центральной Азии, что отражается в содержании ряда разделов, для остальных вузов ситуация аналогична японской.

К информации неакадемического характера, содержащейся на сайтах вузов, мы отнесли информацию о привлекательности страны обучения (информацию об экономическом развитии страны, ее научных и культурных достижениях, политической значимости в регионе, многонациональном составе населения) и места обучения (экономическое развитие территории, на которой расположен вуз, научные и культурные достижения, связанные с ней), а также информацию, свидетельствующую о легкости интеграции в вузовское сообщество студентов из стран Центральной Азии. В качестве содержания последнего пункта мы рассматривали новости с упоминанием студентов, выпускников или преподавателей из стран Центральной Азии за последние три года, а также возможность через официальные паблики вуза найти паблики студентов из стран Центральной Азии или группы студенческих объединений (землячеств) из этих стран в социальных сетях.

Анализ сайтов вузов шести стран показал, что информация о стране и месте обучения представлена в основном в виде текстов и фото, видео практически нет. Информация о стране чаще всего предъясняется в виде исторической справки, сухих фактов о территории, численности населения, географическом положении. С местами обучения (городами) ситуация похожая, но уже более прагматического характера: как добраться, полезные или наиболее известные объекты в городе и т.п. Таким образом, информации о привлекательности территории на сайтах вузов, как правило, недостаточно. Гораздо лучше на всех сайтах представлена информация о самом вузе, часто с видеоматериалами. На сайтах вузов Китая, Южной Кореи, Турции и частично Японии сильнее идет акцентирование межнациональной среды университета. Вузы Южной Кореи активнее других используют этот аспект «мягкого» влияния на иностранных студентов в перечне факторов своей привлекательности. Вузы Южной Кореи и Японии концентрируются в первую очередь на привлекательности самого вуза. В итоге вузы Китая, Южной Кореи, Турции и Японии слабо отмечают привлекательность страны и города, но сами вузы представляют подробно, используя текстовые, фото- и видеоматериалы.

На интернет-сайтах вузов России и Казахстана описание межнациональной среды обучения отражено слабо. Большинство сайтов содержат ссылки

на студенческие группы в социальных сетях, но ссылки на паблики землячеств есть только у российских вузов. Сайты не содержат информации о студенческих союзах, а тем более об участии в них студентов из стран Центральной Азии. Этого нет и в российских, и в казахстанских вузах. То есть вузы не используют этот аспект влияния на абитуриентов, не показывают активное присутствие в вузовском сообществе студентов из стран Центральной Азии. Нужно отметить, что сайты российских вузов отличаются обилием новостей о межнациональных коммуникациях в вузе, о событиях с участием студентов из стран Центральной Азии. Это же можно сказать только про один турецкий вуз, международный блок новостей которого содержит информацию о событиях всех стран Центральной Азии (Университет Билькент). Таким образом, российские вузы сильнее других транслируют через свои сайты информацию, которая может оказывать «мягкое» влияние на студентов из стран Центральной Азии.

Переходя к обсуждению результатов исследования, можно отметить, что вузы разных стран неодинаково используют интернет-сайт как канал воздействия «мягкой силы» на студентов из стран Центральной Азии в качестве отдельной целевой группы. Больше всего характерно использование данного канала для российских и казахских вузов, в отдельных случаях – для турецких. Вузы других стран при коммуникации через сайт размещают информацию, ориентированную на иностранных студентов в целом, и не делают в контенте акцент, связанный с обучением студентов из стран Центральной Азии. Такая ситуация обусловлена тем, что интерес к Центрально-Азиатскому региону со стороны Южной Кореи и Японии возрос сравнительно недавно. Шаги по сближению с этим регионом пока совершаются ими в основном в экономической плоскости, но, учитывая эти тенденции, в перспективе можно прогнозировать более активное использование элементов «мягкой силы» государства, в том числе и через систему высшего образования. Россия имеет существенную заинтересованность в расширении своего влияния посредством «мягкой силы» в Центральной Азии. Это связано с евразийской интеграцией и ее разнообразными преимуществами как для России, так и иных сторон процесса, а также с заинтересованностью России в поддержании социально-политической стабильности в регионе.

На сегодняшний день существенную роль в неодинаковом использовании разными странами «мягкой силы» системы высшего образования в отношении молодежи из стран Центральной Азии играют два фактора. Во-первых, разная доступность обучения с точки зрения готовности абитуриентов учиться на языке принимающей страны. В странах Центральной Азии пока еще сохраняются достаточно широкие возможности по изучению русского языка, следовательно, обучение в вузах России и Казахстана более доступно, чем обучение в вузах Турции, Китая, Южной Кореи и Японии. В последних обучение ведется либо на английском языке, либо на языке принимающей страны. Вместе с тем нужно учитывать, что данная ситуация может со временем измениться. Во-вторых, мировая популярность систем образования и вузов неодинакова (например, среди рассматриваемых вузов японские пользуются высокой популярностью, а казахстанские низкой). Это также может влиять на интерес ориентированной на интернациональную образовательную мобильность молодежи к обучению в той или другой стране.

Для понимания полученных результатов важно еще обратить внимание на то, что мы отобрали в каждой стране по пять интернет-сайтов вузов, которые входят в международные рейтинги, и анализировали собранную информацию обобщенно, в то время как в разных вузах одной страны ситуация может различаться. Обобщение удобно для сравнения стран между собой, но сглаживает различия между вузами одной страны. Кроме того, вузы одной страны (например, Японии) могут в рейтинге значительно опережать вузы другой страны (например, Казахстана).

Интернет-сайты вузов, занимающих высокие места в рейтингах, хорошо проработаны, поэтому получили по методике высокие баллы, а интернет-сайты вузов, занимающих в рейтинге более низкие места, проработаны хуже, поэтому получили низкие баллы. При общем подсчете получался «усредненный» результат. Это приводит к следующей ситуации. Например, в случае Турции, на высоком уровне выполнен сайт Билькентского университета, его можно назвать одним из лучших среди всех проанализированных. Однако сайты остальных четырех университетов неинформативны и низкотехнологичны, поэтому средний балл при оценке интернет-сайтов турецких вузов невысокий.

Отдельно можно заметить, что интернет-сайты университетов Японии отличаются от интернет-сайтов других стран высокой проработанностью на технологическом и содержательном уровнях. Вместе с тем структура сайтов очень сложна, поиск информации требует большого количества переходов, превышающих классические «три клика», что делает их неудобными для иностранных студентов при поиске нужной информации.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что сайты подавляющего большинства проанализированных университетов в технологическом и содержательном смысле значительно уступают сайтам ведущих мировых университетов, занимающих лидирующие позиции в международных рейтингах (исключениями являются сайты Томского политехнического и Билькентского университетов). Такие университеты, как Массачусетский, Стэнфордский или Гарвардский, раскрывают свою международную среду и транслируют «мягкую силу» с помощью широкого спектра инструментов и технологий, включая качественный видеоконтент, виртуальные туры, университетские видеоканалы и студенческие видеоблоги, глубокую интеграцию сайтов с социальными сетями. Судя по сайтам университетов мирового уровня, можно заключить, что тенденция к целенаправленному использованию интернет-сайта вуза как канала воздействия «мягкой силы» возрастает. Вместе с тем университеты мирового уровня, как правило, не делают акцент на иностранных студентах из определенных стран.

Анализ интернет-сайтов университетов выбранных стран позволяет выделить общие (совпадающие, универсальные) единицы информации, а также специфику в «мягком» воздействии на потенциальных студентов в страновом разрезе. Так, вузы России и Казахстана активно представляют на своих интернет-сайтах информацию, транслирующую «мягкое» влияние на иностранных студентов из стран Центральной Азии как академического характера, так и неакадемического. Ими расставляются акценты на возможности поступления через филиалы и выездные комиссии, на активном развитии международного сотрудничества, на активном участии студентов из стран Централь-

ной Азии в жизни вуза. Вузы Китая, Южной Кореи, Турции и Японии не выделяют иностранных студентов из стран Центральной Азии как отдельную целевую аудиторию и транслируют информацию, рассчитанную на иностранных студентов в целом.

Литература

1. *Россия в цифрах*. 2017: крат. стат. сб. М. : Росстат, 2017.
2. *Findik L.Y.* Is Higher Education Internationalizing in Turkey? // *European Scientific Journal*. 2016. Vol. 12, № 13. DOI: 10.19044/esj.2016.v12n13p295
3. *China Statistical Yearbook 2018*. Beijing: China Statistics Press, The National Bureau of Statistics, 2018. Режим доступа: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm> (accessed: 08.04.2020).
4. *Kuroda K., Sugimura M., Kitamura Y., Asada S.* Internationalization of Higher Education and Student Mobility in Japan and Asia // UNESCO, Global Education Monitoring Report, Japan International Cooperation Agency. 2018. URL: https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/other/175nbg000010mg5u-att/Background_Kuroda.pdf (accessed: 08.04.2020).
5. *How Digital Engagement Shapes the Way High School Juniors and Seniors Choose a College: 2018 E-Expectations Trend Report* // Ruffalo Noel Levitz (RNL). 2018. URL: http://learn.ruffalonl.com/rs/395-EOG-977/images/2018_RNL_E_Expectations_Report_no%20CTA.pdf (accessed: 08.04.2020).
6. *McClory J.* Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power. London : Portland, USC Center on Public Diplomacy, 2018. URL: <https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf> (accessed: 08.04.2020).
7. *Nye J.S.* Soft Power and Higher Education // *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York : Basic Books, 1999.
8. *Wojciuk A., Michalek M., Stormowska M.* Education as a Source and Tool of Soft Power in International Relations // *European Political Science*. 2015. Vol. 14, № 3. P. 298–317. DOI: 10.1057/eps.2015.25
9. *Торкунов А.* Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России // *Вестник МГИМО Университета*. 2012. Т. 4, № 25. С. 85–93.
10. *Антохова Е.А.* Образование как «мягкая сила» в современных политологических исследованиях // *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения*. 2018. Т. 23, № 4. С. 197–209.
11. *Лебедева М.М.* Мягкая сила в отношении Центральной Азии: участники и их действия // *Вестник МГИМО Университета*. 2014. Т. 2, № 35. С. 47–55.
12. *Гавра Д.П.* Основы теории коммуникации. М. : Юрайт, 2018.
13. *Тимофеев И.Н., Карпинская Е.О., Яркова Д.О.* Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов: доклад РСМД № 47/2019. М. : Рос. совет по междунар. делам, 2019. URL: <https://russiancouncil.ru/papers/RIAC-Digital-University-Report47.pdf> (дата обращения: 10.01.2020).

Galina A. Savchuk, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: galina.savchuk@urfu.ru

Irina B. Britvina, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: irinabritvina@urfu.ru

Valeria A. Frants, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: v.a.frants@urfu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 164–174.

DOI: 10.17223/1998863X/60/15

THE UNIVERSITY'S WEBSITE AS A COMMUNICATION CHANNEL FOR ATTRACTING INTERNATIONAL STUDENTS FROM CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE CONTEXT OF THE SOFT POWER THEORY

Keywords: internationalization; higher education; soft power; communication technologies; university's website; foreign students; Central Asia.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00471.

The internationalization of education is closely related to the political, cultural, economic, and other activities of the country. In addition to other important factors, the soft power of the state can have an impact on foreign students. On the other hand, the system of higher education, along with other components, is itself an important element of the state's soft power. Students from Central Asian countries are the largest group of foreign students in Russia. Nevertheless, Russia has a number of competitors in the region; the competing countries also actively use the soft power tools. According to research works, one of the most effective channels of communication in the international promotion of a university is its website, which makes the analysis of this communication channel highly important, including in terms of the ability to spread the soft power of the state through its higher education system. The aim of the article is to compare the use of university websites as a channel of the "soft power" impact on foreign students from Central Asian countries. The authors of the article conducted a comparative analysis of the websites of universities in Russia, Kazakhstan, China, Turkey, South Korea, and Japan (N=30) with highest positions in international rankings and, accordingly, with the largest number of foreign students. The potential of the university website as a communication channel for attracting foreign students from Central Asia was assessed in terms of soft power. The presentation of information of both academic and non-academic nature was analyzed. Conclusions were drawn on the availability of information on the international environment; on the communication technologies used for spreading the soft power of the state through the higher education system; on the development of sections of the websites which are most important for attracting foreign students in general and from Central Asia in particular; on the quality of information of academic and non-academic nature; on the intention of universities to influence the target group of students from Central Asia through the website; on the quality of the information of academic and non-academic nature in a comparative context.

References

1. Surinov, A.E. (2017) *Rossiya v tsifrakh. 2017: Kratkiy statisticheskiy sbornik* [Russia in Numbers. 2017: A Brief Statistical Digest. 2017]. Moscow: Federal State Statistics Service.
2. Findik, L.Y. (2016) Is Higher Education Internationalizing in Turkey? *European Scientific Journal*. 12(13). pp. 295–305. DOI: 10.19044/esj.2016.v12n13p295
3. China Statistical Yearbook. (2018) *Beijing: China Statistics Press, The National Bureau of Statistics*. [Online] Available from: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm> (Accessed: 8th April 2020).
4. Kuroda, K., Sugimura, M., Kitamura, Y. & Asada, S. (2018) *Internationalization of Higher Education and Student Mobility in Japan and Asia. UNESCO, Global Education Monitoring Report, Japan International Cooperation Agency*. [Online] Available from: https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/other/175nbg000010mg5u-att/Background_Kuroda.pdf (Accessed: 8th February 2020).
5. Ruffalo Noel Levitz (RNL). (2018) *How Digital Engagement Shapes the Way High School Juniors and Seniors Choose a College: 2018 E-Expectations Trend Report*. [Online] Available from: http://learn.ruffalonl.com/rs/395-EOG-977/images/2018_RNL_E_Expectations_Report_no%20CTA.pdf (Accessed: 8th April 2020).
6. McClory, J. (2018) *Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power*. London: Portland, USC Center on Public Diplomacy. [Online] Available from: <https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf> (Accessed: 8th February 2020).
7. Nye, J.S. (1999) Soft Power and Higher Education. In: Bell, D. *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
8. Wojciuk, A., Michalek, M. & Stormowska, M. (2015) Education as a Source and Tool of Soft Power in International Relations. *European Political Science*. 14(3). pp. 298–317. DOI: 10.1057/eps.2015.25
9. Torkunov, A.V. (2012) Education as a Soft Power Tool in Russian Foreign Policy. *Vestnik MGIMO-Universiteta – MGIMO Review of International Relations*. 4(25). pp. 85–93. (In Russian).
10. Antyukhova, E.A. (2018) Education as a Soft Power in Modern Foreign and Russian Political Research. *Vestnik VolGU. Ser. 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya – Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*. 23(4). pp. 197–209. (In Russian). DOI: 10.15688/jvolsu4.2018.4.17

11. Lebedeva, M.M. (2014) Soft Power in Central Asia: Actors and Its Activities. *Vestnik MGIMO-Universiteta – MGIMO Review of International Relations*. 2(35). pp. 47–55. (In Russian).
12. Gavra, D.P. (2018) *Osnovy teorii kommunikatsii* [The Basics of Communication Theory]. Moscow: Yurait.
13. Timofeev, I.N., Karpinskaya, E.O. & Yarkova, D.O. (2019) *Elektronnaya internatsionalizatsiya: ang-loyazychnye internet-resursy rossiyskikh universitetov: doklad RSMD № 47/2019* [Electronic Internationalization: English-language Internet Resources of Russian Universities: Report by RIAC No. 47/2019]. Moscow: The Russian International Affairs Council (RIAC). [Online] Available from: <https://russiancouncil.ru/papers/RIAC-Digital-University-Report47.pdf> (Accessed: 10th January 2020).

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 321.6/.8, 32.019.51, 32:316.77
DOI: 10.17223/1998863X/60/16

С.В. Володенков, С.Н. Федорченко

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ: НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-111-50445.

Проводится обзор научных концепций, моделей и сценариев, связанных с цифровизацией современных общественно-политических коммуникаций. Рассмотрены подходы к определению особенностей и содержания влияния цифровизации на трансформацию общественно-политических практик. Представлены научные позиции относительно роли цифровых технологий в современных процессах воздействия на массовое сознание. Показаны вызовы национальному суверенитету в условиях технологических трансформаций.

Ключевые слова: цифровизация, массовое сознание, общественно-политическая коммуникация, цифровая власть, социотехническая реальность.

Интенсивное внедрение в актуальную политическую практику цифровых технологий вызывает необходимость изучения исследователями вопроса о том, каковы содержательные, структурные и функциональные измерения изменений, вызванных проникновением цифровых технологий в современные политические процессы, в параметрах функционирования существующих государств и обществ. Помимо этого, крайне важным представляется исследование и анализ результатов воздействия современных цифровых информационно-коммуникационных технологий на традиционные институты власти, а также определение потенциала влияния технологий цифровой коммуникации на трансформацию политической системы и институтов власти государства в среднесрочной перспективе.

Другим важным для нас исследовательским вопросом является определение векторов влияния цифровизации: стимулирует ли появление и широкое распространение новых типов цифровых технологий формирование и развитие новых типов общественно-политического устройства либо же государство лишь использует новые технологические возможности для обеспечения эффективности процессов политического управления в современных условиях, сохраняя и поддерживая потенциал традиционных политических режимов; каково взаимовлияние новых цифровых технологий и институтов политической власти в настоящее время; какие вызовы, угрозы и риски порождают актуальные процессы цифровизации общественно-политической сферы технологически развитых государств; насколько современные модели

политического управления позволяют эффективно адаптировать традиционные политические системы к интенсивным парадигмальным и технологическим изменениям в цифровом пространстве.

Проблемы сохранения государственного суверенитета и защиты прав личности в условиях цифрового общества, новые технологии политического управления, трансформация субъектов политики, возрастающая роль когнитивного программирования субъективной реальности, новые технологии информационного воздействия и взаимодействия, формирование негативных сценариев общественно-политического развития в условиях цифрового неравенства и глобального цифрового контроля, возможность формирования общества цифрового паноптикума, в рамках которого политический контроль над гражданами осуществляется со стороны политических элит на основе использования сбора и анализа цифровых следов пользователей в цифровом пространстве, – лишь краткий перечень тех проблем, с которыми сталкиваются современные политическая теория и практика.

Методологическая оптика

Процедура и методы исследования основаны на дискурс-анализе научных работ (статей, монографий), посвященных общественно-политическим аспектам цифровизации и ее роли в функционировании современных институтов власти, а также критическом анализе предлагаемых современной политической наукой подходов к изучению и пониманию феномена цифровизации. При этом дискурс-анализ, как основная методологическая оптика, использовался с учетом принципов герменевтики сложившихся научных подходов, что позволило уточнить каузальную сторону – специфику интерпретации разными учеными схожих проблем цифровизации. В свою очередь, критический анализ используемых учеными дефиниций позволил выявить базовый рабочий аппарат, необходимый для дальнейших междисциплинарных исследований.

В результате рассмотрения существующих концепций и их классификации фундаментально ориентированные теоретические концепты были отделены от прикладных моделей и сценариев развития политических процессов. Обзор специализированной литературы был структурирован по принципу «концепция – модель – сценарий» и посвящен трем важным вопросам: а) влияет ли форсированная цифровизация на трансформацию политических институтов и практик? б) какие цифровые технологии становятся доминирующими в воздействии на массовое сознание? с) что происходит с государственным суверенитетом и национальной безопасностью в условиях цифровизации?

Особенности и содержание влияния форсированной цифровизации на трансформацию политических институтов и актуальных общественно-политических практик

При анализе данного вопроса нам представляется необходимым рассмотреть базовые концепции, способные обозначить каузальные механизмы цифровизации общественно-политических коммуникаций, а также стоящих в их основе политических институтов и практик. Представляется возможным начать обзор с концепта «машины власти» отечественного исследователя

И.А. Исаева. В рамках предложенной Исаевым схемы по мере развития технологий правящее в обществе меньшинство постепенно стало формировать единообразные и всеохватные структуры, нацеленные на автоматизацию работы людей – «машины власти». При этом цифровые технологии черпают свою основу в глубоком прошлом, так как смыслом цифры является создание структуры через понятный язык власти – обозначение ранга, уровня, степени. Другими словами, как это ни парадоксально, предпосылки для цифровизации появились задолго до эпохи интернета [1. С. 5–10].

Однако мнения ученых по поводу влияния форсированной цифровизации (в том числе произошедшей из-за пандемии COVID-19) на политический универсум неоднозначны. С одной стороны, есть довольно скептические оценки, отрицающие кардинальные цифровые изменения [2. С. 7, 135] и признающие ее включенность в уже сложившуюся систему принуждения – «индустриального авторитаризма». С другой – в рамках концепции цифровой трансформации есть определенная сосредоточенность разных авторов на институте государства и его переходе на сервисную модель отношений с гражданами, удовлетворения их потребностей в условиях парадигмы e-government [3, 4]. Описываемые идеи имеют прямое отношение к теории государства как платформы, предложенной Т. О’Рейли. Между тем, по мнению В.Л. Сморгунова, эта идея обладает чрезмерным технологическим оптимизмом: цифровые платформы, в отличие от традиционных правительственных порталов, могут не только быть репрезентантами государства, но и иметь прямое отношение к возникновению на их основе практик гражданской активности со всеми вытекающими последствиями [5]. Возникает сетевой эффект гибридации публично-политического и государственного.

Наилучший анализ сетевых эффектов провел в своей монографии Н. Срничек. Согласно его концепции, современный капитализм характеризуется превращением информационных данных в стратегический ресурс растущего типа фирм (Facebook, Google, Uber, Amazon и др.), создающих цифровые платформы [6. С. 37–45, 98]. Те, в свою очередь, позволяют коммуницировать гражданам между собой и порождают сетевые эффекты (которые привлекают на эти площадки все большее число пользователей, создают системы зависимости пользователей, превращают эти фирмы в монополии). Сетевые эффекты – не просто каузальный механизм цифровизации, он переплетается с теми явлениями, которые М. Кастельс постарался объяснить сетевой теорией власти. Кастельс пишет о следующих возникших феноменах: «сетевой власти» (власти субъектов организаций, включающая / исключая объекты в сеть), «власти сети» (зависимость коммуникации и глобализации от стандартов сетевых акторов), «власти в сети» (конкретная власть в сети одних акторов над другими) и «сетесозидающей власти» (способность акторов программировать сети под свои цели и ценности) [7].

Г.Л. Акопов вводит дефиницию «сетевой политики», подразумевающей борьбу партийных элит за власть в социуме с помощью информационно-коммуникационных сетей [8. С. 98]. Подобная концепция хорошо объясняет феномен возникновения цифровых партий, о которых все больше говорят зарубежные политологи [9, 10]. Из-за растущего недоверия общества к деятельности классических партий последние стали эволюционировать в цифровые, предоставляя гражданам большие возможности участия в публичной

политике через разнообразные ресурсы и приложения и становясь похожими на быстро растущие «компании-единороги», поглощающие данные. Цифровизация создала разнообразную цифровую экосистему, позволяющую партиям расширить целевые аудитории.

Принципиальное отличие цифровизации относится к появлению цифровых (новых) медиа, которые оказывают существенное воздействие на политические механизмы. Л. Манович в своей концепции цифровых медиа поясняет их отличия цифровой репрезентацией (программируемость), модульностью (фрактальным характером составляющих их элементов – пикселей и т.п.), автоматизацией, вариативностью, транскодингом (переводом в другие форматы с последующим воздействием на культуру) [11. С. 61–82]. В связи с этим П.Е. Родькин выдвигает примечательный тезис – медиа превращаются в социального оператора существующих субъектов власти, участвуя в сборе больших данных, автоматизации контроля, создании ложных идентичностей и псевдосубъектов, вытесняя массы в виртуальное пространство, сохраняя прерогативу на реальность за представителями элиты [12. С. 61–63]. Этот тезис органично перекликается с концепцией цифровых толп Г. Кёхлера, перечисляющего следующие предпосылки возникновения этого явления: интерактивность, коллективную ментальную реальность, анонимность в сети, «эффект снежного кома», волатильность и т.п. [13]. Появление спонтанных цифровых толп уже фиксируются на уровне виртуальных протестов во время пандемии COVID-19 [14].

Дж. Дин в рамках своей концепции коммуникативного капитализма еще до форсированной цифровизации писала о формировании цифрового пролетариата и новых видов эксплуатации на макроуровне и практик кликтивизма на микроуровне [15], отмечая при этом, что большие данные превращаются в новый ресурс власти наподобие нефти. Перечисленные тренды ряд авторов часто пытаются интерпретировать через концепцию медиакратии, предполагающей сращение политических и медийных институтов при наделении новых медиа важной ролью посредника в политико-коммуникационной сфере [16, 17]. Это сращение можно объяснить развиваемой Д. Биром концепцией социальной власти алгоритмов. Он подчеркивает, что, хотя алгоритмы и позиционируются как некая нейтральная основа современных решений, они все же начинают играть большую роль в процессах социального упорядочивания, фильтрации, поиске информации, становятся самым механизмом власти [18].

Какие же прикладные модели предлагают ученые в качестве ответа на вызовы цифровизации политики, объясняемые в приведенных выше концепциях? В первую очередь, важны идеи Г. Ловинка о новой социотехнической среде конструирования современной политической реальности. Он критикует коммерческий характер популярных сетей (Facebook и др.), влияющий на политические процессы и эксплуатирующий «слабые связи» граждан с целью поглощения данных. В своей модели организационных сетей (оргнетов) он призывает сегодняшнее техническое признать новым социальным, ратует за создание коммуникаций на новых принципах открытой архитектуры коллаборативных платформ и «сильных связей», нацеленных не на создание событий, а на конкретные задачи и решения [19. С. 264–280]. При этом С. Коулман полагает, что любые цифровые решения бессмысленны для совершенствования политики без просвещения граждан, выдвигая модель замедления демократии,

основанной на принципах делиберации [20. С. 90–91]. В ней он раскрывает идею создания специальных цифровых платформ, где гражданин смог бы обучиться демократическим навыкам, ознакомиться с хронологией голосования, комментировать парламентские действия, создавать политические новостные ленты, следить за конкретной работой политиков, выдвигать свои предложения и т.п. Как и Ловинк, Коулман придерживается идеи открытых исходных кодов новых платформ. Схожие предложения по поводу общественных платформ и открытых кодов есть и у Н. Сничека [6. С. 112–113].

П. Химанен же в своей модели информационализма, отталкиваясь от концепции М. Кастельса, идет еще дальше, концентрируясь на необходимости заимствования гражданами хакерской этики для совершенствования политической коммуникации – создания «Сетевой академии», где ученики постоянно перенимают роль учителей, формируя демократическую сетевую среду передачи полезного опыта [21. С. 92]. Кроме того, появляются весьма инновационные модели, показывающие, каким образом граждане могут использовать технологии искусственного интеллекта, государственные открытые данные и репозитории на базе открытого исходного кода для расширения своего политического участия [22].

Говоря о сценариях цифровизации, в своем прогнозе Р. Барбрук, опираясь на принцип экстраполяции (отмечая тренд препятствования участниками сетей коммодификации интеллектуального труда), показывает довольно оптимистическое цифровое будущее на основе экономики дарения. Барбрук уточняет, что конвергенция разных технологий вокруг цифровых форматов, открывшиеся коммуникационные возможности коллективного поведения, совместной работы, проектов, обмен информацией в виде даров создают условия для перехода общества в сторону киберкоммунизма [23. С. 89–110], хотя автор и называет процессы, препятствующие этому. Другие авторы менее оптимистичны в своих сценариях, наоборот, отмечая футурологические угрозы, исходящие от технологий искусственного интеллекта: усиление социальной зависимости человека от машин, неравенства, рост безработицы, появление квазирелигии, глобального тоталитаризма, цивилизационных войн, подавление иррациональной и эмоциональной сферы [24]. Есть неутешительные прогнозы появления всепроникающего государства (Holographic State), которое получит абсолютный контроль над всеми коммуникациями [25].

В свою очередь, Б. Барбер задаваясь в своей работе [26] вопросом, сможет ли традиционная демократия выжить условиях технологических трансформаций, также выделяет три возможных сценария: а) сценарий Панглосса, в рамках которого технологии используются обществом неосмысленно, без беспокойства о возможных последствиях. Однако «в лучшем случае рынок не будет делать для новых технологий ничего, что не имело бы очевидной коммерческой выгоды или отдачи в сфере развлечений или с точки зрения корпоративных интересов, и что в худшем случае, он расширит те виды использования, которые подрывают равенство и свободу» [26. С. 580]; б) сценарий Пандоры, являющийся наиболее пессимистичным и несущим прямую угрозу демократии, так как правительства могут использовать технологии с целью стандартизации, контроля и репрессий. Здесь Барбер вводит понятие «мягкая тирания», которая «овладевает сердцами и умами через контроль над информацией и коммуникацией» [26. С. 580], а новые технологии, по его мнению,

расширяют возможности мягкого контроля и дают государству инструменты косвенного наблюдения и контроля, которые не были известны ни одной из традиционных диктатур; в) сценарий Джефферсона, в рамках которого высказывается осторожный оптимизм относительно возможности использования современных информационно-коммуникационных технологий для развития демократии и содействия включению граждан в осмысленное политическое участие. Однако тут же Барбер пишет о том, что в случае неконтролируемой технологизации государства и общества «технология способна лишь воспроизводить слабые стороны политики», а активное участие в политическом процессе чревато для населения рисками политического надзора и контроля, а также тирании. Таким образом, Барбер показывает, что современные технологии могут выступать эффективным инструментом подавления прав и свобод людей [26. С. 587].

Итак, большинство объяснительных концепций, а также наличие прикладных моделей свидетельствуют, что цифровые риски, угрозы и вызовы в сфере трансформации политических институтов и практик – не голословное утверждение. Об этом же свидетельствуют и предлагаемые учеными потенциальные сценарии технологического развития.

Цифровые технологии в процессах воздействии на массовое сознание

Австралийский исследователь С. Маккуайр в рамках своей концепции геомедиа детально изучает усиливающееся переплетение городского пространства с цифровыми технологиями (платформами, экранами второго поколения, машинным зрением, оперативными архивами и т.п.). По его мнению, цифровые технологии расширяют свою многообразную палитру в условиях развития идеи «умного города», когда начинается конструирование порядка нового типа, а само городское пространство оцифровывается в данные. Маккуайр обращает внимание на рост желания властей и коммерческих компаний отслеживать и контролировать передвижение горожан из-за увеличения мобильности и неоднородности населения [27. С. 43–68, 159]. Публичное взаимодействие граждан становится по своей природе социотехническим и все больше попадает в зависимость от автоматизированных систем, которым они предоставляют свои персональные данные.

Цифровые технологии воздействия на массовое сознание отрабатываются и на базе популярных сообществ сетевых коммуникаций. Некоторое сходство с теорией гейткипинга, развиваемой в работах М. Кастельса, приобретает концепция сетевой публичной политики И.В. Мирошниченко. Автор данной концепции полагает, что управление сетевыми сообществами происходит в формате распределения ролей между Ф-политическими пользователями: «фильтров» (активных интернет-журналистов), «функционеров» (создателей и модераторов сообществ), «фанатиков» (сторонников либо противников каких-либо политических субъектов) и «фейерверков» (создателей значимого сетевого, в том числе и политически привлекательного контента, например мемов) [28. С. 153–158]. Эти сообщества в сетевой структуре современных общественно-политических коммуникаций становятся генераторами новой политической микроидеологии, которую исследователи уже фиксируют на уровне технологий мемификации и хэштегирования.

Так, отечественные специалисты рассматривают политические интернет-мемы как реакцию активных пользователей на политические события. Политические мемы, как коды новой микроидеологии, обладают семиотической природой, несут месседж, привлекая аудиторию к серьезным политическим темам своей «смеховой упаковкой» и глубокими архетипическими смыслами [29. С. 243]. Схожей функцией обладают и политические хэштеги, одновременно обладая свойством гиперссылки. С. Джефферес хорошо проанализировал практики управления массовым сознанием через хэштеги на примере британских властей [30].

Г. Ловинк рассматривает в рамках своей концепции герменевтики интернет-комментария роль данного элемента формирующихся микроидеологий. С одной стороны, Ловинк отмечает функцию культуры комментария как «вечно работающей машины», с другой, – напоминает, что интернет-комментирование стимулирует трафик, влияя на выручку цифровых компаний [19. С. 161, 171–172]. Такого рода функции софта могут отключаться и включаться, тем самым влияя на массовое сознание и формируя социальный порядок. Важно подчеркнуть, что техники интернет-комментирования, мемификации и хештегирования вполне объяснимы и с точки зрения концепции цифровой стигматизации, когда анализируется процесс навешивания ярлыков политическими субъектами на своих конкурентов [31].

Популярность набирают исследовательские области, связанные с изучением технологий Big Data (концепция «big data revolution»), микротаргетирования и искусственного интеллекта [32–34]. Скорее всего искусственный интеллект, нейронные сети и связанные с ними алгоритмы – это то технологическое ядро, которое будет определять вектор цифровизации политики и архитектуру инновационных форм политического воздействия на гражданина в ближайшие десятилетия. Отдельно следует отметить направление, ориентированное на анализ технологий социальных ботов (астротурфинг как технология формирования ложного мнения, пропаганды провластного мнения, конструирования ложных лидеров мнения) [35].

Если перечисленные концепции актуализируют и пытаются объяснить смысл новых цифровых манипуляций, то ряд практически ориентированных моделей нацелены на профилактические меры. Например, не так давно разработана отечественная эпидемиологическая модель анализа и противодействия деструктивному контенту, рассматривающая его в терминологии информационной диффузии, инфицирования и инъекции социальной сети [36]. Модель коммуникации раннего предупреждения в своей книге предлагает Д. Кин, между тем он оговаривается, что предупреждать граждан о рисках политических авантюр, проектов невозможно без свободы коммуникации [37. С. 304].

Ряд других зарубежных авторов больше интересуется разработкой новых алгоритмов, способных идентифицировать опасные фейки, а также предполагать особые аффордансы – элементы интерфейса, препятствующие радикализации дискурса и подсказывающие гражданину, как он может принять участие в обсуждении политических проблем [38]. Краудсорсинговая модель публичной политики схожа с делиберативной моделью С. Коулмана, предполагая в качестве подхода к совершенствованию коммуникации активизацию и консолидацию сетевого гражданского общества посредством политического обучения на цифровых платформах [28. С. 237–239].

В своих сценариях эволюции цифровых манипуляций авторы часто отталкиваются из трендов развития практик умного города. Прогнозируется ускорение развития техник персонализации и профилирования данных гражданина, что связано с рядом причин: во-первых, разработки в сфере дронов, роботов и специальных алгоритмов инициируются властями и связанным с ними бизнесом на предупреждение гражданских беспорядков и протестов; во-вторых, некоторые авторы склонны рассматривать будущего гражданина не как индивида, а как «городского киборга», все больше попадающего в запутанную зависимость от социотехнической системы города [39].

Как правило, такие сценарии опираются на концепцию дромологии П. Вирильо. Киборгизация задает угрозы не только цифрового, но и социального неравенства, экзистенциальные риски разделения человечества на враждующие лагеря элиты и отверженных [40. С. 345–346]. Критики трансгуманистических проектов трансформации человека в некий аватар опасаются того, что такого рода проекты просто создадут тоталитарную систему нового типа [41]. Другие авторы [42] допускают, что искусственные агенты могут в будущем вообще заменить политтехнологов, которые раньше были ответственны за разработку приемов манипулирования общественным сознанием.

Государственный суверенитет и национальная безопасность в условиях цифровизации

Цифровизация вносит свои коррективы и в известную политологам тему государственного суверенитета. Проблема заключается в том, что классические признаки суверенитета, перечисленные в свое время Ж. Боденом, стали терять свою незыблемость в XXI в. и до наступления форсированной цифровизации. Теперь развивается международное право, межгосударственные союзы и образования (ЕС, НАТО, ЕАЭС, ШОС и т.п.), транснациональные корпорации активно вмешиваются в суверенную политику государств и даже пытаются навязывать им свои правила. Цифровизация обострила и ускорила уже начавшиеся тренды. Конечно, полностью не теряет свою значимость тезис К. Шмитта, согласно которому суверенен тот, кто способен принять решение о чрезвычайном положении, однако существующие примеры внешнего давления через финансовые и международные институты вовсе не исключают рисков оспаривания внутренней государственной политики. Дж. Дин эти процессы объясняет в своей концепции парцелляции суверенитета, когда традиционно принадлежащие государству функции начинают вертикально и горизонтально фрагментироваться, приспособляясь к интересам неофеодалов – крупных цифровых компаний (Microsoft, Apple, Facebook, Amazon и др.) [43]. К примеру, корпорация Google в январе 2021 г. стала угрожать Австралии отключить ей поисковую систему в ответ на местный закон, обязывающей ее платить массмедиа за использование новостей. Агрессивное вмешательство компании в дела целой страны актуализирует проблематику национальной безопасности в условиях цифровой среды.

Российские авторы, как и зарубежные, также отмечают недостаточность прежних теорий для всестороннего изучения рисков и возможностей суверенитета страны, все больше предпочитая размышлять об этом аспекте в рам-

ках концепции информационного суверенитета, которая выходит за территориальные и нормативные границы прежних схем, и концентрируется на проблематике контролирования властью информационных потоков стране. С ней перекликается концепция суверенитета данных (data sovereignty), обосновывающая важность зависимости процедур обработки данных от юрисдикции конкретной страны. А.А. Ефремов пишет, что важным компонентом для современного суверенитета выступает возможность регулирования информационных отношений в границах определенного информационного пространства [44]. Открывшуюся проблему о цифровом суверенитете отдельные авторы увязывают с известной полемикой о соотношении безопасности и свободы в цифровом мире, а также сопоставляют с дискуссией между сторонниками наращивания цифрового суверенитета и критиками рисков нового авторитаризма [45].

Запрос на концептуализацию темы цифрового суверенитета возникает в условиях возникновения войн нового типа – информационных. Известный специалист в области коммуникативных технологий Г.Г. Почепцов раскрывает важные последствия волн внутренней иммиграции, спровоцированных интернетом. В своей концепции информационных войн он объясняет, что современное государство сталкивается со следующими вопросами сетевого характера [46]: стратегическим и тактическим управлением массовым сознанием, формированием и сохранением конкретной картины мира, управлением информационной повесткой дня, управлением альтернативными мнениями, удержанием альтернативы от информационного мейнстрима (например, оппозиционного). Информационные войны ведутся за изменение поведения, интерпретации фактов, идентичности, ценностей и видны на примере информационного империализма. Последнюю тему досконально разбирает в своей концепции медиаимпериализма О. Бойд-Барретт. Он считает существующие медиаконгломераты агентами нового типа империализма, которые нуждаются в оправдывающих его экспансию нарративах. Кроме медийной поддержки Бойд-Барретт выделяет и другую форму медиаимпериализма – проникновение СМИ влиятельных государств на рынки менее влиятельных государств [47. С. 29, 209].

В своих работах О. Бойд-Барретт учитывает и другие исследования – «Производство согласия» Э. Хермана и Н. Хомского, «Массовая коммуникация и медиаимперия» Г. Шиллера, а также труд Г. Инниса «Империя и коммуникация». Иннис выступил с гипотезой о связи массовой коммуникации, пространства и времени, признавая, что каждая эпоха развития человечества сталкивается с проблемой монополизации медиа со стороны политической элиты [48]. Приведенная мозаика теорий отлично складывается в новое концептуальное направление – изучение цифровой геополитики, имеющиеся работы по этой тематике подтверждают, что традиционное соперничество политических акторов перешло в плоскость борьбы за информационное пространство. Информационная составляющая новой геополитики заставляет пересмотреть факторы национальной безопасности классического государства, используя дефиниции информационной структуры, геоинформационного противостояния, геокультуры, информационной экспансии [49]. Однако в рамках концепции глокализации судьба суверенитета государства и национальной безопасности выглядит не так однозначно. Цифровизация – это

амбивалентный процесс, в котором сочетается и сетевая глобализация с феноменом цифровой империи, и локализация, сохраняющаяся на базе социальных образований [50]. Концепция глокализации утверждает, что на смену государства приходит не единое глобальное общество, а совокупность разнообразных сетевых социумов. Ей вторят исследования, фиксирующие появление всевозможных режимов фильтрации данных на национальном уровне [51].

Модели, внедряемые учеными в академический дискурс, также довольно примечательны. Д.С. Жуков в своей модели политического интеллекта не только анализирует концептуализированную П. Немитцем «концентрацию цифровой власти» (digital power concentration), но и предполагает, что достижение справедливости в современном обществе возможно только при национализации (что не равно огосударствлению) платформ-агрегаторов, благодаря которым производятся сбор, обработка, хранение и передача самой разной информации. Также Жуков не исключает суверенизацию и формирование локальных зон интернета с политическим искусственным интеллектом в качестве ответа национальных государств цифровым компаниям [52]. Иной подход предлагает модель независимости информационных ресурсов. Главный ее тезис – грамотная политика импортозамещения и защита государства от рисков монополизма таких цифровых гигантов, как Microsoft, в области управления базами данными [53]. С этим тезисом сходна и модель информационного потенциала государства, подразумевающая создание технических средств и систем, удовлетворяющих задачи государства в сборе, анализе и систематизации важной информации, предполагающая проведение независимой информационной политики и формирование экономически невыгодных условий для обхода установленных государством блокировок [54].

Некоторые модели имеют мультизадачный характер. К примеру, В.В. Бухарин справедливо отмечает, что для достижения информационного цифрового суверенитета недостаточно работы в сегменте разработки национального программного обеспечения [55]. Стратегически важное значение приобретает импортозамещение в сфере микропроцессоров, криптографических систем и алгоритмов защиты данных, глобальных навигационных систем. Все эти предлагаемые меры нацелены на преодоление фрагментарности и неравномерности развития компонентов цифрового суверенитета. Для предотвращения рисков цифрового тоталитаризма, как обратной стороны укрепления цифрового суверенитета, иногда предлагается усиление полномочий судебной системы в плане проверки цифровых проектов исполнительной власти [56]. Но это нереально без подключения законодательной власти к комплектованию и защите судов.

С. Маккуайр придерживается иной позиции. В своей модели создания культуры публичной корректности (public civility) он, наоборот, видит в глобальных медиа не только риски, но и потенциальные возможности защиты демократических прав гражданина [27. С. 180–191, 205]. Модель Маккуайра поощряет политическое взаимодействие между незнакомыми людьми посредством провокаций – цифровых платформ и арт-проектов, привязку медиазданий (медиафасадов), больших экранов второго поколения к ритму публичной жизни. Целью этих комплексных мер объединения цифровых технологий, искусства и публичной политики является создание механизма

обучения граждан демократическим практикам. Этот современный подход во многом дополняет модель мониторинной демократии и модель трансграничной публики [37. С. 86, 114–115], хотя, к сожалению, в основном обходит проблематику цифрового суверенитета и рисков цифрового империализма.

В современных сценариях развития данного феномена намечается обсуждение определенной развилки: или переход в сферу однополярного доминирования цивилизации Запада с ростом влияния когнитивного и цифрового колониализма в отношении незападных политических режимов, или развитие глокализации с усилением цифровых политических общин, движений и формированием партисипаторной демократии, или складывание многополярного порядка с параллельным усилением цифрового суверенитета конфликтующих, но все же сохранившихся национальных государств, обратной стороной чего станет возникновение цифрового тоталитаризма [45].

Предпосылками цифрового тоталитаризма авторы видят тотальную биометризацию данных граждан не только на уровне национальных государств, но и на практике международных организаций (с конца 2016 г. запущена специальная программа Интерпола по распознаванию лиц преступников, которая не исключает нарушения прав и свобод других людей). Риски цифрового тоталитаризма видятся учеными и в намечающемся противоречии между ответственностью государства (преображающегося в цифровое) по обеспечению конфиденциальности и ориентацией того же государства на контролирование политической активности людей [56]. Появляющийся конфликт безопасности и демократической свободы чреват формализацией, алгоритмизацией механизмов разрешения различных споров в ущерб эмоциональной природе человека и политики. Бесконечные измерения, рейтинги и системы отчетности превращают гражданина в объект цифрового контроля – цифру.

Н. Срничек и А. Уильямс в своем прогнозе наступления посттрудового будущего наметили четыре сценария: неоколониальный и расистский мир (усиление института национальных границ), экологическая катастрофа (переход к посттрудовому будущему ограниченного числа стран при широкомасштабной автоматизации), мизогинный вариант (гендерная диспропорция при минимальной автоматизации женского домашнего труда), левоориентированное посттрудовое будущее (стремление государств к открытым границам и обеспечению своих граждан всеобщим базовым доходом, сокращение неоплачиваемого труда). Авторы видят оптимистические возможности цифровизации в следующем настоящем тренде – снижение числа лиц, контролируемых автоматические процессы, не исключает того, что от их забастовок не коллапсируют существующие капиталистические производства [57. С. 249, 267–269].

Л. Флориди, признавая за цифровым суверенитетом (искусственный интеллект, управление данными, доменными именами, 5G и др.) корпоративную природу, размышляет о нескольких направлениях его эволюции на примере Европейского союза. В варианте «полностью связанной» топологии сети распределенная легитимность ЕС формируется из группы национальных суверенитетов, подкрепленных народными суверенитетами. Флориди считает это просто сильной сетью национальных государств вестфальского типа. При

варианте сетевой топологии «звезда» народный суверенитет находится в центре (создаст централизованную легитимность), легитимируя национальный и наднациональный суверенитеты и трансформируя вестфальский тип государства до уровня федеративной структуры [58]. Но, по оценке Флориды, такой сценарий войдет в противоречие с националистически настроенными гражданами. Не исключен и гибридный вариант трансформации цифрового суверенитета.

Заключение

Проведенный дискурс-анализ разных концепций, моделей и сценариев цифровизации общественно-политических коммуникаций позволяет сделать вывод о том, что известная нам социальная реальность стремительно эволюционирует в новую, социотехническую реальность (фиджитал-мир). Скрепляет феномен социотехнической реальности и развитие исследований и разработок в области интернета вещей (IoT), который решает насущную проблему осмысления человеком все более усложняющейся архитектуры данных. Во-первых, интернет вещей предполагает взаимодействие человека с различными устройствами посредством огромного многообразия датчиков, компьютерных систем и устройств. Во-вторых, для облегчения сбора и первичного анализа информации, создаваемой этими системами, человек уже может пользоваться интеллектуальными ботами, способными более эффективно взаимодействовать с разными устройствами посредством программных алгоритмов [59]. Возникает тонкий фронтир между классической субъектностью, гибридной субъектностью интерфейса «человек-бот» и самокоммуникацией между самими компьютерными системами и интеллектуальными ботами без вмешательства человека.

Есть объективные предпосылки стремления исследователей развивать это направление. И это связано не только с коммерциализацией повседневной коммуникации и манипулятивными политическими технологиями. Например, существуют работы, авторы которых приходят к выводам, что современные недостатки ботов на базе искусственного интеллекта могут исправить системы, включающие взаимодействие человека с несколькими ботами одновременно. Это, по мнению исследователей, приблизит коммуникацию к более реальной, похожую на межчеловеческую [60]. Конечно, такое направление не снимает вопроса о дальнейшей трансформации подобного рода интеллектуальных систем из целого роя ботов через принципы машинного обучения. Что будет, если такие бот-системы станут постоянно общаться с аналогичными сетевыми структурами без человека? Возникает проблема нового типа промышленного и межгосударственного шпионажа, конфиденциальности биометрической информации, сохранения государственного суверенитета, а также провокации информационных войн, дискредитации образов политиков, партий и целых стран.

К. Альбрехт описывает свой рецепт совершенствования межсубъектных отношений в рамках концепции «социального интеллекта» [61], который предполагает, что участники коммуникации должны демонстрировать антропоморфизм (сходство с человеком), прозрачность своих намерений в отношении человека и человеческое поведение. Логично предположить, что уже в ближайшее время политические партии и политические лидеры

будут заказывать разработку подобных интеллектуальных ботов (или даже целых их роевых систем), которые станут собирать и анализировать для их избирательных штабов цифровые следы представителей целевых групп, а также коммуницировать с самими избирателями, отвечая антропоморфным требованиям социального интеллекта. Граждане также в будущем смогут приобретать для себя более умные репрезентанты в киберпространстве – цифровые аватары для облегчения собственной коммуникации во все более заполняющимися непроверенной информацией и фейками информационном поле. Такие тренды уже угадываются при создании интерфейсов интеллектуальных агентов. Разработчики, как правило, стараются сделать такой интеллектуальный бот, который бы не вызывал отторжения у человека при разговоре [62].

Активное использование данных разработок при создании архитектуры новой социотехнической реальности, основанной на доминировании цифровых технологий коммуникации в ключевых сферах жизнедеятельности современного государства и общества, может иметь весомые последствия, в связи с чем нам представляется важным дальнейшее изучение феномена цифровизации в условиях глобальных технологических трансформаций, происходящих сегодня в мире.

Литература

1. Исаев И.А. «Машина власти» в виртуальном пространстве (формирование образа). М. : Проспект, 2021. 384 с.
2. Сафронов А.П. Индустриальный авторитаризм: порядок социального принуждения. М. : Алгоритм, 2018. 384 с.
3. Hanna N. A role for the state in the digital age // Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2018. Vol. 7. P. 1–16. DOI: 10.1186/s13731-018-0086-3
4. Mergel I., Edelmann N., Haug N. Defining digital transformation: Results from expert interviews // Government Information Quarterly. 2019. Vol. 36, is. 4. DOI: 10.1016/j.giq.2019.06.002
5. Сморгунов В.Л. Партиципаторная государственная управляемость: платформы и сотрудничество // Власть. 2019. Т. 27, № 5. С. 9–19. DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6712
6. Срничек Н. Капитализм платформ / пер. с англ. М. Добряковой: 2-е изд. М. : Изд. дом ВШЭ, 2020. 128 с.
7. Castells M. A Network Theory of Power // International Journal of Communication. 2011. Vol. 5. P. 773–787.
8. Акопов Г.Л. Интернет и политика. Модернизация политической системы на основании инновационных политических интернет-коммуникаций. М. : КноРус, 2014. 238 с.
9. Dommett K., Kefford G., Power S. The digital ecosystem: the new politics of party organization in parliamentary democracies // Party Politics. 2020. February. P. 1–11. DOI: 10.1177/1354068820907667
10. Gerbaudo P. The Digital Party: Political Organization and Online Democracy (Digital Barricades). London : Pluto Press, 2018. 240 p.
11. Манович Л. Язык новых медиа. М. : Ad Marginem Press, 2018. 400 с.
12. Родькин П.Е. Медиа и социум. Три попытки вскрыть субъект власти: критический очерк. М. : Совпадение, 2016. 72 с.
13. Кёхлер Г. Новые социальные медиа: шанс или препятствие для диалога? // Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 75–87.
14. Bodrunova S.S. Contributive action: socially mediated activities of Russians during the COVID-19 lockdown // Media international Australia. 2020. Vol. 177, № 1. P. 139–143. DOI: 10.1177/1329878X20953536
15. Dean J. Communicative Capitalism and Class Struggle // Spheres: Journal for Digital Cultures. 2014. № 1. P. 1–16.
16. Meyer T. Mediokratie: Die Kolonisierung der Politik durch die Medien. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001. 232 p.

17. Соловьев А.И. Политический дискурс медиакратий: проблемы информационной эпохи // Полис. Политические исследования. 2004. № 2. С. 124–132. DOI: 10.17976/jpps/2004.02.12
18. Beer D. The social power of algorithms // Information, Communication & Society. 2017. Vol. 20, is. 1. P. 1–13. DOI: 10.1080/1369118X.2016.1216147
19. Ловинк Г. Критическая теория интернета. М. : Ad Marginem Press, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 304 с.
20. Коулман С. Может ли Интернет укрепить демократию? : пер. с англ. СПб. : Алетейя, 2018. 132 с.
21. Химанен П. Хакерская этика и дух информационализма. М. : АСТ, 2019. 256 с.
22. Savaget P., Chiarini T., Evans S. Empowering Political Participation through Artificial Intelligence // Science and Public Policy. 2019. Vol. 46, is. 3. P. 369–380. DOI: 10.1093/scipol/scy064
23. Барбрук Р. Интернет-революция. М. : Ad Marginem Press, 2015. 128 с.
24. Багдасарян В.Э., Балдин П.П. Перспективы развития искусственного интеллекта в актуальной повестке политических и социальных рисков глобальных трансформаций // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4, № 2. С. 10–22. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-10-22
25. Witt M.T., Haven-Smith L. de. Conjuring the Holographic State: Scripting Security Doctrine for a (New) World of Disorder // Administration & Society. 2008. Vol. 40, is. 6. P. 547–585. DOI: 10.1177/0095399708321682
26. Barber B.R. Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. Political Science Quarterly. 1998. Vol. 113, № 4. P. 573–589. DOI: 10.2307/2658245
27. Маккуайр С. Геомедиа: сетевые города и будущее общественного пространства : пер. с англ. М. : Strelka Press, 2018. 268 с.
28. Мирошниченко И.В. Сетевая публичная политика и управление. М. : Аргамак-Медиа, 2016. 296 с.
29. Шомова С.А. От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации. М. : Изд. дом ВШЭ, 2016. 264 с.
30. Jeffares St. Interpreting Hashtag Politics. Policy Ideas in an Era of Social Media. New York : Palgrave Macmillan UK, 2014. 184 p.
31. Володенков С.В., Федорченко С.Н. Цифровые стигматы как инструмент манипуляции массовым сознанием в условиях современного государства и общества // Социологические исследования. 2018. № 11. С. 117–123. DOI: 10.31857/S013216250002791-3
32. Clark W.R., Golder M. Big Data, Causal Inference, and Formal Theory: Contradictory Trends in Political Science? // PS: Political Science & Politics. 2015. Vol. 48, is. 1. P. 65–70. DOI: 10.1017/S1049096514001759
33. Роговский Е. Выборы в США: успех технологических инноваций // Международная жизнь. 2017. № 3. С. 107–122.
34. Быков И.А. Искусственный интеллект как источник политических суждений // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4, № 2. С. 23–33. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-23-33
35. Василькова В.В., Легостаева Н.И. Социальные боты в политической коммуникации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2019. Т. 19, № 1. С. 121–133. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-121-133
36. Остапенко А.Г., Паринов А.В., Калашиников А.О. и др. Социальные сети и деструктивный контент / под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М. : Горяч. линия – Телеком, 2020. 274 с.
37. Кин Дж. Демократия и декаданс медиа / пер. с англ. Д. Кралечкина. М. : Изд. дом ВШЭ, 2015. 312 с.
38. Kuehn K.M., Salter L.A. Assessing Digital Threats to Democracy, and Workable Solutions: A Review of the Recent Literature International // Journal of Communication. 2020. Vol. 14. P. 2589–2610.
39. Sadowski J., Pasquale F. The spectrum of control: A social theory of the smart city // First Monday. 2015. Vol. 20, № 7. DOI: 10.5210/fm.v20i7.5903
40. Емелин В.А. Идентичность в информационном обществе. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. 360 с.
41. Тищенко П.Д. Россия 2045: котлован для аватара (Размышления в связи с книгой «Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция») // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 181–187.
42. Томильцева Д.А., Железнов А.С. Неизбежный третий: этико-политические аспекты взаимодействия с искусственными агентами // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2020. № 4 (99). С. 90–107. DOI: 10.30570/2078-5089-2020-99-4-90-107

43. Дин Дж. Коммунизм или неофеодализм? // Логос. 2019. Т. 29, № 6. С. 85–116.
44. Ефремов А.А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 201–215. DOI: 10.17323/2072-8166.2017.1.201.215
45. Нечаев В.Д., Белоконов С.Ю. Цифровая экономика и тенденции политического развития современных обществ // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13, № 2. С. 112–133. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-6
46. Почепцов Г.Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. М. : Алгоритм, 2015. 256 с.
47. Бойд-Барретт О. Медиа-империализм : пер. с англ. Харьков : Гуманитарный центр, 2018. 292 с.
48. Innis H.A. *Empire & Communications*. Toronto : Dundurn Press, 2007. 287 p.
49. Быков А.Ю. Информационная сущность геополитики // Космополис. 2008. № 3 (22). С. 24–31.
50. Игнатьев В.И. Социальные локальности в эпоху информационно-сетевой глокализации // Социологические исследования. 2020. № 7. С. 37–46. DOI: 10.31857/S013216250010024-9
51. Винник Д.В. Цифровой суверенитет: политические и правовые режимы фильтрации данных // Философия науки. 2014. № 2 (61). С. 95–113.
52. Жуков Д.С. Искусственный интеллект для общественно-государственного организма: будущее уже стартовало в Китае // Журнал политических исследований. 2020. Т. 4, № 2. С. 70–79. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-70-79
53. Бажанова С.В., Сырямина Н.А. Независимость информационных ресурсов как элемент информационной безопасности государства // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2019. Т. 2, № 3. С. 5–12.
54. Кефели И.Ф., Мальмберг С.А. Информационный потенциал государства как основа информационного суверенитета // Управленческое консультирование. 2019. № 1 (121). С. 29–39. DOI: 10.22394/1726-1139-2019-1-29-39
55. Бухарин В.В. Компоненты цифрового суверенитета российской федерации как техническая основа информационной безопасности // Вестник МГИМО Университета. 2016. № 6 (51). С. 76–91.
56. Osipov V.S. Yellow brick road to digital state // Digital Law Journal. 2020. Vol. 1, № 2. P. 28–40. DOI: 10.38044/2686-9136-2020-1-2-28-40
57. Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда : пер. с англ. М. : Strelka Press, 2019. 336 с.
58. Floridi L. The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU // Philosophy & Technology. 2020. 33. P. 369–378. DOI: 10.1007/s13347-020-00423-6
59. Kar R., Haldar R. Applying Chatbots to the Internet of Things: Opportunities and Architectural Elements // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2016. Vol. 7, is. 11. P. 147–154. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.071119
60. Fryer L.K., Coniam D., Carpenter R., Lăpușneanu D. Bots for language learning now: Current and future directions // Language Learning & Technology. 2020. Vol. 24, is. 2. P. 8–22.
61. Albrecht K. *Social Intelligence: The New Science of Success*. NY. : Pfeiffer, 2009. 304 p.
62. Gratch J., Okhmatovskai A., Lamothe F., Marsella S., Morales M., van der Werf R.J., Morency L.P. Virtual rapport. Proceedings of International Workshop on Intelligent Virtual Agents. 2006. P. 14–27. DOI: https://doi.org/10.1007/11821830_2

Sergey V. Volodenkov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: s.v.cyber@gmail.com

Sergey N. Fedorchenko, Moscow State Regional University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: s.n.fedorchenko@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 175–193.

DOI: 10.17223/1998863X/60/16

DIGITALIZATION OF THE CONTEMPORARY SPACE OF SOCIO-POLITICAL COMMUNICATIONS: SCIENTIFIC CONCEPTS, MODELS, AND SCENARIOS

Keywords: digitalization; mass consciousness; socio-political communication; digital power; socio-technical reality.

The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-111-50445.

The article reviews scientific concepts, models, and scenarios related to the digitalization of contemporary social and political communication processes. The authors consider the main approaches to determining the content and features of the global digitalization impact on the transformation of socio-political practices. The article presents scientific positions regarding the role of digital technologies in contemporary public consciousness management. Special attention is paid to scientific scenarios of digital transformation and its impact on the traditional political system. Based on the analysis of scientific works, the authors identified the critical threats, risks, and challenges in ensuring state sovereignty and national security in the context of technological transformations. The research procedure and methods are based on a discourse analysis of Russian and foreign scientific works devoted to the socio-political aspects of contemporary digitalization and its role in the functioning and transformation of contemporary institutions of power, as well as on a critical analysis of the approaches proposed by contemporary political science to the study and understanding of the digitalization phenomenon. Simultaneously, discourse analysis, as the primary methodological optics, was used taking into account the principles of the hermeneutics of the existing scientific approaches. The discourse analysis of various scientific concepts, models, and scenarios of digitalization of social and political communications carried out in the course of the study allows the authors to conclude that the traditional social reality known to us is rapidly evolving into a new, socio-technical reality (phygital world), which has its own pronounced distinctive features. Based on the study results, the authors conclude that today the global architecture of a new socio-technical reality is being created in the world, based on the dominance of digital communication technologies in key spheres of life of the contemporary state and society. The work shows that many scientists, whose works were analyzed within the framework of the article, express serious concerns about the possibility of setting regimes of “soft dictatorships” based on control over information and communication processes in the socio-political space, on the formation of a distorted digital reality, on the reduction of opportunities for citizens to actively and consciously participate in contemporary political processes.

References

1. Isaev, I.A. (2021) “*Mashina vlasti*” v virtual'nom prostranstve (*formirovanie obraza*) [“Power machine” in the virtual space (image formation)]. Moscow: Prospekt.
2. Safronov, A.P. (2018) *Industrial'nyy avtoritarizm: poryadok sotsial'nogo prinuzhdeniya* [Industrial authoritarianism: an order of social coercion]. Moscow: Algoritm.
3. Hanna, N. (2018) A role for the state in the digital age. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 7. pp. 1–16. DOI: 10.1186/s13731-018-0086-3
4. Mergel, I., Edelman, N. & Haug, N. (2019) Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*. 36(4). DOI: 10.1016/j.giq.2019.06.002
5. Smorgunov, V.L. (2019) Participatory governability: platforms and collaboration. *Vlast' – The Authority*. 27(5). pp. 9–19. (In Russian). DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6712
6. Srnichek, N. (2020) *Kapitalizm platform* [Platform Capitalism]. Translated from English by M. Dobryakova. 2nd ed. Moscow: HSE.
7. Castells, M. (2011) A Network Theory of Power. *International Journal of Communication*. 5. pp. 773–787.
8. Akopov, G.L. (2014) *Internet i politika. Modernizatsiya politicheskoy sistemy na osnovanii innovatsionnykh politicheskikh internet-kommunikatsiy* [Internet and politics. Modernization of the political system based on innovative political Internet communications]. Moscow: KNORUS.
9. Dommett, K., Kefford, G. & Power, S. (2020) The digital ecosystem: the new politics of party organization in parliamentary democracies. *Party Politics*. February. pp. 1–11. DOI: 10.1177/1354068820907667
10. Gerbaudo, P. (2018) *The Digital Party: Political Organization and Online Democracy (Digital Barricades)*. London: Pluto Press.
11. Manovich, L. (2018) *Yazyk novykh media* [The Language of New Media]. Moscow: Ad Marginem Press.
12. Rodkin, P.E. (2016) *Media i sotsium. Tri popytki vskryt' sub"ekt vlasti: kriticheskiy ocherk* [Media and Society. Three Attempts to Uncover the Subject of Power: A Critical Essay]. Moscow: Sovpadenie.
13. Koehler, G. (2013) The new social media: chance or challenge for dialogue? *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 75–87. (In Russian).

14. Bodrunova, S.S. (2020) Contributive action: socially mediated activities of Russians during the COVID-19 lockdown. *Media International Australia*. 177(1). pp. 139–143. DOI: 10.1177/1329878X20953536
15. Dean, J. (2014) Communicative Capitalism and Class Struggle. *Spheres: Journal for Digital Cultures*. 1. pp. 1–16. DOI: 10.25969/mediarep/3818
16. Meyer, T. (2001) *Mediokratie: Die Kolonisierung der Politik durch die Medien*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
17. Soloviev, A.I. (2004) Politicheskii diskurs mediakratiy: problemy informatsionnoy epokhi [Political discourse of media practices: problems of the information age]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 2. pp. 124–132. DOI: 10.17976/jpps/2004.02.12
18. Beer, D. (2017) The social power of algorithms. *Information, Communication & Society*. 20(1). pp. 1–13. DOI: 10.1080/1369118X.2016.1216147
19. Lovink, G. (2019) *Kriticheskaya teoriya interneta* [Critical Theory of the Internet]. Translated from English by P. Torkanovsky, D. Lebedev. Moscow: Ad Marginem, Muzei sov. isk. "Garazh".
20. Coleman, S. (2018) *Mozhet li Internet ukrepit' demokratiyu?* [Can the Internet Strengthen Democracy?]. Translated from English by Yu.A. Kabanov, Yu.G. Misnikov, A.N. Ryabushko. St. Petersburg: Aleteyya.
21. Himanen, P. (2019) *Khakerskaya etika i dukh informatsionalizma* [The Hacker Ethics and the Spirit of Information Age]. Translated from English by D. Sirochenko. Moscow: AST.
22. Savaget, P., Chiarini, T. & Evans, S. (2019) Empowering Political Participation through Artificial Intelligence. *Science and Public Policy*. 46(3). pp. 369–380. DOI: 10.1093/scipol/scy064
23. Barbruk, R. (2015) *Internet-revolutsiya* [The Internet Revolution]. Translated from English. Moscow: Ad Marginem Press.
24. Bagdasaryan, V.E. & Baldin, P.P. (2020) Perspektivy razvitiya iskusstvennogo intellekta v aktual'noy povestke politicheskikh i sotsial'nykh riskov global'nykh transformatsiy [Prospects for the development of artificial intelligence in the current agenda of political and social risks of global transformations]. *Zhurnal politicheskikh issledovaniy – Journal of Political Research*. 4(2). pp. 10–22. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-10-22
25. Witt, M.T. & Haven-Smith, L. de (2008) Conjuring the Holographic State: Scripting Security Doctrine for a (New) World of Disorder. *Administration & Society*. 40(6). pp. 547–585. DOI: 10.1177/0095399708321682
26. Barber, B.R. (1998) Three Scenarios for the Future of Technology and Strong Democracy. *Political Science Quarterly*. 113(4). pp. 573–589. DOI: 10.2307/2658245
27. McQuire, S. (2018) *Geomedia: setevye goroda i budushchee obshchestvennogo prostranstva* [Geomedia: Networked Cities and the Future of Public Space]. Translated from English. Moscow: Strelka Press.
28. Miroshnichenko, I.V. (2016) *Setevaya publichnaya politika i upravlenie* [Network public policy and management]. Moscow: Argamak-Media.
29. Shomova, S.A. (2016) *Ot misterii do strit-art'a. Ocherki ob arkhetypakh kul'tury v politicheskoy kommunikatsii* [From mystery to street art. Essays on the archetypes of culture in political communication]. Moscow: HSE.
30. Jeffares, St. (2014) *Interpreting Hashtag Politics. Policy Ideas in an Era of Social Media*. New York: Palgrave Macmillan UK.
31. Volodenkov, S.V. & Fedorchenko, S.N. (2018) Tsifrovye stigmaty kak instrument manipulyatsii massovym soznaniem v usloviyakh sovremennogo gosudarstva i obshchestva [Digital stigma as a tool for manipulating mass consciousness in a modern state and society]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 117–123. DOI: 10.31857/S013216250002791-3
32. Clark, W.R. & Golder, M. (2015) Big Data, Causal Inference, and Formal Theory: Contradictory Trends in Political Science? *PS: Political Science & Politics*. 48(1). pp. 65–70. DOI: 10.1017/S1049096514001759
33. Rogowsky, E. (2017) The U.S. Presidential Election: A Triumph of Information Technology Innovations. *Mezhdunarodnaya zhizn' – International Affairs*. 3. pp. 107–122. (In Russian).
34. Bykov, I.A. (2020) Iskusstvennyy intellekt kak istochnik politicheskikh suzheniy [Artificial Intelligence as a Source of Political Judgments]. *Zhurnal politicheskikh issledovaniy – Journal of Political Research*. 4(2). pp. 23–33. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-23-33
35. Vasilkova, V.V. & Legostaeva, N.I. (2019) Social bots in political communication. *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 19(1). pp. 121–133. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-121-133
36. Ostapenko, A.G., Parinov, A.V., Kalashnikov, A.O. et al. (2020) *Sotsial'nye seti i destruktivnyy kontent* [Social networks and destructive content]. Moscow: Goryach. liniya – Telekom.

37. Keane, J. (2015) *Demokratiya i dekadans media* [Democracy and Media Decadence]. Translated from English by D. Kralechkin. Moscow: HSE.
38. Kuehn, K.M. & Salter, L.A. (2020) Assessing Digital Threats to Democracy, and Workable Solutions: A Review of the Recent Literature. *International Journal of Communication*. 14. pp. 2589–2610.
39. Sadowski, J. & Pasquale, F. (2015) The spectrum of control: A social theory of the smart city. *First Monday*. 20(7). DOI: 10.5210/fm.v20i7.5903
40. Emelin, V.A. (2017) *Identichnost' v informatsionnom obshchestve* [Identity in the Information Society]. Moscow: Kanon+ ROOI “Reabilitatsiya”.
41. Tishchenko, P.D. (2014) Rossiya 2045: kotlovan dlya avatara (Razmyshleniya v svyazi s knigoy “Global'noe budushchee 2045. Konvergentnye tekhnologii (NBIKS) i transgumanisticheskaya evolyutsiya”) [Russia 2045: a pit for an avatar (Reflections in connection with the book “The global future 2045. Convergent technologies (NBICS) and transhumanistic evolution”)]. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 181–187.
42. Tomiltseva, D.A. & Zheleznov, A.S. (2020) Inevitable Third: Ethical and Political Aspects of Interactions with Artificial Agents. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz (Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki) – Politeia. The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*. 4(99). pp. 90–107. (In Russian). DOI: 10.30570/2078-5089-2020-99-4-90-107
43. Dean, J. (2019) Kommunizm ili neofeodalizm? [Communism or neo-feudalism?]. *Logos*. 29(6). pp. 85–116.
44. Efremov, A.A. (2017) Formirovanie kontseptsii informatsionnogo suvereniteta gosudarstva [Formation of the state information sovereignty concept]. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki*. 1. pp. 201–215. DOI: 10.17323/2072-8166.2017.1.201.215
45. Nechaev, V.D. & Belokonev, S.Yu. (2020) Digital Economy and Trends of Political Development in Modern Societies. *Kontury global'nykh transformatsiy: politika, ekonomika, pravo – Outlines of global transformations: politics, economics, law*. 13(2). pp. 112–133. (In Russian). DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-6
46. Pocheptsov, G.G. (2015) *Informatsionnye voyny. Novyy instrument politiki* [Information Wars. New Policy Tool]. Moscow: Algoritm.
47. Boyd-Barrett, O. (2018) *Media-imperializm* [Media Imperialism]. Translated from English. Kharkiv: Gumanitarnyy tsentr.
48. Innis, H.A. (2007) *Empire & Communications*. Toronto: Dundurn Press.
49. Bykov, A.Yu. (2008) Informatsionnaya sushchnost' geopolitiki [Informational essence of geopolitics]. *Kosmopolis*. 3(22). pp. 24–31.
50. Ignatiev, V.I. (2020) Sotsial'nye lokal'nosti v epokhu informatsionno-setevoy globalizatsii [Social locality in the era of information-network globalization]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 7. pp. 37–46. DOI: 10.31857/S013216250010024-9
51. Vinnik, D.V. (2014) Digital sovereignty: political and legal regimes of data filtration. *Filosofiya nauki – Philosophy of Sciences*. 2(61). pp. 95–113. (In Russian).
52. Zhukov, D.S. (2020) Iskusstvennyy intellekt dlya obshchestvenno-gosudarstvennogo organizma: budushchee uzhe startovalo v Kitae [Artificial intelligence for the public-state organism: the future has already started in China]. *Zhurnal politicheskikh issledovaniy – Journal of Political Research*. 4(2). pp. 70–79. DOI: 10.12737/2587-6295-2020-70-79
53. Bazhanova, S.V. & Syryamina, N.A. (2019) Independence of information resources as an element of information security of the state. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tati-shcheva*. 2(3). pp. 5–12. (In Russian).
54. Kefeli, I.F. & Malmberg, S.A. (2019) State Information Capacity as Information Sovereignty Basis. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie – Administrative Consulting*. 1(121). pp. 29–39. (In Russian). DOI: 10.22394/1726-1139-2019-1-29-39
55. Bukharin, V.V. (2016) The Russian's digital sovereignty as a technical basis of information security. *Vestnik MGIMO Universiteta – MGIMO Review of International Relations*. 6(51). pp. 76–91. (In Russian).
56. Osipov, V.S. (2020) Yellow brick road to digital state. *Digital Law Journal*. 1(2). pp. 28–40. DOI: 10.38044/2686-9136-2020-1-2-28-40
57. Srnichek, N. & Williams, A. (2019) *Izobretaya budushchee: postkapitalizm i mir bez truda* [Inventing the Future: Post-Capitalism and a World Without Labor]. Translated from English. Moscow: Strelka Press.
58. Floridi, L. (2020) The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy & Technology*. 33. pp. 369–378. DOI: 10.1007/s13347-020-00423-6

59. Kar, R. & Haldar, R. (2016) Applying Chatbots to the Internet of Things: Opportunities and Architectural Elements. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. 7(11). pp. 147–154. DOI: 10.14569/IJACSA.2016.071119
60. Fryer, L.K., Coniam, D., Carpenter, R. & Lăpușneanu, D. (2020) Bots for language learning now: Current and future directions. *Language Learning & Technology*. 24(2). pp. 8–22.
61. Albrecht, K. (2009) *Social Intelligence: The New Science of Success*. New York: Pfeiffer.
62. Gratch, J., Okhmatovskai, A., Lamothe, F., Marsella, S., Morales, M., van der Werf, R.J. & Morency, L.P. (2006) Virtual rapport. *Proceedings of International Workshop on Intelligent Virtual Agents*. pp. 14–27. DOI: 10.1007/11821830_2

УДК 329.1/9-043.86+328.1(437.6)
DOI: 10.17223/1998863X/60/17

М. Мартинкович

РАЗВИТИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ И ХАРАКТЕР КОАЛИЦИОННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ СЛОВАКИИ В 2006–2016 гг.

Исследование проведено в рамках грантовых проектов VEGA No. 1/0131/18
и KEGA č. 008TTU-4/2019-2021.

Проанализировано развитие партийной системы в Словацкой Республике в 2006–2016 гг. с применением социологических методов. Определены основные проблемные аспекты развития партийной системы на основе индекса RILE. Исследование отслеживает уровень поляризации в парламенте Словацкой Республики и степень неоднородности правительственных коалиций в исследуемом периоде.

Ключевые слова: индекс RILE, партийная система, вариативное напряжение, степень неоднородности коалиции, парламентские выборы.

Актуальность и методология

В исследовании проанализировано развитие партийной системы в Словакии от досрочных парламентских выборов в сентябре 2006 г. до досрочных парламентских выборов, состоявшихся в марте 2016 г. Временной промежуток исследования 2006–2016 гг. – был определен из тех соображений, что на левом фронте партийного спектра в Словакии в 2002–2004 гг. произошло объединение левых партий в политическую партию SMER-SD. Ее деятельность и лидер Роберт Фицо доминировали на выборах с 2006 до 2016 г. и существенно повлияли на развитие партийной системы. Анализ партийной системы и программная ориентация партий (их позиционное значение / ценность в партийной системе) будут реализованы с помощью данных *Comparative Manifestos Project* (CMP) – Social Science Research Center Berlin [1]. Она также регулярно публикует индекс RILE в рамках проекта «Manifesto Project Database», т.е. значение программ партий в контексте право-левой ориентации.

Мы использовали эти данные для определения программной ориентации и, по возможности, для определения «правого» или «левого» уклона программ отдельных партий. При анализе программной ориентации партий мы исходили из типологии Клауса фон Бейме¹ и применяли типологию Джованни Сартори к развитию партийной системы². С помощью индекса RILE продемонстрировано развитие степени идеологической поляризации партийной системы и уровня программной неоднородности коалиционных правительств

¹ Он охарактеризовал следующие типы партий: либеральную и радикальную, консервативную, социалистическую и социал-демократическую, христианско-демократическую, коммунистическую, региональную и этническую, крайне правые партии и т.д. [2. S. 23–24].

² Актуальность партии в парламенте связана с коалиционным потенциалом партии или шантажом [3. S. 45].

в 2006–2016 гг. Индекс RILE теоретически представляет шкалу и возможности оценки партийных программ от 100 (максимум «правых» манифестов и решений социальных проблем) до –100 (представляет теоретический максимум преобладания «левых» тем, ценностей и решений). В этом контексте мы сначала определим позиционные ценности релевантных парламентских партий в соответствии с разработкой их программ. Далее охарактеризуем развитие вышеупомянутых признаков вариативной напряженности в партийной системе и степени неоднородности правительственных коалиций.

Досрочные выборы в Национальный совет Словацкой Республики в 2006 г.

Явка избирателей в досрочных выборах в Национальный совет Словацкой Республики (NR SR) в 2006 г. составила 54,67%. По сравнению с 2002 г. (70,07%) наблюдалось уменьшение электорального участия. Кроме заметного избирательного спада «Народной партии – Движения за демократическую Словакию» (ĽS-HZDS потеряла более 358 тыс. голосов по сравнению с выборами 2002 г.), «левые» субъекты были интегрированы в партию SMER. Этот процесс привел к увеличению избирательной поддержки партии SMER-SD и уменьшению падения голосов левоориентированных избирателей¹. По сравнению с 2002 г., за SMER-SD проголосовали более 284 тыс. новых избирателей. На парламентских выборах 2006 г. SMER-SD стала партией, получившей наибольшее количество голосов. В Национальный совет Словацкой Республики попала также вновь объединенная Словацкая национальная партия (SNS)². Вступление Словацкой национальной партии в Национальный совет Словацкой Республики подтверждает наличие националистической конфликтной линии в партийной системе. Однако доминирующей линией конфликта оставались социально-экономические вопросы и раскол «город–село». Результаты выборов по критериям процента доли голосов избирателей и количества мандатов были такими. SMER-SD получили 29,14% (671 185 голосов и 50 мандатов), Словацкий демократический и христианский союз – Демократическая партия (SDKÚ-DS) 18,35% (422 815 голосов и 31 мандат), Словацкая национальная партия (SNS) 11,73% (270 230 голосов и 20 мандатов), Партия венгерской коалиции – Magyar Koalíció Pártja (SMK) 11,68% (269 111 голосов и 20 мандатов), ĽS-HZDS 8,79% (202 540 голосов и 15 мандатов) и Христианско-демократическое движение (KDH) получило 8,31% (191,443 голосов и 14 мандатов) [4].

В 2006 г. правительство было сформировано партиями, которые в предыдущем избирательном периоде пребывали в оппозиции (SMER-SD, ĽS-HZDS) или даже вне парламента (SNS) и находились в противопоставлении относительно друг друга. Их сотрудничество стало реальным в тот момент, когда Христианско-демократическое движение получило предложение о перегово-

¹ В 2003 г. SMER объединила Партию гражданского взаимопонимания, а в 2004 г. также социально-демократические субъекты – Партию демократических левых, Социал-демократическую альтернативу и Социал-демократическую партию Словакии. После этого объединения SMER добавила к своему названию социал-демократию (SMER-CD), тем самым завершив окончательную трансформацию в формальную социал-демократическую партию. Благодаря этому процессу она стала доминирующим партийным образованием партийного спектра в Словакии.

² Слияние произошло 31.05 в Жилине. Ян Слота снова стал председателем, а Анна Маликова – заместителем председателя.

рах о правительственной коалиции от партии SMER-SD и, как следствие, KDH раскололось изнутри после внутрипартийной дискуссии. По этой причине руководство партии SMER-SD предложило сотрудничество между SNS и ĽS-HZDS¹. Партии SMER-SD, SNS и ĽS-HZDS объединяли в основном та же националистическая риторика, сопротивление реформам предыдущих кабинетов Микулаша Дзуринды (председатель SDKÚ-DS) и, не в последнюю очередь, прагматизм в контексте обретения политической власти. Несмотря на худший результат на выборах под руководством Владимира Мечиара, ĽS-HZDS получили долю в правительственной власти после двух функциональных периодов (каденций). Причиной формирования такого правительства был устойчивый аспект поляризации и неоднозначности в партийной системе, что также ограничивало трансформацию государственного управления [5].

Партийная система образовалась в 1990-х гг. в виде нестандартной линии разделения «Мечиар-антимечиар». Это препятствовало более интенсивной программной консолидации партий и развивало довольно негативный коалиционный потенциал [6. С. 22], идеологическую поляризацию в контексте личной неприязни к В. Мечиару и фрагментацию политического представительства на всех уровнях децентрализованной публичной сферы². Частью такого развития партийной системы является применение стратегии игры с нулевым счетом. Она основана на продвижении монополии на политическое представительство и такого типа политической культуры, где все предложения оппонентов обычно отклоняются с позиции представителей большинства. Условием сотрудничества правительства со стороны руководства SMER-SD было отсутствие В. Мечиара, а также Й. Слота как глав коалиционных партий в правительстве³. Правительство было сформировано по принципу минимальной победной коалиции, которая на момент своего создания имела поддержку 85 мандатов с 150 депутатов Национального совета Словацкой Республики. В политологической литературе она определяется как программно гетерогенная коалиция, которая была стабильной и сохраняла свой мандат в течение всего срока деятельности (с 4 июля 2006 г. до 10 июля 2010 г.).

Акцептация сотрудничества между социал-демократами и националистами SNS поставила под сомнение решение Партии европейских социалистов (PES). После образования правительственной коалиции она приостановила членство в партии SMER-SD в ее фракции в Европейском парламенте. Причиной стала кооперация правительства с SNS. Члены PES воспринимали ее как националистическую партию, программа которой не соответствовала

¹ Потенциальное сотрудничество партии SMER-SD с KDH также должно было бы привлечь к правительственному сотрудничеству и этническую партию венгров, проживающих в Словакии (SMK). Этому потенциальному сотрудничеству должна была препятствовать давняя националистическая риторика партии SMER-SD. Наоборот, это совпадало с предпочтениями избирателей партий ĽS-HZDS и SNS. И по этой причине SMER-SD отобрала избирателей от данных партий.

² Поляризация партийной системы на национальном уровне привела к усилению недоверия к партийным кандидатам на региональном и местном уровнях. Об этой проблеме см. Martinkovič M. Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017, 2018... [7] и сравните Гайданка Е.И. Фрагментация политико-партийного пространства на региональном уровне: контекст местных выборов в Чешской Республике... [8].

³ Причиной стали случаи ĽS-HZDS и SNS со времен третьего правительства Мечиара в 1994–1998 гг. Это правительство отвечает, например, за непрозрачную приватизацию государственной собственности и серьезные дела, такие как похищение сына президента Михала Ковач-младшего, убийство Роберта Ремиаши, лишение депутатского мандата Франтишека Голиедера, несоблюдение решений Конституционного суда Словацкой Республики и т.д.

социал-демократическим ценностям¹. С точки зрения индекса RILE, позиционные и программные значения партий в 2006 г. были следующими (рис. 1). По индексу RILE, партия SMER-SD имела программу на уровне $-21,76$. Эта информация подтвердила ее восприятие как социал-демократической партии. С 2002 г. (индекс RILE 8,86) партия продвинулась к краю левого партийного континуума. Аналогичный результат получился и для правого KDH с индексом RILE 29,67. KDH стала полюсной правой партией в системе партии. В отличие от этого, SDKÚ-DS переместились с позиции полюсной стороны правого спектра в 2002 г. (37,36 по индексу RILE) до левого значения 1,25 в 2006 г. Она представляла собой незначительное преобладание левых тем и программную трансформацию SDKÚ-DS в центристскую партию.

Националистическая SNS имела индекс RILE на уровне 7,59, т.е. являлась умеренно правой. Середину партийного спектра заняли ĽS-HZDS с результатом 0,00 по шкале RILE, что также соответствовало ее публичной презентации как *catch-all-party*. Программный диапазон первого кабинета Р. Фицо (SMER-SD, SNS и ĽS-HZDS) показал в пределах индекса RILE степень программной неоднородности на уровне 29,11. Левая SMER-SD ($-21,76$) и правая SNS (7,35) сформировали программные полюса коалиции. Партия этнических венгров SMK также входила в состав Национального совета Словацкой Республики. Она имела индекс RILE на уровне $-7,27$, т.е. это обозначило левую партийную программу. Увеличивались общие различия между самыми отдаленными сторонами партийной системы (SMER-SD и KDH). С уровня 44,5 индекса RILE в 2002 г. до 51,43 в 2006 г.

Однако количество партий в парламенте уменьшилось до 6. Даже это изменение количества партий не привело к уменьшению идеологической поляризации. Наоборот, рост вариативной напряженности в партийной системе доказывает увеличение идеологической дистанции и степени поляризации. Партийная система сохранила формат крайнего плюрализма (с количеством минимум шесть партий в парламенте) и тип поляризованного плюрализма [9. С. 130]. Проблемой партийной системы оставалось двоблоковое сотрудничество партий и линия «Фицо-антифицо», которая начала заменять раскол «Мечиар-антимечиар».

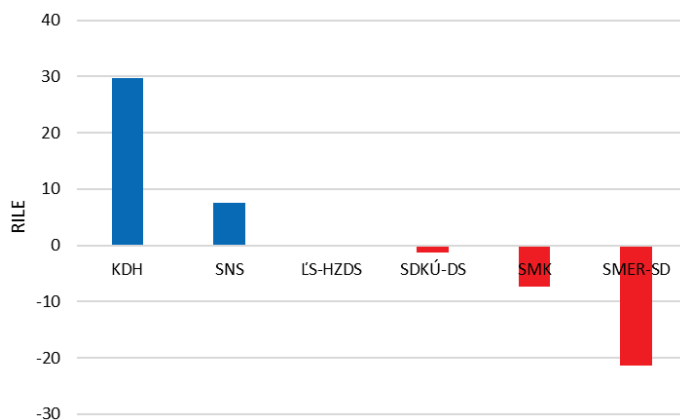


Рис. 1. Индекс RILE парламентских партий на выборах 2006 г. [10]

¹ Членство SMER-SD в ПЕЕС было возобновлено в 2008 г.

Со стороны оппозиции в 2006–2010 гг. продолжался процесс расщепления. В 2007 г. в SMK был избран новый председатель Пал Чаки. Он заменил Белу Бугара. Дальнейшая радикализация риторики нового председателя SMK вызвала раскол партии. Часть ее членов вышла из партии и в 2009 г. основала гражданскую правую партию под названием Most-Híd. Ее лидером стал Б. Бугар. Партия сосредоточилась на развитии гражданского сотрудничества между словаками и венграми. Остальные партийные структуры первоначальной SMK образовали новую этническую партию под названием «Партия венгерского сообщества» – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP). Накануне выборов в 2009 г. была образована либеральная партия «Свобода и солидарность» (SaS). Ее лидером стал Рихард Сулик.

Выборы в Национальный совет Словацкой Республики в 2010 г.

Выборы 2010 г. подтвердили существование идеологической напряженности и поляризации между двумя образовавшимися партийными блоками. Победитель выборов SMER-SD набрал 34,79% (880 111 голосов и 62 мандата). SDKÚ-DS получила 15,42% (390 042 голоса и 28 мандатов), SaS 12,14% (307 287 голосов и 22 мандата), KDH 8,52% (215 755 голосов и 15 мандатов), Most-Híd 8,12% (205 538 голосов и 14 мандатов), SNS 5,07% (128 490 голосов и 9 мандатов). Частые случаи коррупции периода первого правительства Фицо (2006–2010 гг.), а также борьба за аналогично ориентированного избирателя между партиями бывшего правительства Фицо (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) негативно отразились на результатах для SNS. В Национальный совет Словацкой Республики уже не попала ĽS-HZDS В. Мечиара¹, а из-за раскола электората венгерских избирателей также и SMK-MKP².

Количество партий (6) в Национальном совете Словацкой Республики не изменилось. SMER-SD получила наибольшее количество голосов, но в сотрудничестве с SNS она уже не смогла сформировать правительственное большинство. Из-за низкого коалиционного потенциала SMER-SD, правительство было сформировано оппозиционными партиями вокруг SDKÚ-DS и ее электоральной лидерки Иветты Радичовой. Сохранение неоднозначности и поляризации партийной системы также подтвердило отказ от переговоров о сотрудничестве правительства между лидерами SaS, KDH и Most-Híd с партией SMER-SD. Поляризующим фактором внутри партийной системы стал лидер партии SMER-SD Р. Фицо. Причиной стали его популистский и конфликтный стиль политики, несогласие с образом осуществления власти и возражения политической ответственности за коррупционные скандалы во время его премьерства в 2006–2010 гг.

По этой причине до сих пор оппозиционные партии формировали правительственную правоцентристскую альтернативу. Была сформирована новая

¹ Во время развития ĽS-HZDS партия и ее лидер В. Мечиар были значительно персонализированные. В связи со снижением его популярности из-за количества случаев коррупции, его партия оставалась маргинальной, на уровне развития харизматично-клиентелистской партии.

² Раскол избирательной базы SMK привел к тому, что часть избирателей поддержала новую партию Most-Híd. Раскол базы избирателей венгриязычных граждан проявился в том, что с 2010 г. SMK-MKP не превысила 5%-й отметки для прохождения партии в Национальный совет Словацкой Республики (2010 г. – 4,33% (109 638 голосов избирателей), 2012 г. – 4,28% (109 483 голоса) и 2016 г. – 4,04% (105 495 голосов) [11].

коалиция из партий SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd. Это была минимально выигрышная коалиция с узким увеличением большинства, т.е. 79 мандатов в Национальном совете Словацкой Республики. Однако деятельность правительственного большинства осложнялась тем, что в списке кандидатов от SaS в парламент прошли четыре кандидата от общественного движения «Обычные люди» (OL), по спискам партии Most-Híd – четыре депутата непарламентской правой «Гражданской Консервативной партии» – OKS.

Таким образом, правительственное большинство в парламенте была реально обеспечено депутатами шести субъектов. Итак, в расчет вариативной напряженности партий в парламенте также была включена OKS. Функционирование правительства Радичовой было ограничено организационной разобщенностью правительственных партий и недисциплинированностью депутатов. Эти аспекты ее управления вызвали политическое напряжение между коалиционными партиями. Проблемы правления Радичовой также были связаны с видимостью другой линии конфликта. К социально-экономическому и националистическому разделам добавились еще линии распределения «государство–церковь» и «евроскептицизм–европеизм». Внутрикоалиционная напряженность завершилась голосованием за Европейский стабилизационный механизм (ESM). Внутрикоалиционный спор о ратификации ЕСМ премьер связал с голосованием о доверии правительству. Однако предложенный закон о ESM не был принят Национальным советом Словацкой Республики. Правительству И. Радичовой было выражено недоверие, даже несмотря на то, что три коалиционные партии SDKÚ-DS, KDH и Most-Híd поддерживали вступление Словакии в систему ESM. Прекращение правительственной коалиции на основе ее собственного предложения выразить доверие к правительству было первым случаем в Словакии с 1990 г. Причиной нестабильности правительства стал низкий уровень лидерства И. Радичовой, которая была только вице-президентом SDKÚ-DS и не контролировала депутатов собственной партии. За авторитет в партии она боролась с ее председателем М. Дзуриной.

В рамках шкалы RILE мы можем констатировать, что наиболее левоориентированную программу на выборах в 2010 г. снова имела SMER-SD со значением –16,20. С другой стороны партийного континуума в пределах правых партий OKS была крайней правой партией с индексом 34,73. Ее депутаты попали в Национальный совет Словацкой Республики по спискам от партии Most-Híd с индексом RILE 9,65. Это соответствовало ее идеологическому профилю как либеральной и гражданской партии с акцентом на региональное развитие. Мы должны воспринимать депутатов от OL и OKS как важную часть правительственного большинства. Без них правительство большинства И. Радичовой не было бы сформированным. Сильная правительственная партия SDKÚ-DS имела центристско ориентированную программу с индексом RILE –3,54 и, таким образом, оставалась на позиции левоцентристов. Таким образом, ее программа не соответствовала либеральной риторике партийного руководства. С 2006 г. KDH больше переместилась в центр партийного континуума. Ее программа достигла уровня 14,15 по шкале RILE. SNS от 7,59 в 2006 г. перешел к значению 13,28 индекса RILE в 2010 г. Линейно ориентированный SaS заполнил край правого спектра со значением 30,28 по шкале RILE.

Вариативный диапазон между партиями в Национальном совете Словацкой Республики в целом в 2010 г. немного снизился до уровня 50,93 по срав-

нению с 2006 г. (51,43). Диапазон программ правительственных партий в 2010 г. нарастал по сравнению с 2006 г. (рис. 2). Правительство И. Радичовой, включая OKS, имело программный диапазон на уровне 38,27 по шкале RILE. Таким образом, речь идет о более программно гетерогенной коалиции, чем при правительстве Роберта Фицо (2006–2010 гг.). Если мы учли только субъекты, которые подписали коалиционное соглашение после выборов (SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd), то ее диапазон находится на уровне 33,82 по шкале RILE. Эта цифра также свидетельствует о том, что правительство Радичовой (2010–2012 гг.) было более программно неоднородной коалицией, чем первое правительство Р. Фицо.

Несмотря на минимальное сокращение диапазона вариаций партий в парламенте, мы наблюдаем, что партийная система сохраняет высокую степень фрагментации и формат крайнего плюрализма. С точки зрения межпартийной конкуренции партийная система оставалась в пределах поляризованной, центробежной политической борьбы между гражданско-правым блоком и левым националистическим блоком партий. В дальнейшем продолжался напряженный конфликт между коалиционными и оппозиционными партиями. Выражение недоверия правительству И. Радичовой в Национальном совете Словацкой Республики означало досрочные выборы. Минимально победившая коалиция правительства И. Радичовой правила не полные два года (с 08.07.2010 до 04.04.2012).

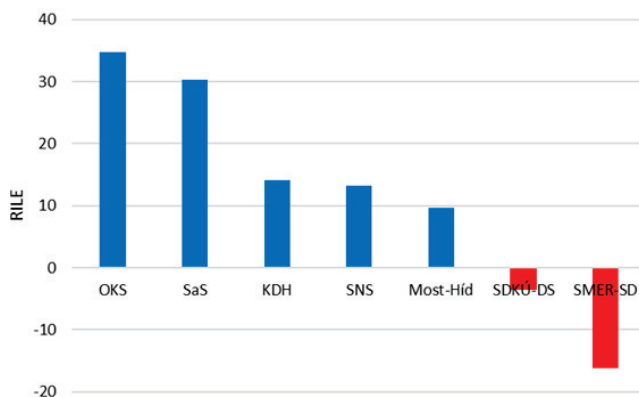


Рис. 2. Индекс RILE парламентских партий на выборах 2010 г. [12]

Досрочные парламентские выборы 2012 г.

Выборы в Национальный совет в 2012 г. вызвали существенные изменения на уровне политического представительства. Явка достигла уровня 59,11% избирателей. Кроме уже оседлых партий SMER-SD, SDKÚ-DS, KDH, SaS, Most-Híd, к ним в парламенте присоединяется также объединение «Обычные люди и независимые личности» (OĽaNO)¹. Победу на выборах одержала партия SMER-SD с 44,42% (1 134 280 голосов избирателей) и сформировала «одноцветное» правительство большинства. Этот результат

¹ Политическое образование OĽaNO было институционализировано как независимое образование в ноябре 2011 г. Речь идет о гражданско-консервативном антиэстеблишментном движении, которое не стремится к созданию партийных структур. Субъект интегрирован вокруг своего лидера и основателя Игоря Матовича.

для партии SMER-SD означал получение 83 из 150 мандатов в Национальном совете Словацкой Республики. По сравнению с выборами 2010 г., SMER-SD улучшили свой результат на 21 мандат. Это был уникальный результат, который сопутствовал созданию пропорциональной избирательной системы для Национального совета Словацкой Республики. С 1998 г. в Словацкой Республике действует избирательный закон, предусматривающий один избирательный округ на парламентских выборах. Этот параметр может создавать высокопропорциональные результаты выборов.

Негативным последствием этой избирательной системы, с одной стороны, являются чрезмерная централизация партийных структур, подъем популизма и раздробленность партийной системы. Возникшая ситуация была связана с предыдущей нестабильностью правительства И. Радичовой. С другой стороны, лидер Р. Фицо смог обратиться к избирателям других партий бывшей оппозиции (SNS, ĽS-HZDS), а также к сегменту нейтрального электората. Среди его предвыборных тем было обещание политической стабильности и развитие атрибутов социального государства.

В парламент попали еще пять партий. KDH с 8,82% (225 361 голос и 16 депутатских мандатов), OĽaNO с 8,55% (218 537 голосов и 16 мандатов), Most-Híd – 6,89% (176 088 голосов и 13 мандатов), SDKÚ-DS с 6,09% (155 744 голоса и 11 мандатов), и SaS – с 5,88% (150 266 голосов и 11 мандатов) [13].

Наибольшие потери мандатов в Национальном совете зафиксированы в SDKÚ-DS (17 мест) и SaS (11 мест). Это было следствием решений лидеров партий SDKÚ-DS и SaS в правительстве И. Радичовой. Они были отражены общественностью как причина политической нестабильности. На выборы в основном повлияла дело «Gorilla» с секретными записями Словацкой информационной службы о контактах политиков с представителями центральной финансовой группы Penta Investments. Это дело, в частности, понегативно отразилось на имидже правых партий.

С точки зрения индекса RILE, в левой части политического спектра преобладала SMER-SD со значением $-9,73$, что снова программно перемещается к центру партийного континуума. Напротив, либеральный SaS стал полюсной партией правого спектра с результатом 25,66. Выборы вызвали парадоксальную ситуацию в словацкой партийной системе. Несмотря на высокую степень пропорциональности избирательной системы и высокую степень раздробленности партийной системы, получилось создать самостоятельное правительство SMER-SD. Программный диапазон правящей коалиции максимально уменьшился, поскольку партия SMER-SD сама сформировала правительство. Этот результат также интересен и тем, что не изменился формат партийной системы. Он остался в форме крайнего плюрализма. По сравнению с выборами 2010 г. вариативный диапазон между соответствующими партиями уменьшился. После выборов 2012 г. вариативный диапазон партий в Национальном совете Словацкой Республики достиг уровня 35,39 по индексу RILE.

Тем не менее поляризация партийной системы остается интенсивной также по сохранению двублоковости партийного спектра и разграничения «Фицо-антифицо». Интересным фактом было то, что SNS снова не прошли в Национальный совет Словацкой Республики. Межпартийные соревнования все еще имели центробежный характер политической конкуренции между

SMER-SD и раздробленным блоком общественных партий правого направления, в состав которых входила и партия Most-Híd. Националистическая риторика партии SMER-SD также отразилась на изменении структуры ее избирателей между 2010 и 2012 гг. Избиратели, которые в 2010 г. выбирали партии с националистическим выражением, например SNS и ĽS-HZDS, на досрочных выборах 2012 г. отдавали свои голоса преимущественно партии SMER-SD. Что касается избирателей ĽS-HZDS, то в 2010 г. их было 47%, а в случае избирателей SNS – 20%. Из сегмента нейтрального электората 2010 г., партии SMER-SD удалось достичь 37% на внеочередных выборах 2012 г. [14].

Партийная дисциплинированность депутатов правящей партии SMER-SD гарантировала стабильность правительства, которое полностью контролировало большинство государственных учреждений. Второй кабинет Р. Фицо правил в течение всего срока полномочий: с 4 апреля 2012 г. до 23 апреля 2016 г. С правой стороны партийного спектра продолжался процесс раздробления. К этому времени релевантные партии, такие как KDH и SDKÚ-DS, оставались вне Национального совета Словацкой Республики и после следующих выборов 2016 г. (рис. 3). Параллельно продолжался конфронтационный стиль ведения политики и отношений между правительством и оппозицией.

Гражданское недовольство вылилось в протестное голосование, которое повлияло на проникновение правой экстремистской партии Kotleba ĽS NS в Национальный совет Словацкой Республики в 2016 г. Ее приход в парламент означал распространение идеологической поляризации среди оппозиционных партий. С политологической точки зрения речь идет о скрытом антисистемном субъекте, который позиционирует себя с наследием и политикой фашистского Словацкого государства (1939–1945)¹.

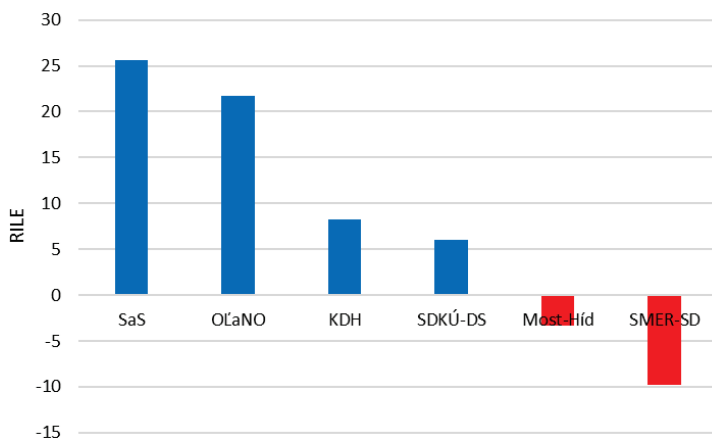


Рис. 3. Индекс RILE парламентских партий на выборах 2012 г. [16]

Заключение

Развитие партийной системы в 2006–2016 гг. сохраняло параметры формата крайнего плюрализма. Из-за высокой интенсивности вариативной напряженности партий в Национальном совете Словацкой Республики можем констатировать, что партийная система стабилизировалась на уровне поляри-

¹ Более подробно в этом контексте см. Katuninec M. *Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie...* [15].

зованной многопартийности. Анализ развития правительственных группировок на основе индекса RILE показал, что не все общие оценки политологов относительно однородности (правительство Радичовой) и неоднородности (первый кабинет Фицо) совпадают с анализом партийных программ и характером коалиции. Два правительства в период 2006–2016 гг. имели характер минимальных победных коалиций. Из них правительство Радичовой в 2010–2012 гг. (SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd) было наиболее программно неоднородным на основе индекса RILE на уровне 33,82 (или 38,27 также с OKS). За ним следует первый кабинет Роберта Фицо (SMER-SD, SNS и ĽS-HZDS) с 2006 по 2010 г. Его диапазон программ был на уровне 29,11 индекса RILE. Второе правительство Р. Фицо (2012–2016 гг.) не было коалиционным. Вариативное напряжение программ партий в Национальном совете Словацкой Республики несколько снизилось от уровня 51,43 (2006 г.) до 50,93 (2010 г.) и 35,39 (2012 г.).

Тем не менее аспект идеологической поляризации партийной системы в реальной политике не уменьшился. Межпартийная политика поддерживала конфронтационный стиль и стратегию игры с нулевым счетом в контексте коалиционно-оппозиционных отношений. Крушение правого крыла партий в 2006–2016 гг. привело к созданию новых партий в Национальном совете Словацкой Республики и установлению новой линии «евроскептицизм–еврооптимизм» в партийной системе. Также включается тенденция усиления поддержки крайне правых (Kotleba ĽS-NS) и проникновения антиполитических движений OĽaNO и Sme rodina («Мы – семья») в Национальный совет Словацкой Республики. Эта тенденция также умножает растущее недоверие граждан к созданным парламентским партиям. Сложившаяся ситуация подтверждает проблему консолидации партийной системы в Словакии и риск усиления радикализации политического дискурса. Однако суть этого современного явления нужно рассматривать в более широком философско-политическом контексте как результат многих трансформационных и демократических процессов, которые до сих пор находятся в центре политической науки, истории и философии в Центральной и Восточной Европе¹.

Литература

1. Social Science Research Centre Berlin. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Comparative Manifestos Project. URL: <https://manifesto-project.wzb.eu/> (accessed: 05.05.2020).
2. Beyle K. Political Parties in Western Democracies. Aldershot : Gower, 1985. 444 p.
3. Sartori G. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha : Slon, 2001. 238 s.
4. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do NR SR 2006. URL: <http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2006/angl/index.jsp@subp=v.htm> (accessed: 05.05.2020).
5. Haydanka Y. Transformation and quality of the government in the Slovak republic // eds. D. Rovenská, E. Župová. Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy. Košice : UPJŠ, 2019. P. 107–113.
6. Klíma M. Kvalita demokracie v České republice. Praha : Radix, 2001. 179 s.
7. Martinkovič M. Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017 // Politicus. 2018. № 2. P. 55–60.
8. Гайданка Е.И. Фрагментация политико-партийного пространства на региональном уровне: контекст местных выборов в Чешской Республике // Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 184–193.

¹ В контексте см. Marchuk V., Novoselshyi I., Melnychuk V., Choroyskyi V., Shlemkevych T. The Appointment of the History... [17]

9. Sartori G. Strany a stránickej systémy. Brno : CDK, 2005. 466 s.
10. Social Science Research Centre Berlin. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Comparative Manifestos Project. URL: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (accessed: 05.05.2020).
11. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. URL: <http://volby.statistics.sk/> (accessed: 05.05.2020).
12. Social Science Research Centre Berlin. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Comparative Manifestos Project. URL: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (accessed: 05.05.2020).
13. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012. URL: <http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/menu/index.jsp@lang=sk.htm> (accessed: 05.05.2020).
14. Bútorová Z., Gyárfášová O., Slosiarik M. Verejná mienka a voličské správanie. URL: <https://alianciazien.files.wordpress.com/2014/10/volby-2012-od-zb.pdf> (accessed: 05.05.2020).
15. Katuninec M. Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie // M. Fiamová, J. Hlavinka, M. Schvarc a kol. Slovenský štát 1939–1945: predstavy a realita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. S. 125–136.
16. Social Science Research Centre Berlin. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Comparative Manifestos Project. URL: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (accessed: 05.05.2020).
17. Marchuk V., Novoselshyi I., Melnychuk V., Chorooskyi V., Shlemkevych T. The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society // Postmodern Openings. 2020. Vol. 11, is. 1. P. 74–84.

Marcel Martinkovic, Trnava University (Trnava, Slovak Republic).

E-mail: marcel.martinkovic@truni.sk

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 194–205.

DOI: 10.17223/1998863X/60/17

DEVELOPMENT OF THE PARTY SYSTEM AND THE CHARACTER OF COALITION GOVERNMENTS IN SLOVAKIA IN THE YEARS 2006–2016

Keywords: RILE index; party system; variable tension; level of coalition heterogeneity; parliamentary elections.

The study is carried out as part of the VEGA (No. 1/0131/18) and KEGA (No. 008TTU-4/2019-2021) scientific projects.

The study analyzes the development of the party system in the Slovak Republic in 2006–2016 through the use of sociological methods. Based on the terminology proposed by Giovanni Sartori and Klaus von Beyme, the article describes the retrieved attributes of the party system employing the RILE index. The application of the index confirms the correlation between the programmatic and ideological nature of the parties and their public self-presentation within the confinements of “right-wing” and “left-wing” parties. The study traces the dynamics of the development of variable party tension in the party system, as well as the level of programmatic and ideological polarization in the Parliament of the Slovak Republic. Besides, the study describes trends in the development of programmes of the respective parliamentary parties, changes in their programmes, and a certain heterogeneity of government coalitions during the period under study. Simultaneously, it focuses on the key parameters and divisions in the Slovak party system that had the greatest impact on the creation of a two-bloc party competition. During the 1990s transformation, this competition turned into a polarized multiparty system, preserving up till the present. The analysis of the government groups’ development based on the RILE index demonstrates that not all political estimates concerning the programme homogeneity (Iveta Radičová’s government (2010–2012) and the heterogeneity of the first government of Robert Fico’s coalition (2006–2010)) coincide with the analysis of the party programmes and the nature of the coalitions estimated with the application of the RILE index. Although the variable intensity of the party programmes in the National Council of the Slovak Republic indicates a declining trend, the ideological polarization of the party system has not shown any signs of decreasing. The inter-party politics has been of a confrontational style throughout the entire study period, with a zero-score strategy preserved at the level of political presentation between the government and the opposition. This later affected the fragmentation of the right-wing parties, leading to the emergence of new extremist parties and anti-political establishment movements in the Slovak party system.

References

1. Manifesto Project. (n.d.) *Social Science Research Centre Berlin. Comparative Manifestos Project*. [Online] Available from: <https://manifesto-project.wzb.eu/> (Accessed: 5th May 2020).
2. Beyme, K. (1985) *Political Parties in Western Democracies*. Aldershot: Gower.
3. Sartori, G. (2001) *Srovnávací ústavní inženýrství* [Ingenieria Constitucional Comparada]. Prague: Slon.
4. The Slovak Republic. (2006) *Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do NR SR 2006*. [Online] Available from: <http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2006/angl/index.jsp@subp=v.htm> (Accessed: 5th May 2020).
5. Haydanka, Y. (2019). Transformation and quality of the government in the Slovak republic. In: Rovenská, D. & Župová, E. (eds) *Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy* [Bureaucracy VS Knowledge's Organization in the Field of Public Administration]. Košice: UPJŠ. pp. 107–113.
6. Klíma, M. (2001) *Kvalita demokracie v České republice* [Quality of Democracy in the Czech Republic]. Prague: Radix.
7. Martinkovic, M. (2018) Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017. *Politicus*. 2. pp. 55–60.
8. Haydanka, Y.I. (2018) Political and Party Environment Fragmentation at a Regional Level in the Light of Local Elections in the Czech Republic. *Vestník Tomského gosudarstvenno-go universiteta. Ser.: Filosofiya, Sotsiologiya, Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 45. pp. 184–193. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/45/19
9. Sartori, G. (2005) *Strany a stranické systémy* [Parties and Party Systems]. Brno: CDK.
10. Social Science Research Centre Berlin. *Comparative Manifestos Project*. [Online] Available from: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (Accessed: 5th May 2020).
11. The Slovak Republic. (n.d.) *Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky*. [Online] Available from: <http://volby.statistics.sk/> (Accessed: 5th May 2020).
12. Social Science Research Centre Berlin. (n.d.) *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Comparative Manifestos Project*. [Online] Available from: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (Accessed: 5th May 2020).
13. The Slovak Republic. (2012) *Štatistický úrad Slovenskej republiky. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky*. [Online] Available from: <http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/menu/index.jsp@lang=sk.htm> (Accessed: 5th May 2020).
14. Bútorová, Z., Gyárfášová, O. & Slosiarik, M. (2014) *Verejná mienka a voličské správanie* [Public Opinion and Voter Behavior]. [Online] Available from: <https://alianciazien.files.wordpress.com/2014/10/volby-2012-od-zb.pdf> (Accessed: 5th May 2020).
15. Katuninec, M. (2014) Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie [The Regime of the Slovak State and Its Developmental Connotations]. In: Fiamová, M., Hlavinka, J., Schvarc, M. Et al. *Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita* [Slovak State 1939–1945: Ideas and Reality]. Bratislava: Historický ústav SAV. pp. 125–136.
16. Social Science Research Centre Berlin. (n.d.) *Comparative Manifestos Project*. [Online] Available from: https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-shiny/cmp_dashboard_dataset/ (Accessed: 5th May 2020).
17. Marchuk, V., Novoselshy, I., Melnychuk, V., Chorooskyi, V. & Shlemkevych, T. (2020) The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society. *Postmodern Openings*. 11(1). pp. 74–84.

УДК 32:342.3

DOI: 10.17223/1998863X/60/18

**В.А. Никонов, А.С. Воронов, В.А. Сажина, С.В. Володенков,
М.В. Рыбакова**

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА: СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ
в рамках научного проекта № 20-011-31396.

Изучены содержание и структурные компоненты цифрового суверенитета государства в условиях глобальных технологических трансформаций. Выделяются нормативный, правовой, технологический, компетентностный, политический и управленческие элементы данного феномена. Показано, что цифровой суверенитет способен выступать фактором, существенно влияющим на функционирование традиционных сфер жизнедеятельности государства и общества, являясь сегодня неотъемлемой частью государственного суверенитета в целом.

Ключевые слова: цифровой суверенитет, технологические трансформации, цифровизация, государственная политика, национальная независимость, геополитическое противоборство.

Введение

Государство и общество в современных условиях сталкиваются с широким спектром цифровых практик, имплементация которых неизбежно приводит к трансформации различных сфер жизнедеятельности: у национальных информационных пространств возводятся цифровые границы, информационно-коммуникационные ресурсы и инфраструктура все в большей степени характеризуются экстерриториальностью, возрастают возможности для внешнего влияния, изменяются основы легитимации властного порядка и др.

Последствия цифровых трансформаций касаются множества сфер, в том числе государственного управления, образования, науки, бизнеса и др. В связи с этим большого внимания заслуживает изучение феномена цифрового суверенитета государства, определение содержательного наполнения которого затрудняется различиями существующих к нему подходов. Исследований, в центре которых стоят вопросы формирования и интерпретации цифрового суверенитета, становится все больше. Преимущественно в научных работах этот феномен рассматривается по отношению к одной определенной сфере. Особое внимание уделяется нехватке цифровых компетенций, которые должны обеспечить функционирование цифровой экономики и реализацию цифрового экономического суверенитета [1]: система переобучения не справляется с темпами ускорения цифровой трансформации [2]. В социальной сфере сдвиги в ИКТ могут привести к углублению социального неравенства, а также к существенному повышению уровня технической безработицы [3, 4]. В политической и правовой сферах анализируются государственные режимы,

интернет-цензуры и фильтрации данных в контексте реализации различных целей: поддержки социального порядка и контроля, обеспечения политической стабильности, государственной и общественной безопасности, сохранения суверенитета и т.д. [5, 6]. Осуществляются определение места цифрового суверенитета в поле правового регулирования [7], выработка определения понятия «суверенитет» в отношении цифровых технологий и инфраструктур, соотнесение его с традиционным представлением о суверенитете национального государства и с социальной справедливостью, автономией и коллективным управлением [8]. Отдельным вопросом в исследованиях стоит феномен информационного вмешательства в национальные политические процессы [9].

Современные исследования направлены на минимизацию рисков, связанных с отсутствием цифрового суверенитета и разработку различных концепций в сфере («суверенитет данных», «концепция суверенитета государств над ИКТ-инфраструктурой» [6], концепт государства как платформы [10, 11] и др.).

В рамках данного исследования методом экспертного интервью и фокус-групповых дискуссий была осуществлена попытка определения степени актуальности и значимости обеспечения цифрового суверенитета России, а также выделения его содержания и структурных компонентов с учетом видения практиков. В ходе 80 экспертных интервью были опрошены представители сфер образования и науки (51%), ИТ-технологий (28%), государственного и муниципального управления (23%), бизнеса (15%)¹ (рис. 1). Участниками 10 фокус-групповых дискуссий стала молодежь (более 70 человек в возрасте 21–27 лет) как часть гражданского общества.

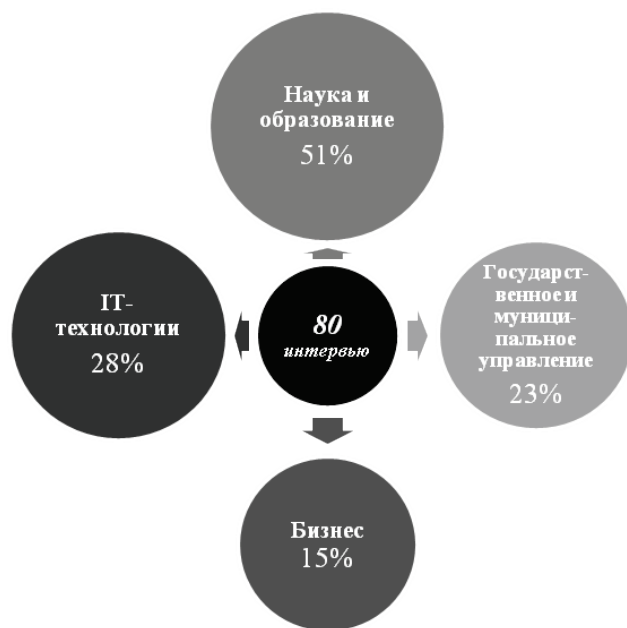


Рис. 1. Распределение опрошенных участников в экспертных интервью по сферам деятельности (составлено авторами)

¹ Некоторые эксперты могут быть отнесены одновременно к нескольким профессиональным группам.

Актуальность и значимость обеспечения цифрового суверенитета в условиях технологических трансформаций государства

Подавляющее число экспертов (83,3%) отметили крайне высокую актуальность и значимость проблемы цифрового суверенитета сегодня (9–10 баллов по 10-балльной шкале), обуславливая это целым спектром факторов и обстоятельств.

Во-первых, большинство ключевых сфер человеческой жизнедеятельности постепенно переходят в цифровое пространство, что делает многие традиционные аспекты суверенитета менее актуальными и выдвигает на первый план новые. К сферам, наиболее подверженным цифровизации, эксперты отнесли: образование (38,9% ответов), государственное и (реже) муниципальное управление (33,3%), экономика (в особенности банковский сектор – 22,5%)¹. Представители бизнес-среды чаще других обращали внимание на высокий уровень цифровизации в сфере логистики и транспорта, обеспечения общественной безопасности и медицине. Большинство экспертов также говорили и о цифровых трансформациях сферы коммуникации на самых различных уровнях.

Отметим также, что, по мнению большинства экспертов, цифровая трансформация сегодня форсирована. Государства вынуждены переходить на электронные форматы взаимодействия в различных сферах. Однако во многих случаях данные технологии являются заимствованными, а компетенции их использования весьма низкими, что сказывается на качестве управленческих процессов. Почти четверть из экспертов отмечали, что условия пандемии выступили катализатором цифровизации в ключевых сферах жизнедеятельности, придав ей характер «вынужденной». Отсутствие временного ресурса осложнил «естественный» ход технологической эволюции государства.

Многие эксперты актуальность проблематики связывали с отсутствием системного законодательного регулирования данной сферы в России, а также с наличием значительного числа внешних глобальных акторов, использующих цифровое пространство в собственных интересах. «В теоретическом плане проблема также не отработана, без чего трудно сформировать доктринальные основы», «В госсекторе понятия автоматизации, информатизации, цифровизации часто вообще не разделяются... идет подмена понятий, их путают», – отмечали эксперты.

Значимость цифрового суверенитета возрастает в силу глобального характера технологических трансформаций и экстерриториальности цифровых технологий. Основные линии напряжения в геополитической плоскости сопряжены сегодня во многом с «технологическими конфликтами» – информационным вторжением (либо обвинениями в нем) в суверенные национальные пространства, повышением роли глобальных технологических кампаний в общественно-политических и социально-экономических процессах, возросшим информационным противоборством в глобальном пространстве цифровых коммуникаций, кибератаками на национальные политические и экономические институты.

¹ Эти три сферы – «лидера» трансформации назывались экспертами вне зависимости от их профессиональной группы.

Одновременно с этим разработки в области искусственного интеллекта и программного обеспечения сильно политизируют цифровую среду и позволяют говорить: а) о разных интересах государств в цифровой среде (их намерениях подчинить те или иные сегменты интернета своей власти); б) противоборстве государств, их сторонников и противников в виде IT-корпораций, организаций и других государств; в) превращении информационных войн в сопутствующий элемент экономико-санкционного давления и шантажа; г) сетевых организациях, несущих непосредственную опасность традиционному государственному суверенитету, стремясь распространять криптовалюты и инструменты децентрализованных финансов, что подрывает суверенные налоговые системы государств. Сращение интересов ряда государств с интересами некоторых цифровых корпораций позволяет говорить и о потенциале возникновения феномена цифровых империй, которые выстраивают систему из независимых интернет-зон (цифровых колониальных территорий).

В подобных условиях способность защитить собственные национальные сегменты социально-экономического, общественно- и государственно-политического пространств становится критическим условием сохранения независимости и выживания государства, а наличие цифрового суверенитета самым непосредственным образом влияет на его жизнеспособность в условиях глобального цифрового противоборства. Таким образом, от цифрового суверенитета сегодня во многом зависит уровень государственного суверенитета в целом. Можно прогнозировать, что цифровые конфликты между государствами станут широко распространенным видом геополитических взаимодействий.

Кроме того, население многих стран, включая Россию, использует для цифровых коммуникаций и информационного потребления зарубежные платформы, формируя свои представления о социально-политической реальности из глобальных источников. Традиционная монополия государств в информационной сфере¹, национальный информационный суверенитет во многих случаях являются лишь де-юре существующими, а актуальные модели регулирования цифровой сферы оставляют техногигантам значительные возможности для злоупотребления своим доминирующим положением в цифровом пространстве.

Исходя из данных позиций, по итогам исследования мы можем подтвердить первоначальный тезис о высокой актуальности и значимости проблемы обеспечения национального цифрового суверенитета в условиях современных технологических трансформаций, имеющих всепроникающий характер.

Феномен цифрового суверенитета: содержание и ключевые признаки

Понимание феномена цифрового суверенитета в экспертной среде (так же как и среди представителей фокус-групповых дискуссий) не было столь же однозначным, как оценка его значимости. С одной стороны, часть экспертов выразила скептическое отношение к возможности обеспечения полноценного цифрового суверенитета в условиях использования глобаль-

¹ Включая монополию на обладание данными о собственных гражданах и происходящих внутри государства общественно-политических, социально-экономических и государственно-управленческих процессах.

ных цифровых коммуникаций экстерриториальной природы. Как отметил один из экспертов, «цифровой суверенитет – понятие совершенно бессмысленное в условиях открытого общества».

Попытки реализации права на цифровой суверенитет связаны с формированием закрытых политических режимов и международной изоляцией, что чревато серьезными последствиями, включая технологическое отставание в виду отсутствия международного научно-технического сотрудничества. Помимо этого, формирование и поддержку цифрового суверенитета затрудняет технологическое неравенство стран. Часть экспертов объясняла невозможность обеспечения цифрового суверенитета государств наличием технологической «элиты» – крупных корпораций, которые не допустят передела рынка и какой-либо серьезной конкуренции со стороны новых игроков, даже поддерживаемых государством.

С другой стороны, значительная часть экспертов была настроена более оптимистично, что позволило выделить ряд ключевых признаков и содержательных компонент феномена. Наиболее «популярным» признаком цифрового суверенитета стало право на независимое управление цифровыми ресурсами, действующими в национальных сегментах цифрового пространства. Такого рода право предполагает возможности регулирования, надзора и контроля за деятельностью цифровых платформ, а также блокировки размещаемой на них информации уполномоченными на это государством органами и организациями.

Кроме того, цифровой суверенитет в рамках данной концептуальной призм представляет как возможность государства самостоятельно определять степень и способы своего участия или неучастия в отношениях, связанных с применением цифровых технологий для реализации собственных интересов. При этом реализация суверенитета национальных сегментов цифрового пространства должна регулироваться национальным законодательством в интересах конкретного государства.

По сути, данный подход связан с нормативной правовой и законодательной составляющей цифрового суверенитета, возможностями применения государственными институтами власти права на легитимное насилие по отношению к цифровым ресурсам, права на независимую реализацию надзорных и контрольно-регулятивных функций.

Ряд экспертов придерживаются позиции, связанной с технологической составляющей цифрового суверенитета. В рамках данного подхода цифровой суверенитет определяется наличием суверенного комплекса интегрированных и взаимодополняющих цифровых сервисов во всех ключевых сферах жизнедеятельности государства и общества, включающего в себя собственные аппаратную базу, технологические решения в области доставки контента, а также национальные цифровые платформы (социальные сети, облачные хранилища, мессенджеры, сервисы хранения информации и т.д.).

Помимо этого, признаком цифрового суверенитета, по мнению части экспертов, является наличие собственных эффективных и высококонкурентных программных продуктов для решения широкого круга задач (национальные операционные системы, инструменты работы с Big Data, программные системы мониторинга, аналитики и прогнозирования, разработки в области искусственного интеллекта и т.д.). В рамках данной парадигмы на первый

план выходят технологический потенциал и независимость государства от внешних поставщиков «высоких технологий», способность обеспечить автономное функционирование национального сегмента цифрового пространства на основе собственной технологической инфраструктуры, а также противостоять внешним цифровым угрозам, включая кибератаки, цифровой шпионаж, попытки разрушения объектов национальной инфраструктуры посредством использования цифровых каналов коммуникации и др. (рис. 2).

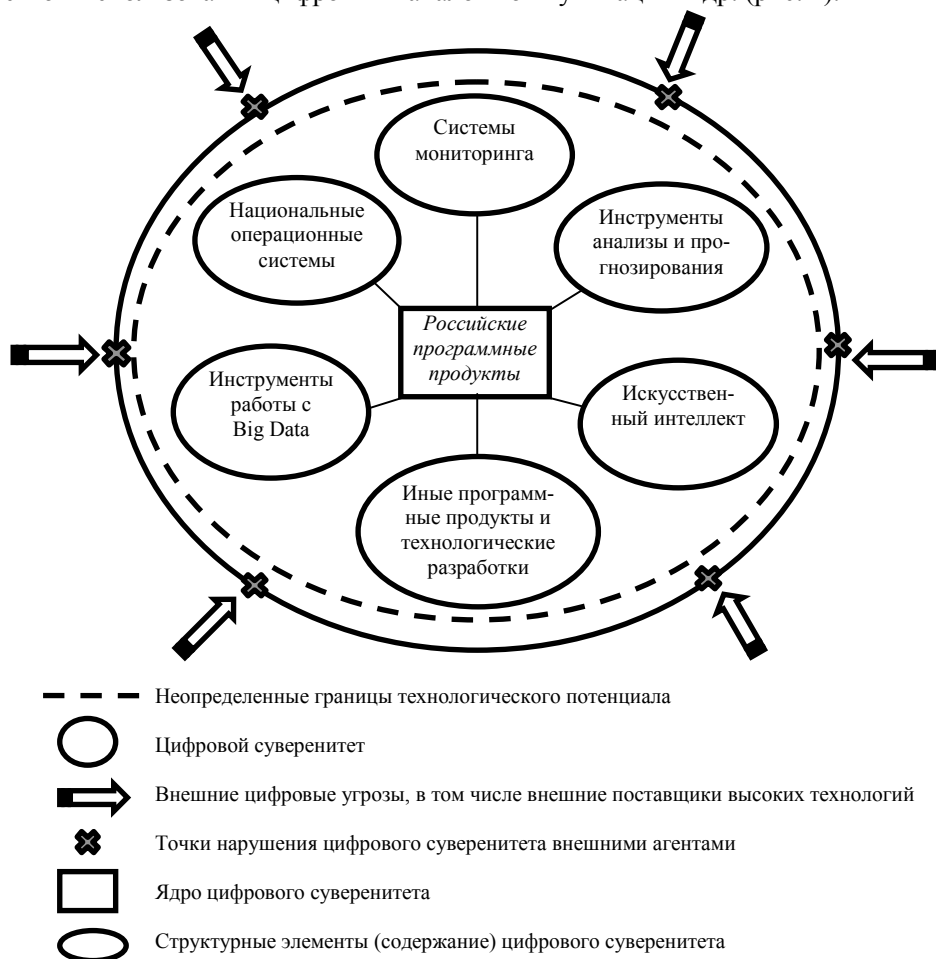


Рис. 2. Схематическое отражение парадигмы приоритетного развития технологического потенциала и независимости от внешних поставщиков (составлено авторами)

Третья группа экспертных представлений о феномене цифрового суверенитета связана с его компетентностным аспектом¹. Акцентируется внимание на способностях использования цифровых ресурсов, которые формируются в условиях одновременного наличия цифровых технологий и инфраструктуры, законодательной и нормативной правовой базы, а также навыков, умений, компетенций по их использованию в процессах общественно-политического

¹ Многие эксперты в этой связи привели в качестве примера безрезультатные попытки на государственном уровне заблокировать на территории России мессенджер Telegram.

и социально-экономического развития, а также в сфере государственного управления. Цифровой суверенитет в данном случае является эмерджентным свойством национальной государственной системы. В связи с этим особую значимость приобретает наличие эффективной национальной системы образования и науки, способной готовить высококвалифицированные кадры для цифровой индустрии, а также осуществлять передовые исследования и разработки, находить новые решения в цифровой сфере, а не заимствовать их извне. «Цифровой суверенитет предполагает качественную кадровую ротацию (приход в профильные министерства ответственных специалистов, детально разбирающихся в процессах цифровизации и IT-индустрий), создание образовательных программ в университетах, подготавливающих специалистов мультидисциплинарного типа – на стыке IT-технологий и государственного управления, публичной политики, инновационной экономики, создание в стране новых рабочих мест, обеспечивающих государство полезными инновациями в области искусственного интеллекта, электронного правительства, интернета вещей, электронной сферы услуг, систем новых вооружений и т.п.», – комментировал один из экспертов.

Четвертая группа экспертных позиций, а также большей части представителей фокус-групп, связана с политической составляющей и государственно-управленческим аспектом цифрового суверенитета как стратегии развития в определенной сфере.

Когда цифровой суверенитет является эмерджентным свойством, возникающим в процессах соединения национальной инфраструктуры, нормативной правовой базы и профессиональных компетенций в цифровой сфере, государственная политика становится краеугольным камнем, определяющим, по какому пути будет осуществляться цифровизация на национальном уровне, какими будут ее параметры и цели, насколько они будут отвечать интересам национального общественно-политического и социально-экономического развития.

В таком случае становится очевидным, что одним из главных условий, необходимых для формирования и поддержания национального цифрового суверенитета, должна быть способность государства проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику в цифровом пространстве. Даже в условиях наличия необходимых составляющих (независимая цифровая инфраструктура, суверенная нормативная правовая база, профессиональные компетенции в цифровой сфере) процессы цифровизации внутри государства могут преследовать цели и интересы внешних акторов. «Цифровой суверенитет – это способность государства проводить (формировать и реализовывать) самостоятельный политический курс в цифровой сфере (отстаивать интересы, обеспечивать безопасность и т.д.) внутри страны и международных отношениях», – комментировал один из экспертов.

Крайне важным представляется выделить ценностно-смысловой компонент процессов цифровой коммуникации, тесно связанный с государственной информационной политикой. Информация лежит в основе объяснительных моделей социально-политической действительности, формирующих массовые политические представления. Наличие у государства возможностей и способности самостоятельно определять, какие нормы, ценности, смыслы, символы, модели политического мышления и политического поведения бу-

дуг транслироваться в цифровой среде, напрямую определяет потенциал государства в сфере обеспечения политической стабильности, предотвращения роста социально-политической напряженности, а также противодействия «переформатированию» и даже разрушению традиционных национальных ценностно-смысловых, культурных, нравственных, символических пространств, непосредственным образом влияющих на национальный менталитет. Участники фокус-групп отмечали, что «цифровой суверенитет будет в государстве, в котором есть какая-то четкая идеология или официальная идея, где развита массовая культура работы и общения в интернете и активно используется „система пропаганды“ для формирования собственной национальной идеи».

В современной практике примеры неспособности государства содержательно защитить собственное национальное цифровое пространство мы можем увидеть в тех странах, где были осуществлены цветные технологические перевороты, в рамках которых активно использовались цифровые коммуникационные технологии для формирования массовых политических представлений и протестного поведения населения.

Говоря о важности политической составляющей цифрового суверенитета, нельзя не согласиться и с мнением другого респондента: «...власть должна обеспечивать господство над „цифровой территорией“, обращать внимание на свою легитимацию посредством сетевых сообществ на различных интернет-ресурсах, создавать такие сообщества, конструировать разветвленную экосистему из цифровых платформ, способных создать качественную цифровую демократию, наладив множество обратных контуров связи между государственными, муниципальными служащими, депутатами, экспертными организациями и гражданам. Государство должно создавать собственную независимую цифровую территорию, контролировать системы коммуникации». В этом нам видится одна из ключевых задач государства в сферах политики и управления.

Заключение

Несмотря на относительную новизну феномена цифрового суверенитета, он способен выступать фактором, влияющим на функционирование традиционных сфер жизнедеятельности государства и общества. Потеря цифрового суверенитета может быстро приводить к потерям в критически важных для государства сферах, а при определенных условиях – и к полной потере национального суверенитета. Обеспечение цифрового суверенитета – важнейшая стратегическая задача, эффективное решение которой представляется одним из ключевых национальных приоритетов современной России.

В условиях интенсивных цифровых изменений мира и глобальной технологической турбулентности цифровой суверенитет представляет из себя в значительной степени высокодинамичный конструкт, содержание и структура которого могут меняться по мере развития человеческой цивилизации в целом.

Для построения модели цифрового суверенитета мы можем выделить нормативную правовую, технологическую, компетентностную, политическую, экономическую и управленческую компоненты, которые, будучи объединенными в единую систему, порождают эмерджентное свойство цифро-

го суверенитета. Обеспечение полноценной реализации каждой из компонент является критичным условием для формирования устойчивого цифрового суверенитета современного государства, обеспечивающего возможности конкурентоспособности и независимого развития в актуальных условиях глобальных технологических изменений и сопряженного с этим технологического противоборства.

Несмотря на сложность и многоаспектность феномена цифрового суверенитета, отсутствие исторического опыта его формирования и поддержания, грамотное и эффективное формирование в национальных интересах определенных нами в данной работе составляющих позволит, по нашему убеждению, обеспечить независимое и успешное развитие России как ведущего технологически развитого суверенного государства в современном мире.

Литература

1. Fossen F., Sorgner A. Mapping the Future of Occupations: Transformative and Destructive Effects of New Digital Technologies on Jobs // Foresight and STI Governance. 2019. Vol. 13, № 2. P. 10–18. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.10.18
2. Zemtsov S., Barinova V., Semenova R. The Risks of Digitalization and the Adaptation of Regional Labor Markets in Russia // Foresight and STI Governance. 2019. Vol. 13, № 2. P. 84–96. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.84.96
3. Apokin A., Belousov D., Salnikov V., Frolov I. Long-term Socioeconomic Challenges for Russia and Demand for New Technology // Foresight and STI Governance. 2015. Vol. 9, № 4. P. 6–17. DOI: 10.17323/1995-459x.2015.4.6.17
4. Юдина М.А. Новая промышленная революция как вызов государственному управлению // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 61. С. 76–95.
5. Винник Д.В. Цифровой суверенитет: политические и правовые режимы фильтрации данных // Философия науки. 2014. № 2 (61). С. 95–113.
6. Иванова М.В. Системы оценки цифровой трансформации государственного управления: сравнительный анализ российской и зарубежной практики // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 79. С. 255–280.
7. Ефремов А.А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 1. С. 201–215.
8. Воронцов С.А., Мамычев А.Ю. Искусственный интеллект в современной политической и правовой жизнедеятельности общества: проблемы и противоречия цифровой трансформации // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. № 4. С. 9–22.
9. Володенков С.В. Информационное вмешательство как феномен деятельности субъектов современной международной политики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25, № 3. С. 148–160. DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.3.13
10. Ловинк Г. Критическая теория Интернета. М. : Ad Marginem Press, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 304 с.
11. Срничек Н. Капитализм платформ. М. : Изд. дом ВШЭ, 2019. 125 с.

Vyacheslav A. Nikonov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: nikonov@spa.msu.ru

Aleksandr S. Voronov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: voronov@spa.msu.ru

Varvara A. Sazhina, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: sazhina@spa.msu.ru

Sergey V. Volodenkov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: s.v.cyber@gmail.com

Marina V. Rybakova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: rybakova@spa.msu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 206–216.

DOI: 10.17223/1998863X/60/18

DIGITAL SOVEREIGNTY OF A MODERN STATE: CONTENT AND STRUCTURAL COMPONENTS (BASED ON EXPERT RESEARCH)**Keywords:** digital sovereignty; technological transformations; digitalization; state policy; national independence; geopolitical confrontation.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Social Research Expert Institute, Project No. 20-011-31396.

Due to the high level of digital transformations, the study of the phenomenon of digital sovereignty of the state deserves great attention. Within the framework of this study, methods of expert interviews and focus group discussions were used to determine the degree of relevance and significance of ensuring digital sovereignty of Russia, as well as to identify its content and structural components, taking into account the vision of practitioners. In the course of 80 expert interviews, the vast majority of experts (83.3%) noted the extremely high relevance and significance of the problem of digital sovereignty. In their opinion, this is due to the ongoing (and to some extent forced by the conditions of the pandemic) digital transformation in many, including traditional, spheres of life of the state and society. The problem is also actualized by the extraterritoriality of digital technologies and the fact that the main lines of tension in geopolitical terms are largely associated with “technological conflicts”. Some experts expressed a generally skeptical attitude to the possibility of ensuring full-fledged digital sovereignty in the conditions of usage of global digital communications of an extraterritorial nature. The most “popular” sign of digital sovereignty, according to experts, is the right to manage digital resources operating in the national segments of the digital space independently. Digital sovereignty in the framework of this conceptual prism is presented as the ability of the state to independently determine the degree and methods of its participation or non-participation in relations associated with the use of digital technologies to realize its interests. In addition, a sign of digital sovereignty, according to some experts, is the presence of the state’s own effective and highly competitive software products for solving a wide range of tasks. Another group of expert views on the phenomenon of digital sovereignty is related to its competence aspect – it focuses on the ability to use digital resources, as well as on the ability of the state to conduct an independent foreign and domestic policy in the digital space. The model of digital sovereignty includes regulatory, technological, competence, political, economic and managerial components, which, when combined into a single system, create the emergent property of digital sovereignty. The full implementation of each component is a critical condition for the formation of a sustainable digital sovereignty of a modern state. In turn, its provision is the most important strategic task, the effective solution of which is one of the key national priorities of modern Russia.

References

1. Fossen, F. & Sorgner, A. (2019) Mapping the Future of Occupations: Transformative and Destructive Effects of New Digital Technologies on Jobs. *Foresight and STI Governance*. 13(2). pp. 10–18. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.10.18
2. Zemtsov, S., Barinova, V. & Semenova, R. (2019) The Risks of Digitalization and the Adaptation of Regional Labor Markets in Russia. *Foresight and STI Governance*. 13(2). pp. 84–96. DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.84.96
3. Apokin, A., Belousov, D., Salnikov, V. & Frolov, I. (2015) Long-term Socioeconomic Challenges for Russia and Demand for New Technology. *Foresight and STI Governance*. 9(4). pp. 6–17. DOI: 10.17323/1995-459x.2015.4.6.17
4. Yudina, M.A. (2017) The new industrial revolution as a public administration challenge. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik – Public Administration. E-Journal*. 61. pp. 76–95. (In Russian).
5. Vinnik, D.V. (2014) Digital sovereignty: political and legal regimes of data filtration. *Filosofiya nauki – Philosophy of Sciences*. 2(61). pp. 95–113. (In Russian).
6. Ivanova, M.V. (2020) Assessment systems for government digital transformation: comparative analysis of Russian and international practice. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik – Public Administration. E-Journal*. 79. pp. 255–280. (In Russian).
7. Efremov, A.A. (2017) Formation of the concept of information sovereignty of the state. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Law. Journal of the Higher School of Economics*. 1. pp. 201–215. (In Russian). DOI: 10.17323/2072-8166.2017.1.201.215

8. Vorontsov, S.A. & Mamychev, A.Yu. (2019) Artificial intelligence in modern political and legal life of society: problems and contradictions of digital transformation. *Territoriya novykh vozmozhnostey. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa*. 4. pp. 9–22. (In Russian).

9. Volodenkov, S.V. (2020) Information interference as a phenomenon of the contemporary international policy subjects activity. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedeniye. Mezhdunarodnyye otnosheniya – Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*. 25(3). pp. 148–160. (In Russian). DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.3.13

10. Lovink, G. (2019) *Kriticheskaya teoriya Interneta* [Critical Theory of the Internet]. Moscow: Ad Marginem Press, Muzei sovremennogo iskusstva “Garazh”.

11. Srnicek, N. (2019) *Kapitalizm platform* [Platform Capitalism]. Moscow: HSE.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Философия

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/60/19

И.Т. Касавин

НАУКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494
«Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание»
И.Т. Касавиным, руководителем проекта и президентом Русского общества
истории и философии науки.

Согласованность науки с ценностями гуманизма и гуманистический вклад науки в общественное развитие – две стороны проблематизации науки как общественного блага (public good). Насколько наука в силу ее особенной природы является благом для всего остального общества? И какое это благо – интеллектуальное, утилитарное или моральное? В какой мере общество – государство, частный капитал или отдельные люди – имеет права на науку как принадлежащую ему собственность? Какой человек делает науку и пользуется ее дарами?

Ключевые слова: наука как общественное благо, научное знание, гуманизм, этика науки, политэкономия науки, научное сообщество.

Наука как когнитивное благо

«Все люди от природы стремятся к знанию», – гласит первая фраза «Метафизики» Аристотеля. Главное гуманитарное предназначение науки состоит в производстве знания. Тем самым наука обеспечивает то самое напряжение, которое философы называли любопытством, удивлением, а то и любовью к мудрости. Знание ценно, по Аристотелю, само по себе, безотносительно к утилитарным задачам, поскольку именно его поиск формирует человека. Все типы знания, которые Аристотель выделяет, по-разному выполняют эту гуманитарную функцию. Phronesis указывает человеку путь к правильному поведению. Empeiria учит опираться на чувственный опыт. Мнения людей содержат крупинцы истины, и те, кто не располагает иными средствами, должен руководствоваться доха. Искусный мастер владеет techne, и в этом его преимущество перед другими. Философ же, возвысившийся до знания причин, т.е. episteme, постигает и ценность знания самого по себе, и смысл всех иных, низших типов знания. Сходным образом Фрэнсис Бэкон проводил различие между светоносными и плодоносными опытами (experiments of light and experiments of fruit). Первые, воплощающие в себе знание причин, являются условием вторых, направленных на решение утилитарных задач. Оба мыслителя понимали, что только высший тип знания содержит в себе как образ ре-

альности, так и образ самого знания, критерии его совершенства: в противном случае владеющий *episteme* не знает об этом, что абсурдно. И Аристотель, и Бэкон не только ставили на первое место «чистую» науку, но и ученого, философа, овладевшего ей, рассматривали как совершенную личность.

Эти идеи нашли последовательное развитие у философов Просвещения. Они значительное место уделили разоблачению заблуждений и несовершенству когнитивных способностей человека вообще. Однако идея *lumen naturale* (Р. Декарт) превалировала в классической эпистемологии, трактовавшей отклонение от «естественного света разума» как случайное нарушение порядка природы, предустановленного единства человека с природой и богом. Говоря современным языком, классическое представление о ценности знания состоит в том, что именно знание запускает и обеспечивает возвращение человека к собственной сущности, т.е. процесс интеллектуального развития, пусть оно и происходит в разных формах.

В чем же ценность знания с точки зрения современной философии, наиболее выпукло заявившей о себе в постмодернизме? Мы отвлекаемся здесь от существенных различий между концепциями таких авторов, как Ж.-Ф. Лиотар, З. Бауман, М. Фуко, Ж. Делез, Э. Гидденс, и др. Их расхождения, касаясь в большей степени *оценки* современности и способов разрешения свойственных ей проблем, соседствуют со сходным *описанием* ситуации постмодерна. Это новое общественное состояние в целом представляется как кризис норм и ценностей, метанарративов, авторства и субъектности, в основе которого крах прежних эпистемических стандартов, того, что Ж. Деррида именует «логоцентризмом», или фундаментализмом. Отсюда и главная задача философии – критика знания.

При этом каждому эпистемологу следует помнить замечательное предостережение Гегеля против перекосов критицизма, которое нельзя не процитировать целиком. «Одна из главных точек зрения критической философии состоит в том, что, прежде чем приступить к познанию бога, сущности вещей и т.д., должно подвергнуть исследованию самую способность познания, чтобы убедиться, может ли она нам дать познание этих предметов, следует де познакомиться с инструментом раньше, чем предпринимать работу, которая должна быть выполнена посредством него; если этот инструмент неудовлетворителен, то будет напрасен потраченный труд. – Эта мысль казалась такой убедительной, что она вызвала величайшее восхищение и все с нею соглашались, так что познание, отвлекшись от своего интереса к предметам и перестав заниматься ими, обратилось к самому себе, к формальной стороне. Если, однако, не обманывать себя словами, то легко увидеть, что в то время как другие инструменты могут быть исследованы и оценены иным способом, чем посредством выполнения той работы, для которой они предназначены, исследование познания возможно только в процессе познания и рассмотреть так называемый инструмент знания значит не что иное, как познавать его. Но желать познавать до того, как познаем, так же несуразно, как мудрое намерение того схоластика, который хотел научиться плавать прежде, чем броситься в воду» [2. С. 27–28].

Характерно, что дискурс постмодернизма идет параллельно своему оппоненту, критическому рационализму, фактически повторяя его главный тезис фоллибилизма, принципиальной ошибочности всякого знания. Оба эти

направления, избирая главным методом критику и деконструкцию, пересматривают их статус. Критика отныне не является формой пропедевтики, как это было в классической эпистемологии. Напротив, этот метод обладает самоценностью: во всякое знание (научное в том числе), т.е. в описание, объяснение, предвидение, встроена его критика, а потому оно оказывается в значительной мере неопределенным и ошибочным. Это является его устойчивой, едва ли не субстанциальной характеристикой. Тем самым эпистемология постмодернизма демонстрирует своеобразный возврат к критикуемому фундаментализму, пусть и с обратным знаком. Если знание вообще может обладать какой-то ценностью, то она негативна, т.е. состоит в способности знания обернуться на самое себя и понять его как свое иное. Иными словами, ценность знания в том самом, что для классической эпистемологии знанием не является и одновременно сохраняет неутилитарный характер.

Знание в современном смысле – это критика знания. Оно усматривается в обнаружении когнитивных разрывов, обманчивости и пустоты знака, амбивалентности любого высказывания, бесконечной незавершенности всякого текста. В знании нет успокоения, оно лишь обнажает многочисленные риски человеческого существования. Современный образ знания возвращает нас к истории Эдипа, трагедия которого обязана его неустанному поиску истины и собственного предназначения. Наука не только открывает нам глаза на величественный порядок природы. Она также показывает, что в мире для человека «нет знамений», а человек заброшен в этот безжалостный мир, в котором нужно жить, будто ты бессмертный. Отныне знание – не гранитная пирамида, возвышающаяся над пустыней невежества, скорее, его символ – это утлый плот в океане реальной жизни.

Наука как политико-экономическое благо

Однако знание имеет не только собственно эпистемическое, негативно-критическое измерение. Многочисленны свидетельства позитивной и утилитарной ценности науки, а также основанной на ней техники. Более того, современная наука фактически преодолела разграничение светоносных и плодотворных опытов. Знания и блага, которыми располагают люди в наше время, едва ли подлежат четкому разделению на интеллектуальные и утилитарные. Само понятие утилитарности требует переосмысления. Знание становится утилитарным, постольку окружающие человека предметы содержат в свернутой форме технологические, социологические и антропологические знания, но также потому, что для правильного использования этих предметов желательно или даже необходимо определенное знание об их функциях и устройстве. По этой же причине материальные блага оборачиваются своей интеллектуальной стороной. Здоровье, правильное питание, жизненный комфорт, достойные условия труда – все это при внимательном отношении перестало быть банальными и самоочевидными понятиями, превратившись в интеллектуальные вызовы.

К примеру, в традиционных культурах здоровье и благополучие символизирует избыточная полнота человека, который ест много и сытно. В современной культуре, напротив, здоровье требует поистине интеллектуального сопровождения. Иначе не понять и не достичь того, что называется «необходимой физической нагрузкой», «психической устойчивостью», «здоровым

питанием» и «квалифицированным медицинским обслуживанием». Известно, что отсутствие современных условий жизни часто препятствует развитию человека, духовному в том числе. Полемически заостряя, можно сказать, что достойные бытовые условия сами по себе не гарантируют высокого интеллектуального развития и нравственного поведения. Однако и одних денежных средств для обеспечения человека такими условиями недостаточно, необходим определенный уровень интеллектуального и даже научного развития. Осмысленная трата значительной суммы требует настоящих изысканий в области финансовых инструментов, строительства и девелопмента, автомобилестроения, мебельной технологии или офисной техники. Приключения в области быта постоянно сталкиваются с «парадоксом эксперта», или «трилеммой Мюхгаузена» [3. С. 15], которые описывают процесс бесконечного обоснования в науке. В иронической формулировке парадокс может быть эксплицирован так: перед приемом у врача нужно проконсультироваться у другого врача. В этом смысле условия, которые раньше трактовались как удовлетворяющие биологическим потребностям человека, сегодня приобретают культурное содержание. А сами потребности эволюционировали настолько, что так называемые искусственные, вторичные или заимствованные потребности заслонили собой все другие. Человеческая жизнь окультурена знанием, которое объективировано в окружающих его техносотциальных артефактах. Фраза Аристотеля о знании как изначальном стремлении человека прозвучала в Античности в качестве утверждения ценности идеального мира. Как выясняется, она в значительно большей степени относится к нашему времени в качестве описания современной высокотехнологичной и информационной реальности.

Ценность знания, впрочем, не в полной мере осознается в условиях общедоступности поверхностной информации и высоких трудовых затрат на освоение подлинного знания. Лишь в серьезных жизненных и социальных ситуациях на авансцену истории выходят профессионалы, наглядно демонстрирующие способность разрешать крупные и мелкие кризисы, в которые постоянно попадает человек и общество в целом. Как, например, изменилось отношение к медицинской профессии и науке под влиянием пандемии COVID-19? Биологи и врачи превратились в медиафигуры, телезвезды, мнения которых расхватывают на цитаты и превращают в мемы. Не станет сюрпризом, если многие из них сделают политическую карьеру или будут удостоены почетных наград и премий.

Итак, благодаря знанию возникает дуализм идеального и реального миров. Наука же дает не только знание, но и особую технологию, инструмент властного отделения знающих от незнающих. Благодаря своей способности делить людей на знающих и незнающих, *наука производит справедливую систему неравенства*, социальную стратификацию, без которой нет развития. Эту мысль обосновывает М. Каллон в форме тезиса «Наука как общественное благо». Он показывает, что к науке нельзя подходить как обычному продукту общественного производства, существующему и оцениваемому по экономическим, рыночным законам и стандартам [4]. Неверно представлять науку как некоммерческий феномен, не представляющий интереса для приватизации, а потому и финансируемый как общественное благо по остаточному принципу. Ведь наука – это «пятая власть», и в обществе знания умное государство

делает науку своим приоритетом. Так же ошибочно сводить науку к ее прикладным результатам, подлежащим тотальной приватизации в силу своей быстрой доходности. Для недальновидного хищнического бизнеса наука с ее непредсказуемыми открытиями так же неинтересна, как и живопись со своими непонятными картинами, хотя в перспективе они могут принести огромные прибыли. Научное знание самоценно, но одновременно именно оно же является важнейшим ферментом культурной и общественной динамики, без которой наступает тотальная стагнация и в экономической жизни. Производство наукой когнитивного разнообразия есть условие современного общественного развития. Отсутствие монополии на науку, баланс общественной и частной собственности в науке, определяемый развитостью института науки и институтов гражданского общества, делает науку благом для всех – для производителей знания и его потребителей, для инвесторов и спонсоров, для нынешних и грядущих поколений.

Подчеркнем, что это благо особого, отнюдь не благодетного рода. Общество вынуждено давать большой кредит доверия науке, чтобы та в свою очередь принесла обществу в дар свои знания. Более того, чтобы приносить общественное благо, наука должна встать на позицию социального критицизма и обрести автономию от «плохого общества». Наука, достигая статуса политического субъекта, сама формирует свои приоритеты. Так политическая философия науки проясняет внешнюю задачу этики науки.

Наука как моральное благо

В чем состоит и как обеспечить добросовестность ученых, их солидарность, с одной стороны, и неутилитарное и благотворное влияние науки на общество – с другой? Современная наука – это очень большое предприятие, Big Science, и массивы информации, количество людей, которые в этой науке фигурируют, огромны. Сегодня высшее образование распространено как никогда широко. Однако люди, работающие в современной науке, не проходят такого отсева на верность призванию, на добросовестность, который преодолевали ученые люди Нового времени. Помимо всего, наука как социальный институт и государственные службы, управляющие наукой, продуцируют и детализируют нормы и критерии эффективности научных исследований. В силу этого научная деятельность подлежит постоянной нормативной оценке. В отсутствие норм нельзя обнаружить и отклонения от нормы, но поскольку норм огромное количество, то и отклонения умножаются многократно. Наконец, наука существует в обществе, где коррупция, авторитаризм, манипуляция, идеологический диктат, недобросовестность, корыстолюбие стали социологически фиксируемой нормой жизни. Эти социальные пороки транслируются в науку. Поэтому и мораль как идеал бескорыстного свободного выбора уступает место следованию социальным стандартам. Но если из науки окончательно исчезнут примеры морального героизма, то она утратит свой особый эпистемический статус. Ведь служение истине невозможно без предъявления себе высоких моральных норм. Истина – не государственная премия, она не тождественна открытию нового, успеху и наградам; это бесконечная перспектива заблуждений, постоянной неуверенности, самокритики и ответственности. Человек, избравший путь истины в качестве призвания, преодолевает искушения ее обманчивыми сиюминутными образами – эмпи-

рической достоверностью, логическим доказательством, научным консенсусом, социальным признанием. Мужественно следуя по этому пути, ученый приносит себя в жертву истине. Пусть в науке как социальном институте профессия доминирует над призванием. Тем важнее сопротивление такому доминированию со стороны неформального морального кодекса ученого, обеспечивающего экзистенциальный смысл его деятельности.

В качестве аутентичной самоидентификации ученого, его осознания себя в качестве особенной личности выступает призвание. Будучи, как правило, результатом научной социализации, призвание на уровне индивидуального сознания сопровождается переживанием избранности, персонального призыва к науке как дара свыше – «я призван в отличие от других». *Наличие призвания примиряло с отсутствием признания*, оправдывало в глазах ученого его изоляцию, недостаток социального статуса. Каким же образом научное призвание становилось общественной силой и позволяло человеку перераспределять социальные роли и статусы в свою пользу? В Новое время этому способствовал расцвет мифа науки, т.е. начало масштабной кампании за социальную ценность науки и повышение общественного веса личности ученого. Ф. Бэкон, инициатор этой кампании, наряду с аргументами к «плодоносным опытам», апеллировал к более высоким «светоносным опытам». Он понимал власть знания не столько прагматически-приземленно, сколько в духе будущей эпохи Просвещения. Человек науки, усмиривший «идолов разума» и овладевший своей природной сущностью, становится примером для всего общества, которое отныне может быть перестроено на научной основе. Ученый, преодолевая ужас перед бескрайним мирозданием, побеждает и страх личной вины и ответственности. Отныне он уже может сказать, вслед за И. Кантом: «Две вещи наполняют душу удивлением и благоговением, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Страх силен лишь тем, что обращает сознание субъекта на него самого, заставляя прислушиваться к каждому движению души, к малейшему телесному ощущению. Но для творческого субъекта, выходящего за свои пределы, становится важно то, что снаружи, а не внутри. Беззаветно стремясь к истине, ученый осуществляет моральный поступок – приносит себя в жертву. Приобретая путем тяжелого труда новое знание, он бескорыстно открывает человечеству неведомые континенты иных миров.

Однако современная наука, по всей видимости, противится такому истолкованию. Для большинства она является одной из многих современных профессий, в которых интеллектуальная и организационная деятельность совмещается с ручным трудом. Одни науки ближе инженерной практике, другие – художественному творчеству, третьи – оккультной эзотерике. Для внешнего наблюдателя часто остается непонятным, почему занятия наукой относительно неплохо оплачиваются. Ведь создавая и предоставляя обществу знания, ученый нередко производит некий эфемерный, бестелесный продукт – не печет булок, не тачает сапоги, не кует мечи. И все же при ближайшем рассмотрении наука дарит обществу значительно больше, чем получает от него. Выдающиеся открытия и изобретения изменяют жизнь человечества и тем самым далеко превосходят вложенные в них средства. Распространение и использование знания не только не растрчивает, не амортизирует его, но, напротив, способствует его углублению и обогащению. Когнитивная цен-

ность достоверного знания со временем лишь возрастает, поскольку над ним надстраиваются будущие открытия и изобретения. И даже заблуждения, опровергнутые теории и неудачные эксперименты обладают своего рода ценностью, предупреждая о пройденных тупиковых путях или еще нереализованных альтернативах. История познания есть кладовая интеллектуальной роскоши, бездонный ресурс, источник будущей культуры, благосостояния и безопасности. Принимая этот дар, общество оказывается в неоплатном долгу перед наукой. Этот дар нельзя отвергнуть без угрозы экономического застоя, не говоря уже о нравственном и интеллектуальном вырождении.

Одновременно ученый попадает в круг обязательств перед одаряемыми и самим собой. На него падает ответственность за подлинность и ценность дара, за возможность его понять, распространить и использовать, за приоритет его перед другими дарами. Тем самым жизнь ученого превращается в гонку за статусом главного дарителя, высшей мечтой которого является полное одиночество на вершине. Так миф науки включает в себя счастье призвания, одаренности, творчества наряду с трагедией неприкаянности, непризнанности, бездарности. Ведь современное научное сообщество и общество в целом преодолели и отвергли «экономику дара», о которой пишет М. Мосс [5] применительно к традиционному обществу. Причина этого, однако, не только в распространении рыночной экономики. Большинство не может принять дар знания именно потому, что он отделяет знающих от незнающих. Для людей, не причастных научному призванию, такой дар оказывается тяжким грузом. Они не способны к научной скромности, убеждающей в преобладании незнания перед знанием. Им чуждо интеллектуальное мужество, которое не ориентировано на достижение когнитивного благополучия. Лишь немногим свойственно достоинство дарителя перед лицом несправедливости и непризнания со стороны одаряемых. Не удача, не успех, но, напротив, испытание общественным безразличием или даже враждебностью к истине – вот подлинный «путь пахаря» на поле науки. Дистанция между бескорыстием научного призвания и утилитарностью научной профессии, между знающими и неосведомленными демонстрирует возможность знания быть общественной силой.

Человек, отдаваясь научному призванию, служа науке, отрекается от себя, жертвует собой, дарит себя, выходит за свои пределы. И он же воплощает себя в призвании, достигая подлинности бытия. Ученый отстаивает свою идею, защищает свою теорию перед лицом других ученых и предлагает обществу новое знание, обрекая себя на критику и непонимание. И он же, выполняя миссию науки по расширению когнитивного многообразия, служит социальному прогрессу. Наука – это рискованный способ реализации призвания и общественной миссии интеллектуала.

Наука – гуманистический проект

Взгляд на науку как способ общения, как фрагмент культурной истории, как моральный вызов есть путь понимания человеческого измерения научной деятельности. Выдвигая науку в качестве *гуманистического проекта*, мы ставим вопрос о том, как и насколько наука в состоянии соответствовать ценностям гуманизма, а сам гуманизм согласуется с пафосом научного поиска. Сегодня размышления о гуманизме нередко идут в русле анализа концепций пост- и трансгуманизма. В особенности так происходит при связывании

гуманизма с современной наукой. Тогда проблематика гуманизма фактически отождествляется с новой перспективой философской антропологии, т.е. взглядом на будущее человека сквозь призму науки и техники наших дней. Тогда вопрос о гуманизме оказывается в зависимости от другого непростого вопроса о природе современности, в которой мы живем и которая во многом определяет наше будущее. Философия, о чем бы она ни говорила, всегда говорит о человеке. Что значит быть *современным человеком* – вот главный вопрос сегодня.

В эссе «О назначении ученого» И. Фихте пишет о том, что философия начинается с вопроса о человеке как таковом, но заканчивается проектом особенного человека, лучшего из людей – человека науки, ученого, *des Gelehrten* [6]. Этот, по видимости, нескромный и даже излишне амбициозный тезис все же следует понимать не как самовосхваление интеллектуала или рекламу науки конца XVIII в., но как выдвижение почти недостижимого идеала. Фихте убежден, что занятия наукой делают людей лучше, а подлинную науку способны развивать лишь лучшие из людей. Вспомним, что в то время наука еще не попала в центр общественного внимания. Шла Французская революция, которая казнила ученых, но вскоре будет в них остро нуждаться. Начиналась промышленная революция, и она требовала развитой техники, но еще предстояло понять, что толчок для ее развития дадут именно научные достижения. Легитимированные папской буллой университеты умирали, и почти никто не связывал их судьбу с наукой. Поэтому Фихте выдвигает свой тезис со всей категоричностью вразрез к тем тенденциям, которые располагались на поверхности общественной жизни. Философ смотрит в корень и через десять лет после И. Канта по-своему отвечает на сакраментальный вопрос «Что такое Просвещение?» Просвещение – это торжество науки как кузницы нового человека, так Фихте расшифровывает и уточняет кантовский ответ. Совершеннолетие человека символизирует собой не просто мужество жить собственным умом, не обыденную самостоятельность мысли, но систематическое занятие наукой, нелегкий и самоотверженный интеллектуальный труд во благо общества.

М. Фуко напоминает нам о многозначности термина «гуманизм» и его сложных отношениях с Просвещением и современностью [7]. Говоря кратко, если гуманистический проект представляет собой лишь экспликацию некоторой догматической системы ценностей, то у него много шансов выродиться в трагедию человеческих судеб. И здесь мы вынуждены взглянуть критически на науку и еще раз задуматься об ее человеческом назначении. Гуманистическое преимущество науки не только и не столько в том, что она открывает нам истину или приносит пользу. Наука заставляет человека мыслить исторически и критически о самом себе и о своей современности, побуждает к археологической раскопке прошлого и генеалогическому дискурсу о будущем, она полагает границы и ищет средства их преодоления. Человек науки – не тот, кто уверовал в собственную современность и в свое личное понимание идеалов гуманизма. Напротив, это тот, кто в своем желании достичь совершеннолетия осознал, что человек как эмпирический субъект никогда не соответствует своему понятию. Современным человеком является лишь тот, кто использует науку в бесконечном поиске самого себя. И потому подлинный гуманизм – это не возвеличивание человека, но приведение его в созна-

ние; не адаптация к условиям, а созидание себя заново; не доктрина, но постоянная критика нашего исторического бытия.

Итоги

В современном обществе наука стала таким же предметом потребления, товаром и услугой, как и многие другие. Именно в этом нередко и видится ее общественное благо. Однако это лишь внешний и банальный ракурс видения науки. В действительности ее ценность может быть понята лишь в результате «распутывания» [8] амбивалентной природы современной науки как знания и института, погруженных в социальный и исторический контекст. Наука как цивилизация отвечает на социальный заказ и создает стоимость, существуя в виде прикладных исследований и реализуя право на интеллектуальную собственность. Наука как культура формирует общественное сознание и потребляет общественные фонды, проводя фундаментальные исследования и питая мировоззренческий бэкграунд современного человека. Наука дарит знание и учит рациональности [9. С. 184–196], но лишает когнитивной невинности и бездумного счастья. Общественное благо, создаваемое наукой, не равно благолепию религиозного собора и сытому блаженству гедониста. Оно нуждается во внимательном и бережном обращении, требует ответственной оценки социальных и техногенных рисков, приобщает к ценностям демократической коммуникации, учит когнитивной скромности и интеллектуальному мужеству. Общественное благо науки несет с собой мощный утопический вызов, призывая вытаскивать себя за волосы из болота повседневности. Чтобы профессия ученого не была низведена до банальной коммерческой услуги, а его индивидуальная жизнь не утратила смысла, хотя бы научная элита должна демонстрировать высокие моральные и когнитивные образцы [10].

Эту утопию науки предстоит продвигать вопреки ошибочности знания, политическим ограничениям и моральной слабости человека. И потому она вполне достойна статуса рискованного философского проекта.

Литература

1. Булгаков С. Философия хозяйства. М. : Ин-т русской цивилизации, 2009. 421 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М. : Мысль, 1974. Т. I. 452 с.
3. Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М. : Ad Marginem Press, 1995. 548 с.
4. Albert H. Traktat über kritische Vernunft. Tübingen : J.C.B. Mohr, 1991. 284 S.
5. Mauss M. The Gift. Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London : Cohen & West, 1966. 160 p.
6. Callon M. Is Science a Public Good? Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993 // Science, Technology, & Human Values. 1994. Vol. 19, № 4. P. 395–424.
7. Fichte J.G. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. Jena; Leipzig : C.E. Gabler, 1794. 124 S.
8. Foucault M. What is Enlightenment? // The Foucault Reader / ed. by P. Rabinow. New York : Pantheon Books, 1984. P. 32–50.
9. Kasavin I. Science and Public Good: Max Weber's Ethical Implications // Social Epistemology. 2020. Iss. 2. P. 184–196.
10. Шлейермахер Ф. Фрагмент из работы «Нечаянные мысли о смысле немецкого университета» // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55, № 1. С. 215–235.

Илья Т. Kasavin, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).
E-mail: itkasavin@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 217–227.

DOI: 10.17223/1998863X/60/19

SCIENCE: A PUBLIC GOOD AND A HUMANISTIC PROJECT

Keywords: science as public good; humanism; scientific knowledge; ethics of science; political economy of science; scientific community.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The consistency of science with the values of humanism and the humanistic contribution of science to social development are two sides of the problematization of science as a public good. To what extent is science in its specificity a boon to the rest of society? And what is this benefit: intellectual, utilitarian or moral? To what extent does society – the state, private capital or individuals – have the rights to science as its property? What is the person that makes science and enjoys its gifts? While answering these questions, it is necessary to distinguish between two meanings of science as a public good in Russian- and English-language literature. The expression *Nauka kak obshchestvennoe blago* [Science as a public good] in Russian is not identical with the English “Science as a public good”: literal translation does not work. The reason for this disagreement between Russian and English is the difference in attitude to science. In Russian philosophy, the problem is traditionally put in terms of ideological and utilitarian functions of science, while in the phrase (which is not too common) “science as a public good” the emphasis is put on “good”. One speaks about the advantages that science provides to society: the scientific outlook and economic well-being. The value of basic and applied science to society is accepted as something self-evident albeit different. On the one hand, science acts as something speculative, optional for life and detached from it: it is about the ideal value of science as a subject matter of moral discourse. This is dictated by the transcendental-publicistic tradition of Russian philosophy, which was not overcome by Marxist naturalism and pragmatism because of their inconsistency, incompatibility with the practice of “real socialism”. Sergei Bulgakov clearly expressed the *sofiynost*’ [Sophianic nature] of science and at the same time its limitations in his *Philosophy of Economy* (2009). On the other hand, Russian Marxism was close to the utilitarian interpretation of the slogan “Knowledge Is Power”, including Marx’s idea of science as a productive force. In the case of the Western tradition, the focus in this phrase shifts to “public” meaning that fundamental science, unlike applied and educational sciences, cannot be the subject of private interest, because it does not bring profit, and the private interest is treated exclusively in the liberal-economic way. Therefore, no one seeks to privatize and develop science, except those states that commit themselves to financing public funds of consumption and view science as an intellectual value. In some cases, it is residual funding (Russia), in others it is a priority (South Korea). It is in this sense that basic science appears as a “social commodity” that no one buys but receives from the state for free. Therefore, social status is usually relatively low and similar to social welfare – as opposed to wages. Applied science, conversely, is interpreted within the framework of the empirical-pragmatic analytical tradition as the embodiment of experienced and useful knowledge, which promotes the production of goods and is itself the subject of commodity exchange. In this case, science is referred to as a consumer goods object, a commodity, a useful object. This is the position of classical political economy. Adam Smith wrote that much of knowledge is borrowed from other people and from other sources and is acquired in the same way as shoes are bought. This opposition is key to the social existence of modern science as knowledge and social institution. Its resolution requires further clarification of the status of science as a cognitive, political and moral value.

References

1. Bulgakov, S. (1974) *Filosofiya khozyaystva* [Philosophy of Economy]. Moscow: Institute of Russian Civilization.
2. Hegel, G.V.F. (1974) *Entsiklopediya filosofskikh nauk* [Encyclopedia of Philosophical Sciences]. Vol. 1. Moscow: Mysl’.
3. Mamardashvili, M.K. (1995) *Lektsii o Pruste (psikhologicheskaya topologiya puti)* [Lectures about Proust (Psychological Topology of the Path)]. Moscow: Ad Marginem.
4. Albert, H. (1991) *Traktat über kritische Vernunft*. Tübingen: J.C.B. Mohr.
5. Mauss, M. (1966) *The Gift. Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. London: Cohen & West.

-
6. Callon, M. (1994) Is Science a Public Good? Fifth Mullins Lecture, Virginia Polytechnic Institute, 23 March 1993. *Science, Technology, & Human Values*. 19(4). pp. 395–424.
 7. Fichte, J.G. (1794) *Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten*. Jena; Leipzig: C.E. Gabler.
 8. Foucault, M. (1984) What is Enlightenment? In: Rabinow, P. (ed.) *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books. pp. 32–50.
 9. Kasavin, I. (2020) Science and Public Good: Max Weber’s Ethical Implications. *Social Epistemology*. 2. pp. 184–196.
 10. Schleiermacher, F. (2018) Fragment from “Gelegentliche Gedanken über Universitäten in deutschem Sinn Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende”. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 55(1). pp. 215–235. (In Russian).

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/60/20

А.Ю. Антоновский

«ХОТЬ ДЕРЕВО ГНИЛО, ДА БЛАГО НАМ МИЛО» (НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание» в Русском обществе истории и философии науки.

Сформулировано несколько критических замечаний к пониманию научного блага, предложенного И.Т. Касавиным. Научное благо концептуализируется как многообразие полезностей науки в пространстве трех ключевых горизонтов или измерений: социального, временного и предметного. Это трехмерное пространство научной коммуникации делает крайне затруднительным и амбивалентным ответ на поставленный И.Т. Касавиным вопрос об общественной полезности науки. Ведь позитивное значение в предметном горизонте может оказаться высокорискованным, затратным и опасным в измерении социальном, а значит, получает в нем негативное значение.

Ключевые слова: наука, научная коммуникация, системно-коммуникативная теория, измерения научной коммуникации, научная политика.

Кто бенефициар «научного пирога»?

Постановка вопроса о науке как общественном благе подразумевает, что и все социальные игроки, или, как сегодня принято говорить, стейкхолдеры (экономические и политические институты, организации-потребители, отраслевые министерства, издательства и журналы и даже социальные движения), осуществляя общественно полезные действия и вкладывая в науку те или иные ресурсы, получают право на часть «научного пирога» в соответствии с их интересами. Интерес к науке объединяет игроков, но (в соответствии с постулатами теории рационального выбора) такое объединение все-таки предполагает превышение прибылей над понесенными издержками. При этом сама наука (как сообщество ученых) может оказаться исключенной из этого «дележа» и обсуждения собственно научной повестки. Научная инфраструктура в этом случае сдается в пользование учеными и даже отчасти ими администрируется, но управление (steering) все-таки остается в руках политической системы.

В результате научная политика (т.е. переговоры о том, как потреблять и распределять произведенное наукой благо) становится функцией от распределения влияния и интересов означенных стейкхолдеров. Индустрия желает материалов с полезными свойствами и инноваций, конвертируемых в масштабируемые и продаваемые изделия, политика добивается национального престижа и обеспечения нацбезопасности, социальные движения требуют от науки экологических решений, образование желает надежного знания, которое можно превратить в компетенции, а ученые говорят: «дайте денег и отойдите».

При этом каждый из потребителей научного блага, будучи заинтересован в продвижении своего частного интереса, формулирует его как общеобщественный, а не узкостейхолдерский. Скажем, Министерство обороны, формируя заказы на военные научные разработки, конечно, интерпретирует свой интерес как общегражданскую функцию нацбезопасности. Впрочем, и ученые, удовлетворяя собственное любопытство за счет общества, формируют общественное мнение о своем производстве как общенациональной необходимости. И все-таки не стоит обманываться, такого притязание конкретных игроков на функцию реализатора «общественного» интереса выдает частный интерес бенефициара и не может не вызывать подозрений¹.

Экономика и мораль

Но даже в условиях несформированности научного сообщества как полноправного субъекта в переговорах стейкхолдеров трудно согласиться с тем, что отставание отечественной науки вызвано ее недофинансированием («остаточным принципом» в терминах И.Т. Касавина). Общие госзатраты на науку, по последним данным Счетной палаты, находятся на уровне расходов Великобритании. Но эффект от увеличения финансирования (и в целом наличие материально-технической базы научных исследований) не обязательно коррелирует линейно с ростом производительности научного труда. Скажем, во второй половине XIX в., несмотря на выраженную зависимость отечественных лабораторий от иностранного оборудования и соответствующий дефицит, кадровый потенциал не только не отставал, но даже превосходил европейский уровень. При этом материально-техническая база исследований существенно уступала западной науке в силу общего технического и экономического отставания России, отсутствия запроса и потребностей со стороны промышленности и – зачастую – незаинтересованности высшей власти, что в целом вполне соответствует современной ситуации. Однако данное положение дел не стало препятствием для мощного рывка, который переживала российская наука в конце XIX – начале XX в. (работы Мечникова, Менделеева, Попова, Пржевальского и др.) [2. С. 28–66].

Научный прогресс во многом мотивирован общей атмосферой пиетета общества перед наукой и учеными, а не госсубсидиями и инвестициями индустрии. Никлас Луман удачно охарактеризовал это состояние как «инфляцию научной истины» [3]. В этот период, который, конечно, рано или поздно, сменяется «дефляцией» к науке предъявляют завышенные ожидания от успешных решений не только собственно научных, но и технологических, экономических, экологических, социальных проблем. В этом контексте И.Т. Касавин справедливо говорит об «общественном статусе» исследователя как дефинитивном условии высокой оценки генерируемого им блага. Напротив, в условиях «дефляции», на исследователя смотрят как на иждивенца, а на прикладника как на своего рода «коммивояжера», продумывающего стратегии «купи кирпич» и убеждающего другие сообщества необходимости и общественной полезности производимого продукта, которые при этом надо *дополнительно обосновывать*. В период дефляции «общественное благо»,

¹ Об «изобретении» «общепользуемой науки» в ее противопоставлении с фундаментальной наукой в нацистской Германии в см.: [1].

создаваемое наукой, утрачивает очевидность. Собственно этим состоянием объясняются многочисленные детально рубрицированные «отчеты по ГОСТу», которые требует регулятор и которые по объемам и детальности уже заметно превосходят сами научные публикации.

Но с точки зрения И.Т. Касавина, как мне кажется, проблема «пониженной социальной ответственности» ученого кроется в волонтаризме власти, не желающей адекватно финансировать фундаментальную науку, и беспомощности профильного регулятора, лишенного ресурсов для поддержки подведомственных НИИ. Некоторая доля истины в этом есть, и все-таки это объяснение неполно. Сегодня власть, наполняющая научные статьи бюджета процентом от углеводородной ренты, махнула рукой на экономическую перспективу научных разработок и рассматривает науку исключительно как «производителя национального престижа». Ведь критерии такого рода научного успеха условны, размыты и в чем-то произвольны, и даже небольшая стимуляция может приводить к большому «выхлопу» (увеличение доли статей в реферативных базах и т.д.). В целом же даже и адекватное финансирование – используем здесь аналогию со спортом как производителем национального престижа – в условиях «дефляции научной истины» не гарантирует международных достижений. В настоящий футбол и настоящую науку играют не за деньги.

Гораздо большее значение для низкоконкурентного качества «научного продукта» имеют *внутренние механизмы торможения* в самой отечественной науке. И в первую очередь дело в том, что она все еще производится в рамках традиционных организаций, НИИ – громоздких и неповоротливых структур, не только не конкурирующих друг с другом, но и не сильно озабоченных собственной научной производительностью. Ведь выживание для них как раз и не связано непосредственно с тем самым научным продуктом, которое И.Т. Касавин именует «общественным благом». НИИ как госорганизации (со всем гигантским документооборотом и отвлечением ресурсов) сосредоточены на функции самовоспроизводства, а не на осуществлении научных исследований [4. С. 6–22]

Возникает замкнутый круг или, скорее, парадокс. С одной стороны, научное сообщество не является полноценным «стейкхолдером» в переговорах по научной повестке и достойной оплате поставляемого им «блага». Ведь этому сообществу пока еще нечего положить на круглый стол переговоров – в виде прорывных научных результатов – и выступить в них равноправным партнером. При этом и сама наука лишена субъектности, ведь она дифференцирована дисциплинарно и расколота иерархически. «Маршалы и генералы» в руководстве НИИ имеют собственные интересы, слабо связанные как с интересами немногочисленных «пиаев» (PI – principal investigator), которые в силу собственной «эксцелентности» и сами не сильно привязаны к собственным НИИ, так и с интересами бесправных научных сотрудников, чья зарплата, условия контрактов и карьерные траектории почти целиком зависят от дирекции. С другой стороны, невостребованность фронтальной повестки не дает возможности и выйти на эти фронтиры и, как следствие, получить статус полноценного игрока или субъекта научной политики.

Отечественная наука в этом смысле парализована дважды: *предметно-дисциплинарно* и *социально-структурно*. Уже только поэтому она не может

сформулировать и коллективно защитить собственный дисциплинарный интерес, как это осуществляется в западной науке, например, в процессе «самосборки» научного сообщества физиков, получившей название Snow-Mass (см. <https://snowmass21.org>). Речь идет о многоуровневой процедуре трансляции представлений ученых о перспективах и приоритетах в своей предметной области (в данном случае – в физике высоких энергий) до регулятора и финансирующих госорганов.

Стимуляция как симуляция

В этом контексте нам не кажется полностью обоснованным тезис И.Т. Касавина о том, что экономика де вызывает к прикладным, а общественная мораль должна способствовать развитию фундаментальных исследований. Конечно, почти невозможно убедить индустрию профинансировать науку. Напротив, склонные к морализаторству политические институты усматривают в фундаментальных достижениях возможности электорального самопиара и интерпретируют научные прорывы как собственный успех. Все мы знаем судьбу Нацпроекта «Наука», «успешно» реализовавшегося в рамках взрывного (количественного) роста отечественных публикаций в международных реферативных базах. Проблема лишь в том, что так понятая мораль обоснования самооценности науки функционирует вхолостую, несмотря на всю – очевидную и немалую – политическую и финансовую поддержку отечественных НИИ.

В целом мы соглашаемся с утверждением И.Т. Касавина о том, что базовым структурным различием науки как производителя общественного блага является различие между общественной *функцией* науки (проведением самооценного фундаментального исследования) и *достижениями* (полезным продуктом, который наука поставляет внешним для нее системам: индустрии, образованию и т.д.). Тем не менее трудно согласиться с выводимым отсюда следствием, а именно с тем, что морально фундированная недооценка обществом фундаментальной науки приводит к ее недоразвитию и отсутствию у общества и ключевых стейкхолдеров желания ее «покупать». Напротив, в обществе, в том числе и российском, есть консенсус в отношении самооценности науки. Фундаментальная наука выступает значимым производителем «национального престижа» на международной арене, что заставляет руководство вкладывать огромные деньги в стимуляцию научной деятельности (на деле зачастую оборачивающейся симуляцией, т.е. избыточным производством не коммодитизируемых патентов, не говоря уже о вале статей).

Критическая установка как условие социальной «дефляция истины»

Отмечая способность науки производить «интеллектуальное благо», И.Т. Касавин указывает на некую самооценную функцию *критики*, встраиваемую функцию беспокойства, неустойчивости в полученных результатах, мотивирующую искать все более совершенные формы самореализации как в науке, так и в других социальных сферах. Следуя самому пафосу этого тезиса, с ним, конечно, тоже приходится спорить и его критиковать. Действительно, в каком-то смысле критика превратилась в эрзац-призвание, пришедшее на смену стандартным нововременным мотивациям искать

«подлинную истину», «подлинные структуры бытия», «подлинного Бога» и «подлинное блага» (*вкуне* составлявшие некий *синтетический* объект интереса нововременной науки). Об «утрате» именно этого единства блестяще сокрушался Макс Вебер в своем знаменитом манифесте «Наука как призвание и профессия».

Но зададимся вопросом о том, с какой точки зрения и в перспективе какого наблюдателя это «когнитивное благо» действительно является таковым. То, что общество в некоем абстрактном смысле профитирует от заполнения «бесконечных лакун» и связывания «когнитивных разрывов» еще можно как-то признать. Но бесконечные разочарование и когнитивные ожидания будущих разочарований депримируют самих ученых, вырывая их из «зоны экзистенциального комфорта» и отправляя в зону высочайшей конкуренции, неустроенности, перескакивания с постдоков на постдоки. Сегодня это обозначают эвфемизмом «академическая мобильность», которая на деле эквивалентна средневековому архетипу «странствующих схоластов», лишенных возможности завести нормальный быт и семью. И так ли много приобретает общество от этой «критической установки»? Конечно, и остальные люди в процессе образования и других оккультураций перенимают установку критической рациональности. Но не оборачивается ли она разрушительным релятивизмом и в отношении пресловутых «общественных устоев», требуя и от обывателя позитивного или терпимого отношения к нарушению в том числе и социальных норм? С тем, что «производство наукой когнитивного разнообразия есть условие современного общественного развития» трудно согласиться, потому что таковое разнообразие разрушает и общественный консенсус, во многом основанный на привычке, обычае, устойчивых нормативных ожиданиях [5. С. 8–19]. Не в последнюю очередь и взрывное развитие «новых социальных движений» провоцируется алармизмом и тревогой, вызываемым к жизни научным релятивизмом и запрограммированной недоверчивостью всякого научного утверждения и прогноза. То, что науке не верит общество, с одной стороны, вызвано к жизни вышеозначенным истинностным релятивизмом самой науки, а с другой стороны, в форме положительного фидбэка, содействует той самой «дефляции истины», дезориентирующей и демотивирующих студентов, избравших научную стезю.

Парадокс науки как производителя экономического блага

Что касается попытки И.Т. Касавина проинтерпретировать науку как производителя «экономико-политического блага», то здесь можно было бы согласиться с его утверждением о стирании границ фундаментальной и прикладной науки. Скажем, применение достижений фундаментальной науки при производстве коллаидеров является, по-видимому, ее «приложением», в результате которого развивается именно «фундаменталка». Экспериментальная наука в формате Mega-Science снимает эти различия. Сегодня дистинкция *полезности/самоценности* («плодоносного» и «светоносного» опыта) уже не ортогональна различению *прикладного/фундаментального*. В этом смысле, конечно, все претензии со стороны внешнего наблюдателя (обывателя или регулятора) на отсутствие у научного открытия утилитарных перспектив легко отменяются учеными ссылками на фундаментальность, полезность (или бесполезность) которого в данной дистинкции не учитывается дефинитивно.

В этом смысле ученый оказывается в неуязвимой позиции: полезным оказывается все то, что вызывает интерес и резонанс *внутри* науки. И все же такое стяжение контрарных полюсов означенной дистинкции не отменяет базового различения *функции/достижений* как важного маркера *внутренних/внешних* системных референций научной коммуникации, различения между дисциплинарным научным исследованием как таковым и комплексной междисциплинарной реакцией на запросы из внешних систем (индустрии, политики, образования, социальных движений). Сегодня это различие выражено институционально и пространственно. Прикладные исследования в области производства экономического блага отделились и осуществляются либо в отраслевых институтах, либо в подразделениях R&D больших корпораций. Именно там в процессе производства «политики-экономического блага» создаются стандарты и протоколы современного научного исследования, которые потом очень соблазнительно транслировать и на фундаментальные разработки.

Речь в этом случае идет прежде всего о *проектном*, т.е. темпорально ограниченном характере исследования, поскольку такие (сегодня, как правило, трехлетние) проектные рамки облегчают поиски финансирования, оптимизацию всегда ограниченных ресурсов, а в случае фиаско гарантируют передачу сохраненных средств новым заявителям. При этом проектный характер не обязан отвечать логике фундаментального исследования, в котором, напротив, всякая неудача, сбой и констатация ложности не обязательно останавливают финансирование и исследование, а напротив, запускают рефлексивные процессы, расширяют исследовательское поле, создают внутринаучный резонанс, привлекают к проблеме других исследователей и в целом только провоцируют дальнейшие разработки, делая теоретическое исследование практически *бесконечным*.

Этой временной дивергенцией «функции» и «достижений» собственно и объясняется тот самый «парадокс эксперта», который фиксирует И.Т. Касавин: «полезность», «эффективность», «продуктивность» проектных результатов определяются уже не через фильтры внутриколлегияльной коммуникации и не *внутри* научного коллектива, всегда готового продолжить рискованные исследования пусть и с неявной и негарантированной перспективой, но через аутсорсинг *внешних* экспертов, требующих новой экспертизы полученных экспертиз. Ведь за проектом стоят большие деньги и, как следствие, конфликты интересов.

И все же фундаментальным представляется совсем другой парадокс, который, собственно, и препятствует науке сосредоточиться на этом производстве экономического блага. Рассмотренное как экономическое такое производство в качестве критерия успеха получает временной, но не предметный (= истинностный) индекс. Время и скорость в проектной организации науки гораздо важнее истины. Ведь даже если в течение трех лет и не произошло научного прорыва, не будут растрочены дополнительные средства. Как известно, стагнация в разработке новых антибиотиков определяется не в последнюю очередь этим обстоятельством.

С системно-коммуникативной точки зрения это означает, что временное и предметное измерения научной коммуникации сегодня получают взаимную автономию, соответственно, распределяясь между *функцией* (фундаменталь-

ное исследование) и «достижениями» по внешнему запросу (прикладные исследования). Предметное измерение фундаментальной науки делает *непредсказуемыми* его следствия во времени. А ориентация на предсказания и прогнозы в рамках междисциплинарных прикладных исследований во временном горизонте научной коммуникации неотвратимо *останавливает* предметные изыскания, неважно создан ли заказанный продукт или не создан.

Но этот negative feedback в сфере «достижений» в каком-то смысле «спасает» фундаментальную науку. Ведь именно в ней – несмотря на все попытки национальных регуляторов организовать ее по проектно-грантовому образцу прикладного исследования – предметный интерес ученых доминирует над временем. И именно там создается резервуар так называемых заделов, которые единственно и делают возможным последующую грантово-проектную научную работу по генерации полезных для общества «достижений». Достаточно привести лишь один показательный пример. Стремительное «проектное решение» («достижение») по созданию отечественной вакцины «Гам-Ковид-Вак» не было бы возможным без «задела» в виде «аденовирусной платформы», которая создавалась в гораздо более неспешных (как следствие, комфортных и креативных) условиях фундаментальных исследований.

Литература

1. Maier H. Gemeinschaftsforschung: Bevollmächtigte und der Wissenstransfer die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus. Göttingen : Wallstein, 2007. 614 S.
2. Сапрыкин Д.Л. «Золотой век» отечественной науки и техники и «классическая» концепция инженерного образования // Вопросы истории естествознания и техники. 2013. Т. 34, № 1. С. 28–66.
3. Луман Н. Эволюция науки // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52, № 2. С. 215–233. DOI: 10.5840/eps201752240
4. Антоновский А.Ю. Кризис коллегиальности в научной организации и научная политика // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 3. С. 6–22.
5. Касавин И.Т. Нормы в познании и познание норм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54, № 4. С. 8–19.

Alexander Yu. Antonovskiy, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).

E-mail: antonovski@iph.ras.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 228–235.

DOI: 10.17223/1998863X/60/20

ALTHOUGH THE TREE IS ROTTEN, IT BRINGS GOOD (A RUSSIAN PROVERB)

Keywords: science; scientific communication; system communication theory; measurements of scientific communication; scientific policy.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The question of whether science is a good cannot be resolved in one article just because the concept of good allows for a variety of meanings and connotations. The article discusses the ideas of Ilya Kasavin, who concretizes this concept in relation to science. Criticizing this approach, the author, for his part, deconstructs what Kasavin proposed and conceptualizes the diversity of the usefulness of science in three key horizons: social, temporal and thematic. In the social dimension, science, on the one hand, really responds to the demands of external consumers of a scientific product; on the other, it acts as a generator of social “critical rationality”, which in turn is assimilated by the same consumers. In the temporal dimension, only science, based on its theories, is able to formulate useful forecasts and

predictions. Finally, in the thematic dimension, the proper function of the scientific communicative system is carried out, namely, fundamental scientific research in the form of propositional (false/true) knowledge. This three-dimensional space of scientific communication makes it extremely difficult and ambivalent to respond to the question Kasavin posed about the public good of science. After all, a positive meaning in the thematic horizon (say, the self-valuable and autonomously rational interest of scientists, for example, to the structure of the atom) can turn out to be high-risk, dangerous and high-cost in the social dimension, which means that it acquires a negative meaning in it.

References

1. Maier, H. (2007) *Gemeinschaftsforschung: Bevollmächtigte und der Wissenstransfer die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus*. Göttingen: Wallstein.
2. Saprykin, D.L. (2013) The “Golden Age” of Russian Science and Technology and the “Classical” Approach of Engineering Education. *Voprosy istorii estestvoznaniya i tekhniki – Studies in the History of Science and Technology*. 34(1). pp. 28–66. (In Russian).
3. Luhmann, N. (2017) Evolution of Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 52(2). pp. 215–233. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201752240
4. Antonovski, A.Yu. (2020) The crisis of collegiality in a scientific organization and the science policy. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(3). pp. 6–22. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202057335
5. Kasavin, I.T. (2017) Norms in Cognition and Cognition of Norms. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(54). pp. 8–19. (In Russian).

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/60/21

Е.В. Вострикова

ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО: ДВА ПРИМЕРА ИЗ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Подготовлено при поддержке РНФ, проект № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

Основной фокус внимания обращен к вопросу о гуманистическом вкладе науки в общественное развитие. Ставится вопрос о возможности ощутимой пользы для общества от гуманитарных наук. В качестве примера рассматриваются языкознание и два конкретных случая, когда лингвистическое знание способствует преодолению бытующих в обществе заблуждений и связанных с ними пагубных социальных практик. Главным выводом является указание на то, что сам факт наличия объективного научного знания, способного обеспечить общественное развитие в сферах, непосредственно не связанных с той или иной наукой, не достаточен.

Ключевые слова: гуманитарные науки, общество, знание, общественное благо, развитие.

И.Т. Касавин в своей статье актуализирует вопрос о гуманистическом вкладе науки в общественное развитие¹. В данной связи он ставит вопросы о том, в какой мере наука является благом для всего остального общества и в чем природа этого блага. Можно согласиться с тезисом И.Т. Касавина о том, что главным гуманитарным предназначением науки является производство знания, которое обладает самостоятельной ценностью. И.Т. Касавин говорит также об экономическом благе и утилитарной ценности науки и основанной на ней технике. Здесь, по-видимому, речь, прежде всего, идет о технических и биологических науках.

Из социальной философии науки известны примеры того, как научные результаты, полученные в лаборатории, не просто приносят обществу осязаемую пользу, но и трансформируют мировоззрения общества, привнося в него новых акторов и новые параметры. Одним из таких ярких примеров, по-видимому, является обсуждение Б. Латуром работы Л. Пастера, который сделал микробов и борьбу с ними важной темой на повестке дня всего общества [3]. Однако в какой мере можно говорить об аналогичном вкладе гуманитарных наук?

В рамках данной реплики хотелось бы на конкретных примерах обозначить тот аспект гуманистического вклада науки в общественное развитие, который связан, прежде всего, с гуманитарными науками. Речь идет об их роли в разрешении социальных противоречий и заложении научного фундамента в выбор направлений для устойчивого общественного развития. Предметом обсуждения данной статьи станут два case-study, демонстрирующие, как ученые-лингвисты, распространяя современное представление о природе

¹ См. также другие работы И.Т. Касавина на эту тему [1, 2].

языка за пределами академической среды, служат цели преодоления расовых и культурных предрассудков, основанных на ненаучном понимании языка, и более справедливого распределения общественных благ.

Первым примером является деятельность профессора лингвистики Стэнфордского университета Джона Рикфорда, который посвятил значительную часть своей научной карьеры исследованию и описанию грамматических свойств афроамериканского английского языка [4], а также популяризации точки зрения подавляющего большинства современных лингвистов о том, что это полноценный диалект английского языка. Этой точке противостоит распространенная в обыденном сознании и на сегодняшний день идея о том, что афроамериканский английский – это ломаная и искаженная версия английского языка, лишенная собственной грамматики. Рикфорд рассматривает конкретные случаи, когда такого рода ненаучное представление о данном диалекте лишало его носителей права на справедливое судебное разбирательство и существенно ограничивало их право на получение образования.

В одной из своих публикаций (в соавторстве с коллегой Ш. Кинг) [5] и серии публичных лекций [6] Дж. Рикфорд обсуждает случай суда над Джорджем Циммерманом – американским патрульным – добровольцем смешанного происхождения, обвиняемым в убийстве чернокожего подростка Трэйвона Мартина (17 лет на момент убийства). Судом присяжных Циммерман был признан невиновным, а его действия квалифицированы как необходимая самооборона. Данное судебное разбирательство получило огромный общественный резонанс, реакцией на него стало создание движения «Жизни черных важны», получившее общемировую известность из-за массовых протестов и беспорядков летом 2020 г. Ключевым свидетелем обвинения на данном процессе была Рэйчел Джантель – подруга убитого, которая находилась с ним на связи по телефону до столкновения с Циммерманом и во время него. Согласно показаниям Джантель, Трэйвон рассказывал ей в телефонной беседе о том, что он видит странного человека, который, не говоря ни слова, начал его преследовать, а затем она услышала, как Трэйвон кричал: «Слезь, слезь!». И напротив, согласно показаниям оправданного патрульного, Трэйвон сам набросился на него и тем самым вынудил использовать пистолет для самозащиты. Несмотря на то, что Джантель была ключевым свидетелем, ее показания вообще не упоминались в обсуждении приговора и не оказали никакого влияния на вынесенное решение.

Дж. Рикфорд разбирает причины того, что показания Джантель были полностью проигнорированы, и показывает, что существенную роль в этом сыграло предубеждение против диалекта, на котором она говорила. Джантель давала показания в суде на языке, которым она владела, – афроамериканском английском. Одна из судей в интервью открыто заявила о том, что Джантель не владеет английским языком на должном уровне, ее речь изобилует непристойностями, а значит, ее показания не заслуживают доверия. В своей речи Джантель процитировала ругательства Трэйвона, что вызвало волну возмущения в суде и медиа и помогло разрешить судебное дело в пользу патрульного. Судьи прямо говорили о том, что они не понимают ее речь, а значит, ее показания не должны играть роль в принятии решения. В коллегии присяжных не было ни одного судьи, владеющего данным диалектом, судьи не запросили повторного прослушивания или транскрипции записей.

Дж. Рикфорд проводит анализ фонетических и синтаксических особенностей речи Джантель и убедительно показывает, что она является типичным носителем своего диалекта. Рикфорд также иллюстрирует некоторые ключевые особенности данного диалекта, отличающие его от стандартного американского. Главной идеей здесь является тезис о том, что диалект не представляет собой искаженной версии стандартного языка, а является отдельным (хотя и близким) языком собственной системой грамматических правил. Типичной особенностью такого языка является опущение глагола-связки «быть», использование двойного отрицания («I ain't hear nothin'»), использование вспомогательного глагола «bin» для обозначения прошлого («I bin knew») и т.д. Данные правила не являются по своей природе какими-то правилами второго сорта, в действительности многие из них реализованы в других языках мира, на которых нет стигмы недоразвитости. Так, в русском языке также опускается глагол-связка «быть» («Я – студентка»). В русском также есть правило двойного отрицания, когда отрицательное слово употребляется одновременно с отрицанием («Я ничего не слышала»). Рикфорд также приводит примеры экспериментальных исследований [7], показывающих, что носители афроамериканского диалекта расшифровывают речь других носителей этого диалекта со стопроцентной точностью, чем не могут похвастаться носители стандартного американского языка.

Дж. Рикфорд приводит примеры и других судебных разбирательств, которые столкнулись со сложностями, вызванными таким отношением к непривileгированным диалектам. Рикфорд предлагает научно обоснованное решение данной проблемы: в таких случаях должны быть привлечены либо переводчики, либо лингвисты, работающие над данным языком, транскрипции показаний должны проверяться носителями языка и должны предоставляться судьям.

Здесь следует отдавать себе отчет, что есть и многие другие сферы, в которых предрассудки относительно какого-то диалекта или языка и непонимание того, что это отдельный диалект, лежат в основе несправедливого распределения благ. Например, исследование [8] об успехах студентов в школе показывает, что афроамериканские школьники гораздо менее успешно осваивают школьную программу английского. Однако если их обучение стандартному английскому строится с учетом того, что они говорят на другом диалекте, то за очень короткий срок различие в успехах детей, которые говорят на стандартном английском, и детей, которые являются носителями афроамериканского диалекта, сводится к минимуму. Все это фиксирует наглядную проблему, связанную с неспособностью общества признать значимость тех языковых различий, которые существуют среди его членов.

Другим ученым, которого здесь также хотелось бы упомянуть, является профессор лингвистики Массачусетского технологического института Мишель ДеГрафф. Он является специалистом по гаитянскому креольскому языку и занимается активной общественной деятельностью на Гаити.

Республика Гаити является бывшей колонией Франции, получившей свою независимость существенно раньше других колоний – в 1804 г. Как другие бывшие колонии, Гаити продолжает поддерживать с Францией культурные связи, относясь к франкофонному миру. Французский язык, которым владеет 10% населения и который является родным лишь для 3%, является на

Гаити государственным языком наряду с гаитянским креольским языком, которым владеют все жители и который официально считается единственным общим языком всех гаитян [9]. Поскольку Гаити – одна из беднейших стран мира, вопрос о программах экономического развития и развития образования стоит здесь крайне остро. Интересным является тот факт, что и школьное, и университетское образование на Гаити практически повсеместно осуществляется на французском языке. В той или иной степени французским языком владеют политические и прочие элиты государства, тогда как для подавляющего большинства населения французский является иностранным.

Существует мнение, что гаитянский креольский язык происходит от французского (ибо содержит, например, множество слов, заимствованных из французского языка двухсотлетней давности). Это мнение подпитывает взгляд на гаитянский креольский как «упрощенную» версию французского или попросту «ломанный» французский (подобное отношение, как правило, распространяется и на все креольские языки). В результате возникает стереотип, согласно которому французский язык является некоей исходной основой и поэтому всякий образованный человек должен владеть именно им и, более того, образование в принципе должно осуществляться на французском.

Между тем никаких научных свидетельств зависимости грамматики гаитянского креольского от французского, делающего его диалектом этого языка, нет. Как показывает в серии работ Мишель ДеГрафф, грамматика гаитянского креольского языка является вполне самостоятельной стабильной системой, ничем по своим формальным характеристикам не уступающей грамматикам других естественных языков. Расхожее мнение о происхождении гаитянского креольского от так называемых пиджинов (средств языковой коммуникации, не имеющих стабильной грамматики) не подтверждается никакими документальными свидетельствами (хотя, даже если бы такие свидетельства были, они никак бы не могли изменить того факта, что сегодня гаитянский креольский – это полноценный и самостоятельный язык). В свете этих причин гаитянский креольский и французский языки – это попросту два разных естественных языка, считающиеся иностранными по отношению друг к другу.

В результате этого обстоятельства ситуация с образованием на Гаити оказывается следующей: образование для жителей данного государства оказывается доступным лишь на иностранном для них языке. Этот язык является иностранным как для учеников, так и для преподавателей. Школьники, способные читать и пересказывать тексты, оказываются неспособны предложить простое обсуждение их содержания, а ошибки не только в ответах на те или иные задания, но и в формулировке самих заданий нередко являются прямым следствием недостаточного владения учениками и педагогами языком обучения, т.е. французским [10].

Между тем экспериментальные исследования подтверждают ту интуитивно понятную истину, что изучение предметов школьного и университетского курса на родном языке является более эффективным, чем их изучение на иностранном. Деятельность Мишеля ДеГраффа и его единомышленников привела к разработке методик преподавания предметов на гаитянском креольском, и появившаяся в 1990-е гг. школа на острове Гонав очень быстро доказала свою эффективность, наглядно показав, что заблуждения относительно необходимости образования на французском языке лишило целые по-

коления гаитян, не владевших французским и не имевших возможности его эффективно освоить, возможности получить даже базовое образование [10].

При этом упомянутые стереотипы в области образования сохраняются не только среди рядовых гаитян и их элит, но и среди международных акторов. Два последних президента Франции продолжали высказываться в поддержку французских образовательных программ на Гаити [11]. Их провозглашаемая цель – ускорение интеграции Гаити во франкоязычный мир и его экономическое пространство. Однако эти методы, как показывает ДеГрафф, контрпродуктивны. Обучение французскому должно осуществляться либо в качестве иностранного, либо посредством существующих методик погружения в языковую среду. Однако преподавание предметов на французском языке в классах, где ни педагоги, ни ученики не являются его носителями, не является ни тем, ни другим.

Образовательные программы на Гаити, равно как и задачи нормализации коммуникации между носителями разных диалектов английского в США, оказываются теми случаями, когда общество может получать прямую пользу от научного лингвистического знания в сфере юриспруденции, образования и экономики. Однако донесение этого знания до общества и, тем более, превращение его в жизнь становятся отдельной задачей, не решаемой автоматически в силу самого факта объективности и обоснованности этого знания, а требующий отдельных усилий в рамках политического, культурного и общественного активизма. И Джон Рикфорд, и Мишель ДеГрафф систематически выступают с открытыми лекциями, встречаются с политиками, организуют сборы средств и создают платформы для донесения пропагандируемого научного знания до тех, кто может его использовать наиболее эффективно в различных сферах жизни общества.

Когда И.Т. Касавин ставит вопрос науке как о моральном благе, он говорит о поиске истины как призвании ученого. В этой связи И.Т. Касавин указывает на вынужденное одиночество ученого, его отчужденность от общества. Однако, как показывают рассмотренные здесь примеры, есть случаи, когда открытия истины недостаточно, когда наука может оказать неутилитарное, но благотворное влияние на общество только при условии, что ученый выйдет из своей башни из слоновой кости и займется социальными преобразованиями¹. Рассмотренные здесь примеры, помимо прочего, демонстрируют и то, что полезность научного знания для общества не возникает автоматически, а оказывается результатом приложения совершенно отдельных усилий и задействования иных компетенций, чем те, которые требуются для научного исследования.

Литература

1. Касавин И.Т. Нормы в познании и познание норм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54, № 4. С. 8–19.
2. Kasavin I.T. Science and Public Good: Max Weber's Ethical Implications // Social Epistemology. 2020. Vol. 34, № 2. P. 184–196.
3. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос. 2006. № 5–6 (35). С. 1–32.

¹ Данный вопрос не является тривиальным в силу возникающего здесь парадокса Мертона–Поппера, который можно охарактеризовать как «несовместимость двух противоположных притязаний: с одной стороны, быть лучшим наблюдателем или институтом познания, а с другой стороны, предлагать лучшие образцы (ценности, нормы) социального согласия и общественного устройства» [12. С. 18].

4. Rickford J.R., Rickford R.J. Spoken Soul. The Story of Black English. John Wiley & Sons, 2000. 268 p.
5. Rickford J.R., King S. Language and Linguistics on Trial: Hearing Rachel Jeantel (and Other Vernacular Speakers) in the Courtroom and Beyond // *Language*. 2016. Vol. 4 (92). P. 948–988. DOI: 10.1353/lan.2016.0078
6. Rickford J. Justice for Jeantel (and Trayvon): Fighting Dialect Prejudice in Courtrooms and Beyond. Freeman Lecture at the linguistics department of UMass Amherst, Friday, Feb. 17, 2017. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VMJwohMXACk&t=4632s>. (accessed: 20 January 2021).
7. Jones T., Kalbfeld J.R., Clark R. Testifying While Black: An Experimental Study of Court Reporter Accuracy in Transcription of African American English // *Language*. 2019. Vol. 2 (95). P. e216–e252. DOI: 10.1353/lan.2019.0042
8. Labov W. Spotlight on Reading: An Approach to Raising Reading Levels for African American Students in Low Income Schools. Paper Presented at Voices for African American Students Meeting of Educators, Los Angeles Unified School District, Los Angeles, California, 2006.
9. DeGraff M. The Politics of Education in Post-Colonies: Kreyòl in Haiti as a Case Study of Language as Technology for Power and Liberation // *Journal of Postcolonial Linguistics*. 2020. № 3. P. 89–125.
10. DeGraff M. Demystifying Creolization, Decolonizing Creole Studies // *Different Spaces, Different Voices: A Rendevous with Decoloniality* / ed. by S. Dey. 2019. URL: http://lingphil.scripts.mit.edu/papers/degraff/DeGraff_MIT_Lx_20190409_Demistifying_Creolization_Decolonizing_Creole_Studies.pdf (accessed: 20 January 2021)
11. DeGraff M. Against Apartheid in Education and in Linguistics: The Case of Haitian Creole in Neo-colonial Haiti. Foreword // *Decolonizing Foreign Language Education: The Misteaching of English and Other Colonial Languages*, ix – xxxi / ed. by D. Macedo. New York : Routledge, 2019. URL: http://lingphil.scripts.mit.edu/papers/degraff/DeGraff_2019_Against_Apartheid_in_Haiti.pdf (accessed: 17 June 2020).
12. Антоновский А.Ю., Бараш П.Э. Коммуникативная философия радикального протеста. Генезис радикализма и позитивная программа его исследований // *Вопросы философии*. 2018. № 9. С. 27–38.

Ekaterina V. Vostrikova, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).

E-mail: vostrikova@iph.ras.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 236–242.

DOI: 10.17223/1998863X/60/21

KNOWLEDGE IN THE HUMANITIES AND THE PUBLIC GOOD: TWO EXAMPLES FROM LINGUISTICS

Keywords: the humanities; society; knowledge; public good.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

This article concerns the problem of science as a public good and the contribution of science to social development. Specifically, it focuses on the possible social benefits of the humanities and social sciences. The article discusses two specific cases from linguistics, in which linguistic knowledge can help to overcome prejudice in society and the harmful social practices associated with it. The discussed cases concern the fight against language prejudices in jurisprudence and judicial practice, and the development of educational programs. The discovery of the truth and objective scientific knowledge potentially beneficial for social development in a certain area are not sufficient for ensuring that this development happens. The popularization of this knowledge in society and demonstration of its use in solving specific problems in the areas external for science turn out to be a separate issue that requires political and social activism and related competencies.

References

1. Kasavin, I.T. (2017) Norms in Cognition and Cognition of Norms. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(54). pp. 8–19. (In Russian).
2. Kasavin, I.T. (2020) Science and Public Good: Max Weber’s Ethical Implications. *Social Epistemology*. 34(2). pp. 184–196.

3. Latour, B. (2006) Dayte mne laboratoriyu, i ya perevernu mir [Give Me a Lab, and I Will Raise the World]. *Logos*. 5–6 (35). pp. 1–32.
4. Rickford, J.R. & Rickford, R.J. (2000) *Spoken Soul. The Story of Black English*. John Wiley & Sons.
5. Rickford, J.R. and King, S. (2016) Language and Linguistics on Trial: Hearing Rachel Jeantel (and Other Vernacular Speakers) in the Courtroom and Beyond. *Language*. 4(92). pp. 948–988. DOI: 10.1353/lan.2016.0078
6. Rickford, J. (2017) *Justice for Jeantel (and Trayvon): Fighting Dialect Prejudice in Courtrooms and Beyond*. Freeman Lecture at the linguistics department of UMass Amherst. Friday, February 17, 2017. [Online] Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=VMJwohMXACK&t=4632s> (Accessed: 20th January 2021).
7. Jones, T., Kalbfeld, J.R. & Clark, R. (2019) Testifying While Black: An Experimental Study of Court Reporter Accuracy in Transcription of African American English. *Language*. 2(95). e216–e252. DOI: 10.1353/lan.2019.0042
8. Labov, W. (2006) *Spotlight on Reading: An Approach to Raising Reading Levels for African American Students in Low Income Schools*. Paper Presented at Voices for African American Students Meeting of Educators, Los Angeles Unified School District, Los Angeles, California.
9. DeGraff, M. (2020) The Politics of Education in Post-colonies: Kreyòl in Haiti as a Case Study of Language as Technology for Power and Liberation. *Journal of Postcolonial Linguistics*. 3. pp. 89–125.
10. DeGraff, M. (2019) Demystifying Creolization, decolonizing Creole Studies. In: Dey, S. (ed.) *Different Spaces, Different Voices: A Rendezvous with Decoloniality*. [Online] Available from: http://lingphil.scripts.mit.edu/papers/degraff/DeGraff_MIT_Lx_20190409_Demistifying_Creolization_Decolonizing_Creole_Studies.pdf (Accessed: 20th January 2021).
11. DeGraff, M. (2019) Against Apartheid in Education and in Linguistics: The Case of Haitian Creole in Neo-colonial Haiti. Foreword. In: Macedo, D. (ed.) *Decolonizing Foreign Language Education: The Misteaching of English and Other Colonial Languages*, ix – xxxi. New York: Routledge. [Online] Available from: http://lingphil.scripts.mit.edu/papers/degraff/DeGraff_2019_Against_Apartheid_in_Haiti.pdf (Accessed: 17th June 2020).
12. Antonovski, A.Yu. & Barash, R.E. (2018) Kommunikativnaya filosofiya radikal'nogo protesta. Genezis radikalizma i pozitivnaya programma ego issledovaniy [The Communicative Philosophy of Radical Protest, its Genesis and Positive Research Program]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 27–38.

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/60/22

Е.В. Масланов

МИССИЯ УЧЕНОГО КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание» в Русском обществе истории и философии науки.

Публикация представляет собой реплику в рамках дискуссии по статье И.Т. Касавина «Наука как общественное благо». Обосновывается возможность формирования новой миссии ученых как нового подхода к гуманизму. В рамках развития техногенной цивилизации возможно формирование совместной миссии ученых, философов и социальных ученых. Она будет направлена на формирование нового отношения к человеку, который теперь оказывается включен в мир на равных с нечеловеческими акторами. Ключевые слова: наука, миссия ученых, техногенная цивилизация, гуманистический проект, нечеловеческие акторы.

В своей статье Илья Теодорович Касавин отмечает, что рассмотрение науки как общественного блага требует прояснение статуса науки как когнитивной, политэкономической и моральной ценности. Когнитивная ценность науки заключается в производстве знания, которое в современном мире не только гарантирует «господство» над природой, но и занимается критикой самого этого «господства», механизмов производства «знания», больших нарративов. В моральном смысле наука как ценность требует самоотречения и представляется рискованным способом реализации собственного призвания. В рамках политэкономии наука обладает ценностью не только как производитель инноваций, но и как инструмент отделения знающих от не знающих. При этом обществу необходимо давать ученым большой кредит доверия. Ведь научное исследование – это инвестиция с большим уровнем риска, никогда не ясно, увенчается ли научное исследование успехом или полным провалом, можно ли будет использовать его результаты для улучшения жизни индивида и общества. В итоге наука может быть обозначена как гуманистический проект, направленный на формирование исторического и критического мышления о человеке, мире, о самой науке. Но все ли черты этого нового гуманистического проекта науки были отмечены И.Т. Касавиным?

Предлагаемый анализ науки ставит вопрос о миссии ученого в этом новом сложном мире, который и сформировался благодаря современному научному знанию. В этом мире больше нет больших нарративов, в которые можно верить безоглядно. Природа стала восприниматься и как «мастерская», и как место нашей общей жизни. Человек стал не только «мерой всех вещей», но и продуктом окружающей социальной реальности, конструирования в рамках социальных практик. Наука же превратилась не только в практику по поиску истины или производству нового полезного знания. Она стала преобразовывать мир. Все эти изменения требуют ответа на целое множество вопросов. Может ли ученый рассматриваться как интеллектual, вызывающий к разуму

своих сограждан и показывающий им странности в существующем социальном порядке? Должен ли он выступать как искатель истины, собирающий ее по крупицам и потом из них возводящим величественное здание науки, или стремится к решению утилитарных задач? Способен ли он стать «просвещенным» бюрократом на основе разума и критики современности создающим новые социальные практики?

Разрушение нарративов, формирование нового понимания природы, рост значимости науки привели нас в новый мир, который разительно отличается от старого. В этом новом мире у нас уже нет никакой «наивной» веры в разум и рациональность, которые могут благоустроить его. Мы знаем, что они могут привести не только к улучшению жизни людей, но и сформировать политические режимы, стремящиеся к их уничтожению. Разум же может, если и не оправдать, то точно не препятствовать реализации подобных сценариев [1]. Научно-технологические решения и научно сконструированные социальные реформы, призванные улучшить жизнь человека, могут привести к печальным последствиям – разрушенным экосистемам, социальным кризисам, техногенным катастрофам [2]. В подобном мире ученые оказываются не только группой, которая занимается исследованием нового мира, они не только продвигают фронт. Они во многом ответственны за то, что в этом мире происходит. К этому положению дел привела, в том числе, и реализация гуманистического проекта. Именно поэтому вопрос о науке как новом гуманистическом проекте, как отмечает в своей статье И.Т. Касавин, связан с вопросом о том, насколько наука может соответствовать ценностям гуманизма, а гуманизм согласуется с современной наукой, какое место занимает человек в мире.

Начиная с эпохи Возрождения, когда и сформировалась концепция гуманизма, человек занял особое положение в мире. Конечно же, для философов Возрождения он не во всем был подобен Богу, но как минимум он стал способен в своих художественных произведениях подражать ему. К примеру, «специфика возрожденческого индивидуализма в эстетике, – пишет А.Ф. Лосев, – заключалась в а) стихийном самоутверждении человека, б) мыслящего и действующего артистически и в) понимающего окружающую его природную и историческую среду не субстанциально (чего он должен был бы бояться), но самодовлеюще-созерцательно (чем он мог только наслаждаться и чему мог только мастерски подражать)» [3. С. 609]. Развитие этого проекта с неизбежностью приводило к утверждению о том, что теперь человек сможет не только копировать, но и преображать мир. Во многом именно ученый и стал воплощением этого идеала – он не только изучал мир, но стал создавать новые технологии и вещи, т.е. изменять мир. Природа для него приобрела совершенно новые характеристики. Теперь это не упорядоченный гармоничный космос, связанный с фюсис Античности. Она становится внешним объектом, который может быть познан разумом на основе взаимодействия с этим объектом [4]. Она испытывается в эксперименте и подчиняется человеку и его разуму. В этом преобразовании как раз и проявляется творческая сила человека.

Мы привыкли к тому, что гуманистический проект всегда связан с человеком, его переживаниями и чаяниями, его отношением к миру и окружающей действительности. При этом именно окружающей действительности, всему, кроме собственно человека, отводится второстепенная роль. Человек

своим разумом может преобразовать мир, мир же пассивно воспринимает эти действия и подчиняется ему. Иногда он сопротивляется, но человеческий разум всегда может постараться побороть это сопротивление. Однако новый гуманистический проект и новая миссия ученых могут заключаться в разрушении этих представлений и формировании нового гуманистического идеала, связанного с иным способом описания мира.

Примером подобного проекта может стать новое отношение к природе и вещам, животным и предметам как к равным участникам сообщества, включающего в себя людей и не-людей. Хрестоматийные примеры описания подобной ситуации – взаимодействие ученых, морских гребешков, бюрократов и рыбаков, которое было предпринято М. Каллоном, или описание процесса «изобретения» микробов, проделанное Б. Латуром. Они отмечают, что, в случае реализации подобных проектов, иногда нельзя определить, кто сделал больше для их успеха или неудачи, кто сильнее повлиял на разработку научных и технических решений. Все участники подобных взаимодействий занимают в них активную позицию и не всегда соглашаются взаимодействовать так, чтобы результаты их действий устраивали других. В этом случае как раз становится необходимым выстраивание новых стратегий достижения согласия между этими разнообразными человеческими и нечеловеческими акторами.

Именно решение задачи по налаживанию коммуникации между различными группами акторов и может стать новой миссией ученых. В этом случае им приходится формировать новые пространства понимания. Конечно же, ученые уже давно реализуют подобные практики в своих исследованиях в лабораториях и исследовательских центрах. Ведь без этого они вряд ли бы смогли получать научные и технические результаты. Они уже давно выводят эти практики за пределы лабораторий и формируют новые островки реальности, создавая сложные технологические решения, которые включают в себя большое количество научных знаний, специфических научно-технологических решений и практик социального конструирования. Но ученые могут вывести эти практики за пределы лабораторий и в совершенно ином смысле – формировать новый взгляд на мир как пространство общего взаимодействия между людьми и не-людьми.

Решение этой задачи требует комплексного подхода, ведь теперь ученым придется столкнуться не только с привычным «сопротивлением» нечеловеческих акторов, но и с непониманием различных групп ученых, в том числе обусловленным и трансформацией коммуникативной структуры науки [5]. Они столкнутся с сопротивлением групп, с которыми они давно привыкли работать в рамках технауки – бизнесменами и бюрократами-администраторами, инженерами и сотрудниками промышленных предприятий. Они столкнутся с непониманием граждан, напрямую с наукой не связанных, которые в рамках современной техногенной цивилизации все больше вовлечены в проекты, базирующиеся на использовании научного знания. В этом случае становится необходимым формировать новые пространства коммуникации между учеными, отдельными группами неученых и нечеловеческими акторами. В них должно проходить не столько вовлечение в высокотехнологичные проекты. Это в любом случае происходит, так как без этого было бы невозможно развитие техногенной цивилизации. Целью новых пространств становится налаживание взаимодействия между всеми человеческими и нечелове-

ческими акторами, раскрытие возможных способов учета интересов различных групп. Решить эту задачу можно используя навыки философов, специалистов в области науки и техники, которые могут сформировать пространства взаимопонимания, наладить процессы гуманитарной экспертизы. Это как раз одна из тех задач науки как гуманистического проекта, на которую обращает внимание И.Т. Касавин, – формирование мировоззренческого бэкграунда современного человека.

В результате новая миссия ученых, объединившихся с философами и социальными учеными, может быть обозначена как формирование нового пространства «осмысления» и «конструирования» мира. В современном мире подлинный гуманизм – это не только «приведение человека в сознание», как отмечает И.Т. Касавин, но и формирование нового проекта гуманизма, в котором люди и не-люди по-новому включены в общие связи и отношения. Метафорически эту миссию можно обозначить как создание нового мира на основе собственной воли и представления человека и не-людей, которых смогут репрезентировать ученые. В этом случае наука способна стать и новым гуманистическим проектом, направленным на формирование нового отношения к человеку, который теперь включен в мир на равных с другими нечеловеческими акторами. Теперь благодаря своему разуму он не столько покоряет Природу, сколько вместе с не-людьми «обживает» ее, формируя новые утопии. Одной из таких утопий как раз и является утопия науки как общественного блага.

Литература

1. *Arendt H.* Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. New York : Penguin Books, 1963. 312 p.
2. *Касавин И.Т.* Нормы в познании и познание норм // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 54, № 4. С. 8–19. DOI: 10.5840/eps201754461
3. *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. М. : Мысль, 1978. 623 с.
4. *Ахутин А.В.* Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»). М. : Наука, 1988. 208 с.
5. *Антоновский А.Ю.* Кризис коллегиальности в научной организации и научная политика // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 3. С. 6–22. DOI: 10.5840/eps202057335

Evgeniy V. Maslanov, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).

E-mail: evgenmas@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 243–247.

DOI: 10.17223/1998863X/60/22

THE MISSION OF A SCIENTIST AS WILL AND REPRESENTATION

Keywords: science; mission of scientists; technogenic civilization; humanistic project; non-human actors.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

This article is a part of the discussion of Ilya Kasavin’s article “Science: A Public Good and a Humanistic Project”. The author agrees with Kasavin’s opinion on the importance of forming a new approach to humanism and considering science as a humanistic project. The author substantiates the possibility of forming a new mission of scientists as the formation of a new approach to humanism. In a world, in which confidence in large narratives has been lost, various strategies for the production of knowledge are criticized, and the mind can justify inhuman actions, the question arises about the specific mission of scientists and science as a humanistic project. The humanistic project was formed

during the Renaissance. In this project, the human occupies a central position in the world. With the power of reason, s/he can transform the world. Science relies on the same assumption. In the new conditions of a technogenic civilization, it is necessary to form a new humanistic project. It can be based on the joint mission of scientists, philosophers and sociologists. Within the framework of the technogenic civilization, non-human actors have a huge impact on the realization of projects. Therefore, the mission will be aimed at forming a new attitude towards the human who is now included in the world on an equal footing with non-human actors. In this case, a new humanistic project can be associated with the formation of a new approach to the construction and understanding of the place of the human in the world and the processes of forming new knowledge. Science is such a humanistic project. Constructing a world shared by humans and non-human actors through will and representation is the new mission of scientists.

References

1. Arendt, H. (1963) *Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books.
2. Kasavin, I.T. (2017) Norms in Cognition and Cognition of Norms. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(54). pp. 8–19. (In Russian).
3. Losev, A.F. (1978) *Estetika Vozrozhdeniya* [Renaissance Aesthetics]. Moscow: Mysl'.
4. Akhutin, A.V. (1988) *Ponyatiye "priroda" v antichnosti i v Novoye vremya ("fysis" i "natura")* [The Concept of "Nature" in Antiquity and in Modern Times ("fysis" and "nature")]. Moscow: Nauka.
5. Antonovski, A.Yu. (2020) The crisis of collegiality in a scientific organization and the science policy. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(3). pp. 6–22. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202057335

УДК 001.3

DOI: 10.17223/1998863X/60/23

О.Е. Столярова

НАУКА И ИДЕАЛЫ ГУМАНИЗМА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ,
проект № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире:
наука как профессия и призвание».

Обсуждается поставленный И.Т. Касавиным вопрос о соответствии ценностей научного познания и идеалов гуманизма. Показано, что в эпоху Просвещения идея науки и идея гуманизма определяются друг через друга и тесно связаны с трактовкой прогресса как поступательного движения к познавательному единству и социальному согласию. Анализируются условия возможности предлагаемой И.Т. Касавиным трактовки когнитивного многообразия как общественного блага. Показано, что при пошатнувшейся в эпоху постмодерна вере в прогресс ценности научного познания и гуманизма сохраняют взаимосвязь и общественную значимость, хотя и претерпевают трансформацию, которая заключается в смещении акцента с результатов познания на процесс познания.

Ключевые слова: наука, познание, гуманизм, общественное благо, прогресс, когнитивное многообразие.

И.Т. Касавин рассуждает о науке как общественном благе в четырех аспектах – когнитивном, политико-экономическом, моральном и гуманистическом. В каждом из этих четырех аспектов «общественное», как и «благо», обнаруживает разные смыслы и оттенки смыслов¹. Каждый из этих аспектов при желании можно абсолютизировать, подчинив ему остальные. История мысли дает нам немало примеров редукции культуры к одной из ее составляющих – познавательной, этической, телесно-практической и т.п. В тексте И.Т. Касавина на роль приоритетного может претендовать гуманистический аспект, поскольку и когнитивное, и политико-экономическое, и моральное измерения синтезированы в человеке. В таком случае, и в этом, по-видимому, состоит основной пафос размышлений И.Т. Касавина, методология и теоретические результаты науки, этика науки, инженерный потенциал науки должны быть обращены к высшей цели – становлению человека как осознающего себя коллективного и исторического существа. Но как обосновывается ценность этого совокупного человека, или человечества, и как, соответственно, обосновывается абсолютная значимость концепции гуманизма, подчиняющего себе все прочие проявления научной теории и практики? И.Т. Касавин задает похожий вопрос: «Как и насколько наука в состоянии соответствовать ценностям гуманизма, а сам гуманизм согласуется с пафосом научного поиска?». Попытаемся ответить на эти вопросы.

Термин «гуманизм» становится общепринятым относительно поздно, в XIX в., но идеи, которые впоследствии были объединены под именем *гуманизма*, формируются раньше – в эпоху Возрождения и Новое время и восхо-

¹ См. недавнюю дискуссию о науке как общественном благе: [1–3].

дят к латинскому понятию *humanitas*, обозначающему человеческую сущность, культуру и добродетели. В отличие от религиозной, традиционной и корпоративной средневековой культуры светская культура Нового времени утверждает независимость индивида от традиций и авторитетов и объявляет сущностной характеристикой человека и наивысшей ценностью культуры способность индивида руководствоваться естественным разумом, быть самому себе судьей. Наиболее яркое выражение эти идеи получили в эпоху Просвещения. В этот период в основном сложился комплекс идей, который мы относим к концепции и мировоззрению (светского) гуманизма. Просвещение связало автономию человека, его освобождение от власти религии и традиции с продвижением наук и социальным прогрессом. Человек свободный и действующий на основании принципов разума, способный максимально эффективно организовать собственные теоретические и практические усилия, взять под контроль природные и социальные стихии и построить справедливый мир, т.е. мир без неравенства и насилия, – вот идеал Просвещения.

Научное познание и гуманизм оказываются сопряженными, как две стороны одной медали, они определяются друг через друга. Ценность научного познания состоит в том, что наука воплощает действующий и преобразующий действительность разум. Ценность гуманизма заключается в реализации естественной способности субъекта свободно мыслить и правильно действовать. Знаменитая французская *Энциклопедия* (1751–1780) стала проводником этих идей и концепций. Обратимся к «Предварительному рассуждению издателей», написанному Д'Аламбером, которое открывает первый том *Энциклопедии*. В этом «Рассуждении» сформулированы основные принципы просветительской концепции науки. Начиная с ощущения, переходя к систематическому наблюдению, обобщая наблюдения математически и, наконец, наделяя математические конструкции конкретными свойствами природных вещей, человек достигает знания о закономерностях отношений наблюдаемых тел друг к другу: «Познание или открытие этих отношений является почти всегда единственной задачей, которую мы могли бы выполнить и, следовательно, единственной, которую мы должны были бы себе поставить» [4. С. 66]. Задача науки, подчеркивает Д'Аламбер, состоит не в том, чтобы умножать смутные и неопределенные гипотезы, но в том, чтобы, отсекая все лишнее и привходящее в наших наблюдениях, оставлять только существенное, «по возможности сводить большое количество явлений к одному, которое могло бы рассматриваться как первоначало» [4. С. 66]. Прогресс науки Д'Аламбер связывает не с приобретением разнообразных фактов и сведений, но, напротив, с приведением разнообразия опытных фактов к единству: «Единственное средство... – это, по возможности, более накапливать факты, располагать их в наиболее естественном порядке и сводить их к известному числу главных фактов, для которых остальные были бы только следствиями» [4. С. 66–67]. Прогресс науки заключается в том, чтобы посредством математизации опыта привести факты к единству, отражающему единство и порядок Природы, с одной стороны, и единство человеческого разума, с другой стороны: «Мы замечаем два предела, где... сосредоточены все достоверные знания... Один из этих пределов тот, от которого мы отправились, – это идея нас самих, приводящая к идее всемогущего существа и наших главных обязанностей. Другой – это та часть математики, которая изучает общие свойства тел, протяженности и величины» [4. С. 67–68].

Читая «Предварительное рассуждение», мы можем отчасти ответить на вопрос, поставленный Касавиным: как и насколько согласуются идеи гуманизма и идея науки? В просветительской трактовке, которая в определенном смысле остается парадигматической до сих пор, их непосредственная связь не подлежит сомнению. Достижение единства в описании и объяснении естественных механизмов и законов природы конвертируется в достижение единства когнитивных, социальных и моральных оснований культуры. Консенсус человеческих субъектов по поводу того, как устроен мир, преобразуется в интеллектуальное, социальное и моральное согласие. Взаимное обращение идеи гуманизма и идеи науки выражается термином «научный гуманизм», который близок по смыслу термину «натуралистический гуманизм» [5]. На первый взгляд, парадоксально то, что гуманизм находит главную опору в естественных науках, объектом которых выступает природа, а не в социогуманитарных дисциплинах, которые исследуют специфически человеческие феномены, такие как язык, общественная жизнь, религия, философия, литература, искусство. Но гуманизм ищет единообразия и согласованности Разума, а не причудливого разнообразия, произрастающего из субъективных предвзятостей, частных потребностей, эмоционально окрашенных интересов и экзистенциальных переживаний. Искомое единообразие предоставляет нам наука о природе, точнее, она держит его в поле зрения как точку на горизонте и пункт назначения. Не только ожидаем мы от науки разрешения наших споров об устройстве мироздания. Мы также ожидаем устранения несогласий о самих себе как о существах, хотя и принадлежащих природе, но одновременно способных к познанию природы и контролю над ней.

Однако во времена Д'Аламбера и его младшего современника Фихте, чью работу «О назначении ученого» приводит в пример И.Т. Касавин, достижения науки и техники еще не свидетельствовали так откровенно против себя, еще не ставили так отчетливо под сомнение общественные блага, приобретаемые наукой. Касавин справедливо отмечает, что наука при Фихте «еще не попала в центр общественного внимания». Но в центр философского внимания она уже давно попала, лучшие умы человечества видели в ней метод построения справедливого общества и средство достижения всеобщего консенсуса. В центр общественного внимания наука попадает веком-двумя позже и роль в этом играют не только ее успехи. Растут разочарование в ее результатах, когда они признаются недостаточными, и страх перед ними, когда они слишком впечатляющи и чреваты глубокими общественными трансформациями, которые далеко не всегда желаемы. К концу XX – началу XXI в. наука накопила на своем счету изрядное количество общественных претензий. Но «слишком много» дает наука обществу или «слишком мало», не так уж и важно, поскольку эти характеристики относительны. Важно то, что она больше не дает обещаний привести множественный опыт и множественные субъективные индивидуальные и коллективные точки зрения к единству, которое выражало бы внятный и простой порядок природы, с одной стороны, и порядок общественного устройства – с другой. Об этом говорят не только критически настроенные по отношению к просветительской модели науки философы постмодерна, сами ученые признают такое положение дел. Например, крупный биофизик и молекулярный биолог Роберт Синшаймер еще в 1975 г. писал: «Наука существует в человеческом мышлении, и один

факт, который мы безусловно знаем, и который не мог знать Бэкон, состоит в том, что универсум устроен намного более сложно, чем даже человеческий мозг. Мы великолепно справляемся с нашими абстракциями и обобщениями реальности, но истинная внешняя сложность на самом деле значительно превосходит унаследованную нами вместимость черепной коробки» [6. Р. 26]. Известный ученый говорит о принципиальной неспособности науки привести познаваемый мир к единству, потому что наука имеет дело с такой сложностью, которая превышает возможности Метода. И сегодня, спустя 50 лет, мы не можем не признать: наука не делает мир проще, она показывает его сложность.

И тогда вновь возникает вопрос о том, насколько этот новый пафос науки, который И.Т. Касавин обозначил как «расширение когнитивного многообразия» и «производство когнитивного разнообразия», соответствует идеям и идеалам гуманизма? Можно ли защитить ценность гуманизма, опираясь на когнитивное многообразие? Каковы условия, позволяющие нам трактовать когнитивное многообразие как общественное благо?

И.Т. Касавин предлагает ответ на эти вопросы, исходя из эпистемологической, я бы даже сказала, «кантовской» перспективы. Илья Теодорович отправляется не от научной онтологии, а от общего, критического по отношению к научной рациональности, умонастроения постмодернизма, разочарованного в окончательных истинах. Илья Теодорович подчеркивает, что критическая рефлексия заставляет нас все время выходить за пределы результатов познания, подвергая их пересмотру и лишая нас самоуспокоенности и самоуверенности. С этим трудно не согласиться. Действительно, культурный плюрализм и когнитивное многообразие – это визитные карточки постмодернизма. Кризис репрезентации, который Р. Рорти, определил как разрыв «сделки между „познающим субъектом“ и „реальностью“» [7. С. 7], приводит к умножению репрезентаций, знаков и символов, обладающих равной эпистемической ценностью. Отсутствие строгих эпистемических критериев различения истинных и ложных репрезентаций оборачивается плюрализмом в отношении этических и практических позиций. Постмодернизм быстро совершает этот переход. Так, Рорти настаивает на том, что в эпоху, которая распрощалась с идеалами классической рациональности, индивидуальным и коллективным благом становится стремление к умножению и расширению собственных образов. Если раньше человек стремился к самоочищению, к тому, чтобы достичь, отбрасывая все случайное, наиболее простой, прозрачной и понятной идентичности, то теперь он желает включить в самописание как можно больше возможностей, желает непрерывно узнавать о себе нечто новое, целиком посвятить себя любопытству, которое невозможно удовлетворить [8. Р. 153]. И.Т. Касавин так же, как и Рорти, настаивает на том, что сегодня вместо окончательных истин или доктрин, мы имеем дело с «бесконечным поиском самих себя». При этом Илья Теодорович, если я его правильно поняла, сохраняет традиционное противопоставление утилитарного, практически полезного знания и теоретического знания, которое не связано пользой, но принадлежит собственной свободе и из нее исходит. С точки зрения И.Т. Касавина, постмодернизм демонстрирует такого рода свободу, обративши знание само на себя, причем не ради пропедевтики, которая расчистила бы место для положительного предметного знания, а ради процесса

самопознания познающего субъекта. Неутилитарный характер нового критицизма, определенный И.Т. Касавиным как «фундаментализм с обратным знаком», и служит для Ильи Теодоровича тем мостом, который соединяет целеполагание субъекта (и картезианского *cogito*, и кантовского трансцендентального субъекта) с когнитивным многообразием постмодернизма, превращая это многообразие в общественное благо, а науку – в «гуманистический проект».

Концепция И.Т. Касавина свидетельствует в пользу того, что гуманизм не собирается покидать интеллектуальную сцену, несмотря на пошатнувшуюся веру в прогресс науки и общественной жизни. Популярные сегодня дискуссии о пост- и трансгуманизме – это тоже своего рода показатель востребованности гуманистических идей. То, что происходит сегодня в философии человека и общества, следует считать не отказом от гуманистического дискурса, а смещением акцентов: ценность результата уступает место ценности процесса познания, который сам для себя становится целью. Этот процесс формирует и историю науки, и историю человечества, которые, по-прежнему, как и в эпоху Просвещения, определяются друг через друга: ценность науки состоит в том, что она позволяет человеку осуществлять поиск самого себя, ценность человека – в стремлении к познанию и пониманию себя как действующего субъекта культуры и истории.

Литература

1. Fuller S. If Science is a Public Good, Why Do Scientists Own It? // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 23–39.
2. Sassower R. The Ubiquity of Public Science // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 62–69.
3. Stehr N. Knowledge as a Public Good and Knowledge as a Commodity // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 40–51.
4. Предварительное рассуждение издателей // Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера / под ред. В.М. Богуславского. М. : Наука, 1994. С. 55–121.
5. Lamont C. The Philosophy of Humanism. Humanist Press, 1997. 371 p.
6. Sinsheimer R.L. Humanism and Science // Engineering and Science. 1975. Vol. 39, № 1. P. 10–27.
7. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 297 с.
8. Rorty R. Freud and Moral Reflection // Essays on Heidegger and others. Philosophical Papers. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. Vol. 2. P. 143–163.

Olga E. Stoliarova, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).

E-mail: olgastoliarova@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 248–253.

DOI: 10.17223/1998863X/60/23

SCIENCE AND THE IDEALS OF HUMANISM

Keywords: science; knowledge; humanism; common good; progress; cognitive diversity.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The author discusses the question Ilya Kasavin formulated about the correspondence of the values of scientific knowledge and the ideals of humanism. She shows that the connection between the values of scientific knowledge and the ideals of humanism was laid during the Enlightenment. The ontological concepts of the unity and order of nature are transferred to the concepts of methodology of knowledge, the knowing subject, and society as a whole. From here follows the interpretation of

progress as a linear movement towards cognitive unity and social harmony, which are recognized as public goods. Science today no longer promises to bring multiple experiences and multiple subjective individual and collective points of view into a unity that expresses the intelligible and simple order of nature, on the one hand, and the order of society, on the other. On the contrary, today's scientists, philosophers, and social theorists say that the further science advances, the more cognitive and social diversity we acquire. The article analyzes the conditions for the possibility of interpreting cognitive diversity as a public good. It is shown that with the belief in progress shaken in the postmodern era, the values of scientific knowledge and humanism retain interconnection and social significance. The transformation that they, nevertheless, undergo, consists in a shift in emphasis from the results of knowledge to the process of knowledge.

References

1. Fuller, S. (2020) If Science is a Public Good, Why Do Scientists Own It? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(4). pp. 23–39. DOI: 10.5840/eps202057454
2. Sassower, R. (2020) The Ubiquity of Public Science. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(4). pp. 62–69. DOI: 10.5840/eps202057457
3. Stehr, N. (2020) Knowledge as a Public Good and Knowledge as a Commodity. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(4). pp. 40–51. DOI: 10.5840/eps202057455
4. Anon. (1994) Predvaritel'noe rassuzhdenie izdateley [Preliminary reasoning of the publishers]. In: Boguslavsky, V.M. (ed.) *Filosofiya v "Entsiklopedii" Didero i Dalamberta* [Philosophy in the Encyclopedia of Diderot and d'Alembert]. Moscow: Nauka. pp. 55–121.
5. Lamont, C. (1997) *The Philosophy of Humanism*. Humanist Press.
6. Sinsheimer, R.L. (1975) Humanism and Science. *Engineering and Science*. 39(1). pp. 10–27.
7. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirror of Nature]. Translated from English. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
8. Rorty, R. (1991) *Essays on Heidegger and Others. Philosophical Papers*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 143–163.

УДК 001.38

DOI: 10.17223/1998863X/60/24

Л.А. Тухватулина

О МОРАЛЬНОМ ГЕРОИЗМЕ И НАУЧНОМ ПРИЗВАНИИ

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

Приводится ряд критических замечаний по поводу тезиса о моральном героизме как основании научного призвания. Автор полагает, что образ ученого, представленный в статье И.Т. Касавина «Наука как общественное благо», скорее соответствует образу философа. Психологистский подход к концептуализации научного призвания едва ли может быть использован при понимании субъектности ученого в современной большой науке. Альтернативу психологистскому подходу предлагает эпистемология добродетелей: здесь мерой соответствия научному призванию становится демонстрация эпистемических добродетелей в ответственном исследовании.

Ключевые слова: научное призвание, субъект, коллаборация, большая наука, экспертиза, моральный героизм, научный этос.

В эпоху «постсовременности», возникшую на обломках модерна, наука как интеллектуальный, социально-экономический и мировоззренческий проект нуждается в переосмыслении своих оснований. В заглавной статье к этой дискуссии Илья Теодорович Касавин стремится переосмыслить понятие научного призвания в свете новых вызовов, с которыми сталкивается наука. В обществе, «где коррупция, авторитаризм, манипуляция, идеологический диктат, недобросовестность, корыстолюбие стали социологически фиксируемой нормой жизни», только «моральный героизм» как *ultima ratio* ученого оставляет возможность для реабилитации мифа о науке. «Моральный героизм» состоит в бескорыстном и самоотверженном служении, которое предполагает готовность к «испытанию общественным безразличием и даже враждебностью к истине», бесконечному дрейфу между знанием и незнанием, рискованности научного поиска.

Именно этот героический образ, по мнению Ильи Теодоровича, отражает величие призвания ученого. Жертва, которую вынужден принести ученый, вовсе не сводится к отказу от мирской славы и почета – на алтарь могут быть положены и иные, казалось бы, незбылемые, ценности: «Человек, избравший путь истины в качестве призвания, преодолевает искушения ее обманчивыми сиюминутными образами – эмпирической достоверностью, логическим доказательством, научным консенсусом, социальным признанием». Как мне кажется, в этом пассаже романтизация образа ученого достигает той точки, где он становится не отличим от образа философа. Ведь именно неконформизм, готовность раз за разом ставить с ног на голову предшествующую традицию и предлагать неожиданные решения классических проблем во многом определяют символический капитал философа. Однако интеллектуальный радикализм, граничащий с эпатажем, и безапелляционность, которые нередко свойственны «кабинетной» философии, вызывают у ученых недоверие.

В этом смысле весьма показательна цитата из эссе российского археолога Л.С. Кляйна: «Философия – это та область знания, в которой человек стремится интуитивно познать наиболее общие и глубокие законы мироздания и мышления – те, для научной проверки которых у него нет средств и которые, по гениальному парадоксу Нильса Бора, столь верны и столь глубоки, что противоположные им законы – тоже верны. Поэтому философией заниматься могут только пустомели и гении. Наука же благодаря своему канону, своим правилам и доказательствам, доступна всем – и гениям, и массам рядовых работников, и, к сожалению, имитаторам» [1. С. 411].

Несмотря на несколько уничижительную оценку, приходится согласиться с тем, что успешность философского поиска в целом в гораздо большей степени определяется личным дарованием исследователя – его интеллектуальной интуицией, последовательным и богатым на ассоциации мышлением, умелым владением языком и иногда артистизмом (если речь идет о публичных интеллектуалах). Но, что важнее, критическая установка к знанию в философии доведена до такого предела, что стремление философа произвести интеллектуальную революцию, едва ли не пересобрав картину мира *ab ovo*, никогда не вызывало подозрения, но, напротив, считалось частью профессионального долга. Мы можем судить об этом по тем персоналиям, без которых не обходится общий курс истории философии и которые, выстроившись в один ряд по ходу семестра, оставляют впечатление, будто бы в философском знании невозможен прогресс, поскольку всякий философ предлагает новые основания для решения классических проблем, а объективных критериев для выбора предпочтительной концепции быть не может. О «персонифицированности» философии говорит и частое обращение к биографии философов в поисках ключа к их наследию, и невозможность коллективного авторства философского текста. Эта особенность философского творчества позволяет ставить вопрос о мотивации и призвании философа, в том числе осмысливая их в категориях морального героизма.

В то же время современная наука явно стала коллективным предприятием. Весьма характерным симптомом изменения являются регулярные дискуссии об основаниях выбора конкретных людей для присуждения нобелевской премии (по правилам, лауреатов не может быть более трех). Отнюдь не всегда является очевидным то, кому принадлежит основной вклад, если речь идет о многолетних исследованиях, в которых были задействованы большие научные группы. Как полагают М. Каллон и Дж. Ло, субъективность и субъектность в современной большой науке перестают иметь определяющее значение: «Отныне невозможно провести границу между людьми и техническими средствами. Как следствие, нельзя сказать, что ученые участвуют в конференциях с целью презентации *их собственных* экспериментальных результатов. Напротив, команда отправляет докладчика для представления ее работы, и вполне возможно, что этот докладчик не имеет никакого отношения к представляемым результатам. Фигурально выражаясь, субъективность, субъектность (*agency*) и ответственность в этих новых формах гетерогенной коллективности, которые изобрела большая наука, оказались разрушены» [2. Р. 178].

Вопрос об авторстве становится одним из важнейших и тогда, когда речь заходит о научных коллаборациях. Здесь «любое решение о распределении

заслуг среди соавторов (которых иногда может быть несколько десятков. – Л.Т.) неизбежно будет формальным, поскольку если соотнести автора с познающим субъектом, то оказывается, что в коллаборационном познании субъект подвижен («мобилен») и имеет непостоянные и трудноопределимые границы» [3. С. 113]. Отсюда проблема авторства требует как постановки фундаментальных вопросов о природе коллективного познания, так и определения сугубо технических критериев наукометрического учета с поправкой на конкретный вклад участников исследования. По-видимому, и понимание научного призвания сквозь призму индивидуальной мотивации участников в случае с большими исследовательскими проектами едва ли возможно. Целеполагание отдельных индивидов может меняться по мере их взаимодействия друг с другом, а граничное стремление к истине может и вовсе не быть мотивационной детерминантой, уступая место любопытству и радости от общения с единомышленниками. И в целом моральный героизм как критерий научного призвания, как мне кажется, предполагает, что ученых можно разделить на избранных «рыцарей истины», чьи имена остаются в истории, и обезличенное большинство, занятое рутинной работой и техническим обеспечением исследования. Последние, следуя такой трактовке, могут и вовсе оказаться лишены призвания. А значит, определение призвания в терминах морального героизма приводит к искаженному представлению о науке и искусственной дифференциации ученых по степени их соответствия эталону героя. При этом ученые, уверовавшие в собственную избранность, на деле нередко оказываются шарлатанами.

Нельзя не отметить и то, что уровень развития знания и технических средств, которыми обладает наука, примерно к середине XX в. достиг той точки, когда оказалось необходимым этическое самоограничение науки. Служение истине «во что бы то ни стало» более не является достаточным обоснованием научного поиска. Сегодня в таких «чувствительных» областях, как фармакология или генетика, легитимность результатов определяется не только критерием приращения знания, но и соответствием процедуры их получения этическим регламентам.

Еще один аспект, который возникает в связи с подобной трактовкой призвания, связан с экспертной деятельностью. Образ ученого, который, как пишет Илья Теодорович, «приносит себя в жертву истине», может ложиться в основу общественной легитимации научной экспертизы [4]. Героизация «людей науки» становится элементом идеологии технократизма, она призвана упрочить общественный авторитет ученых-экспертов и их рекомендаций. Однако нередко этот образ работает против доверия к науке. При этом уравнивание образа ученого и эксперта приводит к тому, что нивелируется различие между научным и экспертным знанием. Экспертиза, в отличие от чистой науки, не может быть заперта в «башне из слоновой кости» [5]. Она призвана обеспечить поле для медиации и бесконфликтного соотнесения позиций заинтересованных сторон. Знание, к которому стремится экспертиза, достигается путем публичной делиберации¹. И именно отказ от делиберативных механизмов болезненно воспринимается обществом и может приводить к дискредитации самой экспертизы. Провалы в коммуникации между экспер-

¹ Парадным примером такой делиберации, совместившей исследование и экспертизу, стало само создание современного европейского университета в ходе гумбольдтовских реформ [9. С. 215–235].

тами и общественностью стали особенно очевидны в ходе борьбы с последствиями пандемии [6]. В свою очередь, к монополизации экспертизы апеллируют идеологи дениалистских движений, призывающие не доверять ученым и игнорировать их рекомендации. Моральный бунт против «захвата» экспертизы становится бунтом против научной рациональности как таковой. В этой связи, как мне кажется, образ жертвующего собой ученого лишь усугубляет противопоставление профессиональных экспертов и иных участников. Однако интересам эффективной экспертизы как процесса агрегации «распределенного знания» в большей степени соответствует стремление к паритетному сотрудничеству всех заинтересованных сторон.

В заключение хотелось бы отметить, что психологизация научного призвания не вполне способствует пониманию коллективной субъектности в большой науке, равно как и легитимации публичной роли науки в современном мире. Вполне возможно, что смыслополагание ученого и вовсе не является необходимым для концептуализации научного призвания. Важнейшей задачей ученого является проведение ответственного исследования, качество которого в существенной мере зависит от эпистемических добродетелей, демонстрируемых субъектом. Добросовестность исследователя (и, как следствие, его соответствие желаемому образу ученого) в этом случае определяется не его психологической мотивацией, но тем, какие эпистемические добродетели характеризуют его научный поиск. При этом задачей эпистемологии становится картирование добродетелей и пороков для каждой конкретной области исследования [7]. Такого рода подход несколько «заземляет» постановку вопроса о научном призвании, позволяя сформулировать минимальные критерии ответственного исследователя без риска самообмана в экзистенциальном вопрошании.

Литература

1. Клейн Л.С. В чем научность науки? Гуманитарий – это ученый? // Муки науки. Ученый и власть, ученый и деньги, ученый и мораль. М. : НЛЮ, 2017. 576 с.
2. Callon M., Law J. After the Individual in the Society // The Canadian Journal of Sociology. 1997. Vol. 22, № 2. P. 165–182.
3. Пронских В.С. Научная коллаборация: философско-методологические проблемы // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 112–116. DOI: 10.5840/eps202057462
4. Fuller S. If Science Is a Public Good, Why Do Scientists Own It? // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 23–39. DOI: 10.5840/eps202057454
5. Turner S. Science on Demand // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 4. С. 52–61. DOI: 10.5840/eps202057456
6. Lavazza A., Farina M. The Role of Experts in the Covid-19 Pandemic and the Limits of Their Epistemic Authority in Democracy // Public Health. 14 July 2020. DOI: 10.3389/fpubh.2020.00356. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00356/full#h3> (accessed: 12.12.2020).
7. Roberts R., Wood W. J. Intellectual Virtues. An Essay in Regulative Epistemology. Oxford : Clarendon Press, 2007.

Liana A. Tikhvatulina, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation)

E-mail: spero-meliora@bk.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 254–258.

DOI: 10.17223/1998863X/60/24

ON MORAL HEROISM AND SCIENTIFIC VOCATION

Keywords: scientific vocation; agent; collaboration; big science; expertise, moral heroism; scientific ethos.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The article provides a number of critical remarks on the thesis of moral heroism as the basis of scientific vocation. The author believes that the image of the scientist presented in the article “Science: A Public Good and a Humanistic Project” by Ilya Kasavin rather corresponds to the image of a philosopher. The author believes that the psychological approach to the conceptualization of scientific vocation is not promising for understanding scientist’s agency in the modern big science. The goal-setting of individual researchers can easily be changed, and the boundary striving for truth may not be a motivational determinant at all, giving way to curiosity and joy from communicating with like-minded people. The author claims that moral heroism as a criterion of scientific vocation suggests that scientists should be divided into the selected “knights of truth”, whose names remain in history, and the impersonal majority, busy with routine work and technical support of research. It looks like, in accordance with the discussed approach, the latter, since they do not fit the image of a moral hero, do not have scientific vocation at all. The author considers the problem of the definition of a scientist and attribution of authorship in scientific collaborations. In addition, the author notes that the image of a scientist as a moral hero harms the interests of expert examination and the establishment of peer participation of all interested parties in it. The author believes that an alternative to the psychological approach is offered by virtue epistemology: here, the demonstration of epistemic virtues in responsible inquiry becomes a measure of compliance with scientific vocation.

References

1. Klein, L.S. (2017) *Muki nauki. Uchenyy i vlast', uchenyy i den'gi, uchenyy i moral'* [The Tortments of Science. Scientist and Power. Scientist and Money. Scientist and Morality]. Moscow: NLO.
2. Callon, M. & Law, J. (1997) After the Individual in the Society. *The Canadian Journal of Sociology*. 22(2). pp. 165–182.
3. Pronskikh, V.S. (2020) Collaboration in Science: Philosophical and Methodological Problems. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(57). pp. 112–116. (In Russian). DOI: 10.5840/eps202057462
4. Fuller, S. (2020) If Science Is a Public Good, Why Do Scientists Own It? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(57). pp. 23–39. DOI: 10.5840/eps202057454
5. Turner, S. (2020) Science on Demand. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 4(57). pp. 52–61. DOI: 10.5840/eps202057456
6. Lavazza, A. & Farina, M. (2020) The Role of Experts in the Covid-19 Pandemic and the Limits of Their Epistemic Authority in Democracy. *Public Health*. 14th July. DOI: 10.3389/fpubh.2020.00356
7. Roberts, R. & Wood, W.J. (2007) *Intellectual Virtues. An Essay in Regulative Epistemology*. Oxford: Clarendon Press.

УДК 008.2

DOI: 10.17223/1998863X/60/25

С.В. Шибаршина

НАУКА КАК АБСОЛЮТНОЕ БЛАГО В ФУТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ТРАНСГУМАНИЗМА

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 19-18-00494 «Миссия ученого в современном мире: наука как профессия и призвание».

Предпринимается попытка рассмотрения ряда аспектов идеи науки как блага на примере техноутопии «Пари трансгуманистов» Золтана Иштвана. Дается оценка бэконовскому проекту как возможному источнику будущего трансгуманизма. Выявляются основные мировоззренческие принципы, на основе которых строится футурологический проект З. Иштвана. Отталкиваясь от ряда идей, развиваемых Ильей Теодоровичем Касавиным, автор выдвигает мысль о том, что иштвановская техноутопия является логическим и, возможно, маршрутозависимым исходом западноевропейского проекта науки и технологий.

Ключевые слова: социальная философия науки, наука как благо, техноутопия, трансгуманизм.

Выражение «наука как общественное благо» вызывает различные ассоциации, вплоть до убеждения в том, что мораль, построенная на основе научного познания, должна заменить все предшествующие и альтернативные моральные стратегии типа религии и философии. В своем исследовании Илья Теодорович справедливо указывает на проблему неодинакового понимания науки как общественного блага в российской и англоязычной традиции. Хотелось бы добавить к этому, что трактовка прикладной науки как обладающей потребительскими качествами товаре в настоящее время активно завоевывает мир. Одновременно с этим так называемое научное мировоззрение, в основе которого лежит убеждение в том, что наука – это когнитивное благо, оттесняет другие традиции понимания природы человека как якобы обладающего душой, сознанием и сверхсознанием и радикально отличающегося от растительного и животного миров. Теория эволюции породила эволюционную психологию, социологию и проч., предлагая и даже навязывая идею об отсутствии так называемого высшего смысла в существовании Вселенной и человека, порождая ощущение того, что «человек заброшен в этот безжалостный мир, в котором нужно жить, будто ты бессмертный». Удивительно, что восточные миры (индийцы, китайцы и др.), достижения которых в области науки были так убедительно раскрыты в XX в., в том числе Дж. Нидэмом, смогли параллельно сохранить веру в «дао» и «Брахмана», не вытеснив ее убеждением в том, что человек «эволюционировал» от обезьяны.

Решение так называемого вопроса Нидэма породило различные ответы, но рамки нашей статьи не позволяют нам углубляться в эту проблематику. Ограничимся только указанием на то, что западноевропейский проект науки, у истоков которого стоял в том числе Фрэнсис Бэкон, внес существенный вклад в ситуацию того, что образ западной науки, понимаемой как когнитив-

ное и одновременно потребительское благо, если и не станет доминантным в глобализующемся мире, то как минимум преобразует традиционные мировоззренческие практики, что мы видим на примере сотрудничества между буддистами и нейробиологами. На наш взгляд, это не будет равноценным синтезом, союзом равных миропониманий: западная наука использует буддизм как инструмент дальнейшего проникновения в мозг, отвергая при этом нефизикалистские теории сознания. На самом деле, как нам представляется, логичным и, возможно, «маршрутозависимым» исходом западноевропейского проекта является техноутопия трансгуманистического толка.

От Бенсалема к Трансгумани

Уже не первое десятилетие ведется активная пропаганда пост- и трансгуманизма как мировоззрения, некоторые направления которого в основу всего ставят науку как благо в различных измерениях. Одним из наиболее показательных, на наш взгляд, является проект футуриста Золтана Иштвана, одного из наиболее влиятельных трансгуманистов США¹.

Как известно, стало традицией фиксировать истоки понимания науки как блага в деятельности философов Нового времени, прежде всего Фрэнсиса Бэкона. Вырванное из контекста выражение «знание – сила!» давно стало мемом и обросло далекими от источника коннотациями. Существует целый пласт публикаций, связывающих грандиозные медитации английского философа относительно развития науки и технологий именно с современными трансгуманистическими проектами [2–4]. В подобной ассоциации утопия Ф. Бэкона «Новая Атлантида» (New Atlantis, 1626) нередко прочитывается как убежденность в том, что не существует границ господства людей над окружающим миром и собственной биологической природой. В «Новой Атлантиде» угадывается прообраз «прототрансгуманистической утопии без рабства и бедности, управляемой религиозно терпимой научной элитой и сосредоточенной на исследованиях, нацеленных на то, чтобы „все вещи стали возможными“» [3. Р. 758].

Частично с подобными заявлениями, на наш взгляд, согласиться можно. Действительно, в «Новой Атлантиде» рисуется картина научно-технологического общества, подаваемого как воплощенный рай на земле, который стал возможным во многом благодаря опоре на новый научный метод, способный через манипуляции с природой производить все больше земных благ, и «радикальной модели институализации новой науки» [5. С. 89]. Бенсалем изолирован от тех проблем, что преследуют остальное человечество, – Трансгуманизм Иштвана так же процветает, в то время как во всем остальном мире кризис. Акцент на увеличении продолжительности жизни и, соответственно, медицине является одной из важнейших целей Дома Соломона – научного ордена Бенсалема. Квинтэссенцией же трансгуманистической философии Иштвана является победа над болезнями и достижение бессмертия, иначе жизнь становится бессмысленной. Описание обеих утопий как бы намекает на то, что они практически идеальны с самого начала их основания. В отли-

¹ Выбор в его пользу был сделан по двум причинам: (1) в 2016 г. он основал Трансгуманистическую партию и выдвинулся от ее имени в президенты США; (2) помимо общественно-политической деятельности Иштван предлагает философское обоснование своего проекта в научно-фантастическом романе «Пари трансгуманистов» [1].

чие от предположительно незавершенной «Новой Атлантиды», Иштван в итоге распространяет новый миропорядок на всю планету. (Однако бэконовская утопия заканчивается разрешением отца Соломонова Дома огласить повествование о науке и технологиях Бенсалема «на благо другим народам» [6. С. 518]. Возможно, как некую образцовую модель?).

Ученые у власти

К обеим утопиям приложимо высказывание Ильи Теодоровича о том, что «благодаря своей способности делить людей на знающих и незнающих» наука дает «инструмент властного отделения знающих от незнающих» и «*производит справедливую систему неравенства*, социальную стратификацию, без которой нет развития». В «Новой Атлантиде», как известно, управление наукой и технологиями осуществляли, по выражению И.С. Дмитриева, «хорошо образованные „эпистемократы“, наделенные широкими правами и властными полномочиями», значительно превосходящими монархическую власть [5. С. 96]. В Трансгумании до и после ее глобального распространения абсолютная власть принадлежала специалистам в области науки и технологий, трансгуманистам и футурологам. Именно они стали считаться наиболее значимыми представителями общества, героями, авторитетами и знаменитостями, самыми популярными кинообразами. Молодые и активные ученые – руководители компаний – стали «иконами нового трансчеловеческого пейзажа» [1. Р. 227]. «Если же вы не отличались интеллектом, прогрессивным мышлением и творческими футуристическими идеями, тогда вы были попросту никем в этом новом мире» [1. Р. 227] (обновленный естественный отбор). Элитаризм достойных развивать науку и пользоваться ее плодами подкрепляется в утопии Иштвана косвенными аллюзиями из ницшеанской критики демократии и массовой культуры. Подчеркивается «не демократическая природа технологий»: последние предназначены исключительно для «самых одаренных и квалифицированных», остальные же именуются «неудачниками», «забитой» и «напуганной» «посредственностью» [1. Р. 127–128]. И все это рисуется как абсолютная справедливость без каких-либо хотя бы слабых попыток критического осмысления.

В обеих утопиях престиж науки и технологий не подвергается сомнению. При этом обе картины отмечены неполнотой в смысле существенного игнорирования гуманистических аспектов всевластия науки, сциентистского мировоззрения и социального проектирования. У Бэкона, согласно Даниэлю Шварцу, указывается на наличие требования *секретности*, не позволявшего использовать науку и технологии во зло, а также *строгого контроля над выбором «посвященных»*, гарантировавшего развитие науки исключительно во благо общества [7]. Гуманитарными проблемами научно-технического прогресса главный герой Иштвана Джетро Найтс не интересуется, а критиков идей трансгуманизма рассматривает либо как досадную помеху либо угрозу, которую следует уничтожить.

Вполне понятно, что в эпоху Нового времени наука и технологии еще не успели в достаточной степени продемонстрировать собственную амбивалентность и заострить внимание на этических и моральных проблемах своего применения, как это случилось в XX в. Не зря после Второй мировой войны антиутопии начинают постепенно вытеснять технократические утопии. Не-

смотря на это, Иштван уверенно копирует оптимизм прежних времен в отношении научно-технического прогресса, избавившись, однако, от любых форм религиозных практик. Если в Бенсалеми наука вроде как гармонично соединена с духовно-религиозной жизнью, то в Трансгумании *единственной возможной идеологией* является *трансгуманистическая*¹ – все остальное неприемлемо. Все религиозные праздники отменены. Общественная мораль во многом основана на принципе пользы: каждый должен быть полезным в достижении целей трансгуманизма, первейшая из которых – достижение бессмертия. Личность Джетро Найдса, мировоззренчески близкого Иштвану персонажа, отличается крайним индивидуализмом, а его отношение к людям проникнуто *тотальным прагматизмом*. В конце представлен трансгуманистический и технократический хэппи-энд. Весь мир превратился в «глобальную деревню», каждый житель подключен к сети, имеет чипы и встроенные био- и нейротехнологии, позволяющие в том числе постоянно получать новые знания.

Цель всех разумных людей, атеистов, разумеется, – достижение бессмертия. Здесь Иштван является показательным примером нерелигиозного направления трансгуманизма, в котором продление жизни и бессмертие выступают самоцелью. Однако, хотя, подобно Бэкону, отмечавшему неспособность человека вследствие «своих страстей и предрассудков, видеть мир таким, каков он есть» [8. С. 197], Иштван пытался отыскать новый, лучший путь, подлинно глубокой рефлексии, в отличие от того же Бэкона, в его футурологическом проекте не отмечается. К примеру, З. Иштван не задается вопросом – а зачем собственно человеку нужно бессмертие? Не будет ли оно вредным как для людей, так и для планеты, космоса? И подобные интенции очень свойственны западноевропейскому, а теперь и глобальному, проекту науки и технологий. То есть рисуемая в техноутопии картина контролируемого наукой и технологиями счастья выглядит, на самом деле, довольно-таки заманчиво (мало кто по доброй воле спокойно отнесется к неизбежности болезней и смерти). Но далеко не все ученые готовы подвергнуть философской критике мировоззренческие основания своих убеждений. Казалось бы, XX в. был достаточно богат на исследования проблемы дегуманизации человеческой экзистенции и культуры как «сопутствующего проявления научно-технического развития» [9. С. 38]. Однако прочтение Иштвана оставляет впечатление того, словно бы подобная социально-философская рефлексия прошла мимо него. Более того, хочется задаться риторическим вопросом: а останутся ли собственные ученые в этом «прекрасном» технобудущем [10]? Некогда заложенный в Новое время оптимизм в отношении науки и техники стал маршрутозависимым, и техноутопия Иштвана вполне может стать моделью будущего, философские основания которого были в определенной степени заложены сциентистским проектом Бэкона, – будущего, к которому нас может привести экспоненциальный рост науки и технологий, а также упрочение технократического подхода к социальному управлению.

¹ Собственную философию Иштван назвал «телеологическим эгоцентрическим функционализмом», основанным на идее о том, что разумные люди ценят жизнь и желают быть бессмертными и не могут бездействовать, но стремятся заранее сделать что-то конструктивное с научной точки зрения для обеспечения бессмертия. URL: <http://www.zoltanistvan.com/TranshumanistWager.html> (accessed: 12.10.2020).

Литература

1. Istvan Z. *The Transhumanist Wager*. Lexington, KY : Futurity Imagine Media, 2013. 300 p.
2. More M. *The Philosophy of Transhumanism* // *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future* / ed. by M. More, N. Vita-More. Chichester, UK : John Wiley & Sons, 2013. P. 3–17.
3. Hughes J. *The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626–2030* // *Zygon*. 2012. Vol. 47, № 4. P. 757–776. DOI: 10.1111/j.1467-9744.2012.01289.x
4. Whitney D.N. *Salvation through Science? Bacon's New Atlantis and Transhumanism* // VoegelinView. June 7, 2018. URL: <https://voegelinview.com/salvation-science-bacons-new-atlantis-transhumanism/> (accessed: 03.11.2020).
5. Дмитриев И.С. Институционализация европейской науки раннего Нового времени: бэконский ракурс // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 2. С. 89–99.
6. Бэкон Ф. Новая Атлантида // Сочинения : в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. / сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Л. Субботина. М. : Мысль, 1978. Т. 2. С. 483–518.
7. Schwartz D. *Why Bacon's Utopia is not a Dystopia: Technological and Ethical Progress in The New Atlantis* // Nighthawks Open Institutional Repository. University of North Georgia. March 2, 2014. URL: <https://digitalcommons.northgeorgia.edu/alconf/2014/2014/8/> (accessed: 10.11.2020).
8. Дмитриев И.С. Веселая наука Фрэнсиса Бэкона // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 1. С. 181–201. DOI: 10.5840/eps20205711
9. Касавина Н.А. О бремени техники и миссии ученого // Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56, № 3. С. 36–39. DOI: 10.5840/eps201956344
10. Вархотов Т.А. Технонаука – наука без ученых? // Эпистемология и философия науки. 2020. Т. 57, № 1. С. 32–37. DOI: 10.5840/eps20205713

Svetlana V. Shibarshina, Interregional Non-Governmental Organization “Russian Society for History and Philosophy of Science” (Moscow, Russian Federation).

E-mail: svet.shib@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 259–264.

DOI: 10.17223/1998863X/60/25

SCIENCE AS AN ABSOLUTE GOOD AND THE TRANSHUMANIST DAYS OF TOMORROW

Keywords: social philosophy of science; science as good; technoutopia; transhumanism.

The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 19-18-00494.

The author of the article, proceeding from a number of ideas developed by Ilya Kasavin, attempts to consider a few aspects embedded in the idea of science as a good and, in doing so, focuses on Zoltan Istvan's technoutopia *The Transhumanist Wager* as an illustration. The author elucidates the main ideological principles underlying Istvan's and Bacon's utopian projects and embracing benefits from science; right reason; true religion (Bacon)/transhumanist ideology (Istvan); a strict choice of “initiated” epistocrats/scientists; the desire to use science and technology only for the good (Bacon), and utility and commitment to the transhuman worldview (Istvan). The author considers the consistency of the view that regards the Baconian project as a major source of the future transhumanism and the latter – as an inevitable expansion of Bacon's ideas. Such a view has emerged within some transhumanistic approaches represented by Max More, James Hughes, and others, and, in saying so, it goes to extremes. Istvan's futurist project attempts to advance humanity mostly through technology. However, in doing so, it ignores the deep philosophical and humanistic reflection over the very foundations of its program, while some of the missing parts from Bacon's utopia can be traced in his extensive philosophical legacy. Commenting on these inconsistencies, the author, nevertheless, considers it possible to assume that Istvan's technoutopia may arise as a logical and, possibly, route-dependent outcome of the Western European project of science and technology.

References

1. Istvan, Z. (2013) *The Transhumanist Wager*. Lexington, KY: Futurity Imagine Media.
2. More, M. (2013) *The Philosophy of Transhumanism*. In: More, M. & Vita-More, N. (eds) *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*. Chichester, UK: John Wiley & Sons. pp. 3–17.

3. Hughes, J. (2012) The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626-2030. *Zygon*. 47(4). pp. 757–776. DOI: 10.1111/j.1467-9744.2012.01289.x
4. Whitney, D.N. (2018) Salvation through Science? Bacon's New Atlantis and Transhumanism. *VoegelinView*. 7th June. [Online] Available from: <https://voegelinview.com/salvation-science-bacons-new-atlantis-transhumanism>. (Accessed: 3rd November 2020).
5. Dmitriev, I.S. (2017) Institucionalizatsiya evropeyskoy nauki rannego Novogo vremeni: bekonianskiy rakurs [Institutionalization of Early Modern European Science: the Baconian Perspective]. *Vestnik RFFI. Gumanitarnyye i obshchestvennyye nauki*. 2. pp. 89–99.
6. Bacon, F. (2010) *The New Atlantis*. Gearhart, OR: Watchmaker Publishing.
7. Schwartz, D. (2014) *Why Bacon's Utopia is not a Dystopia: Technological and Ethical Progress in The New Atlantis*. Nighthawks Open Institutional Repository. University of North Georgia. 2nd March. [Online] Available from: <https://digitalcommons.northgeorgia.edu/alconf/2014/2014/8>. (Accessed: 10th November 2020).
8. Dmitriev, I.S. (2020) The Gay Science of Francis Bacon. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(1). pp. 181–201. (In Russian). DOI: 10.5840/eps20205711
9. Kasavina, N.A. (2019) On the Burden of Technology and the Mission of Scientist. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 56(3). pp. 36–39. (In Russian). DOI: 10.5840/eps201956344.
10. Varkhotov, T.A. (2020) Technoscience – Science without Scientists? *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 57(1). pp. 32–3. (In Russian). DOI: 10.5840/eps20205713

Политология

УДК 32.001

DOI: 10.17223/1998863X/60/26

А.В. Никандров

ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА «САМОДЕРЖАВИЯ НАРОДА» В ПРОГРАММАХ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» И РСДРП

Статья посвящена малоисследованному в истории политической мысли концепту «самодержавие народа», которое обычно связывают с именем Ж.-Ж. Руссо и его учением о «народе-суверене». Однако известно, что в свое время этот концепт стал одним из важнейших понятий «Народной воли» и оказал влияние на российских большевиков.

Ключевые слова: «самодержавие народа», «Народная воля», РСДРП, Л.А. Тихомиров, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.

Необычная и неожиданная формулировка «самодержавие народа» появляется в I программе РСДРП, принятой на II, учредительном, ее съезде (1903). Первоначальный проект программы составлялся Г.В. Плехановым в январе 1902 г. В этом тексте постановка такая: «Русские социал-демократы ставят своей ближайшей политической задачей низвержение *монархии* и замену ее республикой на основе демократической конституции, обеспечивающей: 1. *Самодержавие народа*, т.е. сосредоточение всей верховной власти в руках законодательного собрания, составленного из народных представителей...» [1. С. 18–19]. Памятны известные споры по программным вопросам партии между Плехановым и Лениным, тематика которых простиралась от концептуально-политических моментов до проблем стиля текста программы (немаловажные, надо сказать, для программы проблемы). Однако концепт «самодержавие народа» в этой полемике не фигурировал, и бескомпромиссные спорщики на этой почве не сталкивались.

Окончательный текст программы, принятой на II съезде, в части, касающейся поставленной темы, гласит: РСДРП «ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского самодержавия и замену его *демократической республикой, конституция которой обеспечивала бы*: 1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа *и образующего одну палату...*» [1. С. 164]. – «Монархия» просто заменена на «царское самодержавие», риторически оттеняющее «самодержавие народа»; текст представляет собой некоторую тавтологию: выставляемая форма государства после свержения монархии – демократическая республика, сущностью которой является «самодержавие народа», которое есть не что иное, как опять-таки демократическая республика. Составители (Плеханов и Ленин по пре-

имуществу) могли бы обойтись и без слов «самодержавие народа», однако текст и его история показывают, что они *настаивали* на этой формуле.

Нельзя сказать, чтобы неожиданный концепт «самодержавие народа» не вызвал внимания и критики: марксистская риторика к тому времени совершенно вытеснила народническую, так что *терминологический реликт* настоятельно некоторых социал-демократов. К.М. Тахтарев (Страхов) предлагал заменить «самодержавие народа» словами «верховенство народа». Он справедливо утверждал, что «формулировка Плеханова „народное самодержавие“ неудобна, – отдает народничеством» [2. С. 179]. Концепт звучал явно немарксистски, если не *антимарксистски*, и это при том, что продвигался одновременно двумя политиками (Плеханов и Ленин), которые позиционировали себя как марксисты *par excellence*.

Другие участники съезда также не преминули отметить тот факт, что концепт контрастирует с марксистским общественно-политическим «фоном»; однако в скором времени «самодержавие народа» стало вполне привычным элементом партийной риторики, сблизившись по значению с демократической республикой, став по сути ее «возвышенным синонимом». Концепт стал настолько привычным, что уже и сам К.М. Тахтарев в работе 1907 г. пользуется им значительно *чаще*, чем понятиями, которые заменяются этим термином (прямая демократия, прямое народное законодательство, полное самоуправление граждан). В собственном смысле, согласно Тахтареву, самодержавие народа является политической ступенью для социализма и *одновременно* результатом социалистической революции: «Без достижения самодержавия народа социализм невозможен. Без социализма самодержавие народа не может быть фактическим самодержавием трудящихся» [3. С. 226].

Что касается В.И. Ленина, его цель в поддержке плехановского концепта представляется вполне ясной. Главное, что привлекало его в этом многозначном и размытом по смыслу концепте, – это необычно широкие возможности реконцептуализации в самых разных направлениях. «Самодержавие народа» может легко быть развернуто в термин «диктатура пролетариата»; сверх того, следует добавить эффективность в антисамодержавной риторике: квазируссоистский лозунг «самодержавие народа» логично противопоставлялся «самодержавию царя». Вообще, эта удачно сконструированная бинарная формула легко меняет смысл при усилении одного и нивелировании другого компонента: усиливая «народ», получаем бунт, революцию (народ без царя!), буйную риторику *People souverain* Великой французской революции; усиливая «самодержавие» – получаем формулу с ярким этатистским звучанием; балансируя между крайними точками – получаем демократическую республику.

Мастер слова, «слова-оружия», Ленин был очень талантлив и находчив в тех случаях, где слово значит так много, и где нужно использовать всю мощь, содержащуюся в нем. Но вот найти нужное слово – тут Ильич не всегда был первым. «Самодержавие народа» – это *находка* Г.В. Плеханова.

Где же находит столь необычную, обладающую такими разнонаправленными концептуальными возможностями политическую формулу Плеханов? Русский марксист вводит в проект программы концепт, с которым познакомился при критическом разборе в знаменитой работе «Наши разногласия» (1884) довольно влиятельного текста – агитационно-политического произве-

дения Л.А. Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» (1884), которое в свою очередь было своеобразным ответом на плехановскую же работу «Социализм и политическая борьба» (1883), являющуюся крупным манифестом его идеологического похода против народников и народолюбцев.

Статья-манифест «Чего нам ждать от революции?», как пишут А.В. Репников и О.А. Милевский, «содержала мощный заряд критики против тезиса представителей марксистского социалистического крыла о неизбежности прохождения Россией капиталистической стадии развития по образу и подобию европейских государств»; а «ближайшей задачей партии в статье „Чего нам ждать от революции?“ ставился политический переворот с целью передачи власти Учредительному собранию» [4. С. 169]. Именно в этом произведении Тихомиров проявляет себя не только как идеолог «Народной воли», но и как глубокий политический мыслитель.

Уже на этапе споров о толковании названия революционного союза («Народная воля») Тихомиров определял *народную волю*, или *волю народа*, – именно как «власть народа». Ведущий идеолог «Народной воли» выдвигает «народное самодержавие» в качестве принципа грядущего после уничтожения «самодержавия царя» устройства российского государства: «Масса народа, сила громадная – каждый раз когда она сплочена, выдвинет и поддержит только такой строй, в котором будут осуществляться главные основы его мирозерцания: народное самодержавие в государственных отношениях, и организация земельных отношений на основании общенародного права на землю. В этом смысле *захват власти* социально-революционной партией вовсе не представляется ни фантастичным, ни бесплодным» [5. С. 22].

Пассаж из тихомировской работы – отнюдь не первый случай употребления выражений «народное самодержавие» (или «самодержавие народа») народолюбцами, использовавшими концепт-образ «народа-суверена». Мы встречаем этот концепт в народолюбческих документах, написанных при участии Тихомирова, если не им лично, начиная с 1879 г., в точно таком же значении, – как *власть народа*, изначально *ему* принадлежащая. В одном из документов «Народной воли» от 1882 г. цель организации определяется как «народоправление, переход верховной власти в руки народа. Задача партии – способствовать переходу и упрочению верховной власти в руках народа. <...> Решено было начать борьбу с правительством, отрицающим идею Народовластия безусловно и всецело» [6. С. 583–584].

Впервые без классической жесткой привязки к Руссо, Французской революции и т.д. о «народном самодержавии» читаем в прокламации Исполнительного комитета «Народной воли» по поводу покушения на царский поезд в ноябре 1879 г.: «Александр II – главный представитель узурпации народно-го самодержавия...» [6. С. 168]. Таким образом, эта яркая идея проводилась в документах народолюбцев достаточно настойчиво и энергично. Использовались понятия «народовластие», «власть народа», но *такой политической энергетикой*, как «самодержавие народа»/«народное самодержавие» они, конечно, не обладали и обладать не могли, ведь энергетика – там, где столкновение идей, концептов; «разность потенциалов», можно сказать.

Л.А. Тихомиров, да и остальные теоретики «Народной воли», по справедливому утверждению С.С. Волка, «хорошо не представляли себе будущего революционного государства. Недооценивали они и лозунг республики.

Они мечтали сразу же создать общенародное государство, в то время как единственно возможным в то время было государство классовое. Они мечтали о социалистическом государстве, но в действительности в России могло утвердиться только государство буржуазно-демократическое...» [7. С. 209]. Тихомиров и ряд других идеологов и теоретиков «Народной воли» усиливают «государственнический элемент» в своей доктрине, и, подчеркивая приверженность цели государственного переворота, необходимости захвата государства в свои руки для установления желаемого курса (своеобразная «перенастройка государства» как единственного и всемогущего «мотора» российской жизни), склоняются к якобинизму в своей новой риторике (будут предъявлены также и обвинения в бланкизме); что же до «передачи власти народу», этот тезис затушевывается.

В знаменитом «Письме Исполнительного комитета Народной воли заграничным товарищам», составленном Тихомировым в конце 1881 г., девизом которого служат слова *«переворот государственный – это наше „быть или не быть“»*, говорится: «Что касается нашего якобинизма, то опять не знаем, как сказать. Беда с этими иностранными словами. <...> Во-первых, слово „якобинизм“ в России очень *загажено болтунами*, а потому, что бы оно ни означало, мы себя якобинцами *называть не согласны*. Затем, мы по убеждениям и стремлениям *государственники*, т.е. признаем за элементом государственным, элементом политической власти огромную важность. Это сила, а потому она должна быть умно организована. Государственная власть была, есть и будет, вероятно, всегда. Поэтому мы обращаем на ее организацию такое же внимание, как на организацию экономических отношений. Революция совершится только тогда, когда власть эта будет в хороших руках, а посему мы и стремимся захватить ее, так как народ, пока он раб тысячи других условий, ее все равно не удержит» [8. С. 320–321].

В «Наших разногласиях» Плеханов подвергает острой критике концепцию, изложенную в тихомировском памфлете «Чего нам ждать от революции?». В зоне *особого* внимания Плеханова – народовольческий концепт Тихомирова «самодержавие народа» («народное самодержавие»). Идея о том, что «верховная власть есть представительство общенародное, а отнюдь не классовое», идеологом марксизма отвергается безусловным образом: «Этим-то убеждением в общенародном характере нашей верховной власти и укрепляется вера г. Тихомирова в недалекое торжество народоправления. Переход к последнему от самодержавия царей „не составляет чего-нибудь оригинального (?). Французский народ так же точно от идеи о самодержавном короле, способном говорить *l'état c'est moi*, перешел без затруднения (!) к идее о *peuple souverain*. Господство самодержавного народа там не могло фактически установиться, благодаря силе буржуазии“ у нас нет буржуазии, поэтому ничто не мешает у нас торжеству народоправления» [9. С. 282].

Плеханов выставляет кардинально важный тезис: когда «взаимные отношения общественных классов станут резко определенными, место „народа“ займет рабочий класс, и народное самодержавие превратится в диктатуру пролетариата» [9. С. 287]. Тихомиров *vice versa* выдвигает против Плеханова и его коллег-марксистов во многом справедливое обвинение в «желании создать класс, от имени которого он сможет действовать, – пролетариат...» [9. С. 287]. Он саркастически говорит, как бы следуя логике плехановцев и

доводя ее до абсурда (впрочем, до абсурда ли?): «Будучи последовательным и ставя интересы революции выше своей личной нравственной чистоплотности, социалист тут должен был бы вступать прямо в союз с рыцарями „первоначального накопления“...» [5. С. 1].

При всем ригоризме отрицания Плехановым народничества, нельзя сказать, чтобы в переходе к марксизму он полностью оставил идейную систему, которую разделял до марксизма; нельзя утверждать также и полное его «антинародовольчество»: недаром, видимо, однажды (в 1882 г., если точно) Тихомиров сказал ему: «Да вы настоящий народоволец!»¹. Глубинное, не изжитое до конца народничество продолжало довлеть над его политической мыслью, и причина притяжения им народовольческой политической максимы «самодержавие народа», безусловно, с этим связана.

Что касается субстанциальной близости народничества, особенно народовольчества, и большевизма, – то серьезная постановка этой темы является, пожалуй, одной из самых сложных задач в науке об истории российских политических учений. Прежде всего это касается оценки роли государства в истории России. Как известно, около 1902 г. Ленин пересматривает роль государства в России, отбрасывая классовую трактовку и выдвигая тезис о самодержавии как о «самостоятельной организованной политической силе». – Он принимает установку о возможности и необходимости захвата этой силы с тем, чтобы проводить выставляемые преобразования [2. С. 211–213]. Но ведь этот подход к российскому самодержавному государству был разработан народовольцами: так, в № 1 (1879) Вестника «Народная воля. Социально-революционное обозрение» читаем: «Нам кажется, что одним из важнейших чисто практических вопросов настоящего времени является вопрос о государственных отношениях. Анархические тенденции долго отвлекали и до сих пор отвлекают внимание наше от этого важного вопроса. А между тем именно у нас, в России, особенно не следовало бы его игнорировать. Наше государство – совсем не то, что государство европейское. Наше правительство не комиссия уполномоченных от господствующих классов, как в Европе, а есть самостоятельная, для самой себя существующая организация, иерархическая, дисциплинированная ассоциация, которая держала бы народ в экономическом и политическом рабстве даже в том случае, если бы у нас не существовало никаких эксплуататорских классов». В № 2 (1879) «Народной воли» практически в славянофильском ключе говорится: «История создала у нас, на Руси, две главные самостоятельные силы: народ и государственную организацию» [6. С. 7; 75].

Таким образом, можно сказать, что политическая, концептуальная и прямая текстуальная зависимость Ленина от народовольческих текстов – несколько большая, чем это принято признавать; а также привести неожиданное высказывание Плеханова, сказанное в один из последних его дней: «Ленин, Троцкий и другие, двадцать лет шедшие с марксистами, в сущности, сделались народниками после Февральской революции. Они действуют по программе Л. Тихомирова...» [12. С. 439].

¹ «Тихомиров, с удовлетворением, если не с удивлением, констатируя сближение взглядов Плеханова и народовольцев на политику, однажды даже сказал ему: „Да вы настоящий народоволец!“» [10. С. 79–80].

После 1888 г. Л.А. Тихомиров, как известно, переходит на позиции монархизма, «самодержавия царя», если угодно. Казалось бы, с переходом в монархический лагерь Тихомиров должен был отказаться не только от *руссоистско-народнической* трактовки и политической постановки «самодержавия народа», – логичным шагом было бы вообще отвергнуть сам концепт, не использовать его впредь. Однако мыслитель этого не делает. Концепт «самодержавие народа» наполняется у него постепенно другим смыслом – монархическим; прежний же смысл сохраняется подспудно; и в ходе размышлений о событиях 1905–1907 гг. начнет, пожалуй, даже теснить монархическую трактовку. И так, по мере того как выявляется беспомощность и политическая немощь действующего монарха, концепт в сочинениях Тихомирова заново наполняется «старым», руссоистско-народовольческим смыслом, с тем, чтобы превратиться в новый идейно-политический *синтез*. В работе «Почему я перестал быть революционером» (1888) он утверждает: «Можно услышать множество фраз о „возвращении власти народу“. Но это не более как пустые слова. Ведь народ об этом нисколько не просит, а, напротив, обнаруживает постоянно готовность проломить за это голову „освободителям“. <...> Русский Царь не похищает власти; он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор народ, всею своею массой, при всяком случае показывает готовность поддержать всеми силами дело своих прадедов» [13. С. 37].

В трудах Тихомирова монархического периода термин «самодержавие народа» рисуется необычным, отчасти неожиданным образом: концепт не отвергается, но уже и не сводится к демократии западного типа, скорее даже резко отдалается от нее; руссоизм в трактовке формулы «самодержавие народа» внешне почти пропадает (во всяком случае, до 1905 г.). Даже когда в письме на имя императора Александра III он пишет, что «самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь», – мыслитель дает понять, что ложью является не самодержавие народа *само по себе*, но именно то, о котором он когда-то мечтал (т.е. сведенное к власти народа, но *без монарха*).

Понятно, что «самодержавие народа» существует *не наряду* с «самодержавием царя», ибо двух верховных властей в одном государстве быть не может. Божественное поставление предшествует (все)народному избранию: так, Л.А. Тихомиров в работе, посвященной Учредительной грамоте 1613 г., которую он оценивает как «документ, не имеющий себе равного во всемирной государственно-правовой созидательной деятельности», отмечает, что в этом документе «всемерно подчеркнуто, что Михаил Федорович поставляется на царство по избранию Божию, а лишь затем и по избранию всего русского народа» [14. С. 414–416].

Как происходит в политической мысли Тихомирова «возвращение к руссоизму»? – «О тихомировской эволюции от монархизма обратно к идеям общественного договора в духе Ж.-Ж. Руссо, которых Лев Александрович придерживался во времена революционной молодости, – утверждает С.В. Чесноков, – мы можем доказательно говорить, начиная с революции 1905–1907 гг.» [15. С. 211]. Эту обратную идейную эволюцию исследователь констатирует на основании дневниковых записей и писем Тихомирова. Так, в письме А.С. Суворину 1906 г. Тихомиров признает: «Что касается устройства России, то на это может быть компетентным только одна власть – Земский

собор. <...> Предмет Собора: специальный вопрос о Верховной власти. Какую пожелает Собор, такую и установит, дальнейшую конституцию уже потом строить, когда народ решит вопрос о сущности, т.е. Верховной власти». – В дневниковой записи от 1917 г. мыслитель восклицает: «Русский народ не имеет надобности, чтобы получать от кого-либо Верховную власть: он сам по себе ее имеет и может взять от „доверенного“ (т.е. Царя), когда ему это покажется нужным» [15. С. 211–212]. – Опять из дневников 1905–1907 гг., запись 1905 г.: «Захочет русский народ, так восстановит монархию, а теперь ее все равно нет» [16. С. 84]. Эта идея проводится довольно-таки настойчиво.

В дневниковых записях 1905–1907 гг. отражен весь ужас мыслителя перед падением монархии, отсутствие перспектив для государства при столь слабом монархе, каким являлся император Николай II; эти же идеи, но в сглаженном и завуалированном виде, присутствуют и в печатных работах Тихомирова. Может быть, дело не в конкретном императоре, а в самом монархическом принципе? Где же выход? Он – в «спасающей личности». В записи 1906 г. Тихомиров утверждает, что «спасти положение могли бы только люди гениального ума и энергии»; «Нужен великий человек...» [16. С. 249; 287].

Мыслитель не оставляет идею «самодержавия народа» – ведь вождь может быть вождем только народа (и *его* государства); «спасающая личность» (мессия) может спасти только *свой* народ и государство, т.е. *самодержавный народ*; но монархический принцип – во всяком случае, в дневниках, – совершенно *отбрасывается*.

Можно ли считать ли личные записи политическим вердиктом? – Вот запись от 2 марта 1917 г., и она вполне убеждает в этом: «Я думаю, однако, что было бы практичнее ввести Монархию ограниченную. Династия, видимо, сгнила до корня. Какое тут Самодержавие, если народу внушили отвращение к нему – действиями самого же Царя» [17. С. 348]. Совершенно ясно, что мыслитель ищет не *нового царя* («доверенного», но этого доверия не оправдавшего) взамен Николая II, но именно *нового вождя* (погибающего государства). Так отвергается монархический принцип, и вводится в силу новый, *монократический* принцип верховной власти, причем этот принцип, в полном соответствии с общей теорией верховной власти (народ как нация есть ее источник) Тихомирова, произведен от народа.

В дневниках 1915–1917 гг. усиливается риторика «спасающей личности»: мыслитель в еще большей степени энергичен в проведении этой идеи. «Теперь нам нужен диктатор, а мы вместо этого создаем анархию» (26 августа 1915 г.) [17. С. 106]. «Гениальный деятель», «вождь», «диктатор» – в нем видит мыслитель спасение для России, но конкретного воплощения не находит (или не хочет признать, что нашел). Однако история России такую личность, «спасающую личность», вождя и диктатора, выдвинула, и это – Ленин.

Конечно, никак нельзя сказать, что в российской политической мысли XIX – начала XX в. идея «народного суверенитета» («самодержавия народа») развивалась исключительно «Народной волей», в особенности Тихомировым; Плехановым (в специфическом ключе) и Лениным (в полемическом ключе). Так, к примеру, уже А.Н. Радищев вслед за Ж.-Ж. Руссо выдвигал идею народного суверенитета, рассматривая в качестве идеала общественного

и государственного устройства прямую демократию Новгородской республики» [18. С. 217]. Однако куда как больше эта идея подвергалась подчас жесточайшей критике: тут можно привести в пример В.О. Ключевского, саркастически задающего вопросом, «если народ – государь, то кто подданные? Те, кому он поручает управление?» [19. С. 253]. Но все или почти все подобные случаи использования концепта связаны с Великой французской революцией¹. Эти примеры можно множить, но тем не менее именно в представленном экскурсе показана вся серьезность, риторическая мощь и идейно-политическая сила концепта «самодержавие народа», продемонстрирована сила слова в революции, – ведь подчас «мы имеем в своем распоряжении только слово...» (Ленин). Этого, конечно, мало, но не следует забывать и о словах Сталина: «Идеи – более сильное оружие, чем пушки...».

Литература

1. Ленинский сборник – II / под ред. Л.Б. Каменева. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1924.
2. Второй съезд РСДРП. Июль – август 1903 года. Протоколы / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М. : Партиздат, 1959.
3. Тахтарев К.М. От представительства к народовластию. К изучению новейших стремлений политического развития современного общества. М. : Ленанд, 2015.
4. Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М. : Academia, 2011.
5. Тихомиров Л. Чего нам ждать от революции? (Отдельный оттиск из № 2 «Вестн. Народной Воли»). СПб. : Изд. группы типографщиков Народной Воли, 1885.
6. Литература социально-революционной партии «Народной Воли». [СПб.], 1905.
7. Волк С.С. Народная воля. 1879–1882. М. ; Л. : Наука, 1966.
8. Революционное народничество 70-х годов XIX века. Том II. 1876–1882 гг. / под ред. С.С. Волка. М. ; Л. : Наука, 1965.
9. Плеханов Г.В. Наши разногласия // Избранные философские произведения: в 5 т. М. : Госполитиздат, 1956. Т. 1.
10. Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М. : РОССПЭН, 1997.
11. Ингерфлом К.С. Несостоявшийся гражданин. Русские корни ленинизма. М. : Ипол, 1993.
12. Бэрон С.Х. Г.В. Плеханов – основоположник русского марксизма. СПб. : Российская национальная библиотека. Дом Плеханова, 1998.
13. Тихомиров Л. Критика демократии. Статьи из журнала «Русское обозрение». 1892–1897 гг. М. : Москва, 1997.
14. Тихомиров Л.А. Монархическое начало власти. М. : Изд-во М.Б. Смолина (ФИВ), 2018.
15. Чесноков С.В. Эволюция государствоведческих взглядов Л.А. Тихомирова в свете критики «хомяковского» православия П.А. Флоренским // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2007. Т. 8, № 2. С. 205–214.
16. Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М. : РОССПЭН, 2015.
17. Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / сост. А.В. Репников. М. : РОССПЭН, 2008.
18. Яковлев М.В. Российская демократия: особенности концепта // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 1–2. С. 216–218.
19. Ключевский В.О. Лекции по истории Западной Европы в связи с историей России. М. : Русская панорама, 2012.
20. Рудницкая Е.Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. М. : Наука, 1992.

¹ Но при желании можно найти и примеры другого рода, вполне близкие к анархистской постановке дела (что справедливо отмечает Е.Л. Рудницкой). Так, по словам П.Л. Лаврова, сказанным им в 1874 г., революционеры «борются против правительства для облегчения народного восстания, для того, чтобы государственная власть преобразовалась прямо в самодержавие народных общин, народных собраний, народных кругов» [20. С. 99].

Aleksey V. Nikandrov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: bobbio71@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 265–274.

DOI: 10.17223/1998863X/60/26

THE PHILOSOPHICAL AND POLITICAL RHETORIC OF THE “AUTOCRACY OF THE PEOPLE” IN THE PROGRAMS OF NARODNAYA VOLYA AND RSDLP

Keywords: “autocracy of the people”; Narodnaya Volya; RSDLP; Lev Tikhomirov; Georgi Plekhanov; Vladimir Lenin.

Speaking about the “autocracy of the people”, historians of political ideas first of all recall Jean-Jacques Rousseau with his unforgettable term “peuple souverain” (“*le Peuple est seul détenteur de l'autorité souveraine*”). Memory resurrects scenes and images with famous figures of the Great French Revolution who tried to bring the idea of the sovereignty of the people (souveraineté du peuple) to life. One recalls Maximilian Robespierre with his “I am not the courtier, nor the moderator, nor the tribune nor the defender of the people, I am the people myself” (“*Je ne suis ni le courtisan, ni le modérateur, ni le tribun, ni le défenseur du peuple! Je suis peuple moi-même!*”). However, few philosophers of politics and historians of political ideas will recall that once the concept “autocracy of the people” (this is how the expression “souveraineté du peuple” began to be translated in the Russian social democratic society) became one of the most important concepts of Narodnaya Volya (People’s Will) and once had a powerful influence on RSDLP (Russian Social Democratic Labour Party): it was not only included in the Party’s First Program, but was also actively used in Bolshevik political rhetoric. The expression “autocracy of the people” in the years of the First Russian Revolution is used both in the political works of Lenin and Stalin, and in all sorts of leaflets, appeals, calls to the working people. RSDLP takes the expression “autocracy of the people” for its First Program from the literary-political and program documents of Narodnaya Volya. Tracing this conceptual line, we come across such prominent political figures and philosophers as Lev Tikhomirov, Georgi Plekhanov, and Vladimir Lenin. However, of particular interest is the development of the concept in the political thought of Lev Tikhomirov after he ceased revolutionary activities and joined monarchism. At the beginning of the 20th century, in his political philosophy, “autocracy of the people” acquires strongly marked monarchist features while retaining the Russoist revolutionary anti-autocratic content. This, undoubtedly, is extremely rare in the history of political ideas and needs a historical and political analysis. In the humanities, a new direction has been formed -- Tikhomirov studies. What was the meaning and influence of Tikhomirov’s thought in the political history of Russia? There are rather fierce debates about this, especially in the current situation and context, when monarchism becomes not just an object of study by historians, but also a concept in political struggle. Books, including the diaries of the thinker, are published and analyzed. His life particularly attracts the interest of scholars in various fields. The interest of political scientists is clearly not incidental here.

References

1. Kamenev, L.B. (ed.) (1924) *Leninskiy sbornik – II* [The Lenin Collection – II]. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo.
2. Institute of Marxism-Leninism under the Central Committee of the CPSU. (1959) *Vtoroy s"ezd RSDRP. Iyul' – avgust 1903 goda. Protokoly* [Second Congress of the RSDLP. July – August 1903. Protocols]. Moscow: Partizdat.
3. Takhtarev, K.M. (2015) *Ot predstavitel'stva k narodovlastiyu. K izucheniyu noveyshikh stremleniy politicheskogo razvitiya sovremennogo obshchestva* [From representation to democracy. To the study of the latest aspirations of the political development of modern society]. Moscow: Lenand.
4. Repnikov, A.V. & Milevskiy, O.A. (2011) *Dve zhizni L'ya Tikhomirova* [Lev Tikhomirov's two lives]. Moscow: Academia.
5. Tikhomirov, L. (1885) *Chego nam zhdet' ot revolyutsii? (Otdel'nyy ottisk iz № 2 “Vestn. Narodnoy Voly”)* [What can we expect from the revolution? (Separate reprint from No. 2 “Bulletin of Narodnoy Volya”)]. St. Petersburg: Izd. gruppy tipografshchikov Narodnoy Voly.
6. Narodnoy Volya. (1905) *Literatura sotsial'no-revolyutsionnoy partii “Narodnoy Voly”* [Literature of the social-revolutionary party “Narodnaya Volya”]. St. Petersburg: [s.n.].
7. Volk, S.S. (1966) *Narodnaya volya. 1879–1882* [The will of the people. 1879–1882]. Moscow; Leningrad: Nauka.

8. Volk, S.S. (ed.) *Revolutsionnoe narodnichestvo 70-kh godov XIX veka* [Revolutionary populism of the 1870s]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: Nauka.
9. Plekhanov, G.V. (1956) *Izbrannye filosofskie proizvedeniya: v 5 t.* [Selected Philosophical Works: in 5 vols]. Vol. 1. Moscow: Gospolitizdat.
10. Tyutyukin, S.V. (1997) *G.V. Plekhanov. Sud'ba russkogo marksista* [G.V. Plekhanov. The fate of the Russian Marxist]. Moscow: ROSSPEN.
11. Ingerflom, K.S. (1993) *Nesostoyavshiysya grazhdanin. Russkie korni leninizma* [A Failed Citizen. Russian Roots of Leninism]. Moscow: Ipol.
12. Beron, S.Kh. (1998) *G.V. Plekhanov – osnovopolozhnik russkogo marksizma* [G.V. Plekhanov is the founder of Russian Marxism]. St. Petersburg: The Russian National Library. The Plekhanov House.
13. Tikhomirov, L. (1997) *Kritika demokratii. Stat'i iz zhurnala "Russkoe obozrenie". 1892–1897 gg.* [Critique of Democracy. Articles from the magazine "Russian Review". 1892–1897]. Moscow: Moskva.
14. Tikhomirov, L.A. (2018) *Monarkhicheskoe nachalo vlasti* [The Monarchical Beginning of Power]. Moscow: M.B. Smolin.
15. Chesnokov, S.V. (2007) Evolyutsiya gosudarstvovedcheskikh vzglyadov L.A. Tikhomirova v svete kritiki "khomyakovskogo" pravoslaviya P.A. Florenskim [L.A. Tikhomirov's evolution in the light of P.A. Florensky's criticism of the "Khomyakovsky" Orthodoxy]. *Vestnik Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii*. 8(2). pp. 205–214.
16. Repnikov, A.V. & Kotov, B.S. (2015) *Dnevnik L.A. Tikhomirova. 1905–1907 gg.* [L.A. Tikhomirov's diary. 1905–1907]. Moscow: ROSSPEN.
17. Repnikov, A.V. (2008) *Dnevnik L.A. Tikhomirova. 1915–1917 gg.* [L.A. Tikhomirov's Diary. 1915–1917]. Moscow: ROSSPEN.
18. Yakovlev, M.V. (2013) Russian democracy: features of concept. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice*. 1–2. pp. 216–218. (In Russian).
19. Klyuchevskiy, V.O. (2012) *Lektsii po istorii Zapadnoy Evropy v svyazi s istoriey Rossii* [Lectures on the history of Western Europe in connection with the history of Russia]. Moscow: Russkaya panorama, 2012.
20. Rudnitskaya, E.L. (1992) *Russkiy blankizm: Petr Tkachev* [Russian Blanquism: Peter Tkachev]. Moscow: Nauka.

УДК 32: 008.2

DOI: 10.17223/1998863X/60/27

А.Г. Савойский

ИТОГИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК ИНДИКАТОРА РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Подведены итоги российско-американских отношений в период президентства Владимира Путина и Дональда Трампа. Перечислены экспертные предложения по нормализации двусторонних отношений на основе управляемого моделирования и экономической дипломатии как альтернативы политике либерального капитализма в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: Россия – США, цивилизация, повестка дня, политическое моделирование, проект договора, экономическая дипломатия.

Конструирование внешнеполитических отношений

Современная дипломатия достигла значительного уровня в своем развитии. Она достойно прошла путь от конспирологии в разработке тайных замыслов к новейшим технологиям в медиапространстве в области аналитики стратегий и прогнозирования международных отношений.

Потребность в научном и осознанном понимании будущего ощущается в России и во всем мире особенно остро. «Необходимость разработки новой парадигмы развития человеческой системы, чтобы перейти к (конкретной. – А.С.) модели, обеспечить безопасность и процветание одновременно всего глобального мира, каждой страны в отдельности, ее местного уровня и каждого конкретного человека» [1], подробно осветила в своей статье о возможных моделях будущего России и глобального мира российский экономист В.М. Бондаренко. Она предостерегает всех от негармоничной модели развития будущего, ядро которой составляют искусственный интеллект (ИИ, куда пока не вложено главное – распознавание добра и зла), биотехнологии (например, вакцины от коронавируса и пр.), а также другие технологии (информационные, военно-космические, биометрические) «для управления и манипулирования человеческим сознанием, с целью контроля над каждым конкретным человеком и над миром для того, чтобы максимизировать прибыль» [1] в чьих-то руках.

О политическом конструировании или предвидении перспектив (как образа будущего на основе смыслов, коммуникации, ментальности и самой деятельности) подробно изложили свои взгляды отечественные исследователи А.И. Щербинин и Н.Г. Щербинина, основательно систематизировав новые знания в данной сфере. По их мнению, будущим можно «управлять, но управление осуществляется, по сути, виртуально с помощью символического образа будущего. В данном случае сама модель становится символом репрезентации или образа... При этом „альфой и омегой“ моделирования... выступает „теоретическая база“, само наличие теоретического компонента. И образ

будущего отображает не столько „факты“ настоящего, сколько абстрактную схему, вписанную в ментальный контекст исторической эпохи» [2. С. 295–296]. Довольно часто для этого используется не только текст, но и математические символы, приемы, формы.

Конструктивное познание осуществляется в теории и на практике в трех формах научной деятельности: прогнозирование, проектирование и предсказание. Моделирование в дипломатии строится на специальных договорах, актах, нотах, проектах, программах, стратегиях и концепциях, содержащих прогнозируемую модель для презентации в коммуникативном обмене. При этом четко обозначаются цели и задачи государства на современном этапе, его политические ценности и национальные интересы [3]. Однако научно предвидеть нечто в перспективе (на основе циклов развития) возможно только там, где существует мир, порядок и объективная, разумная логика. Абсолютный хаос сюда не входит, поскольку он подчиняется законам стихийного развития. Российские идеологи мировой политики отдают предпочтение разработке и генерированию (внедрению) многоуровневых сценариев для развития международных отношений с универсальной конфигурацией предсказаний: заведомо пессимистический, оптимистический и промежуточный варианты. В области глобального прогнозирования, моделирования и стратегического планирования целесообразно выделить следующих отечественных ученых: А. Акаева, В. Гарбузова, А. Кокошина, В. Лапкина, В. Пантина, А. Подберёзкина, В. Садовниченко, А. Торкунова, М. Троицкого, М. Харкевича, Т. Шаклеину, Ю. Яковца и др.

Как считает политолог Д. Евстафьев, на протяжении последних двух лет в международной жизни наблюдалась «ситуация предхаоса»: ожидание глобальных трансформаций натолкнулось на нежелание мировых держав начинать их первыми. Трансформация системы международных отношений (с рецессией мировой экономики, структурными кризисами, санкционными режимами, вирусной пандемией, торговой войной и региональными военными конфликтами) сдерживалась целенаправленно [4]. Все взоры стран мира были прикованы медийными ТНК Запада к президентским выборам в США 2020 г. Но всему когда-то наступает конец и новое начало. Конструктивной политической элите пришла пора создавать образ будущего миропорядка. Отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки имеют существенное значение для цивилизационного развития.

О кризисе отношений между Москвой и Вашингтоном

Еще совсем недавно, всего лишь 7–8 лет назад, ничто не предвещало резкого ухудшения российско-американских отношений. Россия и США успешно сотрудничали в исследовании космоса, в борьбе с международным терроризмом, в нераспространении ядерного оружия и наркотиков на планете; достигли определенных результатов в финансово-валютной сфере и других направлениях взаимодействия.

В условиях новой геополитической реальности отношения двух мировых держав переживают сильнейший политико-экономический кризис, сопровождаемый небывалыми ранее санкциями и вспышками дипломатической войны. Инициатором кризисных взаимоотношений с конца 2012 г. стала американская сторона. Даже после отмены дискриминационной на протяжении

38 лет Поправки Джексона–Вэника (1974–2012) Соединенные Штаты стали вводить против России все новые и новые санкции, согласно заранее сгенерированным сценариям. Российская Федерация была вынуждена предпринимать ответные меры. Именно с тех пор российско-американские отношения продолжают заметно ухудшаться, несмотря на смену демократов в Белом доме с 20 января 2017 г. и наличие большинства представителей Республиканской партии в Конгрессе США после выборов 2016 г.

Гипотетический подход к мнению отдельных политиков и политологов о невозможности улучшения отношений между Россией и США в будущем не нашел поддержки у автора данной статьи. Более привлекательными являются экспертные заявления о необходимости «обнуления» взаимных претензий и скорейшем запуске новых письменных договоренностей с неукоснительным исполнением каждого пункта при соблюдении международного права.

Кризис во взаимодействии между Россией и США напрямую связан с усилением роли Российской Федерации на международной арене и отстаиванием своих национальных интересов, с кризисным состоянием самой системы международных отношений и ее институтов, с началом новой эры, наступившей на планете, со сменой Больших экономических циклов; с жесткой межпартийной борьбой внутри Соединенных Штатов и необходимостью осуществления совершенно иных, более эффективных подходов к развитию билатеральных (двусторонних) и плюрилатеральных (многосторонних) отношений между государствами.

Российско-американские отношения уже давно стали индикатором международной жизни и всей системы международных отношений. Далеко не нормальные отношения между Россией и США сказываются на отдельных странах мира и функционировании международных организаций.

Политические контакты России и США в верхах: итоги

Сравнительно короткая «эпоха Путин–Трамп» закончилась, так и не успев по-настоящему начаться. Первая встреча президента России Владимира Путина с 45-м президентом США Дональдом Трампом состоялась на полях саммита «Группы 20» в Гамбурге (Германия) в июле 2017 г. Позитивных и ожидаемых сдвигов в двусторонних отношениях саммит не принес. Политический истеблишмент США (включая Госдепартамент, Конгресс, Пентагон, ЦРУ и руководство Администрации Белого дома) резко ограничил любые контакты с официальными представителями России из-за санкций и «охоты на ведьм», якобы помешавших демократу Хиллари Клинтон стать президентом Соединенных Штатов.

Саммит президентов РФ и США – В. Путина и Д. Трампа – 16 июля 2018 г. прошел в финской столице Хельсинки и носил характер более близкого знакомства между главами двух стран. Эта встреча на высшем уровне оказалась полезной, поскольку выявила подходы сторон к решению многих назревших проблем. После нее американцы объявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и вскоре сделали это в одностороннем порядке. С российской стороны последовали зеркальные шаги. Виноватыми у Соединенных Штатов, как всегда, снова оказались русские по целому ряду надуманных причин.

Ветераны американской политики неоднократно призывали президента США Дональда Трампа устроить «перезагрузку» отношений с Россией. Определенный интерес представила газета «Уолл Стрит» (The Wall Street Journal), опубликовавшая весной 2019 года статью экс-госсекретаря Джорджа Шульца, бывшего главы Пентагона Уильяма Перри и бывшего сенатора Сэмюэла Нанна (того самого, который инициировал в октябре 1992-го для государств бывшего СССР, включая Российскую Федерацию, принятие военной Программы Нанна–Лугара по совместному уменьшению угрозы). Авторы статьи заявили, что «политика Вашингтона в отношении Москвы изжила себя и требует пересмотра. Политики предложили создать Парламентскую двухпартийную группу, которая отвечала бы как за укрепление НАТО, так и за диалог с Россией. По их мнению, Конгресс уже доказал свою эффективность в этом вопросе, сыграв важную роль в улучшении отношений между странами в 1980-х годах» [5]. С Шульцем, Перри и Нанном сложно не согласиться, ведь добиться позитивных сдвигов всегда возможно. Необходимо лишь поставить цель и обладать политической волей, чтобы наполнить отношения позитивным содержанием.

Визиты официальных лиц Вашингтона в Москву, как и встречи в верхах, в последние годы тоже стали редкими, за исключением контактов с Джоном Болтоном, бывшим советником президента США по национальной безопасности. В апреле 2019 г. в столице побывала также специальный помощник президента США по делам Европы и России Фиона Хилл, еще исполнявшая на тот момент свои обязанности. Она встретила с помощником президента Российской Федерации по внешней политике Юрием Ушаковым, с представителями МИД и Совета Безопасности России [6].

За короткий срок при президенте Трампе в США сменили трех госсекретарей. Ими стали Том Шэннон, Рекс Тиллерсон и Джон Салливан. В связи с этим следует отметить, что частая смена Вашингтоном ключевых фигур во внешней политике, особенно в российском направлении, не способствовала нормализации двусторонних отношений. Последним главой Государственного департамента в Администрации Трампа стал бывший директор ЦРУ Майк Помпео, причисленный политическим истеблишментом к дипломатам и «ястребам». После саммита глав государств в Хельсинки министр иностранных дел Сергей Лавров снова встретился в Финляндии в рамках заседания Арктического Совета (6 мая 2019 г.) со своим визави, а еще через неделю – в Сочи, на совместных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Снова обсуждалась международная проблематика, а также пути улучшения двусторонних отношений. Сергей Лавров высказался тогда за создание Неправительственной экспертной группы США и России (из известных политологов, бывших военных, дипломатов, специалистов по двусторонним отношениям) и Делового совета двух стран [7]. Такие структуры еще только предстоит создать в ближайшее время при более благоприятных условиях.

Новая встреча президентов РФ и США на высшем уровне состоялась во время саммита «Большой Двадцатки» в Осаке (Япония, 28–29 июня 2019 г.). Путин и Трамп, помимо общей повестки, обсудили острые региональные конфликты в Венесуэле, Сирии, Иране и на Украине, а также будущую модель контроля над вооружениями в XXI в. Трамп не возражал относительно заявления Путина о том, что российско-американские отношения в послед-

ний период заметно деградировали. И хотя «русский след» в сговоре с Трампом на выборах 2016 г. исчез буквально накануне очередной встречи двух президентов (согласно докладу специального прокурора США Р. Мюллера), тем не менее, президенту Трампу пришлось по требованию американской журналистки попросить президента Путина больше никогда не вмешиваться во внутренние дела Америки.

Что имел в виду Путин на двустороннем саммите с Трампом?

Из трех прямых контактов Путина и Трампа на государственном уровне полномасштабная встреча между действующими президентами двух мировых держав состоялась только однажды. На пресс-конференции после российско-американского саммита в Хельсинки 16 июля 2018 г. президент России В.В. Путин говорил перед журналистами о необходимости новой философии в международных отношениях.

По мнению автора статьи, такая философия должна содержать совершенно новые подходы к выстраиванию современных международных отношений. Прежде всего, для российской стороны целесообразно подписание нового мирного договора, а также задекларированного отказа всех стран, обладающих ядерным оружием, включая США, от его применения в будущем.

Весьма полезной для мирных договоренностей могла бы оказаться новая Геополитическая доктрина «Восточное полушарие», выдвинутая и публично озвученная автором данной статьи еще в 2016 г. на Ялтинской конференции. Эта доктрина говорит о неприемлемости дальнейшего вмешательства США в национальные интересы стран Большой Евразии и военного присутствия на их территории, о построении нового комфортного и цивилизованного континентально-евразийского мирового порядка (без Великобритании, Японии, США и других островных государств) на примере Доктрины Монро (1823) о невмешательстве европейских государств в Северную Америку с XIX в. [8. С. 110–113].

Современная Россия ждет от США отказа от продвижения НАТО на Восток (Украина, Грузия, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Армения и другие государства); полного вывода военного контингента НАТО из Прибалтики, Польши и Румынии; ликвидации военных баз и химических лабораторий США вблизи российских границ; вывода своих военных консультантов из Украины, запрет на передачу или продажу там летального и иного вооружения, а также отмену военных учений с НАТО на суше и в водах Украины и проч. Принявшим участие в госперевороте на Украине и поддерживающим там кровопролитную гражданскую войну самыми различными средствами, Соединенным Штатам необходимо садиться за общий стол переговоров (в качестве гаранта мира) и начинать оказывать реальную помощь в восстановлении разрушенных территорий [9].

Несостоявшееся партнерство при Путине и Трампе

При демонстрируемой активной деятельности российских и американских политиков и дипломатов (включая рабочую встречу президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белом доме 11 декабря 2019 г. по вопросу контроля над вооружениями [10]) прорыва в двусторонних отношениях или новой «перезагрузки» с 2017 г. не

произошло. Настрой на совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на позитивной, равноправной и взаимовыгодной основе с намерением наладить отношения США и России так и остался на уровне декларирования.

Деструктивный период «охоты на ведьм» в отношениях с Россией обошелся американским налогоплательщикам в 45 млн долл. и закончился в США без доказательств о вмешательстве русских в президентские выборы 2016 г. В январе 2020 г. в своем интервью телеканалу «Фокс Ньюс» (Fox News) и через Twitter президент США Д. Трамп «заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией» [11]. Противостояние между демократами и республиканцами в США, как метод решения социально-экономических проблем с помощью внешних факторов, оказался несостоятельным, способствовал расколу общества и открытым выступлениям темнокожего населения, проявляющего расизм по отношению к белым американцам и стремящегося переписать историю страны через крушение памятников. Коронавирус, как и прошедшие с серьезными нарушениями президентские выборы в США 2020 г., лишь усугубили там кризис демократии, американской политической системы, власти и внешней политики.

По утверждению министра иностранных дел России Сергея Лаврова в декабре 2020 г., «осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, – самое главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет... Однако Запад делает все, чтобы не дать российской внешней политике достигать позитивных результатов, в том числе в ее ближайшем окружении» [12]. Последние политические события в Белоруссии и Нагорном Карабахе это наглядно подтверждают.

Думается, Российской Федерации и Соединенным Штатам следует взаимодействовать постоянно, даже в условиях санкций и кризисов, как двум силам на планете: влияния и мощи. Сотрудничество между Россией и США в долгосрочной перспективе (при наличии взаимопонимания, политической воли и активности с обеих сторон) могло бы оказаться более конструктивным и эффективным направлением в международной жизни, чем политическое соперничество и конфронтация в условиях новых реалий и неопределенности настоящего времени.

Новый этап в отношениях между Россией и США

Российско-американские отношения переживают в наши дни момент истины. Эти отношения в последний период тесным образом были связаны с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Даже по мнению западных аналитиков из «Независимой» газеты (Independent) и телеканала «Эн-Би-Си Ньюс» (NBC News), американо-российские отношения, которые и без того уже были на самом низком уровне со времен окончания холодной войны, еще больше ухудшились при Администрации Трампа после его вступления в должность президента США с 20 января 2017 г. [13 – 15]. С таким утверждением согласен президент ИМЭМО РАН, академик А.А. Дынкин, считающий, что отношения между Россией и США деградировали еще к середине 2019 г. и оказались максимально разрушенными [16. С. 8], в плане достигнутых результатов сотрудничества 1990–2000-х гг.

В наши дни, с победой демократа Джозефа Байдена на президентских выборах–2020 и его инаугурацией 20 января 2021 г., наступил новый этап в российско-американских отношениях. Основными при этом являются следующие задачи:

- выработать реальную повестку дня для двусторонних отношений, определить приоритеты как главные направления сотрудничества, очертить красные линии и выстроить стратегию практических отношений на ближайшую перспективу, как минимум на 7 лет вперед (2021–2028);
- найти общие точки соприкосновения и общие интересы в двусторонних отношениях и международной жизни;
- создать новые формы и структуры сотрудничества при согласовании сторон;
- разработать эффективные механизмы для реализации стратегии;
- объединить с обеих сторон группы компетентных профессионалов для взаимодействия России и США не ради процесса, а для позитивного результата, взаимопонимания и продвижения «дорожной карты»;
- создать на постоянной основе Специальную комиссию Федерального собрания РФ и Координационный совет при МИД России по российско-американскому сотрудничеству, результатом деятельности которых станет экспертный анализ состояния дел, разработка рекомендаций для президента, Совета Безопасности и Государственного совета РФ в целях улучшения российско-американских отношений;
- учредить Институт мониторинга экономических возможностей России и США с изданием периодических электронно-информационных журналов на русском и английском языках;
- восстановить работу Российско-Американского делового совета;
- создать Российско-Американский Совет Безопасности (РАСБ) по проблеме размещения ЕвроПРО, структур НАТО, химических лабораторий в Грузии и на Украине, по проблеме проведения военных учений НАТО вблизи государственных границ России и незаконного пересечения ее нейтральных вод; а также по заключению новых договоров о сокращении и неиспользовании ядерного вооружения ни на Земле, ни в космосе;
- активизировать международное сотрудничество между РАН и академиями США в сфере науки и высшего образования, как «мягкую силу» научной дипломатии и научно-технологического развития в мире;
- подготовить и реализовать научно-культурный Проект – 2027 «Об истории сотрудничества между Россией и США», посвященный 220-летию установления официальных дипломатических отношений, с демонстрацией выставочных материалов в заранее намеченных государственных учреждениях и научно-образовательных центрах двух стран.

Поле для совместной деятельности РФ и США чрезвычайно велико. Конструктивных политических решений ждет проблема стратегической безопасности в Евразии и на планете, предотвращение очередной гонки ядерных вооружений; кризисное состояние мировой финансовой системы и международных организаций; противодействие международному терроризму и морскому пиратству; дальнейшее освоение космоса и изучение климата Земли; а также развитие двусторонних торгово-экономических связей, снятие длительных санкций, возврат дипломатической собственности; промышленная

реализация научных технологий; взаимодействие в Арктике, создание гуманного посткоронавирусного миропорядка и проч.

Кризис системы международных отношений и ее институтов

В структурном геополитическом кризисе давно находятся *Организация Объединенных Наций*, ее Совет Безопасности и другие подразделения. Зарубежные коллеги, увлеченные процессом заседаний, зачастую просто не слышат друг друга, а лишь ждут своей очереди, чтобы выступить с критикой. Главному международному институту планеты давно пора реформироваться или перейти в иную международную структуру, как это произошло 75 лет назад с Лигой Наций.

Еще с балканского кризиса и незаконных бомбардировок бывшей Югославии войсками НАТО, с конца 1990-х гг. очевидным стал факт, что ООН явно не справляется со своими функциями гаранта международной безопасности, регулятора международных процессов, беспристрастного судьи и защитника всех нуждающихся членов-государств, как сказано в Уставе. Именно поэтому так необходима модификация правовых инструментов международной жизни. Мировое сообщество нуждается в моделировании и создании новых альтернативных институтов. Согласно научным исследованиям автора статьи, любое заседание Генеральной Ассамблеи ООН до 2029 г. может стать последним. Мировая элита должна быть к этому готова. Создание новой системы международных отношений – дело чести политической элиты мира [17; 18. С. 40–43; 19. 68–77].

В глубоком кризисе теперь находятся МВФ, ВТО, РАТОП (Организация Российско-американского тихоокеанского партнерства), АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и другие международные организации с участием России и США, а также международные суды, НАТО, «Группа Семи» и др. Европейский союз расколот, особенно после выхода из него Великобритании, которая никогда там реально не находилась. В Североатлантическом Альянсе нет больше согласия, единства действий, стратегий и мнений о США как о гаранте международной безопасности. Учения НАТО демонстрируют низкий уровень подготовки военного состава и техники.

Переговоры между Россией и США по решению вопросов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе желаемых результатов пока не принесли. Военные действия у юго-западных границ России полностью не прекратились. Не решен вопрос с закреплением в конституции Украины особого статуса Донецкой и Луганской республик. Не совсем понятно, кто будет восстанавливать там значительные разрушения. Минские соглашения по-прежнему рассматриваются как единственный инструмент разрешения регионального конфликта [20].

Полное установление мира на Донбассе имеет первостепенное значение для России, чтобы не допустить перехода военных действий в затяжную войну. Думается, для прекращения военных действий в Малороссии *участие американской стороны* в переговорах и скорейшем завершении регионального конфликта является крайне необходимым условием.

Всеми дипломатическими средствами Москва дает понять Вашингтону, «что Россия и США, как ведущие ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мира. Именно они должны инициировать процесс

восстановления управляемости международными отношениями» [21]. Ведь международными процессами можно и нужно конструктивно управлять. Еще в октябре 2018 г. в Кремле подготовили и передали американской стороне *Проект совместного заявления* Президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором зафиксировано *намерение исключить возможность начала ядерной войны*. Ответа на свою геополитическую инициативу Москва из Белого дома до сих пор не получила. Теперь этим предстоит заниматься в Америке новой Администрации Джозефа Байдена.

Навстречу новому договору о мире, дружбе и сотрудничестве между РФ и США

Если учесть ряд исторических фактов, а именно:

- при установлении дипломатических отношений между Россией и молодой Американской республикой в 1807 г. (при императоре Александре I и 3-м президенте США Томасе Джефферсоне) на основе политической воли глав государств, их продолжительной переписки и обоюдного согласия, озвученного посланниками на переговорах в Лондоне, отсутствовало подписание каких-либо двусторонних документов (хотя по тем временам это считалось нормальным явлением);

- Белый дом не признал Советское правительство после Октября 1917 г. и разорвал официальные дипломатические отношения, отсутствовавшие до ноября 1933 г.;

- с приходом к власти президента США Франклина Рузвельта в 1933 г. вместо договора об установлении советско-американских дипломатических отношений произошел лишь обмен дипломатическими нотами о дружбе и сотрудничестве, а после распада СССР между РФ и США были подписаны Российско-американская декларация о прекращении холодной войны, а также Хартия российско-американского партнерства и дружбы в 1992-м [22. С. 11–12];

- ранее в мировом сообществе признавалось, что международный договор не имеет срока давности. Теперь в условиях новой геополитической реальности международные договоры и нормы международного права нередко отменяются, а действующие – не выполняются надлежащим образом (например, о дипломатической неприкосновенности, статусе посла и дипломатических сотрудников в иностранном государстве и проч.). США все больше пытаются навязать повсеместно свои правила и открыто демонстрируют двойные стандарты во внешней политике в угоду узкому кругу лиц, прикрываясь демократией и национальными интересами;

- подписание в 2019 г. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым поручений о том, что более 20 тыс. актов СССР и РСФСР должны прекратить свое действие с 1 февраля 2020 г. [23].

В связи с перечисленным выше, для современной России представляется целесообразным в самой ближайшей перспективе подписать с иностранными государствами (включая США) новый договор о дипломатических отношениях, отвечающий духу времени.

Дипломатические ноты, которыми обменялись народный комиссар (министр) иностранных дел СССР М.М. Литвинов и президент США Ф.Д. Рузвельт 16 ноября 1933 г., подтверждающие установление нормальных

дипломатических отношений и обмен Послами с верой и надеждой в то, что отношения, «установленные между нашими странами, смогут навсегда остаться нормальными и дружественными и что наши народы смогут сотрудничать ради своей взаимной пользы и для сохранения мира во всем мире» [24. С. 80–91; 25. С. 198; 26. С. 191], больше не соответствуют действительности, в том числе из-за смены геополитических реалий.

Проект нового – предлагаемого автором данной статьи – международного соглашения о мире, дружбе и сотрудничестве России и США в XXI в. предусматривает две части: дипломатический договор и приложение. В самом договоре предлагается выразить пожелание:

- установить поистине дружественные дипломатические отношения на уровне послов и посольств с сохранением дипломатических консульств и иных дипломатических миссий, их паритетным расширением по мере необходимости на основе существующего международного права и дипломатического иммунитета;

- позитивно развивать между народами сотрудничество во всех его направлениях на основе взаимного уважения, равноправия и взаимопонимания, соблюдения международного права, защиты своего суверенитета и национальной безопасности в интересах прочного мира, стабильного экономического прогресса и развития цивилизации на планете;

- избрать основными внешнеполитическими средствами сотрудничества и взаимодействия – экономическую дипломатию, торговые связи, науку, технологии, культуру, спорт и молодежное патриотичное движение.

Приложение к дипломатическому договору, предположительно, может содержать следующие пункты:

- Россия и США обязуются подходить в высшей степени ответственно к выстраиванию официальных отношений друг с другом (привлекать к работе исключительно высокопрофессиональных дипломатов и экспертов, обладающих необходимым опытом дипломатической практики, общей культурой и этикетом, глубокими знаниями по истории двусторонних отношений и истории страны, с которой заключается данный дипломатический договор: ее традиций, культуры, менталитета, вклада в континентальную цивилизацию Большой Евразии и общечеловеческую цивилизацию на планете Земля);

- Россия и США создадут необходимые условия для того, чтобы глава и служащие внешнеполитических ведомств и другие представители политической элиты по работе с Россией и США получили базовое профессиональное дипломатическое образование. Настала острая необходимость наполнить дипломатию и систему международных отношений истинными дипломатами-миротворцами;

- Россия и США призывают друг друга относиться с уважением к противоположной стороне и с достоинством к себе, использовать исключительно несиловые методы во внешней политике, иметь политическую волю и желание вступать в диалог, уметь слушать и слышать партнера, стремиться находить общие точки соприкосновения, преодолевать исторические тенденции и противоречия, идти на компромисс; этично, достойно и компетентно решать все возникающие проблемы за столом переговоров, поддерживать друг друга на международной арене и стратегически моделировать долгосрочные, цивилизованные партнерские отношения;

– Россия и США гарантируют информационное ненаступление в мультимедиа без предварительного предъявления серьезных доказательств своих обвинений в Министерство иностранных дел РФ и Государственный департамент США, без вручения ноты протеста послу; а также дают гарантии безопасности и свободы слова журналистам, рекомендуют иностранным журналистам, радио- и телеканалам, работающим на территории Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, не заниматься информационной пропагандой на территории другой страны и надеются на взаимность в развитии исключительно деловых отношений и сотрудничества во всех направлениях;

– Россия и США обязуются и настоятельно требуют запретить на своей территории создание или финансирование деятельности реакционных неправительственных организаций (НПО), террористических и иных группировок, способных нанести вред российскому и американскому обществу, подорвать мир в регионе и на планете; а также призывают «иностранных агентов» к уважению государственных законов.

Современные реалии международной жизни диктуют новые требования к позитивному выстраиванию официальных отношений между государствами. Это, прежде всего: 1) дипломатический профессионализм; 2) соблюдение этики, международного права и дипломатического иммунитета; 3) ненаступление в мультимедиа; 4) непозволение заниматься информационной пропагандой другого государства на своей территории; 5) развитие исключительно делового и конструктивного сотрудничества в различных сферах и направлениях.

Экономическая дипломатия как альтернатива политике либерального капитализма

Санкционная и протекционистская политика Соединенных Штатов в отношении современной России и их давление на лидеров европейских стран не принесли ожидаемых результатов, а лишь разрушили позитивные начинания в российско-американских отношениях, которые с неимоверным трудом выстраивались в 1990–2000-х гг. Американские политики вернули к себе недоверие времен холодной войны, стремление российского руководства проводить самостоятельную внешнюю политику в интересах своей национальной безопасности и торгово-экономического взаимодействия со странами мира.

Американскому истеблишменту пора открыто признать конец однополярного мира, крах доллара и мировой монетарной системы во главе с США, как и несостоятельность теплившейся надежды на то, что XXI в. станет американским и повсюду на Земле установится демократия, которой теперь нет даже в самой Америке. Это наглядно показали последние там президентские выборы.

На основании проведенных исследований, можно констатировать, что интровертная фаза развития политики в США до 2038 г., направленная на решение многочисленных внутренних проблем, накопившихся в обществе за последние десятилетия, ни в коем случае не должна отодвигать на задний план развитие добрососедских отношений с Россией. Ведь только 55 морских миль или менее 100 сухопутных километров разделяют Дальневосточный

федеральный округ РФ и 49-й американский штат Аляска, более 260 лет тому назад принадлежавший России и сохранивший навсегда за собой название «Русская Америка». Мудрость политической элиты России будет заключаться в том, чтобы найти гармонию между дистанцированием от мировых кризисов, возвратом своих капиталов (в том числе незаконно вывезенных), а также реализацией нового курса страны на полную самодостаточность, промышленную, экономическую и информационную безопасность.

Новая современная эра на общей для всех планете Земля несет миру новые экономические и политические возможности, а значит – курс на экономическую дипломатию исключительно мирными, невоенными и несиловыми методами. Экономическим санкциям и протекционизму рано или поздно суждено стать рудиментами воинствующей политики в международных отношениях. Экономическая дипломатия является единственной разумной и целесообразной альтернативой существующей ныне силовой экономической политике [27. С. 46–53; 28. С. 54–66].

При более подробном освещении научной проблемы следует заметить, что экономическая дипломатия – это одно из средств внешней политики, осуществляемое с помощью методов традиционной дипломатии с использованием экономических ресурсов, рычагов экономического влияния и интеллектуально-экспертного потенциала (человеческого капитала).

По глубокому убеждению автора статьи, экономическая дипломатия представляет собой дипломатический инструмент внешней политики государства (на основе специальных программ, законов, структур, нескольких десятков специализированных видов и механизмов их функционирования) для гармонизации экономико-политических отношений между экономическими международными институтами (международные экономические организации), структурами внешнеэкономической деятельности, бизнес-сообществом и органами государственного управления.

Как явление или феномен международной жизни, экономическая дипломатия – одновременно вид дипломатии (по форме), средство ее осуществления (по содержанию) и политико-экономический процесс (как внешнеэкономическая деятельность на практике и ее результат в межгосударственных отношениях). Выбор организационных средств и практических методов внешней политики в развитии двусторонних и многосторонних отношений исключительно невоенными способами должен быть оптимальным и своевременным. В геополитике и мировой экономике выигрывает тот, кто умеет профессионально пользоваться этим инструментом.

Заключение

Российско-американские отношения стали важным индикатором состояния международной жизни. Россия и США призваны выполнять ее стабилизирующие функции и своевременно моделировать новую систему международных отношений. Сотрудничество между Россией и США в ближайшей и долгосрочной перспективе является более конструктивным направлением в международных отношениях, чем политическая конфронтация и гонка вооружений в условиях новых реалий эпохи перемен.

Новой «перезагрузки» с Москвой в период Администрации Трампа не произошло, но деструктивный период «охоты на ведьм» в отношениях с Рос-

сийской Федерацией у США завершился. Вялотекущий политико-экономический процесс двустороннего взаимодействия необходимо переводить в более активную фазу их развития на основе взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

Военные конфликты на Ближнем Востоке, геополитические проблемы на Корейском полуострове, в Тихоокеанском регионе, на Украине и в Грузии, в Нагорном Карабахе при участии Турции (члена НАТО) целесообразнее было бы решать Москве и Вашингтону совместно. Для прекращения военных действий в Малороссии участие американской стороны в переговорах и скорейшем завершении регионального конфликта на границе с Россией является крайне необходимым условием.

Многочисленные экспертные предложения и проект дипломатического договора на примере России и США, содержащиеся в данной статье, имеют рекомендательный характер, чтобы войти в стратегию деятельности недавно созданного Государственного совета РФ под председательством действующего президента России Владимира Путина. Все изложенное выше предназначено для того, чтобы оказать существенную помощь политикам, дипломатам, представителям органов государственной власти в разработке новых подходов и механизмов к улучшению российско-американского сотрудничества по всем направлениям и созданию современной, наиболее эффективной системы международных отношений.

России необходимо также дистанцироваться от мировых экономических кризисов с устаревшей валютно-монетарной и судебной системами, от недееспособной Всемирной торговой организации и ряда других международных структур, проявляющих недружественное отношение к современной России. Российской Федерации предстоит значительно укрепить отечественную экономику и выступить инициатором нового миропорядка, возможно, вначале на пространстве Большой Евразии.

Позитивным моментом ушедшего периода стал успешно проведенный впервые «Российско-Американский саммит молодых лидеров: Мы вместе моделируем будущее» при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова (Суздаль – Владимир – Москва, 6–11 октября 2019 г.) [29]. Взоры патриотов России и США направлены теперь в сторону официальных лиц Белого дома и Кремля, в плане предстоящей нормализации межгосударственных отношений.

Только продвижение миролюбивой и конструктивной экономической дипломатии в развитии созидательной модели мировой экономики способно стать альтернативой беспорядку и хаосу в международных отношениях либерального капитализма и принести реальную пользу национальным интересам России.

Развитие конструктивного и разностороннего сотрудничества без санкций и угроз, на основе международного права; совместное создание новой системы международных отношений Россией и США – это, бесспорно, дело чести политической элиты двух мировых держав. В этом тоже заключается новый подход к современной международной жизни третьего десятилетия XXI в.

Литература

1. Бондаренко В.М. Новая научная парадигма: возможные модели будущего России и глобального мира // Yandex Zen. 06.01.2021. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/novaia-nauchnaia-paradigma-vozmojnye-modeli-buduscego-rossii-i-globalnogo-mira-5ff4d087fe4e686f6a94a287> (дата обращения: 11.01.2021).

2. Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Политическое конструирование образа будущего // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 56. С. 285–299. DOI: 10.17223/1998863X/56/25
3. Апрелева В.А. Философия: О научном предвидении. Курган: Пайдейя, 2006. 633 с.
4. Евстафьев Д. Мир предхаоса: что нас ждет в 2021 году // Актуальные комментарии. 14.12.2020. URL: <https://actualcomment.ru/mir-predkhaosa-cto-nas-zhdet-v-2021-godu-2012141124.html> (дата обращения: 11.01.2021).
5. В США предложили пересмотреть отношения с Россией // РИА Новости. 12.04.2019. URL: <https://ria.ru/20190412/1552625603.html> (дата обращения: 18.12.2020).
6. Песков сообщил детали визита в Москву советника Трампа по России // РБК. 18.04.2019. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb85cbc9a7947337dd4450f> (дата обращения: 11.01.2021).
7. Лавров высказался за создание экспертной группы США – Россия // РИА Новости. 14.05.2019. URL: <https://ria.ru/20190514/1553487652.html> (дата обращения: 11.01.2021).
8. Савойский А. Доктрина «Восточное полушарие» и роль России в возрождении евразийской цивилизации // Международная жизнь. 2017. № 1. С. 110–113.
9. Президент США подтвердил свое участие в госперевороте на Украине // Российская газета. 02.02.2015. URL: <https://rg.ru/2015/02/02/priznanie-site.html> (дата обращения: 03.01.2021).
10. Трамп встретился с Лавровым // Лента.ру. 11.12.2019. URL: <https://lenta.ru/news/2019/12/11/vstrecha/> (дата обращения: 03.01.2021).
11. Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией // Лента.ру. 11.01.2020. URL: <https://lenta.ru/news/2020/01/11/donald/> (дата обращения: 11.01.2021).
12. Лавров назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет // RT. 10.12.2020. URL: <https://russian.rt.com/world/news/811102-lavrov-nazval-glavnoe-sobytie-politiki> (дата обращения: 11.01.2021).
13. Osborne S. Vladimir Putin says US-Russia relations are worse since Donald Trump took office // The Independent. 12.04.2017. URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-vladimir-putin-us-russia-relations-worse-military-syria-chemical-attack-barack-obama-a7679796.html> (accessed: 11.01.2021).
14. Carol O. US-Russia relations fail to improve in Trump's first year and they are likely to get worse // The Independent. 19.01.2018. URL: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-first-year-inauguration-anniversary-russia-vladimir-putin-relations-moscow-a8168801.html> (accessed: 11.01.2021).
15. Smith A. U.S.-Russian relations worst Ambassador Antonov can remember // NBC News. 30.03.2018. URL: <https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-russian-relations-worst-ambassador-antonov-can-remember-n861391> (accessed: 11.01.2021).
16. «Пока только ультиматумы» // Огонек. 24.06.2019. № 24. С. 8.
17. Савойский А. Создание новой системы международных отношений – дело чести политической элиты мира // Парус надежды. 15.01.2015. URL: <http://parusnadezhdy.org/page297145.html> (дата обращения: 11.01.2021).
18. Савойский А.Г. Инициативы США обернулись глобальным кризисом. России необходимо выступить инициатором нового миропорядка // Человеческий капитал. 2013. № 10. С. 40–43.
19. Савойский А.Г. Роль России и США в международном устройстве мира, или К новой Архитектуре мирового порядка // Человеческий капитал. 2013. № 10. С. 68–77.
20. Путин заявил о альтернативности Минских соглашений // Красная весна. 11.01.2020. URL: <https://rossaprimavera.ru/news/81f8d655> (дата обращения: 03.01.2021).
21. СМИ узнали о предложении России к США исключить развязывание ядерной войны // Ведомости. 19.04.2019. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/04/19/799622-yadernoi-voini> (дата обращения: 04.01.2021).
22. Савойский А.Г. Хроника экономической дипломатии в российско-американских отношениях (1990–2010): Справочно-информационное издание. Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ, 2011. 123 с.
23. Буланов К., Червонная А. Медведев поручил отменить все нормативные акты СССР по надзору // Ведомости. 11.09.2019. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/11/811008-medvedev> (дата обращения: 11.01.2021).
24. Савойский А. К 205-летию установления дипломатических отношений между Россией и США // Дипломатическая служба. 2013. № 3. С. 80–91.
25. Савойский А.Г. Экономическая дипломатия современной России в отношении США на международной арене: Монография. Москва ; Пятигорск : РИА-КМВ, 2011. 368 с.

26. Иванян Э.А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII–XX века. М. : Междунар. отношения, 2001. 696 с.
27. Савойский А. Современная теория экономической дипломатии // Дипломатическая служба. 2015. № 4. С. 46–57.
28. Савойский А. Экономическая дипломатия как феномен международной жизни // Международная жизнь. 2013. № 1. С. 54–66.
29. Савойский А.Г. Молодежь России и США вместе моделирует будущее // Международная жизнь. 15.10.2019. URL: <https://interaffairs.ru/news/show/24777> (дата обращения: 11.01.2021).

Alexander G. Savovsky, Ufa State Aviation Technical University (Ufa, Russian Federation); Russian Academy of Natural Sciences (Moscow, Russian Federation); Institute for Economic Strategies (Moscow, Russian Federation).

E-mail: asavoysky@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 60. pp. 275–291.

DOI: 10.17223/1998863X/60/27

RESULTS AND MODELING OF RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS AS AN INDICATOR OF INTERNATIONAL LIFE

Keywords: Russia–USA; agenda; political modeling; draft treaty; economic diplomacy.

The article summarizes the results of Russian-American relations during the presidency of Vladimir Putin and Donald Trump, contains expert proposals for the normalization of bilateral relations based on guided modeling and economic diplomacy as an alternative to the policy of liberal capitalism in the near-term. In 2020, political and economic relations between Russia and the United States have reached a “bottom” and now require urgent improvement. The main aim of this article is to reveal the reasons for the deterioration of these relations and present expert proposals for their normalization. The research question or hypothesis of this article is to concretize the political agreements between Russia and the United States on diplomatic relations over the entire history of their existence and to form the current agenda in the third decade of the 21st century. This problem should be solved in two ways: empirically and practically. At the theoretical level, it is advisable to use the method of epistemology (i.e., an in-depth study of the subject of research) and the method of synergetics (obtaining new information based on interdisciplinary analysis and synthesis). The expert suggestions of the article’s author are recommendatory in obtaining the necessary information and new knowledge aimed at updating the Concept of Foreign Policy of the Russian Federation, improving Russian-American relations and improving the world order. The article describes the essence of the international problems of our days, examines in detail the political contacts at the top and the only full-scale meeting of the presidents of the two world powers in recent years, presents the expert’s own view of a new stage in relations between Russia and the United States during the world structural crises. The article also contains an explanation of the need to conclude new agreements and proposes a draft of the main sections of the treaty between the Russian Federation and the United States. One of the significant subsections of the article is economic diplomacy as an alternative to the economic policy of liberal capitalism.

References

1. Bondarenko, V.M. (2021) *Novaya nauchnaya paradigma: vozmozhnye modeli budushchego Rossii i global'nogo mira* [A new scientific paradigm: possible models of the future of Russia and the global world]. [Online] Available from: <https://zen.yandex.ru/media/id/5e274bc843863f00acd7ed97/novaia-nauchnaia-paradigma-vozmojnye-modeli-buduscego-rossii-i-globalnogo-mira-5ff4d087fe4e686f6a94a287> (Accessed: 11th January 2021).
2. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2020) Political construction of the image of the future. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology, Political Science*. 56. pp. 285–299. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/56/25
3. Apreleva, V.A. (2006) *Filosofiya: O nauchnom predvidenii* [Philosophy: About scientific foresight]. Kurgan: Paydeyya.
4. Evstafiev, D. (2020) *Mir predkhaosa: chto nas zhdet v 2021 godu* [The world of pre-chaos: what awaits us in 2021]. [Online] Available from: <https://actualcomment.ru/mir-predkhaosa-chto-nas-zhdet-v-2021-godu-2012141124.html> (Accessed: 11th January 2021).

5. RIA Novosti. (2019) *V SShA predlozili peresmotret' otnosheniya s Rossiei* [The United States proposed to reconsider relations with Russia]. [Online] Available from: <https://ria.ru/20190412/1552625603.html> (Accessed: 11th January 2021).
6. RBC. (2019) *Peskov soobshchil detali vizita v Moskvu sovetnika Trampa po Rossii* [Peskov announced the details of the visit to Moscow of Trump's adviser on Russia]. [Online] Available from: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb85c9a7947337dd4450f> (Accessed: 11th January 2021).
7. RIA Novosti. (2019) *Lavrov vyskazalsya za sozdanie ekspertnoy gruppy SShA – Rossiya* [Lavrov spoke in favor of the creation of a US-Russia expert group]. [Online] Available from: <https://ria.ru/20190514/1553487652.html> (Accessed: 11th January 2021).
8. Savoytskiy, A. (2017) Doktrina "Vostochnoe polusharie" i rol' Rossii v vrozozhdenii evraziyskoy tsivilizatsii [The Eastern Hemisphere Doctrine and the Role of Russia in the Revival of Eurasian Civilization]. *Mezhdunarodnaya zhizn' – International Affairs*. 1. pp. 110–113.
9. *Rossiyskaya gazeta*. (2015) Prezident SShA podverdil svoje uchastie v gosperevorote na Ukraine [US President confirms his participation in the Ukrainian coup]. [Online] Available from: <https://rg.ru/2015/02/02/priznanie-site.html> (Accessed: 3rd January 2021).
10. Lenta.ru. (2019) *Tramp vstretilsya s Lavrovym* [Trump meets with Lavrov]. [Online] Available from: <https://lenta.ru/news/2019/12/11/vstrecha/> (Accessed: 11th January 2021).
11. Lenta.ru. (2020) *Tramp zayavil o neobkhodimosti naladit' trgovye otnosheniya s Rossiei* [Trump announces the need to establish trade relations with Russia]. [Online] Available from: <https://lenta.ru/news/2020/01/11/donald/> (Accessed: 11th January 2021).
12. RT. (2020) *Lavrov nazval glavnoe sobytie dlya vneshney politiki Rossii za 15 let* [Lavrov named the main event for Russian foreign policy in 15 years]. [Online] Available from: <https://russian.rt.com/world/news/811102-lavrov-nazval-glavnoe-sobytie-politiki> (Accessed: 11th January 2021).
13. Osborne, S. (2017) *Vladimir Putin says US-Russia relations are worse since Donald Trump took office*. [Online] Available from: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-vladimir-putin-us-russia-relations-worse-military-syria-chemical-attack-barack-obama-a7679796.html> (Accessed: 11th January 2021).
14. Carol, O. (2018) *US-Russia relations fail to improve in Trump's first year and they are likely to get worse*. [Online] Available from: <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-first-year-inauguration-anniversary-russia-vladimir-putin-relations-moscow-a8168801.html> (Accessed: 11th January 2021).
15. Smith, A. (2018) *U.S.-Russian relations worst Ambassador Antonov can remember*. [Online] Available from: <https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-russian-relations-worst-ambassador-antonov-can-remember-n861391> (Accessed: 11th January 2021).
16. Anon. (2019) "Poka tol'ko ul'timatumy" ["So far, only ultimatums"]. *Ogonek*. 24. p. 8.
17. Savoytskiy, A. (2015) Sozdanie novoy sistemy mezhdunarodnykh otnosheniy – delo chesti poli-ticheskoy elity mira [The creation of a new system of international relations is a matter of honor for the world political elite]. [Online] Available from: <http://parusnadezhdy.org/page297145.html> (Accessed: 11th January 2021).
18. Savoytskiy, A.G. (2013a) Initiatives of the USA turned into a global crisis. Russia must take the lead new world order. *Chelovecheskiy kapital – Human Capital*. 10. pp. 40–43. (In Russian).
19. Savoytskiy, A.G. (2013b) Role of Russia and the USA in the international structure of the world or towards a new architecture of the world order. *Chelovecheskiy kapital – Human Capital*. 10. pp. 68–77. (In Russian).
20. *Krasnaya vesna*. (2020) Putin zayavil o bezal'ternativnosti Minskikh soglasheniy [Putin says there is no alternative to the Minsk agreements]. [Online] Available from: <https://rossaprimavera.ru/news/81f8d655> (Accessed: 11th January 2021).
21. *Vedomosti*. (2019) SMI uznali o predlozhenii Rossii k SShA isklyuchit' razvyazyvanie yadernoy voyny [The media learned about Russia's proposal to the United States to exclude the outbreak of a nuclear war]. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/04/19/799622-yadernoi-voyni> (Accessed: 11th January 2021).
22. Savoytskiy, A.G. (2011) *Khronika ekonomicheskoy diplomatii v rossiysko-amerikanskikh otno-sheniyakh (1990–2010): Spravochno-informatsionnoe izdanie* [Chronicle of Economic Diplomacy in Russian-American Relations (1990–2010): Reference and Information Publication]. Moscow; Pyatigorsk: RIA-KMV.
23. Bulanov, K. & Chervonnaya, A. (2019) Medvedev poruchil otmenit' vse normativnye akty SSSR po nadzoru [Medvedev Instructed to Cancel All Regulations of the USSR on Supervision]. *Vedomosti*. 11th September. [Online] Available from: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/11/811008-medvedev> (Accessed: 11th January 2021).

24. Savoyskiy, A. (2013) K 205-letiyu ustanovleniya diplomaticheskikh otnosheniy mezhdu Rossiei i SShA [To the 205th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Russia and the United States]. *Diplomaticheskaya sluzhba – Diplomatic Service*. 3. pp. 80–91.

25. Savoyskiy, A.G. (2011) *Ekonomicheskaya diplomatiya sovremennoy Rossii v otnoshenii SShA na mezhdunarodnoy arene* [Economic Diplomacy of Modern Russia in Relation to the United States in the International Arena]. Moscow; Pyatigorsk: RIA-KMV.

26. Ivanyan, E.A. (2001) *Entsiklopediya rossiysko-amerikanskikh otnosheniy. XVIII – XX veka* [Encyclopedia of Russian-American relations. The 18th – 20th centuries]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.

27. Savoyskiy, A. (2015) Sovremennaya teoriya ekonomicheskoy diplomatii [Modern theory of economic diplomacy]. *Diplomaticheskaya sluzhba – Diplomatic Service*. 4. pp. 46–57.

28. Savoyskiy, A. (2013) Ekonomicheskaya diplomatiya kak fenomen mezhdunarodnoy zhizni [Economic diplomacy as a phenomenon of international life]. *Mezhdunarodnaya zhizn' – International Affairs*. 1. pp. 54–66.

29. Savoyskiy, A.G. (2019) Molodezh' Rossii i SShA vmeste modeliruet budushchee [Youth of Russia and the USA together models the future]. *Mezhdunarodnaya zhizn'*. 15th October. [Online] Available from: <https://interaffairs.ru/news/show/24777> (Accessed: 11th January 2021).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АВЕРКОВ Михаил Сергеевич – аспирант кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск); старший преподаватель Красноярского краевого ресурсного центра по работе с одаренными детьми (г. Красноярск); руководитель образовательных программ Красноярской региональной молодёжной общественной организации «Сибирский дом» (г. Красноярск).

E-mail: mgolota@yandex.ru

АНТОНОВСКИЙ Александр Юрьевич – доктор философских наук, исследователь, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: antonovski@iph.ras.ru

АРДАШКИН Игорь Борисович – доктор философских наук, доцент, профессор отделения социально-гуманитарных наук школы базовой инженерной подготовки Национального исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск).

E-mail: ibardashkin@tpu.ru

БРИТВИНА Ирина Борисовна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института экономики и управления Уральского федерального университета (г. Екатеринбург).

E-mail: irina.britvina@urfu.ru

ВОЛОДЕНКОВ Сергей Владимирович – доктор политических наук, доцент, профессор кафедры государственной политики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: s.v.cyber@gmail.com

ВОРОНОВ Александр Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инновационного развития Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: voronov@spa.msu.ru

ВОСТРИКОВА Екатерина Васильевна – кандидат философских наук, исследователь, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: vostrikova@iph.ras.ru

ГЛУХОВ Павел Павлович – научный сотрудник научно-исследовательского сектора «Открытое образование» научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); эксперт лаборатории компетентностных практик образования Московского городского педагогического университета (г. Москва); выпускник аспирантуры кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск).

E-mail: gluhovpav.pav@gmail.com

ГОЛОВИНА Юлия Анатольевна – аспирант, кафедра истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: jagolovina@gmail.com

ГОРОДОВИЧ Ольга Викторовна – аспирант, Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (г. Томск).

E-mail: gorodovich@gmail.com

ДУНАЕВА Дарья Олеговна – аспирант, кафедра социологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск); аналитик, Центр прикладного анализа больших данных Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: darya.dunaewa@gmail.com

ЖАВОРОНКОВ Алексей Геннадьевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН (г. Москва); старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград).

E-mail: outdoors@yandex.ru

КАСАВИН Илья Теодорович – доктор философских наук, руководитель проекта, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: itkasavin@gmail.com

КОРНЮЩЕНКО-ЕРМОЛАЕВА Наталия Сергеевна – старший преподаватель кафедры философии и социологии Томского университета систем управления и радиоэлектроники (г. Томск).

E-mail: nskorn@yandex.ru

МАРТИНКОВИЧ Марцел – кандидат политических наук (PhD), заведующий кафедрой политологии Трнавского университета (г. Трнава, Словацкая Республика).

E-mail: marcel.martinkovic@truni.sk

МАСЛАНОВ Евгений Валерьевич – кандидат философских наук, исследователь, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: evgenmas@rambler.ru

МЕНЬШИКОВА Анна Андреевна – аспирант, кафедра истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: menanna1366@yandex.ru

МОЛЧАНОВ Виктор Игоревич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра феноменологической философии философского факультета Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва).

Email: victor.molchanov@gmail.com

НИКАНДРОВ Алексей Всеволодович – кандидат политических наук, доцент кафедры философии политики и права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: bobbio71@mail.ru

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич – доктор исторических наук, декан факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: nikonov@sps.msu.ru

ПОПОВ Александр Анатольевич – доктор философских наук, доцент, заведующий научно-исследовательским сектором «Открытое образование» научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей Федерального института разви-

тия образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва); заведующий лабораторией компетентностных практик образования Института системных проектов Московского городского педагогического университета (г. Москва); ведущий научный сотрудник Школы антропологии будущего ИОН Ранхигс (г. Москва); профессор кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск).

E-mail: aktor@mail.ru

ПРОХОДА Владимир Анатольевич – кандидат социологических наук, доцент департамента социологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: prohoda@bk.ru

РЫБАКОВА Марина Владимировна – доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: rybakova@spa.msu.ru

САВОЙСКИЙ Александр Геннадьевич – кандидат политических наук, доцент, почетный доктор Уфимского государственного авиационного технического университета (г. Уфа); член-корреспондент Российской академии естественных наук (г. Москва); эксперт правительственной делегации России на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке; директор Центра устойчивого развития Института экономических стратегий (г. Москва).

E-mail: asavoysky@gmail.com

САВЧУК Галина Анатольевна – кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института экономики и управления Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: galina.savchuk@urfu.ru

САЖИНА Варвара Андреевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: sazhina@spa.msu.ru

СИРОТКИНА Людмила Сергеевна – кандидат философских наук, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград).

E-mail: lyusir.ru@mail.ru

СТОЛЯРОВА Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, исследователь, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: olgastoliarova@mail.ru

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск); заведующий кафедрой истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: surovitsev1964@mail.ru

ТУХВАТУЛИНА Лиана Анваровна – кандидат философских наук, исследователь, Межрегиональная общественная организация «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: spero-meliora@bk.ru

ФЕДОРЧЕНКО Сергей Николаевич – кандидат политических наук, доцент, профессор кафедры политологии и права Московского государственного областного университета (г. Москва).

E-mail: s.n.fedorchenko@mail.ru

ФРАНЦ Валерия Андреевна – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института экономики и управления Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: v.a.franc@urfu.ru

ХЛЕБАЛИН Александр Валерьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: sasha_khl@mail.ru

ЦЕЛИЩЕВА Оксана Ивановна – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: oxanatse@gmail.com

ШАВЕКО Николай Александрович – кандидат юридических наук, научный сотрудник Удмуртского филиала Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (г. Ижевск).

E-mail: nickolai_91@inbox.ru

ШИБАРШИНА Светлана Викторовна – кандидат философских наук, исследователь Межрегиональной общественной организации «Русское общество истории и философии науки» (г. Москва).

E-mail: svet.shib@gmail.com

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2021. № 60

Редакторы *Н.А. Афанасьева, Ю.П. Готфрид*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 20.04.2021 г. Дата выхода в свет 13.05.2021 г.

Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 18,5; усл. печ. л. 24,1; уч.-изд. л. 24,4.

Тираж 50 экз. Заказ № 4665. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru